ISSN 0130-6545

9.1998

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Урок швейцарского

В номере:

АГОТА КРИСТОФ *Вчера*

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ *Мост*

МАРТИН СУТЕР *Small World*

Что есть Швейцария?

Воплощение точности, надежности и стабильности. Швейцарские часы и швейцарские банки – материальная квинтэссенция главных символов современной предельно рационализированной цивилизации: времени и денег.

Воплощение свободы и демократии. Управление в кантонах строится на принципах реального народовластия. Представители разных наций живут в созданном по собственной воле едином федеративном государстве.

Уникальная местность с целебным климатом и живописными горными пейзажами. Именно сюда испокон веков стремится любой европейский житель – отдыхать, учиться или остаться навсегда.

Страна первоклассной литературы. Гессе, Фриш, Дюрренматт заслуженно входят в число лучших писателей XX века.

Иными словами — земной рай? По первому слою стереотипных ассоциативных представлений – действительно так. Но если взглянуть глубже? Или – внимательнее – со стороны? Или – еще более внимательно – изнутри?

Окажется, что самая, казалось бы, европейская страна переживает мучительные комплексы по поводу своей изолированности от сформировавшегося европейского сообщества. Что горный климат способствует росту революционных настроений и именно из Цюриха отправляется в Стокгольм исторический пломбированный вагон. Что жизнь в условиях материального благополучия и полной безопасности избавляет от одних недугов, но не спасает от других – таких, как болезнь Альцгеймера, настойчиво возникающая в художественных текстах этого номера. Что открытым остается вопрос, составляют ли швейцарские авторы, пишущие на немецком, французском, итальянском или ретороманском языках, единую швейцарскую литературу.

Окажется, что Швейцария – страна по-своему парадоксальная. Не только Россия призвана – по Чаадаеву – дать миру какой-нибудь важный урок. Сегодня в нашем расписании – урок швейцарского.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — ЗАО КОНВЕРСБАНК
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)

Из общего тиража в 14 520 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3235 экз. журнала.

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы

А.В. МИХЕЕВ — ответственный секретарь

Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ, П.Л. ВАЙЛЬ, М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА, Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ, Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, А.С. МУЛЯРЧИК, Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ, М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ, МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ, ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ, АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ, МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

9 сентябрь 1998

СОДЕРЖАНИЕ

УРС ВИДМЕР — Рай забвения (*Повесть. Перевод с немецкого Е. Колесова*)..... 5

НИКОЛА БУВЬЕ — Стихи из книги «Внутри и вокруг» (*Перевод с французского И. Кузнецовой*)..... 31

АГОТА КРИСТОФ — Вчера (*Роман. Перевод с французского Ирины Волевич*)..... 34

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ — Мост (*Литературный сюжет. Перевод с немецкого Г. Косарик*)..... 70

ЭРИКА БУРКАРТ — Однажды я была птицей (*Стихи. Перевод с немецкого и вступление Е. Соколовой*)..... 81

МАРТИН СУТЕР — Small World (*Роман. Перевод с немецкого Г. Косарик*)..... 85

«... твои глаза показывают время» — Стихи швейцарских поэтов ДЖОРДЖО ОРЕЛЛИ, АЛЬБЕРТО НЕССИ, ФАБИО ПУСТЕРЛЫ (*Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича*)..... 188

КОРИННА БИЙ — Рассказы в духе барокко (*Перевод с французского Ирины Волевич*)..... 197

Литературное наследие

ФРИДРИХ ГЛАУЗЕР — Избранные страницы (*Перевод с немецкого и вступление Владимира Седельника*)..... 213

РОБЕРТ ВАЛЬЗЕР — Чтение на несколько минут (*Перевод с немецкого и вступление С. Апта*)..... 232

Швейцарская литература на страницах «ИЛ»..... 239

Статьи, эссе

ИЗО КАМАРТИН — Совращение предусмотрено (*Перевод с немецкого Н. Павловой*)..... 240

МИХАИЛ ШИШКИН — Урок швейцарского..... 242

Наши интервью

Швейцария: время разобраться с собой (*Беседа с АДОЛЬФОМ МУШГОМ, записанная Г. Косарик*)..... 252

Авторы этого номера..... 254

© «Иностранная литература», 1998

В следующем номере «ИЛ»:

Роман аргентинского писателя **Томаса Элоя Мартинеса** «СВЯТАЯ ЭВИТА» — основанное на документах сенсационное повествование о легендарной Эве Перон, малоизвестной актрисе, ставшей женой президента Аргентины и одной из самых заметных фигур в новейшей истории этой страны.

Рассказы американского мастера короткой новеллы **Тобиаса Вулфа**.

Фрагменты из книги **Рейн-Мари Пари** о трагической судьбе Камиллы Клодель — модели, ученицы и соавтора Огюста Родена.

Главы из последней книги известного польского общественного деятеля **Яцека Куроня** «СЕМИЛЕТКА, ИЛИ КТО УКРАЛ ПОЛЬШУ» с обширным аналитическим комментарием **Егора Гайдара**.

Цветные иллюстрации номера — работы швейцарских художников:

На 1-й стр. обложки — ФЕЛИКС ВАЛЛОТТОН (1865—1925) «Целомудренная Сюзанна» (1922)
На 2-й стр. обложки — ЭРНСТ МААС (1904—1971).«Надежда на утренний свет» (1943)
На 4-й стр. обложки — АДОЛЬФ ВЁЛЬФИ (1864—1930).«Ножницы» (1926)

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в следующих книжных магазинах:

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
«Англия» — Хлебный пер., д.2/3
«Гилея» — ул. Б. Садовая, д.4
«Графоман» — ул. Бахрушина, д.28
«Летний сад» — ул. Б. Никитская, д.46
Библиоцентр **«Панглосс»**, Б. Палашевский пер., д.9

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу: http://www.infoart.ru/magazine/inostran

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

✉109017, Москва, Пятницкая ул., 41. ☎953-51-47; факс 953-50-61; E-mail inolit@adicom.ru

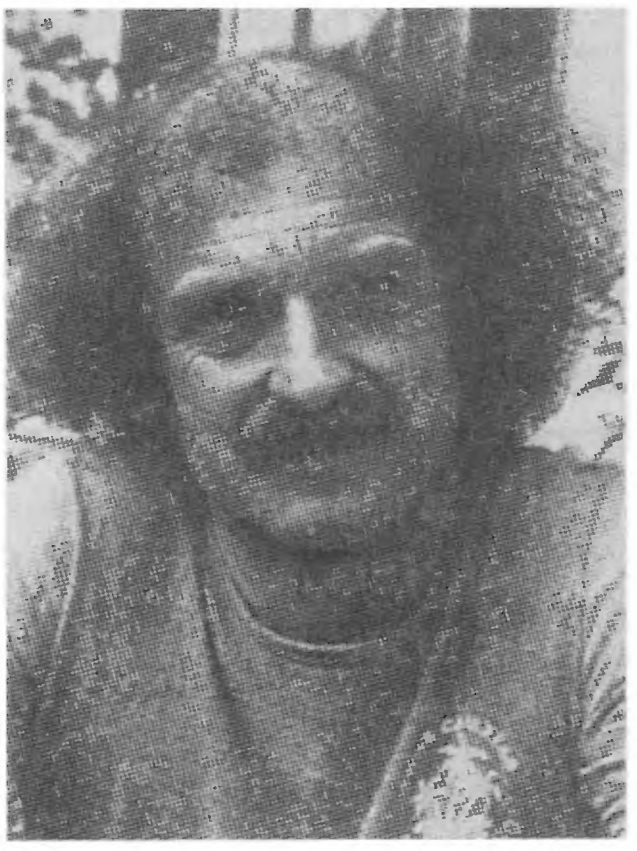
Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 21.08.98. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 25,72. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 26,82. Заказ №3560.

Тираж 14 520 экз.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.



УРС ВИДМЕР

Рай забвения

ПОВЕСТЬ

Перевод с немецкого Е. КОЛЕСОВА

Я всегда поражался тем неустрашимым авторам, которые беспечно ездят на метро или отправляются в поход по окрестным кабакам, имея при себе рукописи своих шедевров, не запасшись даже вторым экземпляром. Рукописи при этом, разумеется, теряются — их оставляют холодной ночью под неоновыми лампами кафе-мороженого где-нибудь в Нью-Йорке, или они вываливаются из багажника велосипеда, на котором автор с первыми лучами солнца — а кругом кукуют кукушки — едет домой, выскользнув из постели подружки, которая теперь спит, потому что вся книга была ей зачитана вслух, перед тем как они оба наконец отправились на седьмое небо, куда нам, смертным, путь заказан. Ни одну из этих рукописей найти не удалось по сей день, и нам остаются лишь воспоминания о чем-то стократ более чудесном, чем все написанное этим автором когда-либо и *не потерянное*.

Годами я мечтал, что когда-нибудь почувствую такой прилив сил, что напишу толстую книгу, страниц на пятьсот, в которой наконец выскажу *все* — и потеряю ее, ибо главное — это процесс написания, а не сама книга.

И я таки написал нечто подобное — издатель, видевший мой труд, но так и не успевший его прочесть, сразу назвал это *романом*. А я тут же попытался его потерять. Наперекор собственным привычкам я пускался в длительные прогулки, долго ездил в трамваях и выскакивал из них сломя голову. Однако всякий раз находился какой-нибудь любезный господин или милая дама, догонявшие меня с криком: «Эй!» или «Постойте!», чтобы вернуть книгу. Моя благодарность в таких случаях была просто безмерна.

Однажды, засидевшись в ресторанчике «Роза» допоздна, до самого комендантского часа, я засунул в карманы обоим полицейским, явившимся, чтобы вышвырнуть нас, забулдыг, а бармену пригрозить закрытием его заведения, если он не будет соблюдать законы хотя бы для виду, — я засунул им в карманы плащей свою рукопись, заблаговременно разделенную на два почти одинаковых пакета. Однако оба они — о, чувствительная служивая душа! — скоро почувствовали лишний вес и сунули мне мой труд прямо в руки, правда не преминув прежде пролистать его.

— А что, неплохо! — сказал один.

Другой поддержал его:

— Молодец, валяй дальше!

Я улыбнулся и потащился к себе, по дороге зашвырнув книгу в кучу компоста, откуда утром мой домохозяин извлек ее, чтобы положить в ящик для молочных бутылок, да еще с запиской, в которой слегка журил меня за излишнее пристрастие к горячительным напиткам. А книга ваша, мол, высший класс.

Потом было еще много попыток. Я даже летал в Ибицу, где взял напрокат велосипед, но женщина, с которой я спал — учительница из бирмингемского интерната для трудновоспитуемых, — и не подумала заснуть после моего ухода, а выскочила из отеля на улицу нагишом с криком:

— Ay masterpiece, darling!

© 1990 Diogenes Verlag AG Zürich
© Е. Колесов. Перевод, 1998
Печатается с небольшими сокращениями

То есть, мол, «вот твой шедевр», и что «она не позволит бросить его в багажник этого вшивого велосипеда», на котором я собирался добраться до своего бунгало, «и вообще отдай его мне!»

И я отдал ей свой шедевр — назывался он, если мне не изменяет память, «Ад забвения» — и толкал велосипед, шагая вслед за ней, чуть ли не до самой своей постели. Поднявшись ни свет ни заря, она поцеловала меня и торжественно возложила рукопись мне на живот.

Последняя попытка сорвалась вот как: я поехал в Золотурн на фестиваль литераторов, точнее, на ту пьянку, которую они устраивают по субботам в ресторане «Крест», и положил свою драгоценную рукопись — после ночи, которую мы всю напролет плясали рок-н-ролл с одной поэтессой из Берна, — на стол, где участники фестиваля разложили ксерокопии своих текстов. Теперь-то уж, думал я, она непременно затеряется в общем потоке и, унесенная волнами этого океана, наконец исчезнет в его пучинах. Не знаю уж, бог ли, черт ли тут подгадал, однако папка с моей рукописью попалась одному германисту, разыскивавшему, впрочем, всего лишь сумку со своей пижамой, и он в тот же вечер прочел все от корки до корки, лежа в постели, и сразу догадался, кто автор. Пару дней спустя он позвонил мне, уже ликовавшему, и я, запинаясь, выразил ему как мог свою безмерную благодарность, и вообще «у меня с души-де свалился огромный камень». «Можно я напишу вам посвящение, на титульном листе, когда книга выйдет?» — спросил я заодно. Придя в себя, он сказал, что, конечно, будет рад, однако вынужден признать, что предпринятый им структурный анализ моей прозы совсем не сразу дал результаты — то есть было, конечно, понятно, что книга написана швейцарцем довольно молодого возраста, потому что речь все время идет о деньгах, и там есть еще про горы, — но тем не менее до меня он успел позвонить — именно в таком порядке! — Максу Фришу, Францу Бени, Райнеру Брамбаху (который к тому моменту уже успел умереть) и Петеру Бикселю. Этот последний, кстати, на следующем съезде литераторов через год признался мне, что после звонка он долю секунды колебался, не признать ли неизвестную рукопись своей, потому что четыреста пятьдесят страниц, что ни говори, порядочное искушение.

Вот так, вконец отчаявшись, я отдал наконец свою рукопись издателю, приехавшему ранним утром и торчавшему у меня до позднего вечера, прячась за батареей пустых бутылок «Вельтинера».

— Ты там поосторожнее! — крикнул я вслед велосипеду, на сиденье которого возвышался издатель, а в багажнике лежала драгоценная рукопись. — Такие книги не каждый день пишутся!

Он оглянулся, помахав мне рукой, и завернул за угол. Я вернулся в дом в глубоком раздумье. Моя книга ушла от меня в этот злобный бескрайний мир, и я уже не мог ничего с этим поделать.

Прошло не так уж много времени, и издатель позвонил мне. Голос у него был то ли больной, то ли одышливый — не надо было ему, наверное, гонять так быстро на этом велосипеде, у которого целых десять скоростей.

— Рукопись! — вскричал он. — Твоя рукопись пропала!

— Ты с ума сошел! — возопил я с той же громкостью в трубку. — Да ты понимаешь, что говоришь? У меня же нет второго экземпляра!

На другом конце провода настала мертвая тишина. Потом издатель сказал — уже совершенно другим тоном, похожим на автоответчик у какого-нибудь торговца недвижимостью, — что рукопись погибла, вследствие чего он считает себя обязанным возместить мне причиненный ущерб. Удовлетворит ли меня сумма в 750 франков?

В ответ я сумел лишь пробормотать: «Д-да», а потом: «Хотя нет...», а еще потом: «Но вообще-то конечно...», — короче, этих денег я дожидаюсь до сих пор, хотя с выходом моего третьего романа издатель по меньшей мере во второй раз записал себе номер моего банковского счета.

Речь в романе, насколько я помню, шла о человеке, который, старея, терял память. Он уже настолько ничего не помнил, что спрашивал свою дочь, кто она такая, а получив (и забыв) ответ, осведомлялся, кто же тогда он сам, и сидел ночи напролет без сна, мечтая о вещах, не напоминавших совсем ничего. Например, об анемонах в светло-зеленых весенних лесах. У его болезни есть название, которое я забыл. Что-то типа «Шопенгауэр» или «Зонтгеймер». Днем он ходил в кафе и заказывал вещи, которых не существова-

ло уже давно. Так, он говорил: «Двойной цвиккер, пожалуйста!» — потому что это понятие сидело в каком-то уголке его ума с самого детства, — и искренне удивлялся тому, что приносили ему официанты в ответ на это. Иногда они смеялись, и посетители кафе тоже, но это его совсем не трогало. Он ощущал свое родство с древнегреческими стариками, хоть их никогда и не бывало в его родном городе, — они сидели, все в черном, на своих табуретках, склоняясь ниже и ниже, на фоне выбеленной известкой стены, и падали перед ней, чтобы уже никогда не подняться. На Пасху, когда стену приходится красить, молодежь переставляет стариков вместе с табуретками на пару метров в сторону, а потом обратно. Вот и все путешествия, доступные старикам в Греции; кому-то из них при этом удается разглядеть уголок порта, прежде незнакомый, кому-то — окно, где все еще можно увидеть молодую женщину, забыть о которой он пытался целый год.

Так или иначе, но каждый день старик выходил из дому (инстинкт?) и, в зависимости от того, куда он направлялся на этот раз, направо или налево, добирался либо до ресторана «Роза» (если направо), либо до парка (если налево), там он усаживался на скамью и сидел.

Долгое время целью его путешествий, не считая роз, был сам парк. Старик садился на одну из скамеек возле детской площадки и кормил голубей, язык которых со временем научился понимать. И ворковал вместе с ними. Они рассказывали ему о детях прежних времен, а он сообщал им о делах сегодняшних. Держал почтенным мамашам шерсть, которую они перематывали, и позволял им завязывать свои шнурки. Иногда он залезал на качели и смеялся, качаясь, а на глазах у мамаш выступали слезы. (Детство *и в самом деле* может быть раем.) Однажды какой-то мальчик дал ему свой велосипед фирмы *BMX*, и старик прокатился, лавируя меж дубов и рытвин, а потом вернулся. Равновесие он потерял, лишь когда усаживался обратно на скамейку. Его внимание отвлек малыш с кофейного цвета кожей и курчавыми волосами, пытавшийся повторить его пируэты. Часто старик просто сидел и сплетал веночки из маргариток, надевая их всем, кому не лень было подставить свою голову. Его смешили все анекдоты, которые рассказывал один вредный старик, каждый день заново вспоминавший вслух подробности своего детства. Рассказав очередную историю в тридцатый или даже в сотый раз, он наконец и сам не выдержал. Пораженный непосредственностью восприятия своего слушателя, он расхохотался, и оба старика сидели теперь, прыская и хихикая, до тех пор, пока все окрестные мамаши, дети и бабушки тоже не заразились смехом, причин которого не понимали. Однако все они восприняли этот смех как подарок небес. Анекдот же, над которым они смеялись, был древен как мир: речь в нем шла о двух бегемотах, в библейские времена вышедших из Древнего Египта: они долго бродили по пустыне, следуя ведшей их звезде, и наконец пришли в Вифлеем, где нашли Марию с младенцем и сказали:

— Вот, мы, три волхва, пришли забрать подарки.

Но однажды старик, придя в парк, вместо того чтобы сесть на скамейку, прошел его весь, и вышел с другой стороны через низенькие ворота, и брел все дальше и дальше, возможно вдохновленный примером тех самых бегемотов. Он брел по узким улочкам, переходя дорогу на красный свет и улыбаясь водителям, которые, глядя на него, выразительно постукивали себя по лбу. Увидев продавца мороженого, он забрал у него порцию пломбира, которую тот как раз собирался дать женщине в небесно-голубой майке. Потом он зашел в кино, где показывали фильм, вдруг представившийся ему самой что ни на есть действительностью. Речь там шла о старике (разумеется), влюбившемся в молоденькую девушку, и они угнали сначала мотоцикл, а потом яхту и высадились на необитаемом острове, где предались страсти прямо на пляже под сенью пальм. Наверху сидели обезьяны, сбрасывавшие на влюбленных кокосовые орехи. Последний орех, упавший, когда хэппи энд был уже близок и музыка перешла в мажор, попал старику прямо в голову, наверняка наперекор замыслу режиссера, ибо в кинозале зажегся свет, как будто кино уже кончилось, и этот удар пробудил в нем усопшую память, и он, с недоумением взглянув на женщину, на которой лежал, поднялся на ноги и без штанов пошел прочь, и его арестовал чернокожий полицейский в блестевшем золотом мундире. По обочинам узких улочек ликовали аборигены в соломенных набедренных повязках, так как дело происходило на Антильских островах, уж не знаю, на Больших или на Малых.

В этот вечер старик сумел добраться домой только потому, что та женщина, у которой он ненароком отнял мороженое, встретила его поздно вечером на берегу озера, где он, подвернув брюки, пытался ходить по воде аки посуху. Пойдя по звуку на плеск воды,

она обнаружила его и отвела домой, потому что работала уборщицей в «Розе» и знала, где он живет. Когда она помогала ему переодеться в ночную рубашку, у него в голове вновь прокрутился весь сюжет фильма, и он по уши влюбился в свою благодетельницу — жаль только, что это чувство, когда она ушла, тут же выветрилось из его памяти.

Его пути-дороги делались все длиннее. Теперь он часто ходил к озеру, а в один прекрасный день даже перебрался на водном велосипеде на другой берег. Крики хозяина велосипедов все удалялись. На той стороне он перешел через железнодорожное полотно, не заметив готардского экспресса, который с ужасным свистом промчался мимо, и очутился в предгорье Альп. Там на холмах паслись коровы, приветствовавшие старика дружелюбным мычанием, а он отвечал им на голубином языке. В тот раз его нашли только к полуночи, когда начался дождь. Он долго сидел на куче бревен, глядя на небо, звезды на котором представлялись ему все более загадочными. Словно они — письмена, которые ему нужно прочесть во что бы то ни стало. Но потом, когда мысли его почему-то были уже далеко от светил, это самое небо вдруг окатило его целым водопадом, и он, с усилием поднявшись на ноги, добрел до деревенского кабачка, посетители которого как раз вели разговор о том, как следует поступать с чужаками, все чаще забредавшими в деревню, — давать им от ворот поворот или попросту убивать. И тут вошел старик — и упал на пол, едва переступив порог, и лежал в луже воды; староста и хозяин кабачка подняли его, уложили на скамью, а потом пришла полиция и обнаружила у него в кармане письмо с именем и адресом, и его отвезли домой, однако на самом деле это были мое имя и мой адрес. Сделав вид, что это его зовут так и что это он живет в моем доме, я поблагодарил честных служак, которые в ответ приложили руки к козырькам и посоветовали мне лучше следить за стариком, иначе его придется отдавать в дом престарелых. Я перевел его наискосок через улицу, туда, где он действительно жил, и в этот раз сам помог ему надеть ночную рубашку. Она была в полосочку. Я выключил свет. Еще немного, и я бы поцеловал его на ночь. Чтобы изгнать чувство, вызвавшее у меня такое желание, я отправился в «Розу» и выпил пару пива.

Зато потеря книги сблизила меня с моим издателем, а его со мной. В одно прекрасное весеннее утро он позвонил и спросил, не хочу ли я прокатиться вместе с ним на велосипеде, и я, заняв денег у хозяина ресторана, купил себе велосипед марки «Мотобекан» — почти такой же, как у издателя, только скоростей у него было целых одиннадцать. И к нему еще облегающую майку с надписью «Панасоник», такие же штаны, черные, с резиновыми растяжками, и шапку с надписью «Ривелла». Издатель мой, заехав за мной в первый раз, был одет таким же образом. Только на майке у него красовалась реклама моих книг. Он ее заказал специально. Одна лишь шапка не имела отношения к нашим делам и рекламировала какой-то банк.

Мы поехали по Форхштрассе, по направлению к Пфанненштилю; издатель ловко и весело чесал впереди, я за ним, как за лидером, старательно крутя педали. Он был в такой отличной форме, что время от времени издавал ликующие вопли, тогда как я уже у Цумикона был на последнем издыхании. Это не мешало ему на ходу делиться со мной своими ощущениями. В тот первый день его больше всего беспокоило, что издательство слишком разрослось. Ну зачем ему заводить еще телефонный коммутатор и ЭВМ! Когда-то все его хозяйство умещалось в коробке из-под ботинок, стоявшей под кроватью; в ней было *все*: и рукописи, и договора, и калькуляции, и дебет-кредит, ибо он с самого начала решил держать все у себя, чтобы быть в курсе.

— Книга! Что книга? — вопил он, делая такой рывок, что я слышал его из уже почти неразличимого далека. — На что мне книга без человека? — Прыгая в седле, он бросил свой велосипед прямо навстречу ели, ветви у которой были опилены чуть ли не до самой верхушки. — Без его страстей? Печалей? Радостей? Без уходящего времени?

При этом он взглянул на меня, как будто это я писал такие книги, и поболтал ногами в воздухе, чтобы дать отдохнуть мышцам. Отказавшись от борьбы, я рухнул в траву. Мое сердце колотилось как бешеное, перед глазами крутились звезды, а он кричал:

— Есть одна вещь, которую я никогда не прощу никакому автору: если он будет говорить о себе! Разве *я* когда-нибудь говорю о себе?!

Я энергично замотал головой. Меня мучила нестерпимая жажда. Далеко внизу сияло озеро Грейфен, полное вкусной, прохладной воды, голубое, разукрашенное белыми парусами. Издатель обеими руками уперся в ствол ели и оттолкнулся от него, полный сил, а потом начал разминать попеременно то левую, то правую ногу.

— Я согласен, бывает, — проговорил он, еще слегка задыхаясь, — что книгу не покупают. Однако я терпеть не могу жалоб. Для меня главное — сохранять дистанцию.

Выпустив из рук ель, он вернулся к своему велосипеду, отцепил от рамы металлическую флягу и отвинтил крышку.

— Иногда мне хочется сократить все до такой степени, чтобы можно было работать только с *одним* автором, — признался он и сделал несколько долгих глотков. — Ты даже не представляешь себе, какое барахло мне приходится читать каждый день.

— Хм, — признался я.

— И знаешь что? — Он нагнулся ко мне, словно хотел открыть какую-то немыслимую тайну. — Я не выношу авторов-плебеев. От которых воняет потом, или у них на роже полно прыщей. Тут я просто из себя выхожу.

Завинтив флягу, он снова укрепил ее на раме и вскочил в седло. Он улыбнулся, и я улыбнулся в ответ. Но мне ли он улыбался? У него была круглая рыжая голова, из которой, спрятавшись глубоко под козырьком шапки, глядели на мир сияющие, как прожектора, глаза, а еще были широкая грудная клетка и икры, тугие мышцы которых напоминали заплетенные косы. Может, он допинги употребляет? Я и ахнуть не успел, как он уже скрылся за поворотом. Кряхтя, я поднял велосипед и вставил ноги в зажимы педалей.

Теперь оно и в самом деле пошло как-то легче, возможно, потому, что мы уже забрались достаточно высоко и воздух больше не оказывал сопротивления. Подражая издателю, я начал прыгать в седле, раскачиваясь из стороны в сторону. Я жал на педали так, что только шины скрипели. На перевале мне ударил в лицо ветер, примчавшийся с альпийских вершин, сверкавших в прекрасной дали. Я тоже издал радостный вопль, совсем как мой издатель час тому назад, так что он даже обернулся с удивлением, летя далеко впереди меня вниз, в долину. При этом он чуть не врезался в ограждение и лишь в самый последний момент сумел заложить такой крутой вираж, что чуть не распростерся на асфальте. А потом исчез. Распевая песни, иногда даже отпуская руль, я тоже летел по направлению к Цюрихскому озеру и наконец домчался до Кюснахта, где мой друг уже ожидал меня, стоя на берегу и бросая крошки лебедям. Я встал рядом. Далеко на той стороне озера виднелась вилла, в которой Томас Манн когда-то написал, кажется, «Хозяина и его пса» и еще много других шедевров. Возможно, он тоже стоял там так вместе со своим издателем, глядя на этот берег озера, где нас двоих едва можно было разглядеть.

Дальше в моей книге шла речь о том, что этот старик, у которого не было имени (я просто усаживался каждый вечер в беседке у себя в саду и записывал в коленкоровую тетрадь все, что успевало прийти в голову за день), однажды-таки действительно перешел через озеро аки посуху, прямо как Иисус, о котором он тоже ничего не помнил. Была очень холодная зима, и озеро замерзло. Дети ездили по нему на коньках, и влюбленные пары гуляли, ежась в шубах и прижимаясь друг к другу. В этот раз старик забрел еще дальше, миновав деревенский кабачок, его приютивший, под настороженными взглядами крестьян, ворошивших парные навозные кучи, и двигался все вперед и вперед, пока через несколько суток не добрел до какого-то городка. Что-то, скорее всего голод, толкнуло его зайти в первый же ресторан. Ресторан оказался не просто рестораном, а настоящей меккой гурманов, готовых заказывать места в нем в любое время дня и ночи и ехать любое количество километров, чтобы отведать совершенно необычайного лука, обжаривать который таким способом умел только его хозяин. Недаром «Мишлен» вывесил над этим рестораном втрое больше звезд, чем понадобилось волхвам, чтобы найти известные ясли в Вифлееме. Всего этого старик, конечно, не знал, когда усаживался за столик. Он был настолько утомлен, что не заметил коричнево-грязного следа, оставленного им на чистейше-бежевой ковровой дорожке. Зал был почти пуст. Все столы были накрыты белыми скатертями, на которых стояли красные цветы и чистые тарелки в окружении бокалов тончайшего стекла. По углам стояли пальмы, а одно из окон было превращено в аквариум, где плавали пестрые тропические рыбки. Старик занял место за столиком и стал ждать. Прождав достаточно долго, он откашлялся, потом еще раз и наконец позвал: «Официант!» Одна из дверей открылась, и появился официант, судя по всему итальянец, ибо, дойдя до старика, он остановился, пораженный, и пробормотал: Dio mio![1] И исчез. Через несколько мгновений его сменил довольно массивный человек — сам хозяин, легендарный хозяин — с полотенцем через руку, которым он то и дело утирал пот с лица,

[1] О боже! (*итал.*). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

красневшего тем более, чем ближе он подходил к столику. Итальянец встал, заинтересованно наблюдая, но в то же время готовый ретироваться в любой момент к стойке бара. Завидев хозяина, старик поискал у себя в голове название того картофельного блюда, хорошо прожаренного, и к нему прилагались еще такие замечательно пахнущие штучки — вот чего ему бы хотелось отведать в этот вечер. И не нашел, и лишь сидел, глядя на стоявшие перед ним чистые пустые тарелки.

Тем временем хозяин, дойдя до его столика, упер руки в боки и воззрился на старика узкими маленькими глазками. Следы остались не только на полу, но и на скатерти, где под руками старика все тоже намокло и смялось.

— Ну и что же это здесь происходит? — строго произнес хозяин. Старик поднял голову.

— Погодите, так это вы? — удивился хозяин, раскрывая глаза во всю ширь. — Боже мой, неужели это вы?

— Я не знаю, — признался старик.

— Вот уж сюрприз так сюрприз! Нет, правда. Тому уж, пожалуй, тридцать лет, как вы заходили к нам в последний раз, а то и все сорок.

— Я есть хочу, — сообщил старик.

— Видите, как у нас тут все изменилось?

Официант-итальянец почувствовал себя увереннее и приблизился.

— Отца это, конечно, раздражает, — продолжал хозяин. — Но тут уж ничего не поделаешь. Он вел дело, как ему хотелось, а теперь его веду я — как я хочу. Он пошел в «Звездочку», потому что там подают его любимые сардельки с жареной картошкой. И ему пора бы уже вернуться.

— Пусть будут сардельки с картошкой, — вздохнул старик. — Это то что надо. Одну порцию, пожалуйста. И одно пиво.

— А у нас уже закрыто! — ответил хозяин. — Кроме того, вы ведь не заказали место заранее. У нас все расписано до самой весны.

Наш старик кивнул и собирался уже попросить у хозяина хотя бы кусочек хлеба или соленых палочек, но тут дверь опять открылась, и вошел другой старик, почти точная копия его самого, согбенный человечек в неглаженых брюках, к тому же без башмаков, потому что их он нес в руке. Заметив пятна на ковре, он поднял глаза.

— Вот так встреча! — обрадовался он. — Это ты, старина? — Он осторожно подошел ближе, словно опасаясь, что призрак вдруг исчезнет. — Смотри-ка, это и в самом деле ты! Сколько лет, сколько зим!

— Вообще-то, — пробормотал старик, — я не очень хорошо понимаю, кто вы все такие. Мне просто очень хочется есть.

— Дитер! — возопил старый хозяин много громче, чем нужно, и обернулся к молодому. — Что ты стоишь как истукан? У нас здесь ресторан или что? Джованни, шевелись, бегом на кухню, принеси что-нибудь перекусить моему другу — subito, subito[1]!

Официант взглянул на молодого хозяина, тот кивнул, и Джованни помчался на кухню. Сам же хозяин стоял, будто окаменев.

— Ты что, в самом деле ничего не помнишь? — спросил отец, усаживаясь за столик и все еще держа в руке башмаки. — Как мы были мальчишками? У меня еще всегда рот был открыт, вот так, — старик показал. — Я — Франц!

— Франц, — повторил наш старик. — Спасибо тебе, Франц. У меня и вправду что-то такое с памятью. Если я через пару минут забуду, как тебя зовут, ты, пожалуйста, не обижайся, Ханс.

— Франц, — поправил Франц.

Они умолкли. Молодой хозяин тоже молчал, по-прежнему не шевелясь, хотя мокрая шляпа старика лежала на одной из сверкающих тарелок, а его грязная куртка — на розовой обивке стула. Только когда Франц решил было поставить свои башмаки на ковер, сын шагнул вперед и забрал их у отца. Некоторое время, не разгибаясь, он глядел на пятна грязи, потом снова выпрямился. Старый хозяин тяжело дышал сквозь свои слишком тесные бронхи. Джованни наконец вернулся с кухни и поставил на стол тарелку с куском сыра, несколькими ломтями копченой ветчины, двумя редисками и пучком петрушки. Рядом поставил корзиночку с двумя тоненькими ломтиками белого хлеба.

---

[1] Живо, быстро (*итал.*).

— Да, такие вот дела, — произнес Франц. — Ешь. От этого любая память поправляется, даже самая слабая.

Обернувшись к сыну, он подмигнул ему. Тот с явным облегчением направился к буфету, Джованни — за ним.

Старик ел.

— Так ты правда все забыл? — воскликнул Франц, вновь воодушевляясь. — И ту тетку в доме напротив? Которая вечно спотыкалась о провода своей сигнализации? Этот трезвон среди ночи, и как потом приезжала полиция?

— Забыл, забыл совершенно, — согласился старик, уплетая редиску вместе с хвостиком.

— И как мы лазили в каменоломню? И на нас потом свалилась лавина то ли гальки, то ли песка, или еще какой дряни? И засыпала нас по горло, так что мы думали, что уже не выберемся оттуда живыми?

— И это забыл.

— И как твоя мамаша...

— Все было очень вкусно, — сказал старик, отодвигая пустую тарелку. — Большое спасибо.

— Значит, совсем ничего не помнишь?

— А зачем? — спросил старик и встал. — Мне пора. Спасибо за угощение, Фриц.

— На здоровье, — отозвался Франц. Он проводил друга до двери, за которой на улицу спускалась длинная лестница. По обеим сторонам от нее была терраса с деревьями, их ветви были укрыты мягкими белыми одеялами, потому что шел снег. По улице проехал трамвай и скрылся в снежном вихре. Дома с балконами, похожие на обувные коробки, и теннисный корт. Стая ворон пронеслась через метель и расселась по перилам террасы.

— Вон там мы с тобой распивали яблочный сок, который я стащил из буфета. А когда с трамвая сошел мой отец, нам пришлось прятаться под стол, и мы сидели со стаканами в руках, почти не дыша.

Вороны повернули головы, точно прислушиваясь, а старик продолжал, щурясь, вглядываться в метель.

— Когда нам с тобой еще нельзя было пить пиво, его подавали здесь, на террасе, за двадцать сантимов, — продолжал он. — Теперь Дитер подает его тут только в виде исключения, если приезжает какой-нибудь старый клиент. Пиво у нас нынче датское, особого сорта, и стоит оно восемь двадцать.

— Вот как, — сказал старик.

— Ты мой самый лучший друг из всех, какие у меня были, — произнес Франц. — Я долго не мог примириться с мыслью, что больше никогда тебя не увижу.

Старик подал другу руку, и они сошли вниз по лестнице. Снег валил тоннами. Ступив на тротуар, старик обернулся, но увидел лишь рой снежинок.

Вышло так, что наши велопрогулки, мои с издателем, оказались прерваны на несколько недель. Он ездил на книжные ярмарки в Дакар и Нью-Йорк, где отказался от международных прав на Хемингуэя, хотя наследники готовы были уступить ему их почти даром, потому что желал сохранить свое реноме. «Старик и море» был для него кичем последнего разбора, его тошнило от этой супермужской психологии, от стрельбы из ружья по львам, не вставая с постели, на которой герой только что привычно отымел женщину, очередную медсестру-социалистку. Мой издатель рад был вновь очутиться дома, и однажды утром — в пять тридцать, если уж быть точным, когда ясный солнечный день еще только выбирался из своей кроватки, — он уже звонил в дверь, за которой лежал я, без женщины и без ружья, из которого, если бы оно у меня было, я не задумался бы выстрелить по нему. Но ружья не было, и я вскочил на ноги и впустил своего друга. На нем снова был такой же велосипедный костюм, только майку с рекламой моих книг сменила другая. Имя нового автора скрывалось под рюкзаком, туго набитым провизией, виднелось только заглавие книги — «Жизнь Эрики Папп», вот как она называлась, а ниже ярко-розовыми буквами значилось, что ее начальный тираж составил восемьдесят тысяч. На моей майке ничего подобного написано не было. Меня это так возмутило, что, заваривая кофе, я машинально выбросил в мусорное ведро свежую заварку, так что пришлось все начинать сначала. Издатель тем временем листал мою записную книжку,

в которую я заносил свои самые сокровенные мысли. Я подогрел нам на двоих три отыскавшихся в холодильнике замороженных пирожных, и издатель слопал два из них, хотя незадолго до того, отчаянно жестикулируя, уверял, что плотно позавтракал. Он рассказывал о Нью-Йорке. Жил он в «Уолдорф-Астории», что его поначалу злило, потому что он мечтал попасть в отель на 42-й улице, где все писатели мира жили хоть раз месяца по два. Однако там то ли не было свободных мест, то ли этот отель вообще снесли — короче, издатель в конце концов примирился со своей «Уолдорф-Асторией», причем настолько, что почти перестал выходить на улицу. А к нему и так все приходили сами — и эта хемингуэевская банда (само собой), и масса других издателей, потому что за его издательством числилось наибольшее число книг, месяцами занимавших первые строчки в тамошних списках бестселлеров (моя книга в их число не входила). Как-то раз он даже ездил кататься на велосипеде вместе с Эдвардом Гори и старшей сестрой Вуди Аллена: у них у обоих были мощные горные велосипеды, которые там называют mountain-bikes, и несколько лет регулярных туров до Вермонта и Мэйна. Издателю же удалось достать лишь старый дамский велосипед, который, естественно, далеко не соответствовал его обычным требованиям; впрочем, в этот раз он был как бы в отпуске. Причем Эдвард Гори был не просто в хорошей, а в потрясающей форме и так чесал по улицам Гарлема, что издатель и Вудина сестрица очень скоро потеряли его из виду, и им пришлось дожидаться его в каком-то кабачке, а в кабачках там сидят одни черные. Зато с ними обходились как с иностранцами из каких-нибудь экзотических стран, то есть чрезвычайно предупредительно, и они с удовольствием пили пиво «Рут». На этом его велопрогулки, собственно говоря, и закончились; Гори вернулся лишь поздно вечером, уже во фраке из отливающего красным шелка, и был очень сердит. Издателю он заявил, что больше никогда в жизни не будет делать ему суперобложек. Однако через некоторое время конфликт как-то сгладился (сестрицу вскоре забрал от них приехавший за ней братец), и рано утром они рука об руку уже стояли на том самом пирсе, к которому в свое время причаливали «Юнайтед Стейтс» и «Куин Элизабет», — издатель мой по-прежнему в велосипедном костюме, а его приятель во фраке.

— Еще кофе? — спросил я, зевая. — Или, может быть, пива?

— Лучше иди одевайся, — ответил издатель. — Пора ехать. Времени-то уж вон сколько.

Я поплелся в спальню и натянул на себя велосипедные шмотки. В оставленную мной уютную впадину на постели забралась кошка и теперь дрыхла, довольно урча. Я погладил ее и прикрыл, так чтобы видна была только голова. И пошел обратно на кухню. Издатель продолжал изучать мой дневник. Завидев меня, он вскричал:

— Значит, поехали!

И, вскочив, помчался на улицу.

В этот раз нашей целью был Альбис, гора, в списке велосипедных маршрутов Швейцарии отнесенная к третьей категории и не представляющая для профессиональных гонщиков особого интереса. Мой издатель тоже не высказал никаких опасений — знай себе летел как перышко, минуя дорожные зигзаги, все выше к перевалу, — тогда как я, да еще в эту чертову рань, спекся почти сразу, так что мне приходилось то и дело останавливаться, чтобы передохнуть, а под конец меня вместе с велосипедом подсадил крестьянин, ехавший туда же на мотокосилке с пустым прицепом. Издатель тактично не заметил моего опоздания — или, возможно, и в самом деле не обратил внимания на трагизм моего положения, сидя промеж ромашек высотой почти в человеческий рост и доедая содержимое своего необъятного мешка со жратвой. Теперь мне наконец удалось прочесть на его майке имя автора книги: Сесиль Паваротти. Так это баба! Я рухнул в траву, горько сожалея, что не взял с собой никакой провизии. Издатель же, запихивая в рот плитку шоколада, сказал что-то, чего я не разобрал, хотя мне, впрочем, и не до того было, потому что я начал рассказывать ему, как Гёпф Вайленман, если я верно помню, или, может быть, это был Эмилио Крочи-Торти, в каком-то богом забытом году, кажется в 1948-м, проиграл главный заезд Лугано-Хур только потому, что не успел взять пакет со жратвой в Сан-Бернардино. Голодная гонка! После этого я умолк и уставился на кролика, медленными скачками перебиравшегося через шоссе. Ромашки, среди которых мы сидели, были мокры от росы.

— Германисты все — дерьмо, — заявил мой издатель с набитым ртом. — Строят из своего ремесла науку, тогда как оно должно быть наполовину ремеслом, наполовину искусством.

Он поднес ко рту свою походную фляжку. Когда он пил, у него прыгал кадык. Напившись, он удовлетворенно вздохнул.

— Между тем все предельно просто, — продолжал он, завертывая крышку. — Тут одно из двух: либо книга мне нравится, либо нет.

— Мне никогда не удавалось дочитать «Recherche» Пруста до конца, — признался я. — Кто такая Сесиль Паваротти?

— Я рад, что ты спрашиваешь об этом!

Мой издатель, как саламандра, скользнул ко мне и положил свою правую руку на мою левую.

— Поверь, я действительно благодарен тебе за то, что ты не избегаешь этой темы. Я знал, что у тебя хватит мужества!

Я немедленно почувствовал себя жалким и покинутым, хотя издатель держал мою руку как в тисках. Он прямо-таки сиял:

— Она работала над этой книгой десять лет! — воззвал он к облакам, плывшим средь голубых небес. — В ней все правда, до последней запятой!

— Неужели? — произнес я, срывая маргаритку. Я пощекотал ее стебельком божью коровку, но улетать той решительно не хотелось.

— Она пишет о женщине, ставшей министром в одной маленькой европейской стране. По долгу службы ей приходится бороться с финансовой мафией, однако ее муж — заправила той же мафии. Он держит в руках все нити, и бедная женщина чувствует себя марионеткой.

— Что-то я такое слышал, — вспомнил я. — У нас ведь была похожая история. Как же ее звали, ту женщину-министра?

— Тс-с! — замахал руками издатель. — Книга проходит по разряду fiction[1]. Ты только представь: если бы речь шла о настоящей Швейцарии и если бы ты, скажем, путем ясновидения узнал хотя бы десятую долю того, что происходит в высших эшелонах власти, и записал хотя бы сотую долю, а я издал бы эту твою книгу — полиция явилась бы к нам в тот же день!

— Это точно, — согласился я.

— Я уволил всех своих сотрудников, — продолжал он, затягивая лямки опустевшего рюкзака. — С *одной* книгой я и один сумею управиться. Все опять будет как раньше. Коробка из-под ботинок по-прежнему стоит у меня под кроватью, и автор будет ходить ко мне прямо домой.

— Авторша, — уточнил я.

Проигнорировав мое замечание, издатель продолжил свои рассуждения.

— One book, one editor[2], — значительно произнес он, — вот сегодняшний лозунг издателей в Нью-Йорке. Ну, тут тоже, конечно, кому как повезет. Лорду Уайденфелду, взявшемуся печатать автобиографию Мерил Стрип, повезло не в пример больше, чем Макгроу и Хиллу, ограничившимся последними словами Чарлза Буковски.

— Выходит, теперь везде так? — спросил я. — Все сокращаются?

Издатель кивнул.

— Ну, ты-то найдешь другого, я в этом уверен. За тебя я спокоен. Такой мощный профессионал, как ты, без издателя не останется.

Я тоже кивнул, однако все же усомнился:

— Но если у них *у каждого* осталось по одному автору... Или авторше...

— Мой милый, *совсем* без проблем жизни не бывает, — напомнил он, вскакивая на велосипед. — Поехали!

И рванул вперед так, что только покрышки задымились. Некоторое время я глядел вслед его удаляющейся заднице, а потом подобрал камешек, бросил в пасшегося рядом кролика и попал. Позже, уже возвращаясь домой, я долго не мог понять, отчего у меня на глазах выступили слезы: от озона или от встречного ветра.

Подъехав к дому, я увидел, что издатель сидит у меня на крыльце. А я-то думал, что уже никогда его не увижу! Ему просто не хотелось возвращаться к себе в издательство, и он решил выпить у меня пива. Пока я отпирал дверь, он полез куда-то в трусы и достал

---

[1] Беллетристика (*англ.*).

[2] Одна книга, один издатель (*англ.*).

влажную от пота фотографию женщины лет тридцати, светловолосой, красивой. Единственным недостатком Сесиль Паваротти было то, что взгляд ее глубоких глаз предназначался не мне. Мы поднялись по лестнице и снова уселись за кухонный стол.

— «Жизнь Эрики Папп»! — заявил издатель, доставая стакан и наливая в него пиво. — Вот то, о чем надо писать сегодня. История потрясающая! Заглавие, кстати, придумал я сам. Эрика Папп — дочь миллионера, детство и юность прошли на берегу Цюрихского озера, на той самой южной стороне, где владелец какого-нибудь «форда-фиеста» выглядит на фоне других жалким оборванцем. Виллы со спускающимися к озеру садами, кругом цветущие кустарники, выписанные откуда-нибудь с Бали или с Сицилии и рассаженные лучшими архитекторами. Собаки. У родителей Эрики тоже была собака, огромная овчарка, что на самом деле довольно странно, потому что фамилия у них была какая-то еврейская: то ли Гирш, то ли Блох. Родом они были из Германии, но швейцарское подданство у них древнее нашего с тобой, вместе взятых. Когда Эрика потом стала министром полиции, то гоняла инородцев и в хвост и в гриву. Вот о чем ты мог бы написать, между прочим.

Я кивнул, не испытывая никакого энтузиазма, потому что голова у меня кружилась от голода. Пооткрывав по очереди все шкафы на кухне, я обнаружил там лишь зубочистки да использованную алюминиевую фольгу. В холодильнике стояла одинокая банка варенья.

— В Швейцарию они переселились вовсе не из-за Освенцима, — продолжал издатель. — Это было в первую мировую войну... Хотя что я говорю, еще задолго до нее. Юная германская демократия тотчас же после 1848 года сделала все возможное, чтобы отравить евреям жизнь, однако в конце века они все еще имели право жить где хотят. Так было и с ее родителями. Они жили в Мюнхене и торговали солодом. Фирма разорилась, и один из ее двоюродных дедушек церемонно, точно прусский офицер, простившись с женой и детьми, удалился к себе и застрелился. Родной дедушка Эрики собрал все, что осталось от фамильного имущества, и перебрался в Цюрих, где снова открыл торговлю солодом, очень скоро приобрел дом, а потом и машину, один из первых автомобилей в городе, — почтенный старичок за рулем в шоферских очках и крагах. Первая мировая, черт знает почему, взвинтила спрос на солод, и в двадцатые годы весь наш Swinging Zurich[1] только и делал, что хлебал темное пиво, а что было после изобретения овомальтина[2], и описать невозможно. Дедушка стал поставщиком Двора. Вот скажи, — произнес издатель, осуждающе глядя мне прямо в глаза, — почему *ты* никогда не пишешь ни о чем историческом, памятном, предпочитая какие-то фантазии?

Я начал было складывать в уме ответ, что, мол, фантазия и есть выражение самого памятного, однако для издателя этот вопрос был чисто риторическим, и он продолжал свою речь. Я успел услышать лишь, как он помянул отца Эрики, и тут у меня случился приступ кашля. От дикого голода воздух попал мне в пищевод. Я кашлял и давился, а издатель все говорил, и когда я опять смог слушать, отец Эрики, очевидно, уже вырос, купил машину, женился, поселился в той вилле над озером и успел родить Эрику, потому что в этой сказке «Тысяча и одной ночи» в изложении моего издателя она весело бегала по чудесным садам, слушая пение пчел, а где-то далеко бушевала вторая мировая война, и в нашей стране царили такие мир и благоденствие, каких никогда не было прежде.

— To make a long story short[3], — продолжил издатель, для которого Нью-Йорк давно стал второй родиной, — ее папаша записался в протестанты, как и положено цюрихцу, и предался свободомыслию, приняв сторону партии фабрикантов текстильных и прочих машин, которая во время войны только потому не стала фашистской, что ее члены de père en fils[4] унаследовали уверенность в том, что демократия в том виде, как у них в стране, представляет собой идеальное государственное устройство для желающих без помех зарабатывать деньги. Им фюрер был не нужен, тем более *такой*. Их прадеды были революционерами, вырвавшими свою демократию из цепких лап господ с напудренными косичками, и они настолько гордились этими своими предками, что могли теперь позволить себе консерватизм, ибо то, чего они хотели, у них уже было: свобода. *Их* свобода. Эрика выросла, стала совершеннолетней и поступила в университет. Ее папаша надеял-

---

[1] Развеселый Цюрих (*англ.*).
[2] Овомальтин — искусственный солод.
[3] Сократим эту долгую историю (*англ.*).
[4] От отца к сыну (*франц.*).

ся, что она скоро выйдет замуж за кого-нибудь из сыновей его новых знакомых. Однако она была девушка своенравная, насчет морали у нее тоже были свои взгляды, и курс права сумел лишь заполнить ее досуг до того момента, пока ей не встретилась большая любовь. Училась она на отлично, делала доклады, в которых так изящно цитировала своих преподавателей, что те были в полном восторге от ее ума. Она ни с кем не испортила отношений. Незадолго до лиценциата[1] она познакомилась с господином Паппом, ставшим ее судьбой, — юношей из вовсе не богатого дома, который только что закончил учебу и сделался правой рукой председателя той самой свободомыслящей партии (ее еще называли «либеральной»), — адвоката, так и не избавившегося от своего деревенского вида, несмотря на костюмы, пошитые у дорогого портного, и продолжавшего зарабатывать деньги (и немалые) консультациями для крупных промышленников. Юноша, хотя ему было тогда не больше двадцати пяти, быстро превратился в «движущую силу» всех политических группировок, обещавших защитить собственность и видевших в каждом детском велосипеде, выкрашенном в красный цвет, угрозу с коммунистического Востока. Об этом Папп, которого близкие звали Эрнст, своей возлюбленной не рассказывал (хотя это, как выяснилось позже, нисколько ее не пугало); он водил ее на всё более длительные и всё более ночные прогулки, закончившиеся однажды судорожным стягиванием трусиков под черными деревьями зоопарка. Потные от счастья, оба лежали рядом, тяжело дыша. Теперь и у них была своя тайна. Следующей весной они поженились. Был ослепительно-белый праздник в замке на воде, со ста пятьюдесятью гостями в вечерних платьях и смокингах. К ним заглянул на пару часов даже один госсоветник, подаривший новобрачным ящик шампанского «Эгль». Эрика тоже вступила в либерально-демократическую партию и согласилась вести общественную работу. Эрнст был очень ею доволен. Босс только что назначил его своим первым заместителем, ответственным за работу с объектами и субъектами в странах, где трудно копить деньги. В самом деле, какой южноамериканский промышленник, если он, конечно, не спятил, станет заводить банковские счета в песо или крузейро? У Эрнста была секретарша, часто красневшая и опускавшая голову на руки, лежавшие на столе. Эрика догадывалась, что между ними не все так просто, и однажды, в дождливый Новый год, когда гости наконец разбрелись по машинам и уехали, они остались втроем наедине посреди полопавшихся воздушных шариков и бумажных гирлянд. У Эрнста хватило сил на обеих, и обе женщины преисполнились к нему любовью, превратившей их в любящих сестер. Когда Эрнст уснул, они принялись зализывать раны друг другу. После этого они уже не расставались. Одевались одинаково и говорили о своем муже и возлюбленном, как если бы он был их общим ребенком. Впрочем, круги, в которых они вращались, видали многое, поэтому их альянс деликатно терпели. Эрнст, от которого эта страсть женщин тоже не укрылась, обманывал их во время командировок в Милан, происходивших все чаще, где он уже во второй свой приезд познакомился с одной графиней, взявшей инициативу в свои руки и привязывавшей его к кровати ремнями из черной кожи. Покрасневшими глазами смотрел он на ее сверкающие зубы и плеть, терзавшую его плоть. После третьей командировки ему пришлось давать объяснения обеим дамам, откуда у него полосы как у зебры. Эрика разрыдалась, а секретарша отнеслась ко всему вполне серьезно, решила попробовать сама и чуть не до смерти забила бедного Эрнста. После этого рыдали уже все трое; в конце концов они поклялись никогда больше не делать ничего подобного. Несколько недель они любили друг друга как все нормальные люди. Однако любовные утехи с графиней имели еще одну подоплеку: графиня была связана с мафией, желавшей таким образом поощрить юного цюрихского адвоката как делового партнера. На всякий случай все было заснято на пленку. Узнав об этом, Эрнст провел бессонную ночь, мучаясь жуткими страхами и строя планы, как ему скрыться вместе с Эрикой и Хайди, чтобы начать новую жизнь где-нибудь на берегу теплого моря, в соломенных юбочках и чистоте душевной.

Издатель стянул с себя мокрое от пота трико и сидел теперь с голым торсом. Хотя тренирован он был отлично, с живота все-таки свисали две толстые складки. Его жена умела великолепно готовить, а профессия до сих пор обязывала закатывать роскошные обеды с многочисленными авторами. Теперь он позволял себе лишь dîners intimes[2] с

---

[1] Лиценциат — степень, присваиваемая выпускнику университета в католических странах.
[2] Интимные ужины (*франц.*).

Сесилью, так что жирка должно было поубавиться. Точно прочитав мои мысли — несомненно, он умел читать их, — он заявил, что хочет пиццы, и мне пришлось бежать в «Мигрос» напротив. Пока пицца сидела в духовке, он рассказывал, что Сесиль тоже неплохо ездит на велосипеде. Они уже предприняли с ней пару велосипедных прогулок. Она даже на Клаузен сумела въехать, ни разу не сойдя с седла. Сегодня он тоже заезжал сначала за ней, однако, просвистев условленную мелодию под окнами ее спальни, увидел лишь зевающего мужчину, вышедшего на балкон в лиловом шелковом халате и совершенно не похожего на ее мужа, зато в точности походившего на владельца издательства «Лединг-Ровольт».

— А этот Лединг-Ровольт умеет ездить на велосипеде? — спросил я, доставая пиццу из духовки. Я разрезал ее на две половинки.

— Я бы не сказал.

— Тогда зачем он ей вообще нужен?

Он недоуменно пожал плечами и вонзил вилку в свою половинку. Я тоже усиленно чавкал. Пицца подгорела снаружи и осталась ледяной внутри. Но издатель был настолько погружен в свои мысли, что этого даже не заметил. Я думал о том, что Лединг-Ровольт, как и весь его гамбургский клан, наверное, тоже ест на завтрак стеклянные рюмки; однако Сесиль-то была не стеклянная — во всяком случае, хрупкой ее назвать никак нельзя было, — так что навряд ли стоило опасаться, что он вырвет этот лакомый кусочек из рук моего друга.

Издатель жевал все медленнее, сплевывая непрожеванное в ладонь. Я пододвинул ему пепельницу, и он вытряхнул туда остатки пиццы. Кивнув мне, он продолжил свой рассказ:

— Миланские друзья Эрнста Паппа все чаще стали появляться в сопровождении партнеров из Ливана или Боливии. Они прилетали на один вечер, *бизнес-классом*, причем, возможно, теми же рейсами, которыми, сидя где-нибудь в хвосте, прибывали их несчастные курьеры, и, пока хозяева ужинали вместе с Эрнстом, те тужились в клозете какого-нибудь дешевого пансионата, пытаясь освободиться от тридцати трех презервативов с героином, проглоченных незадолго перед вылетом. Почему ты *об этом* никогда не пишешь?

— Когда-нибудь, — ответил я раздраженно, — я заверну такой сюжет, что ты сто раз пожалеешь, что решил его напечатать.

— Жалеть будет твой новый издатель, — возразил старый, вставая. — Почему бы тебе, кстати, не обратиться к Ровольту?

Открыв шкаф, он начал рыться в моих рубашках, пока наконец не выудил одну — это была красная блузка моей жены, из чудесного шелка, та самая, которая осталась у меня после ее ухода и в которую я зарывался лицом еще вчера вечером. Возможно, на ней остались следы моих слез. Моя жена, Иза, любит теперь одного детского хирурга, который к тому же еще скульптор-любитель, так что блузка ей ни к чему, потому что ей приходится день и ночь стоять на постаменте, подняв руки над своей чудесной головкой, чтобы он мог высекать ее из мрамора. Сейчас эта блузка была на издателе. Там, где когда-то были ее груди, ткань тоскливо провисала.

— Сними! — велел я. — Сними сейчас же!

Вскочив со стула, я ухватился за дорогой шелк. Рука у меня дрожала.

— Спокойно, спокойно, — проговорил издатель.

— И книги у меня гораздо лучше, чем у твоей Сесили! — прокричал я. — Пусть они кажутся вымыслом, но каждое слово в них выстрадано, это память о том, что было на самом деле! А на ту требуху, которой кормит читателей эта Паваротти, даже мартышка не польстится!

— Даже собака.

— Что?

— Обычно говорят: «даже собака», — поправил меня издатель.

Я дернул его к себе через стол, чтобы высказать ему все, и порвал блузку. Она разорвалась на три примерно равные части, одна из которых осталась у меня в руке, а две другие повисли на издателе. Я собрал их воедино и бросил в мусорное ведро. Швырнул издателю свою старую футболку. Он натянул ее. Она была ему узка и коротка.

— Нет, тебе не к Лединг-Ровольту надо обращаться, а по меньшей мере к Амману, — пробурчал он. — Тот, по крайней мере, хоть здоровый мужик.

— Извини, — пробормотал я. — Нервы ни к черту. Попробовал бы ты сам потерять рукопись, над которой работал четыре года.

— Ничего, старик, — издатель перегнулся через стол, хватая меня за руку. — Я все понимаю.

— Расскажи лучше, чем закончилась твоя история, — попросил я.

Мне было все равно. Моей книги больше не было. Мне хотелось очутиться за столиком у себя в саду и попробовать опять поймать тень моего героя, все еще блуждавшего в круговороте метели, ведь без меня ему оттуда не выбраться. Я взял пепельницу с остатками пиццы и поставил ее в мойку.

Мы стояли у крыльца. Я переминался с ноги на ногу, а мой друг примеривался вскочить в седло. На нем снова было его трико, только надетое наизнанку, так что имя его подружки зеркально просвечивало сквозь тонкую ткань.

— Я напишу свою книгу заново, — сказал я. — Важное не забывается. Только мелочи.

— А если наоборот? — глубокомысленно отозвался он.

Так и не поняв, что он хотел этим сказать, я решил все-таки подать ему руку. Он пожал ее.

Я поднялся по лестнице и пошел мыть руку, пролежавшую в его клешне чуть ли не вечность. Томатный соус и моццарелла. В пепельнице лежала фотография Сесиль Паваротти. Вытерев насухо, я стал вглядываться в нее, в эти красивые глаза. Спустился в «сад», точнее, палисадник, засыпанный галькой, потому что поставить там, например, стол для пинг-понга было бы уже негде. Прямо передо мной высилась стена соседнего дома, такая голубая, что я не раз принимал ее за небо. Некоторое время я просто смотрел на далекий горизонт. Потом открыл тетрадь в коленкоровом переплете и несколько минут раздумывал, о чем же я собирался вспомнить.

Чтобы вновь найти своего старика, мне понадобилось гораздо больше времени. Я сам так заплутал в этой метели, что уже плохо представлял себе дорогу обратно. Старик кружил вокруг купы деревьев, густо осыпанных снегом, — то ли елок, то ли пальм. Лицо его сияло. Нет, он не кружил, а скорее приближался к ним по спирали, находя прежнее место, но тут же отправляясь искать другое. И место и человек с каждым новым кругом были иными. Вскоре он оказался совсем близко к деревьям. Сейчас у него нигде и ничто не болело или, возможно, боль так ровно распределилась по всему телу, что он не ощущал разницы. Что сны, что песок. Мужчина или женщина. Волк или ягненок. С такой манерой ходьбы он, естественно, продвигался вперед очень медленно, так что я без труда поспевал за ним, однако он ни разу не сбился с шага, даже когда дошел до поленницы, сложенной из высохших трупов. Помахал рукой мальчишке, сидевшему на вишневом дереве и плевавшему в старика косточками. В меня он тоже плюнул. Описав изящную дугу, косточка пронзила меня насквозь и застряла где-то в позвоночнике. Позже, когда солнце уже растопило снег, врач во всем белом объяснял какому-то юнцу, что «с таким сердцем этот ваш пациент долго не протянет». Старик, проходя мимо, пожал ему руку. Он нюхал цветы на ходу — то ли синеголовники, то ли горечавки. Что-то такое, давно вымершее. Опять сплел веночек из ландышей, однако на этот раз сам надел его, недооценив при этом размеры своего черепа настолько, что венок лежал на нем, как на блюде.

— Как это называется, — вдруг бросил он через плечо, — когда мгновения следуют друг за другом одной сплошной чередой?

Только теперь до меня дошло, что он все время знал о моем присутствии.

— Привычка! — крикнул я в ответ. — Это называется «привычка»!

Погладив двух мурлыкающих кошек, самочку и кота, он взял и связал их хвостами, так что, если бы не я, они и до сих пор бегали бы по кругу. А он все брел себе между какими-то тетками и племянницами, и ему это почему-то нисколько не вредило. Как же безобразно устроен мир! Через метр — горы пластиковых пакетов, и на каждой возвышается очередной папаша, комментирующий дочери вид с горы Пилатус на Кап-Сунь-он. Однако именно эти детки, глядящие на все столь скептически, только и могли разглядеть бедного старика, на этот раз вздумавшего вскарабкаться на нечто вроде откоса Айгернорда, причем безо всяких страховок и страха. Я — у зрительной трубы на террасе ресторанчика, полного туристов. Он то и дело оказывался в каком-то другом месте — то на склоне Шпинне, то на Хубеггедрее, то где-нибудь на самой вершине. А я ищу его дву-

мя тысячами метров ниже, среди коров. Слежу за ним по ходу обычного маршрута — и обнаруживаю на снежной поляне, куда он нечаянно съехал на заднице. «Выше меня все чисто, покойников нет, — докладывает он, смеясь. — В остальном тоже все в порядке». Однако в этот раз я следил за ним в оба. Больше никаких самостоятельных походов! Потом он стоял на коленях посреди разъеденных озоном сосновых иголок, шаря руками в гниющих подушках мха.

— Ты знаешь, что такое альпийская роза? — спросил он.

Я отрицательно покачал головой.

— А ты слышал, как я пою?

— Вот уж чего не слышал, того не слышал!

— Так я же у себя в голове пел! — обрадовался он.

Он побежал по высокой траве, гнувшейся под порывами берегового бриза, — нет, он гнал перед собой волны моря, поднимая пену, как дельфин. И по-прежнему, кстати, двигался по своей спирали. Вот почему — а я-то, дурак!.. — он таскал меня за собой по горам. Другие бы, увидев, как он кинулся с кручи, сразу бы сбавили темп и прежде всего посмотрели, куда его несет. Я попробовал сделать так, когда он был в воде и махал мне, однако тут же промок и запутался в каких-то водорослях. Еле вынырнул, хватая ртом воздух. Поверхность воды блестела черной нефтью. А он скользил навстречу солнцу, оставляя за собой небесно-голубую спираль. И действительно в обнимку с дельфином, общаясь с ним на его чирикающем языке. Под конец — только крохотный силуэт. Если бы я потом не встретил его в театре, где ставил «Смерть Дантона», то, наверное, забыл бы о нем. Премьера уже началась, и в зрительный зал я вошел с небрежностью фаталиста, знающего, что теперь от него уже решительно ничего не зависит. Видел лишь ноги своих актеров, белые лосины Дантона и босые ступни какой-то женщины. Марии, хоть она и из другой оперы. Старик — я видел его со спины — свешивался вниз с ложи просцениума в окружении двух дам, тоже смотревших вниз, причем одна из них тоже была нагишом. Он сделал глоток из коричневого пузырька с рыбьим жиром. Вдруг та из дам, которая была нагишом, перескочила через парапет и с шумом рухнула куда-то далеко вниз. Я в ужасе рванулся вперед, на ее место, и заглянул в яму, где неподвижно лежала на спине нагая, а старик рядом со мной, вытянув длинную руку с бесконечным пальцем, коснулся ее соска — и, смотри-ка, она зашевелилась! Он взглянул на меня с какой-то хитринкой.

— Скажи, ты Бог? — обратился я к старику.

Однако прежде чем я дождался ответа, он уже умчался — старый гном, под руку с одетой, — и я увидел, как оба, точно психи, съезжают с горки и исчезают в глубине театральных кулис. Потом спектакль как-то добрался до конца и завершился смертью Дантона. Оглушительные аплодисменты. Как же я теперь доберусь домой один? Я долго пробирался ощупью сквозь какое-то голубое ничто — наверное, небо. Иногда самолеты. Один раз помахали дети из окон. Я уже привык ходить по облакам — это так же странно, как ходить по батуту. Куда же теперь? Все направления выглядят одинаково. Лишь в одной стороне — грозовой фронт и молнии, летящие вниз. Ветром меня понесло туда, и очередной разряд сбросил меня на землю. Промоченный дождем, я лежал посреди камней. Какой-то пес дергал меня, перетаскивая то туда, то сюда. Но голос его хозяина уже приближался, одышливый; это был старик. Он выглядел как античный пастух, и был им, и нес меня на руках. Сидя среди своих овец, он растирал меня, пока я не высох; это было место, где позже построят Дельфы. Произрастали колючки, пахло лавандой, шуршали ящерицы. Кругом жили духи — Оракул-то еще не возвели, и им не надо было прятаться. Никто не приходил за ответами на вопросы. Еще не было того знания, которого сегодня уже нет. Любое открытие вызывало восторг. Я разглядывал жука, блестевшего, как зеленое золото. Остальные — нимфы, гномы — тоже смотрели завороженно. Впрочем, нас скоро отвлекли еще не виданные цветы и новые сверкающие камешки. Небо тоже было совсем новым. Воздух, еще никогда никем не дышанный, и вода, которую мы пили впервые. У старика была флейта с пятью тонами. Он заиграл, и оказалось, что больше и не требуется. Нам вообще ничего не требовалось, у нас все было. Юный Филемон обожал малышку Бавкиду, закрывшую глаза от счастья. Духи пытались подражать им, но эта тайна рода человеческого была им недоступна. Нам пришлось уходить, лишь когда на холм пришли люди, одетые по-городскому — в кожаные сандалии, в белые полотнища через плечо, — и принялись мерять землю. Мы укрылись в скалах. Старик метнул камень и

убил геометра. И все-таки вскоре тут возник круглый храм с колоннами, и мы ушли. Голоса верующих, завывавших в экстазе, удалялись. Мы потеряли друг друга, потому что духам двигаться было легче. Нимфы, нырнув в ручьи, тоже исчезли, превратившись в воду. Гномы, уцепившись за лапы коршунов, заскользили с вершины вниз по склонам и, вопя, свалились в кусты дрока. Лишь я да еще почему-то старик брели вперед из последних сил. Скоро мы, шатаясь и то и дело теряя друг друга из виду — я рыдал, он бранился себе под нос, — погрузились в какую-то голубизну, которая из воздушной с каждым шагом становилась все более плотной, почти бетонной. Я рвался вперед в полном отчаянии. Внезапно плотная материя отпустила меня, и я, падая, рухнул на гальку, которую, подняв голову, признал своей собственной. Рядом лежал мой же перевернутый стул. И росла моя жимолость, порядком подсохшая, потому что еще зеленые дочерние побеги получали слишком мало питания от материнских. А вот и мой садовый столик. Я кое-как встал на ноги и поставил стул. Сел. В коленкоровой тетради было полно записей. Куда же делся старик? Я был настолько не в себе, что стал звать его, правда вполголоса, но достаточно громко для того, чтобы из окна выглянула соседка, хорошенькая менеджер по рекламе. Я помахал ей рукой и пошел в дом. Не желая еще раз пережить такое, достал из подвала велосипед и поехал, впервые в жизни один. Едва успев пару раз нажать на педали, я почувствовал себя лучше, а когда взобрался на Дольдер, то дышал уже совсем свободно.

И поехал дальше, на юг. Нигде так хорошо не думается ни о чем, как на велосипеде. Я думал об Изе, своей жене, и это было не больно. Вскоре после ее бегства я подкрался к дверям студии, где она обитала в окружении мешков с гипсом, серая, пыльная и счастливая, валяясь на раскладушке и раз в три дня приводя в порядок сбитые простыни. «Нескафе», залитое горячей водой из-под крана. Прижав ухо к двери, я хотел услышать, как она дышит. Но не услышал ничего, совсем ничего, и представил себе, как оба любовника, узнав меня, заулыбались и прижали пальцы к губам. Это он, гадюка, ничего, он скоро уйдет. И я ушел. Конечно, в студии попросту никого не было: в три часа пополудни любовник был на работе, оперировал больных детей. Что делала Иза, мне было неизвестно. В мое время, когда мы любили друг друга, когда я еще не ездил на велосипеде, она служила библиотекаршей в Центральной библиотеке и занималась тем, что переводила рукописи Конрада Фердинанда Майера на микрофильмы. Майера она терпеть не могла и с удовольствием переключилась бы на Готфрида Келлера. Но им уже занимались другие. Я влюбился в нее, когда разыскивал — не помню уже зачем — документы по истории немецкого свободомыслия, и однажды, будто случайно, проводил ее домой после работы и сказал ей об этом, а она бросилась мне на шею и поцеловала, и остаток ночи мы провели в кустах сирени. Было лето. Вообще-то она тогда еще жила с каким-то специалистом по Шторму, настоящим гунном, нежноголосым: он иногда подходил к нашей двери, легонько стучал и шепотом звал Изу. Мы не шевелились, даже если кофе в чашках остывал окончательно. Таяли в глазах один у другого. И смеялись, когда он наконец уходил. Все было замечательно. До тех пор, пока однажды вечером я не нашел на кухне записку, из которой и узнал эту новость. Я видел работы ее нового друга. Я бы сказал: это нечто, — если бы на свете не было Джакометти. У Джакометти его глиняные человечки годами выходили не больше горошины, даже если он начинал лепить из центнера глины. Однажды он явился к своему менеджеру, достал из кармана спичечный коробок и сказал: вот моя новая выставка. Статуи Изиного нового друга были бронзовые и очень тяжелые.

Сам того не заметив, я проехал далеко мимо Хура и взбирался теперь по кручам Сан-Бернардино. Всеальпийское пастбище, и на нем коровки, коровки. Прохлада. Переключив скорость повыше, я двинулся вперед довольно быстро. Обогнал других велосипедистов-любителей, которые, как собаки, бегущие мимо своего разоряющегося на цепи собрата, похоже, меня даже не заметили. На перевале я окунул голову в ручей и помчался вниз, во все более теплые слои воздуха, в котором скоро запахло пиниями. Вдоль дороги появились пальмы и олеандры. На пути то и дело попадались озера, а в туннелях, грубо высеченных в скалах, меня сбивали с ритма лужи и осколки камней. В ресторанчике, состоявшем из одного-единственного столика на тротуаре, я съел сандвич и выпил

[1] Дерьмовый берег (*исп.*).

лимонаду. Возможно, я стремился в Фельтлин потому, что именно в той когда-то прекрасной долине Готфрид Вайленман, о котором я уже рассказывал, задал на одном из прежних «Тур де Сюис» такой темп, что обе тогдашние велозвезды, Коппи и Бартали, не сумели перестроиться, когда на подходе к Бернине их подсек Гуго Коблет, дружок и сообщник Вайленмана. Я рассказывал эту историю много раз, однажды даже Изе.

— Все твои любимцы занимались спортом! — объявил я, заметив ее поскучневшее лицо. — Гёте бегал на коньках, а Кафка гонял на мотоцикле.

Так или иначе, а Гуго Коблет рванул вперед так, что каштаны вдоль дороги так и полетели, и произошло это на том самом месте, где я сейчас находился. Как он выглядел, ему было наплевать, и он, раскрыв рот, все пер и пер к далекому перевалу. Там, наверху, он обгонял их уже больше чем на три минуты. Все сильнее проникаясь его ощущениями, я уже воображал за собой плотную массу отставших. Пару каких-то местных, обогнавших меня, я не стал принимать во внимание. У Приюта, а это как-никак 2300 метров над уровнем моря, перед глазами у меня замелькали звезды, и мне пришлось присесть на пару минут. Вечер и в самом деле близился, во всяком случае, солнце уже заходило. Ледники пылали. А с Гуго дальше вот что было. Ему, как и мне, пришлось взбираться на Юльер, а это круча хоть и короткая, но крутая ужасно. Коппи и Бартали тем временем успели отдышаться и нагнали одну минуту, но главное — Гуго забыл о Фердинанде Кюблере, своем сопернике, который всю гонку шел в одиночку, сцепив зубы, и в Бивио был уже так близко, что тот мог и обязан был его заметить. В Тифенкастеле он совсем догнал его, и к финишу они, в отличие от меня, пришли вдвоем — финиш был в Хуре. Ферди пришел первым, опередив Гуго на полколеса, и Гуго плакал, так и забыв поблагодарить бедного Гёпфа Вайленмана, который приехал спустя час тридцать, через три минуты после контрольного свистка. Я ехал по рейнской долине. Стояла ночь середины лета, и хотя у нас не Швеция, где солнце в это время совсем не заходит, однако и в Маланс е, и в Майенфельде плясали девушки — под деревьями, на которых сияли гирлянды электрических ламп. Ветер доносил музыку. Под Керенцербергом я заметил впереди себя издателя. В первый момент я решил, что это галлюцинация, потому что вид сзади у всех издателей совершенно одинаков. С другой стороны, на ягодицах стояли его инициалы, слева большое «P», справа такое же «R», фосфоресцируя, как задние фонари. Он был не один, а вертелся вокруг какой-то девицы, смех которой долетал и до меня. Выжав из себя, в который уже раз, последние силы, в Нидерурнене я опознал их. Это действительно был мой друг. У женщины были светлые волосы и защитный шлем. Сесиль? На ее майке не было никакой рекламы, и штаны тоже были обыкновенные, черные. Ноги красивые. Хотя никто из них ни разу не обернулся, они прибавили ходу, едва я успел сократить расстояние между нами до десяти-двенадцати метров, так что я мог лишь гнаться за ними, изо всех сил стараясь не отставать. В Веденвиле часы на колокольне пробили полночь, час духов, которые тут же принялись танцевать на лугах, как светлячки. Но Сесиль на них даже не взглянула. Издатель тоже умолк и сосредоточенно ехал теперь за ней след в след. Я пристроился за ним, двигая ногами, как в трансе. У Бельвю мы встали на красный, тяжело дыша, рядом, и даже не поздоровались. Хуже всего был подъем по Ремиштрассе. Так как я был уже не в состоянии сам искать дорогу, то так и доехал с ними до издательства — старой виллы на Бёклинштрассе, — пристроил свой велосипед к Сесилину и след в след пошел за ней в дом. Мы все еще как бы не замечали друг друга. Я сидел в какой-то большой комнате, ничего не видя, а где-то далеко лилась вода. Потом я проснулся на диване, в одних трусах, мокрый, а рядом на коленях стояла Сесиль, стирая с меня горячим полотенцем дорожную пыль. На ней был лиловый халат, а шлема больше не было. Ее длинные волосы щекотали меня, когда она наклонялась. Издатель, в джинсах и рубашке, сидел за письменным столом, наливая себе пива. Я сел.

— Привет! — обрадовалась Сесиль Паваротти.

— Где я?

— В хороших руках. — Она улыбнулась издателю, и тот довольно ухмыльнулся в ответ.

— Еда готова.

В самом деле, на низеньких столиках, за которыми обычно велись ожесточеннейшие дебаты о процентах за уступку прав третьим лицам, стояли три тарелки и сковородка с дымящейся яичницей. Были пиво и салями. Хлеб, хрустящий хлеб. Я ел, как голодающий, так быстро, что издателю вмиг остались одни крошки. Сесиль черпала ложечкой

йогурт. Я выпил две бутылки пива. Наконец отвалился — счастливый, сытый, обессиленный.

— Он затерял мою книгу, — сообщил я Сесили. — Остерегайтесь.

— Мою он нашел, — сказала она.

Издатель подлил нам пива. Он сделался как-то меньше ростом, утратив облик титана, и, когда пил, походил на умиротворенного Будду. Я тоже успокоился и рассказал о своем чудовищном велопробеге по югу.

— Пожалуй, — закончил я, — я опишу жизнь Готфрида Вайленмана. Расследую каждый его шаг.

— Неплохо, — поддержала меня Сесиль.

— Полный бред, — отозвался издатель.

Сесиль поднялась на ноги.

— Пошли спать! — она зевнула.

Издатель тоже встал. При этом он смахнул со стола солонку и, нагнувшись за ней, испустил радостный вопль:

— Да вот же она!

Опустившись на колени, он потащил из-под ножки стола пачку исписанной бумаги.

— Стол шатался, теперь я вспомнил!

Вызволив рукопись — и порвав при этом титульный лист, — он вручил ее мне. Пока я листал ее, он смотрел на меня, сияя, по-прежнему стоя на коленях. От титульного листа остался только кусочек с заглавием: «Огненная книга». Остальное, в том числе имя автора, было оторвано. Мой роман отнюдь не был огненной книгой. Но хотя рукопись сразу показалась мне чужой — бумага пожелтела, точно пролежала под столом годы, — он сунул ее мне под мышку и вышел вон. Уже пахло утром, и на деревьях запели птицы.

Не успел я сделать по прохладной гальке и пары шагов, как вдруг из кустов, жутко, как какой-нибудь гном, прямо на меня выскочил молодой человек с прыщавым лицом и выпученными глазами.

— Вы издатель? — выдохнул он.

Я помотал головой.

— Моя фамилия Мюллер, — хрипло зашептал он. — Ойген Мюллер. Я послал вам рукопись, моя фамилия значится там на титульном листе, понимаете? Но ведь я живу в Герлиберге. Я там всех знаю, и меня все знают, поэтому фамилию нельзя оставлять ни в коем случае, ибо в моей книге каждое слово — правда, я описал все в точности, все это болото, это поганое болото, если вы понимаете, о чем я говорю.

— Я понимаю, — сказал я. Я так устал, что даже этот странный герр Мюллер сразу бросил меня и скрылся в кустах:

— Спасибо!

Когда я отъезжал, из дома вышла Сесиль. На ней снова была ее велосипедная амуниция. Издатель махал из окна, один черный силуэт. Я не разглядел, помахала ли Сесиль ему в ответ. Сам я помахал. Внизу в саду прыгал через кусты прыщавый автор, образина, пытаясь привлечь внимание издателя, но, видимо, безуспешно, потому что тот закрыл окно и выключил свет.

До дому я добрался слишком измученным, чтобы заснуть, и стал перелистывать незнакомую рукопись. Машинка такая же, как у меня, шариковая, только с другим шариком. Кое-где поправки от руки. Лишь красный карандаш издателя ни с чем нельзя было спутать. В начале он вычеркивал немного, в середине больше, а в конце было вычеркнуто почти все.

Выйдя следующим утром из дома, я наткнулся на старика, совершенно древнего, цеплявшегося за решетку окна моего сортира; лицо желтое и в пятнах. Изо рта текли слюни. Он кашлял. От него воняло. Глаза были закрыты, и между ними пролегали глубокие борозды. Он дрожал и стонал. Умирал. Подъехала «скорая» — ее вызвал хозяин «Розы», — и двое санитаров уложили старика на носилки. Он тянулся руками — скорее, костями — к решетке, говорил что-то. В редких волосах застряла увядшая маргаритка. Когда «скорая» отъезжала, его череп еще раз показался в заднем окошке. Он пытался кричать беззубым ртом. Широко открытые глаза казались белыми дырками. Потом он потерял равновесие, и «скорая» исчезла за поворотом. От его запаха, еще висевшего в воздухе, мне сделалось так тошно, что я вернулся в дом.

Взяв рукопись, я уселся за садовый столик и начал читать. «Это история мальчика, — прочел я, — который был настолько несчастен, что ему приходилось быть счастливым каждое мгновение, чтобы выжить. Он смеялся громче всех. Знал больше всех анекдотов. Сильнее всех верил, что мир — это дом родной. И больше всех мучился от страхов, которые считал приключениями, чтобы ему было что преодолевать».

История была явно не моя. Я чувствовал себя несчастным лишь оттого, что не умел распознать своего счастья. Солнце сияло мне с утра до вечера, однако мне казалось, что на свете должно быть место, где оно светит еще ярче. Я принадлежал к людям, которых мамочки носят на руках годами, а когда *однажды* их руки разжимаются, мы, набив шишку, так потом и ноем всю жизнь. Почему бы мне разок не почитать книгу, в которой ничто меня не касается? Хотя бы начало, чтобы забыть о старике, где-то сейчас умиравшем. Тем более что издатель то ли из любопытства, то ли из великодушия почти ничего не вычеркивал на первых страницах.

«Мне было шесть или семь лет, — читал я дальше, — был летний вечер, и я стоял на краю пшеничного поля, среди ромашек, мака и васильков. Было жарко. Луг на горном склоне, по которому ко мне сбегала тропинка, был охвачен огнем. Языки пламени поднимались по обеим сторонам тропинки, ведшей вниз, мимо старого дачного сарая, к лесу, за которым лежала деревня, последние дома которой доходили до самой границы. Я охотился на жуков или играл собственными гениталиями; во всяком случае, я был один. Из леса выбежал человек. Я тотчас же понял, что бежал он не ради своего удовольствия, как иногда бегал я, оттого что жизнь прекрасна. Кроме того, было слишком жарко, чтобы бегать. Он бежал, прижав руки к телу, все приближаясь ко мне, стоявшему совершенно неподвижно, а потом свернул к горящему лугу. Теперь я мог хорошо разглядеть его. Он был юн, почти еще мальчик, задыхался, и в глазах его была паника. По ту сторону границы шла война. Иногда, идя вдоль мотков колючей проволоки, мы затихали и со страхом вглядывались в деревья на той стороне. И как это они там растут, удивлялся я, совсем как у нас! И анемоны. Стоило порыву ветра подхватить их, когда они еще были семенами, и они выросли бы на нашей стороне.

Не успел человек-мальчик исчезнуть за завесой дыма, как из леса появились еще двое, и тоже бегом. Одного из них тянул за собой рыскающий пес, опустив к земле морду. Второй, худой, с ястребиным носом, пыхтел, отставая от них все больше. Тот, с собакой, был одет в нечто вроде мундира и держал в руке револьвер. Господи, пробормотал я, сделай так, чтобы они его не поймали. Человек с револьвером крикнул: «Куда?..» — и я показал рукой, где скрылся беглец. Собака уже знала это и без меня. Вскоре преследователи также пропали в дыму горящего луга.

В поле я, кстати, незадолго до этого нашел плащик своей сестры, промокший узел, и подумал сначала, что нашел ее самое. Хорошенькая маленькая девочка, которую все любили. Подняв мокрое тряпье, я двинулся навстречу дыму, за которым был мой дом. Мне было страшно, потому что тропинка была всего лишь узенькой дорожкой посреди бушующего пламени, пышущий жаром канал, затянутый дымом. Однако в этот момент мимо меня протарахтела телега, которой правил мой отец, спустив ноги по обе стороны от оглобли. Рядом сидела сестра, цепляясь за отца и визжа от удовольствия. Две или три собаки тоже сидели в телеге, и еще пара бежала следом. Обогнув дачный сарай, они свернули на боковую дорожку и исчезли. Почти сразу же вслед за этим я услышал треск и грохот и понял, что они не вписались в поворот и опрокинулись в крапиву.

Мать была на кухне. Она двигалась среди белой мебели молча, но приплясывая, и губы у нее шевелились, точно она напевала про себя какую-то песенку — наверное, веселую, потому что время от времени она улыбалась. Ее глаза увидели меня, не узнавая, она быстро повернулась, так что широкая юбка разлетелась. На ней не было чулок, и я увидел плотные загорелые икры. Когда я сунул плащик ей в руки, она принялась плясать с ним, точно это был человек. Плащик и в самом деле ожил, замахал голубыми рукавами, и вода стекала с него на каменные плиты пола. Это было весело, и я захлопал в ладоши, желая повеселиться вместе с нею. Но мать вдруг бросила плащик в мойку и укусила себя за палец.

— Мама! — крикнул я. — Это же я!

Но у нее были дела поважнее. Я был ловок, как горностай или белка, так что мигом взобрался на окно и пошел, балансируя высоко над землей — голубые холмы на горизонте, а над ними высокие облака, — по узенькому карнизу, прижимавшемуся к наруж-

ной стене дома. Я часто проделывал этот трюк. Осы жужжали у меня над головой. По тропинке, еще далеко, поднимались отец, сестра и собаки; отец тащил за собой тележку. Сестра болтала о чем-то, отец терпеливо слушал, а собаки прыгали вокруг них. Вот они все исчезли за углом дома. Успешно пережив свое приключение, я дошел до другого конца дома и, затаив дыхание, заглянул в темное, как зеркало, окно спальни в тот самый миг, когда в дверь вошел отец и, схватив мать за руку, встряхнул ее так, что она напомнила мне плащик, с которым только что танцевала. Отец, с красным (от крапивы?) лицом, открыл ящик комода и так же быстро задвинул его снова. Мать стояла возле постели, глядя на свой кровоточащий палец. Опять обернувшись к ней и подняв было руку, отец заметил меня и шагнул ко мне так резко, что я от испуга свалился в сад. Но тут же вскочил и бросился в кусты прежде, чем окно открылось. Дрожа, я спрятался под иглами какого-то пахшего смолой дерева и лишь теперь заметил, что сломал правую ногу.

Много лет назад отец, однажды проснувшись среди ночи, увидел в лунном свете за рамой этого самого окна силуэт мужчины: карлика, как говорил отец, часто рассказывавший мне эту историю. Тихо перегнувшись с кровати, он потянулся к тому самому ящику, где у него лежал револьвер, чтобы убить вора. Но мать проснулась и закричала: «Что ты делаешь, милый!» И вцепилась в отца. Когда он наконец вырвался к окну, сад был пуст в бледном лунном свете. Выстрелив по кустам пару раз и прислушавшись, но ничего не услышав, отец вернулся к матери, которая была так испугана, что продолжала цепляться за отца и никак не могла успокоиться. Они лежали и охали до самого утра. Днем приезжала полиция, искала следы.

Когда меня зачали, родили и еще носили на руках, я все время был вместе с матерью. Это было чудесно. Солнце сияло. Летали ласточки, жучки ползали по соломинкам, раскачивавшимся перед моими глазами. Земля благоухала. Из окон доносилась музыка. Тогда у нас еще не было собак. В гранитных плитах дорожек поблескивали крохотные кристаллы. От камня исходил жар. Я делал первые шаги — нагишом, широко расставив ручонки, радостно ковылял к матери и прижимался к ней, уткнувшись носом в красную ткань ее летней юбки. Обнимал ее ноги. Все благоухало. Дом был полон женщин, и они подбрасывали меня, клали себе на грудь, валялись со мной в траве или грезили с соломинкой во рту, уложив меня между ног. Смеялись, когда я залезал им под юбки. Убегали, чтобы я ловил их, и быстро сдавались, падая на спину и держа меня, дрыгающегося, в вытянутых руках. Визжали от счастья. Мне доставались тысячи поцелуев. В конце концов я убегал от них к матери, и она брала меня на руки, под свою защиту. Я сидел, как в крепости, и махал этим девушкам, этим женщинам, смеявшимся мне издалека.

Ни одной из них я не забыл. Одна была француженка, толстая хохотушка, которая в разгар хихиканья могла вдруг удариться в слезы. Рыжая, она ходила со мной гулять вдоль колючей проволоки. В тени деревьев было прохладно, а над их вершинами палило солнце. Мы лежали во мху и ели ягоды, и она пела песни, в которых по-французски говорилось про ее жизнь. Однажды с той стороны колючки до нас долетел шорох шагов, и она вместе со мной пригнулась за папоротниками, зажав мне рот. Потом шепотом рассказывала, что через проволоку лезут многие, потому что у нас свобода, а когда пограничники ловят их, то прогоняют обратно. Она жила в деревянной каморке на чердаке, под самой крышей, где было так жарко, что она лежала в кровати нагишом, прикрывшись мокрой тряпкой. Я тоже раздевался и тоже получал маленькую мокрую тряпочку.

Рядом была комната красавицы с медной кожей. Весь день она спала, но вечерами мне разрешалось заходить в ее обитель, где было прохладнее, чем у француженки. Донага она никогда не раздевалась. Носила длинные ткани и сажала меня на колени: пела и качала меня на ноге. Вечером, когда мне пора было спать, она уходила на работу. Она пела в ночном ресторане для взрослых. Надевала черное платье и сверкающие металлом ожерелья. Кольца и браслеты, доходившие чуть не до локтя. Накрашивала глаза, рот и все остальное. Посылала мне воздушный поцелуй на ночь и упархивала, звеня, как закованная в цепи птичка колибри.

Этажом ниже — прямо над нами — жила моя тетка. Она держала кошку и сама была как кошка. Карие миндалевидные глаза. Мы мурлыкали вместе, и она рассказывала мне разные истории, например про мальчика, который отправился искать счастье, и дошел до самого края света, и пошел еще дальше, и когда он, после множества приключений, добрался до самого солнца, то узнал в нем свою мать, которая, сияя, давно ждет его, а с другого края неба ему улыбается отец — луна.

Однако потом женщины из дома исчезли очень быстро, одна за другой, не простившись и не поболтав со мной на дорожку. Никогда в жизни я не переживал большего предательства. Недоумевал, стоя в опустевшей каморке француженки, где на тумбочке все еще лежали обе мокрые тряпки. Певицу увез элегантный мужчина с суровым взглядом, погрузив ее чемоданы со множеством наклеек, с трудом стащенные по лестнице с чердака, на ручную тележку; промурлыкав что-то, она послала всем воздушные поцелуи и забыла меня. Я смотрел, как она уходила, прислонившись к плечу мужчины, везшего ее скарб.

Уехала в конце концов и моя тетка, жившая на втором этаже, и вот тогда я заметил, что в доме жили и мужчины. Отец-то ладно, но на втором этаже вдруг обнаружился еще дядя, оставшийся теперь один, потому что тетке, как выразился отец, надоело это безобразие с пулеметом, который тот держал по праву своей военной должности у себя, как мне помнится, в спальне, откуда простреливалось все поле до самой границы. Он был командиром взвода, приводившего в исполнение смертные приговоры, и боялся, как бы из-за границы не прислали десант выкрасть его, хотя завоевательский задор заграничного соседа ему даже импонировал. Но он любил хвастать, что там его давно занесли в черные списки.

Бродя по лугам, я часто представлял себе, как он держит меня на мушке, следя за каждым моим движением. Он часто носил мундир и выкрикивал команды. Мать тогда ходила на цыпочках и прижимала палец к губам, если я ронял поленья:

— Герман работает!

Отца это возмущало:

— А я что, не работаю?

Но потом отец тоже затихал и зажимал морды собакам, если они принимались тявкать. Он вдруг завел собак, я уж не помню, зачем и почему. Вначале их было всего две или три, совсем маленькие, беспомощные создания, брошенные своими родителями, и без моего отца они просто погибли бы.

Весь день он возился с ними, гладил их. Я наблюдал, стоя где-нибудь в уголке. Часто он водил всю свору гулять. Тогда я следил за ними с крыши, сидя над каморкой француженки, теперь опустевшей. Неужели ее тоже прогнали обратно за колючую проволоку? Отец ходил среди своих подопечных, как святой, а они лаяли и прыгали вокруг его ног. Иногда он зашвыривал в поле палку, и свора, оглушительно гавкая, исчезала в золоте колосьев. Было видно только отца, от пояса и выше. Собаки время от времени выпрыгивали к небесам, как рыбы из волн морских. Из ветки орешника я сделал себе ружье, с которым охотился на птиц, а иногда и на собак, и на отца. Ночами высоко над домом проносились эскадрильи самолетов, с грохотом, нараставшим издалека: он делался все сильнее и сильнее, пока не заполнял все небо от края до края, и затихал, лишь когда я уже терял всякую надежду. Лежал в своей решетчатой кровати с открытыми, остекленевшими глазами. Время от времени хлопала зенитка, стоявшая недалеко от нас, возле радиостанции, на крыше которой был намалеван большой белый крест на красной черепице.

Дядя и мать все время были в саду, потому что сад был величиной с плантацию и весь до последнего уголка засажен овощами. Иногда приезжал солдат на велосипеде, всегда один и тот же, проверял урожай. Отец был занят собаками, и времени для работы в саду у него не было. Поначалу мать с дядей еще звали его на картошку, но он делал все так неловко — то ли притворялся, то ли в самом деле не умел, — что тачка перевертывалась или падала в бак с водой. Во всяком случае, весь сад до самой дальней орешины, с которой осенью сыпались крепкие плоды, был полон бобов, капустных кочанов, гороха, лука, грядок с ягодами, кукурузы. Непролазная зелень. Огурцы — как шланги, тыквы — как турецкие тюрбаны. На подсолнухи мне приходилось смотреть запрокинув голову. В одном из сараев на гвоздях сушилось березовое лыко. Я вдыхал его терпкий запах всякий раз — нет: в тот раз, когда был в сарае и сквозь щелку в стене глядел в помидоры, среди которых на коленях стояла моя мать, запрокинув лицо к небу, точно молилась, держась руками за два помидорных стебля, озаренных ярко-красным, и томатный сок тек у нее по рукам. С ней был дядя, то ли злой, то ли чем-то озабоченный; он тряс ее, держа руками за бедра. Она дергалась в тисках его рук, точно тряпичная кукла. Штаны у него съехали, и когда он поднялся, подвязывая их обратно, мать лежала лицом вниз среди зеленых кустов. Я подумал было, что ей стало плохо, а дядя не сумел ей помочь, однако она тут же поднялась на колени, вполне здоровая, и принялась увязывать волосы. Руки ее были

все в помидорах. Спотыкаясь, я толкнул дверь сарая и бросился к ней, обхватил ее, обнял, прижавшись так сильно, как никогда в жизни. Как же мы смеялись!

— Ну, хватит! — наконец сказала мать. — Откуда ты взялся?

Дядя все это время стоял с лопатой в руке и смотрел на нас.

— Оттуда, — ответил я, — из дома.

— Ну так ступай себе обратно!

— Да он не в себе! — громким рыком выразил свое мнение дядя. — Сразу видно, что он у тебя ненормальный!

— Герман, — сказала мать, — я прошу тебя.

В доме был отец, возившийся с собаками, их было уже около пятидесяти, очаровательнейших существ с обвислыми ушками и розовыми мордочками. Я их тоже очень любил. Не замечая меня, отец забавлялся со своим любимцем, взъерошенным полукровкой, держа его над собой и глядя, как тот дрыгает лапками. Озираясь в поисках помощи, песик заметил меня, и отец, следуя за его взглядом, выпрямился и дал мне огромную конфету, которых у него, несмотря на скудость и военное время, всегда была целая стеклянная банка. В дверь вошла мать, все в том же «рабочем» платье, ноги тоже все в помидорах, и прошла в ванную. Услышав, как полилась вода, я подбежал к двери ванной, но та была заперта, и я ждал, пока она наконец не вышла, завернутая в светлые полотенца, точно сияющая королева.

Так на свет появилась моя сестра Лена, и мы с отцом развешивали над крыльцом полотнище: «Добро пожаловать». Мне было четыре года. Лена выглядела отвратительно, все время плакала и, сморщившись, сосала грудь матери, которой тоже казалась противной. Лишь отцу она нравилась. Я серьезно обсуждал с матерью способы, как нам ее убить, пока та не запретила всякие разговоры на эту тему. Но я вовсе не был чудовищем, это она зря сказала. Я только вспомнил, как отец, еще до того как завел собак, однажды купил в зоомагазине степную лису, а через пару дней отнес обратно, потому что она разодрала в клочья все занавески. Мать же, как я теперь вспоминаю, вообще избегала произносить слово «смерть». Всегда находила какую-нибудь замену или меняла тему разговора.

Позже, когда Лена уже умела ходить, она взяла ее с собой в поле, по которому шла узенькая тропинка. Эта тропинка сокращала путь до железнодорожной станции. Я следил за ними с березы, куда теперь больше любил лазать, чем на крышу. Лена упиралась, и мать тащила ее за собой за негнущуюся руку. Солнце припекало, но на Лене был надет тот самый голубой плащик. Они обе становились все меньше, и вот я уже видел лишь мать. Я соскользнул с дерева, ободрав себе руки до крови, и до их возвращения учился стоять на голове, преуспел настолько, что видел их вверх ногами всю дорогу, пока они шли от ворот сада до двери дома. Лена потеряла плащик. Она плакала, а я дразнился и делал ружейные приемы своей ореховой палкой, пока мать не велела мне прекратить. Потом мы вместе играли, Лена и я, кто первый найдет отца или что-то в этом роде, во всяком случае, надо было залезть в яму и сидеть в ней, сколько выдержишь. У меня это получилось так здорово, что, когда я наконец вылез, торжествуя, на свет божий, никакой Лены нигде и в помине не было. Стряхнув с себя грязь, я побежал в дом. И увидел Лену, которая прыгала вместе с собаками за приманкой, болтавшейся высоко в руке отца.

Теперь же, когда я среди ночи вылез на карниз, в комнате родителей было тихо. Постели казались пустыми. Или там спал только отец? Да, так оно и было, потому что мать проскользнула подо мной через освещенный луной сад, и я тоже спустился по водосточной трубе в траву и стал красться следом за ней — нога моя давно зажила, — прячась в тени кустов и соблюдая дистанцию. Она шла по середине дороги, неся что-то тяжелое. Дорога вела к реке, до которой было около часа ходьбы. Там, взойдя на деревянный мостик, она остановилась, бессмысленно глядя на воду. На перилах лежало то, что она принесла сюда с таким трудом: большой камень, кусок гранита, прежде лежавший возле сарая. Она держалась за него, как за якорь. Наконец пошевелилась и сбросила его в поток. Пошла в мою сторону, да так быстро, что, наверное, увидала меня, я был в этом уверен. Однако она прошла мимо. Она плакала. На следующее утро, когда я проснулся, она возилась на кухне; я помчался к сараю — камня там не было. На его месте было светлое пятно гнили, где копошились черви.

Потом была ночь, в которую я все-таки спал, потому что утром мать исчезла. Мне никто не сказал, куда и почему. Лены тоже не было — наверное, ее в последний момент

забросили на телегу, отъезжавшую при свете луны. Колеса обернули тряпками, чтобы не разбудить меня, и говорили только шепотом. Мать сидела с прямой спиной, без камня, который мог бы послужить ей защитой. Дом теперь почему-то казался пустым, огромным. Отец онемел, разве только лаял иногда вместе со своими собаками. Часами неподвижно стоял у окна, прижимаясь лбом к холодному стеклу и все-таки не видя стекающего по нему дождя; я, само собой, утешал его и кормил собак. Однако они все равно благодарили только его. Я много смеялся и прыгал. Моя жизнь по-прежнему была полна радостей.

Однажды отец усадил меня за собой на велосипед и мы доехали, упав по пути несколько раз, до какого-то большого дома, в саду которого сидело привидение, похожее на мою мать, среди других женщин, тоже с мертвыми глазами. Привидение проплыло вниз по лужайке к нам и коснулось моей головы, но я ничего не почувствовал. Рука была точно из воздуха, или это я сам был из воздуха, или нас обоих не существовало? Отец рассказывал ей о собаках. Я, возбужденно крича, расписывал, как весело мы живем, пока отец не попросил меня говорить потише. Потом мы поехали обратно домой, падая еще чаще, так что руки и колени у нас все были в крови, и снова забыли поесть.

Лена тоже опять была здесь. Ее отсылали к тетке, которая жила теперь в доме на одной тенистой площади в городе и была невероятно счастлива со своим новым мужем. По утрам, когда я вставал, Лена всякий раз поспевала скорее меня и уже лежала в постели отца, объедаясь хлебом с вареньем, пока тот выглаживал щеткой очередного щенка. Завтракать я все равно не любил, так что просто тихонько закрывал дверь.

По какой-то причине между отцом и дядей разыгралась настоящая война. Они стояли на своих балконах, переругиваясь, отец — вывернув шею и глядя наверх, дядя — перегнувшись через перила и чуть не вываливаясь. «Ты — дерьмо!» — кричал отец, а дядя отвечал, что не желает больше делить стол и кров с коммунистом.

Когда отец злился, а теперь с ним это бывало часто, он краснел все сильнее, и пот тек с него ручьями. Забыв даже о своих собаках, он разражался резкими монологами, расхаживая по нашей пустой квартире. Иногда, схватив своего любимца или меня за глотку, так что мы не могли вырваться, он орал, не помня себя, что это старая свинья, извращенец; «это», естественно, был дядя. Это *он* спятил, а вовсе не мы все, и если бы не его важный пост и закадычная дружба с министром юстиции, который еще в начале войны успел нюхнуть этой коричневой мрази, то сидел бы он сейчас за решеткой или в сумасшедшем доме, этот Герман, который на самом деле ни барин, ни мужик[1]. После всего этого несчастный песик, тот самый полукровка, был до смерти рад, когда его наконец отпускали поиграть со мной, и мы носились по полям, пока не падали с ног от безудержного лая и смеха.

Вот так мы лежали на том самом поле, где я когда-то нашел плащик, — только в этот раз нигде ничего не горело, — когда все на той же тропинке, однако теперь со стороны дома, опять появился человек, тоже бежавший и тоже в панике. Приблизившись, он превратился в дядю, но у него было такое лицо, что я едва узнал его. Оно было полно страха. Не заметив нас — мы пригнулись за колосьями, — он завернул за дачный сарай и помчался к лесу. Он еще не успел до него добраться, когда на вершине холма, отчетливо вырисовываясь на фоне синего неба, появилась крохотная собака — одна из наших, потому что следом за ней тотчас же появилась вторая, десятая, а затем и пятидесятая, и посреди этой возбужденной стаи бежал отец, тоже сам не свой, какой-то дикий и злобный. Он тоже быстро приближался, понуждаемый своими питомцами держать такой темп, что у дяди не оставалось никаких шансов. В руке у отца был револьвер. Молча, с открытыми ртами, мы приподнялись в своих колосьях, собака и я, и, вытянув правую руку, я указал отцу, куда побежал дядя Герман. Не знаю, заметил он меня или нет, но, во всяком случае, вся свора завернула к лесу. Я никогда не видал отца таким: он шел убивать. Теперь я разглядел и Лену: она бежала вместе с последними собаками, время от времени падая на четвереньки, и снова поднимаясь, и снова падая. В какой-то миг мне подумалось, что отец так долго выращивал эту свору лишь для того, чтобы однажды она растерзала дядю. Вот уже лес, где едва минуту назад скрылся дядя, поглотил и лаявших животных. Если дядя искал спасения за колючей проволокой, то добраться до нее он ни за что не успел бы.

---

[1] Немецкое Hermann близко по звучанию словам Herr (барин) и Mann (мужик).

Все стихло. Воздух был так недвижим, что какой-то жучок у моих ног, подгрызавший соломинку, производил такой шум, что мы нагнулись посмотреть на него. Его обнюхивала собака, шевелил палочкой я, а он знай жевал себе свой стебелек, на котором гнездилось столько тли, что я так и не понял, что же его на самом деле так привлекло, тля или хворостинка. Когда я опять поднял голову — меня насторожил звук, как будто где-то вдалеке сломали деревяшку, — наши собаки вдруг вырвались вон из леса, и отец с ними, они мчались назад, мне навстречу, теперь сами в панике, потому что в подлеске почти тотчас же появился дядя с ружьем в руке и двумя здоровенными доберманами на длинных поводках. Откуда он взял их? Алкая крови моих родных, они догоняли их; отец и его собачки молча спасали свою жизнь. Они лишь тяжело дышали. Лена опять была последней, то есть первой, кого они разорвут на части. Они взобрались на кручу так стремительно, что ни я, ни мой дружок не успели даже пошевелиться. Карабкаясь изо всех сил, Лена наконец тоже скрылась за взгорком. «Подождите!» — закричал было я, и пес мой тоже залаял. Однако дядя был уже тут, у поворота, и увидел меня, и я с готовностью показал рукой на взгорок, куда и бросились все трое преследователей.

Когда мир вновь опустел, тишины в нем на этот раз не настало; вместо этого из-за взгорка почти сразу донеслись визг и вой, издавать которые могли лишь наши маленькие собачки, да редкий низкий лай доберманов. Раздалось несколько громких выстрелов, должно быть из ружья, и еще несколько потише, из отцовского револьвера. Длилось это смертоубийство целую вечность. Однако наши собачьи голоса звучали все реже, пока наконец не раздался последний, полный неописуемой паники. Однажды я видел снимок обезьяны, пойманной леопардом; обернувшись к своему убийце, она глядела на него, в ужасе раскрыв рот. Так и наш песик, наверное, обернулся в последний миг к убивавшей его псине. А как же Лена? Хлопнул еще один выстрел, то ли из ружья, то ли из револьвера, и все стихло; стало еще тише, чем до катастрофы, ибо теперь умолк и жучок.

Мой пес и я бросились по тропинке в поле. Когда перед нами появилась станция, мы уже настолько пришли в себя, что я снова забрасывал в поле палки, а пес приносил их мне. Ярко-красное солнце опускалось за горизонт впереди нас. Я задумал вместе с псом вскочить на заднюю площадку какого-нибудь отходящего поезда. Мы бы легли на пол и проехали так всю дорогу — для собаки это дело нехитрое, — и никакой кондуктор нас бы не обнаружил. Но на улице перед станцией мой дружок вдруг залился восторженным лаем при виде двух собак, неторопливо обнюхивавших афишную тумбу, — кобелька с шерстью, как проволока, и его подружки, еще меньше ростом, — и вот уже вся троица сбилась в клубок, радуясь встрече после долгой разлуки; они скакали, вопили, смеялись и наконец удалились по широкой аллее, те по бокам, а мой дружок посередине.

Потом я увидел их еще раз, проезжая мимо на поезде и в нарушение всех правил высунув голову из окна. Казалось, что мой приятель им что-то взволнованно рассказывает, а седеющий отец слушает, рассеянно обнюхивая очередное дерево. Мать сидит тут же, двигая ушами. Поезд какое-то время шел навстречу солнцу, окрашивавшему деревянные сиденья в ярко-красный цвет. Однако потом он изменил направление и, со мной на задней площадке, стал удаляться, делаясь все меньше и меньше, по направлению к городу, мерцавшему огоньками на горизонте».

Моих ноздрей коснулся терпкий запах. Соседка, менеджер по рекламе, стояла у себя в саду с граблями в руках: она жгла высохшую траву вдоль стенок канавы. Она помахала мне рукой, и тогда я решился встать и подойти к изгороди. На ней и в этот раз были шорты и майка яркой расцветки, однако на голове был платок, а на ногах — резиновые сапоги. Так она казалась еще более симпатичной. Слегка разбежавшись, я сильным броском отправил рукопись прямо в огонь. В воздухе она распалась, и страницы, точно голодные чайки, разлетелись по всему участку. Некоторые, черпнув огня, тут же взлетали снова и, пылая, пролетали еще несколько метров, чтобы уже черными упасть на землю и умереть. Другим помогала граблями соседка.

— Вы уж извините! — прокричал я.

— Forget it[1], — донеслось в ответ.

Я вернулся домой и закрыл окна. Бросив взгляд наружу, я увидел, что соседка держит в руке измятый листок и внимательно читает. Она медленно стянула с волос платок, и волосы рассыпались, прикрывая ей плечи.

---

[1] Забудьте об этом *(англ.)*.

Не прошло и пяти минут, как в дверь позвонили, и на пороге появились издатель с Сесилью. Он был в белом костюме, не иначе как от Армани или Белеги, она — в летнем платье цвета жженой сиены, которое ей очень шло. Оба таинственно ухмылялись, подхихикивали и наконец, после долгих церемоний, вручили мне толстый, запаянный в пластик «кирпич», на котором стояло имя Сесили, а под ним, солидным тиснением самоварного золота, красовалось уже знакомое мне название: «История Эрики Папп».

— Восемьдесят тысяч экземпляров, и это только первый завод!

Значит, шедевр все-таки вышел в свет. Я с трудом расковырял и наконец стянул пластик и раскрыл первую страницу.

«*Я всегда поражался тем неустрашимым авторам,* — стояло на первой странице, причем такими большими буквами, какими обычно пишут для неграмотных, — *которые беспечно ездят на метро или отправляются в поход по окрестным кабакам, имея при себе рукописи своих шедевров, не запасшись даже вторым экземпляром. Рукописи при этом, разумеется, теряются — их оставляют холодной ночью под неоновыми лампами кафе-мороженого где-нибудь в Нью-Йорке, или они вываливаются из багажника велосипеда...*»

— Это что-то очень знакомое, — не удержался я, оборачиваясь к Сесили. — Неужели это вы написали?

— О, я уже не помню, — ответила та.

— Конечно же, это тебе знакомо! — рявкнул на меня издатель.

— Хорошо, хорошо, — пробормотал я и раскрыл последнюю страницу.

«*Я положил руку ей на плечо,* — прочел я, — *а через несколько шагов и она склонила голову на мое — ростом она была чуть ниже меня, — и я ощутил мягкость ее волос. И мы пошли по этой длинной, прямой как стрела улице, вдоль которой росли тенистые каштаны, навстречу ярко-красному солнцу...*»

— Это уже лучше, — сказал я. — Слегка отдает кичем, это верно, но все равно неплохо. Да и мне незнакомо совершенно.

— Мне тоже, — пожала плечами Сесиль.

— У вас размягчение мозгов, причем у обоих! — констатировал издатель, явно несколько успокоившись. — Без меня вы бы попросту пропали.

— А о чем ваша книга? — Загородив собой Сесиль от моего друга, я заглянул ей прямо в глаза. — Только в общих чертах, конечно.

— Ну, — сказала она, — там у меня много собак. Наверное, пятьдесят или даже больше. Но я писала это десять лет назад, потом отправила рукопись в издательство, так что я даже уже и не помню.

— Всего месяц назад, — вставил издатель, высовываясь из-за ее плеча, — эта вещь еще лежала у меня на столе. Я был в таком восторге, что бросил все и сразу же за нее взялся. Вот, — он указал на меня, — он свидетель.

— Это очень мило с твоей стороны, — ответила ему Сесиль, — хотя, по-моему, ты что-то путаешь.

— Я еще в состоянии отличить одного моего автора от другого. Ты же не станешь утверждать, что между *ним* (опять я!) и тобой нет никакой разницы?

— Нет, не стану, — отозвалась Сесиль, и я увидел улыбку, которой меня она до сих пор еще никогда не одаривала и которой не мог видеть он, потому что стоял у нее за спиной.

— Но ведь и между мной и тобой тоже есть разница, — добавила она, обращаясь уже к нему. И, не дожидаясь ответа, снова мне:

— А о чем *ваша* книга?

— В том-то и дело, — почесал я в затылке. — Тут-то и зарыта загвоздка.

— Собака, — заметил издатель.

— Что?

— Собака, говорю, зарыта.

Издатель опять одержал верх.

— И вообще, — продолжил он, — если книга ничья, то, значит, никто и гонорара не получит. Все величайшие произведения мировой литературы все равно ничьи. Библия, Песнь о Нибелунгах, Жозефина Мутценбахская.

Мы умолкли, глядя в сад к соседке, все еще стоявшей в дыму травы с пачкой бумажных листов в руках. Она настолько погрузилась в чтение, что не замечала язычков пламе-

ни, уже лизавших ее ноги. Когда ей вот-вот пора было обратиться в жаркое, она сделала шаг в сторону, как будто совершенно инстинктивно. Вот она покачала головой, возможно, оттого, что не хватало сгоревшей страницы. Наконец она вздохнула и пошла в дом, унося с собой обугленную по краям рукопись.

— А насчет восьмидесяти тысяч экземпляров, — сказал я, обращаясь к издателю, хотя, пожалуй, и слишком громко, — так я тебе не верю. На это ни один дурак не пойдет. Это ты только так говоришь, для Сесили и для клиентов, а в действительности напечатал пятьсот штук и ждешь, как будет реагировать публика.

— Так ты мне не веришь? — даже обрадовался издатель. — Тогда пошли!

Он сбежал вниз по лестнице; Сесиль и я последовали за ним. От меня до Бёклинштрассе, где было издательство, ходу было минут десять или даже двенадцать, но в этот раз, влекомые издателем, как локомотивом, мы уложились минут в шесть. Когда мы пришли, я хватал ртом воздух, а Сесиль чуть не умирала от жары в своем выходном платье. Покупая эту виллу, издатель заодно приобрел и старую студию художника, давшего улице свое имя, — деревянный ангар таких размеров, что Бёклин вполне мог построить там модель своего «острова мертвых» в натуральную величину, и еще хватило бы места для парочки обнаженных богинь, которых он писал в девяностые годы. Там-то издатель и держал теперь свои тиражи, а поскольку все книги туда все равно не влезали, он пристроил к студии еще нечто вроде силосной башни, отделенной от ангара железной пожаронепроницаемой дверью. Оставив Сесиль на улице, издатель и я чуть не бегом ворвались в это историческое заведение, где между тщательно уложенными штабелями книг стоял еще шкаф самого Бёклина, пыльный, покосившийся деревянный гроб с открытыми дверцами. Он был доверху забит старыми рукописями, тихо загнивавшими в нем, числом, наверное, в несколько тысяч.

— Это мой мусорный ящик! — крикнул на ходу издатель. — Сюда я складываю рукописи, из которых уже ничего нельзя сделать.

Мы вошли в новую пристройку. Горы книг, глядеть на которые приходилось задрав голову. Издатель указал на ту, что выглядела мощнее других: вот они, знаменитые восемьдесят тысяч! Сумасшедшая куча бумаги, испорченной типографской краской.

— А где доказательство, что это действительно Сесилина книга? — спросил я, чтобы сдаться хотя бы не сразу.

Ухватившись обеими руками за один из экземпляров, издатель крепко потянул его к себе и выдернул. Передал мне. Пока я листал его в последней, отчаянной надежде придраться хоть к чему-нибудь, он смотрел на меня взглядом триумфатора. Не замечая — хотя в супермаркетах недаром никто не вытаскивает из горки нижние консервные банки, — что все восемьдесят тысяч книг угрожающе накренились. Прежде чем я успел крикнуть «берегись!», они обрушились прямо на нас. Я спасся, совершив дикий скачок в сторону, а издателя, так ничего и не понявшего до последнего момента и глядевшего на меня с победоносной ухмылкой, эта книжная лавина с грохотом погребла под собой. Грохот был так силен, что я даже не расслышал его крика — если он, конечно, успел прокричать что-либо. Сесилины книги забаррикадировали путь настолько, что мне лишь с большим трудом удалось открыть дверь в студию. Как и при обычной лавине в наших горах, здесь тоже понадобились бы спасатели, собаки и сотни помогающих рук. Тихонько прикрыв за собой дверь, я прошел через безмолвную студию, на торцевой стене которой заметил старую палитру — краски на ней слились в один общий темно-зеленый тон или, может быть, темно-синий.

Я был уже почти у выхода, когда мой взгляд вновь упал на шкаф с рукописями. Не знаю почему, но я вдруг вернулся к нему и вытащил первую попавшуюся, лежавшую на самом верху. Еще не успевшая пожелтеть, она была, можно сказать, совсем свеженькой, только заглавие было зачеркнуто красным карандашом издателя. Впрочем, разобрать было нетрудно: «Правда о Герлиберге». Или что-то в этом роде, может, и об Эрленбахе. Автором значился Ойген Мюллер, сюжет же, насколько я мог понять, читая по диагонали, был как раз тот самый, который издатель излагал мне после нашего с ним второго заезда. Во всяком случае, там фигурировали некий Фриц и некий Эрнст, и некая Эрика сделалась министром и вляпалась в историю с коррупцией. Только конец был другой: свой конец издатель, вероятно, присочинил сам, вдохновленный ездой на велосипеде. У Ойгена Мюллера оба политических преступника спокойно доживают до глубокой старости, понемногу проедая свои миллионы, и завтракают на террасе виллы на берегу

озера, в мрачном настроении, сетуя на загнивание общества, в котором только и остались что одни черномазые да наркоманы. Как могла рукопись, вызвавшая у издателя такой восторг, вдруг оказаться в его мусорном ящике? Я знал ответ, но не хотел себе в нем признаться, потому что мысль о судьбе *моей собственной* рукописи, отданной в руки погребенного друга, вызывала мучительную боль.

Я вышел на воздух. Сесиль по-прежнему ждала у ворот.

Сидя на невысокой каменной стенке, она болтала ногами, с закрытыми глазами улыбаясь вечернему солнцу. Платье из шелка темно-охряного цвета шло ей гораздо больше, чем велосипедная амуниция.

— Эй! — осторожно крикнул я.

— Ну наконец-то! — воскликнула она, открывая глаза и спрыгивая со стенки. — А где же Пауль?

— Это я расскажу вам позже. — Я вытолкал ее за ворота. На улице не было ни души, стоял чудесный летний вечер, увенчанный синим небом, подпираемым траурными бёклиновскими кипарисами. Именно здесь, в этих зеленых кущах, он выдумывал свои южные пейзажи и ловил ускользающих цюрихских нимф.

— «Воспоминания — вот единственный рай, из которого нас никто не может изгнать», — процитировала Сесиль.

— Не помню, кто это сказал.

— Ах, какая разница, все равно это чушь.

Заметив наконец, что обе истории Эрики Папп, поддельная и настоящая, все еще отягчают мою душу, точно камни, я взял их и забросил в сад Бёклина, после чего положил руку на плечи Сесили. Через несколько шагов и она склонила голову на мое — ростом она была чуть ниже меня, — и я ощутил мягкость ее волос. И мы пошли по этой тихой, пустой улице, вдоль которой росли тенистые каштаны, целуя и целуя друг друга и постепенно забывая, кто мы и откуда и зачем идем навстречу солнцу.

■

НИКОЛА БУВЬЕ

Стихи из книги «Внутри и вокруг»

Перевод с французского И. КУЗНЕЦОВОЙ

Ноябрь

Гранатов треснутых кровинки
под чистым легким слоем снега
под снегом синева мечетей
под снегом ржавчина телег
белее белизна цесарок
на фоне длинных рыжих стен
и заблудившиеся звуки
на ощупь ищут путь под снегом
весь город вместе с цитаделью
взлетает в крапчатое небо

Табриз, 1953

Finis terrae [1]

Со времен святого Франциска-Ксаверия
все вороны Хоккайдо говорят по-латыни
Раз... два... три... считают они уверенно
гвозди креста
над волнами глухими и синими

Город? Доски, лачуги и сети!
но сегодня повсюду феерия
празднуют свадьбу двух звезд
От крайнего юга до севера —
школьники в черном и яркие плошки
Единство Империи!

В этом темном трактире
отдает поросятина псиной
повар-китаец почти позабыл свой Китай
каждый кочан ему кажется белым драконом
и он рубит и рубит
и пьет, глядя вдаль, в небеса...

Здесь вчера еще чужестранцам выкалывали глаза.

Вакканай, Северная Япония, 1965

---

[1] Край света (*лат*).

© 1997 by Éditions Zoé
© И. Кузнецова. Перевод, 1998

Год уховертки

В этом году
уховертка явилась сказать
что еж переехал и не придет на свиданье
а щегол неожиданно отбыл
и адреса не оставил

В этом году
в голове твоей хмель забродил
ты хотел переделать орбиты светил
и за ветер купить целый мир
с простодушьем убийцы

Вот и осень
пора униженья теней
Под опавшей листвой
тлеет горе шальным угольком
выпал снег но все так же багровы
пятна крови под снежным бинтом

Женева, 1978

Полночь на кухне

Уходи,
надоел, сколько можно?
хоть о ближних подумай, уйди
у меня у самой накипело немало
сказала мне кухня

Будь мужчиной, пойди утопись
чем скорее тем лучше, не жди Рождества
мы устали, поверь, заменять тебе сердце —
простучали часы

Нет, побудь, не спеши
мне ведь так одиноко
вечно быть как и ты
ни внутри ни снаружи
взмолилось окно, ослепленное тьмой

Мы так славно бродили вдвоем
извини, что решилась напомнить
не бросай меня
я же умру
прошептала мне вдруг моя тень
умирая взаправду

Не валяй дурака, ты ведь любишь еще эту жизнь
меня не обманешь, я слишком давно тебя знаю
промурлыкала струйка вина
на трясущемся подбородке

Женева, март 1979

Мертвый сезон

Вдруг
Словно молния сверкнула в толще сна
Ты выпал из седла
А жизнь вскочив на твоего коня
уже несется прочь
галопом серым

Кудель любимых слов
распалась и летит
волокнами к бледнеющему небу
Пустая белизна
оголена как кость
Крахмал больничный поглощает звуки
крадется ватный страх
И голова
жужжанием бессмысленным полна

Вот кто-то щелкнул за тобой ключом
замкнулись звонкие засовы ноября
вино бормочет что-то про себя
в бутылях оплетенных ивняком

Теперь в иные дальние края
не открывающие нам свое названье
твой путь лежит
и в странствии безмолвном
став легче чем репей отпавший от стебля
ты снова обретешь
дорожный ветер

Женева, 25 октября 1997

■

АГОТА КРИСТОФ

Вчера

РОМАН

Перевод с французского ИРИНЫ ВОЛЕВИЧ

Вчера все было так прекрасно
музыка в листве деревьев
ветер в моих волосах
и в твоих простертых руках
солнце

Бегство

Вчера дул знакомый ветер. Ветер, с которым я уже встречался.

Стояла ранняя весна. Я шагал, объятый ветром, внутри его, решительной, быстрой походкой, как всегда по утрам. И однако, мне безумно хотелось вернуться к себе в постель, лечь и лежать — недвижно, без мыслей и желаний, вплоть до того мгновения, когда я почувствую приближение ТОГО САМОГО, не имеющего ни голоса, ни вкуса, ни запаха, — всего лишь смутного воспоминания, явившегося из темных глубин памяти.

Дверь медленно растворилась, и мои повисшие руки испуганно ощутили мягкую, шелковистую шерсть тигра.

— Музыку! — приказал он. — Сыграйте что-нибудь! На скрипке или на пианино. Лучше на пианино. Играйте!

— Но я не умею, — пролепетал я. — В жизни своей не играл на пианино, да у меня и нет его, никогда не было.

— Никогда не было? Что за чушь! Идите к окну и играйте!

За моим окном стоял лес. Я увидел птиц, рассевшихся по веткам, словно и они готовились слушать музыку. Я увидел птиц. С их крошечными склоненными головками и глазками, пристально глядевшими на что-то сквозь меня.

Моя музыка звучала все громче и громче. Она становилась непереносимой.

Мертвая птица медленно падала с ветки.

Музыка прекратилась.

Я обернулся.

Сидя посреди комнаты, тигр улыбался.

— На сегодня хватит, — сказал он. — Вам нужно бы упражняться почаще.

— Да-да, я буду упражняться, обещаю. Но сейчас я жду гостей, понимаете? Сделайте милость... им может показаться странным ваше присутствие здесь, у меня.

— Ну естественно, — отвечал он, зевая.

Гибким шагом он вышел в дверь, которую я тут же запер за ним на два оборота.

— До свиданья! — бросил он мне, уходя.

Лина ждала меня, прислонившись к стене, у входа на фабрику. Она была так бледна

© Éditions du Seuil, 1995
© И. Волевич. Перевод, 1998

и печальна, что я решил остановиться и поговорить с нею. Однако прошел мимо, даже головы к ней не повернул.

Чуть позже, когда я уже запустил свой станок, она подошла ко мне.

— Послушайте, ужасно странно: я никогда не видела, как вы смеетесь. А ведь я с вами знакома уже много лет. И за все эти годы, что я вас знаю, вы ни разу не засмеялись.

Я взглянул на нее и расхохотался.

— Нет, лучше уж вам не смеяться, — сказала она.

В этот миг я ощутил острое беспокойство; я выглянул в окно, чтобы проверить, на месте ли ветер. Покачивание деревьев успокоило меня.

Когда я обернулся, Лина уже исчезла. Тогда я заговорил с нею:

— Лина, я люблю тебя. Я действительно люблю тебя, Лина, только мне некогда думать об этом, я ведь должен размышлять о стольких вещах сразу, об этом ветре, например, — мне следовало бы сейчас выйти и походить в нем. Но не с тобой, Лина, ты уж не обижайся. Ходить в ветре — это доступно лишь мне одному, потому что есть тигр и пианино, чья музыка убивает птиц, а страх можно прогнать одним ветром, это общеизвестно, я сам давно это знаю.

Станки отзванивали вокруг меня свой монотонный «ангелюс». Я прошел по коридору. Дверь была открыта.

Эта дверь — она всегда бывала открыта, и я ни разу не пытался выйти через нее.

Почему?

Ветер подметал улицы. Эти пустынные улицы выглядели так странно. Я никогда еще не видел их утром рабочего дня.

Позже я сел на каменную скамью и заплакал.

Днем выглянуло солнце. По небу бежали мелкие облачка, погода стояла мягкая, теплая.

Я вошел в бистро, мне хотелось есть. Официант поставил передо мной блюдо с бутербродами.

Я сказал себе:

— Теперь ты должен вернуться на фабрику. Ты обязан туда вернуться, у тебя нет никакого повода прекращать работу. Да, теперь я иду на фабрику.

Я снова начал плакать, а потом заметил, что съел все бутерброды.

Я сел на автобус, чтобы быстрее добраться. Было три часа пополудни. Я мог работать еще два с половиной часа.

Небо нахмурилось.

Когда автобус проехал мимо фабрики, кондуктор взглянул на меня. Чуть дальше он тронул меня за плечо:

— Конечная, месье.

Место, где я сошел, представляло собой что-то вроде парка. Деревья, несколько домиков. Уже стемнело, когда я вошел в лес.

Теперь зарядил густой дождь пополам со снегом. Ветер безжалостно хлестал меня по лицу. Но это был он, все тот же знакомый ветер.

Я шагал все быстрее и быстрее, держа путь к вершине.

Я закрыл глаза. Все равно ни зги не видать. На каждом шагу я натыкался на деревья.

— Воды!

Далеко в вышине надо мной кто-то издал этот крик.

Смешно — ведь вокруг полно воды!

Мне тоже хотелось пить. Я запрокинул голову, раскинул руки и упал наземь. Утопив лицо в холодной грязи, я лежал и не двигался.

Вот так я и умер.

Вскоре мое тело смешалось с землей.

Разумеется, на самом деле я не умер. Какой-то гуляющий обнаружил меня там, в жидкой грязи, посреди леса. Он вызвал «скорую», и меня отвезли в больницу. Я даже не очень продрог, всего лишь вымок до нитки. Проспал ночь в лесу, только и всего.

Нет, я не умер, но заполучил тяжелейшую, почти смертельную бронхопневмонию.

Мне пришлось пролежать в больнице полтора месяца. Когда я избавился от этой легочной хвори, меня перевели в психиатрическое отделение, так как я пытался покончить жизнь самоубийством.

Я был рад, что нахожусь в больнице, — не хотелось возвращаться на фабрику. Здесь было хорошо, здесь за мной ухаживали, я мог спать сколько угодно. Да еще еда — можно было выбрать любое из нескольких меню. Я мог даже курить в маленькой приемной. И когда беседовал с врачом, мне тоже разрешалось курить.

— Нельзя описать свою смерть.

Так сказал мне психиатр, и я с ним согласился; верно, когда человек умер, он писать не может. Но в глубине души я уверен, что могу описать что угодно, даже если это невозможно и неправдоподобно.

Вообще-то большей частью я довольствуюсь тем, что пишу мысленно. Так оно легче. В голове все прокручивается без малейших проблем. А вот стоит начать писать на бумаге, как мысли путаются, искажаются и все написанное звучит фальшиво. По вине слов.

Я пишу всюду, где бы ни находился. Пишу по дороге к автобусу, пишу в автобусе, в мужской раздевалке, возле станка.

Досадно, что я пишу не то, что следовало бы писать; я пишу как бог на душу положит, такое, чего никто не может понять, чего я и сам не понимаю. По вечерам, когда я записываю то, что у меня накопилось за весь день в голове, я спрашиваю себя: зачем я все это понаписал? Для кого и с какой целью?

Психиатр спрашивает меня:

— Кто такая Лина?

— Лина — всего лишь вымышленный персонаж. Она не существует.

— А тигр, пианино, птицы?

— Обычные кошмары.

— И вы решили умереть из-за этих своих кошмаров?

— Если бы я решил умереть всерьез, то сейчас был бы уже мертв. А мне просто захотелось отдохнуть. Я больше не мог выносить эту жизнь — фабрику и все с ней связанное, отсутствие Лины, отсутствие надежды. Вставать в пять утра, идти... нет, мчаться по улице, чтобы успеть на автобус, сорок минут трястись в автобусе, выходить в «четвертой деревне», между фабричными стенами. Торопливо натягивать серый халат, пробивать табель в толкучке под часами, бежать к станку, включать его, просверливать дырку в детали как можно быстрее, и сверлить, сверлить, сверлить одну и ту же дырку в одной и той же детали, десять тысяч дырок за день, чем больше, тем лучше, ибо от этой скорости зависят наша зарплата и наша жизнь.

Врач говорит:

— Такова реальность рабочей жизни. Будьте довольны, что вообще имеете работу. А сколько людей осталось безработными! Что же касается Лины... Вас каждый день навещает юная прелестная блондинка. Может быть, ее-то и зовут Линой?

— Нет, ее зовут Йоланда и никогда не будут звать Линой. Я твердо знаю, что это не Лина. Она не Лина, она Йоланда. Какое дурацкое имя, не правда ли? И сама она смешна, как это имя. Все в ней смешно и нелепо — ее обесцвеченные волосы, собранные в шиньон на макушке, ногти, покрытые розовым лаком — длинные, когтистые, — каблуки-шпильки высотою в десять сантиметров. Йоланда маленького, очень маленького роста, месье, вот она и носит десятисантиметровые каблуки и эту нелепую прическу.

Врач смеется:

— Так зачем же вы продолжаете с ней видеться?

— Потому что больше у меня никого нет. И потому что я не хочу ничего менять. Однажды в жизни я настолько изменился, что до сих пор чувствую усталость. Да и какая разница — Йоланда или любая другая, все женщины одинаковы. Я хожу к ней раз в неделю. Она готовит ужин, я приношу вино. Между нами нет любви.

Врач говорит:

— С вашей стороны, может, и нет. Но что вы знаете о ее чувствах?

— Ничего я не знаю и знать не хочу. Ее чувства меня не интересуют. Я буду видеться с ней по-прежнему — до приезда Лины.

— Вы все еще верите в это?

— Ну конечно. Я твердо знаю, что она где-то существует. Я всегда знал, что родился только для того, чтобы встретиться с нею. И она тоже. Тоже появилась на свет для того, чтобы встретить меня. Ее зовут Лина, она моя жена, моя возлюбленная, жизнь моя. Я никогда не видал ее.

А вот Йоланду я встретил, покупая себе носки. Черные, серые, белые теннисные. Я не играю в теннис.

В первый раз я счел Йоланду просто красоткой. Сколько грации! Показывая мне носки, она изящно склоняла головку, она улыбалась, она почти танцевала.

Я заплатил за носки и спросил ее:

— Можно ли увидеться с вами в другом месте?

Она глупо рассмеялась, но мне ее глупость была безразлична. Меня интересовало только ее тело.

— Подождите меня в кафе напротив. Я кончаю в пять часов.

Я купил бутылку вина и стал ждать ее в кафе напротив, со своими носками в пластиковом пакете.

Вскоре появилась Йоланда. Мы выпили кофе и пошли к ней.

Она прекрасно готовит.

Йоланда может показаться красоткой тому, кто не видал ее при пробуждении.

Тогда это всего лишь маленькое помятое существо с обвисшими волосами, расплывшимся макияжем и черными разводами туши вокруг глаз.

Я смотрю ей вслед, когда она идет в ванную: ноги у нее тощие, ягодиц и грудей почти нет.

Она торчит в ванной не меньше часа. Когда она выходит оттуда, перед вами снова красотка Йоланда — свеженькая, хорошо причесанная, умело накрашенная, ставшая на десять сантиметров выше благодаря своим каблучкам. Йоланда с ее улыбкой. С ее глупым смехом.

Обычно я возвращаюсь от нее домой поздно вечером в субботу, но иногда мне случается заночевать у нее; тогда утром в воскресенье мы завтракаем вместе.

Она бежит за рогаликами в дежурную булочную, в двадцати минутах ходьбы от ее дома. Потом она варит кофе.

Мы едим. Затем я иду к себе домой.

Чем занимается Йоланда по воскресеньям после моего ухода? Понятия не имею. Никогда у нее не спрашивал.

Ложь

Самая моя забавная ложь среди всех — это когда я сказал тебе, что мне безумно хочется вновь увидеть родину.

Ты растроганно заморгала, ты прокашлялась, пытаясь найти понимающие, утешительные слова. За весь вечер ты ни разу не позволила себе рассмеяться. Да, я правильно сделал, поведав тебе эту басню.

Вернувшись домой, я зажег свет во всех комнатах и встал перед зеркалом. Я вглядывался в себя до тех пор, пока мое отражение не начало расплываться, становясь неузнаваемым.

В течение многих часов я ходил по комнате. Книги мои безжизненно валялись на столе и на полках, постель — слишком уж чистая — совершенно остыла; даже речи быть не могло, чтобы улечься в нее.

Близился рассвет; окна домов напротив чернели, как дыры.

Я множество раз проверил, заперта ли дверь, затем попытался думать о тебе, чтобы заснуть, но ты витала серой тенью, ускользающей, как и все мои другие воспоминания.

Как черные горы, которые я переходил некогда, зимней ночью; как комната на разоренной ферме, где я проснулся однажды утром; как современная фабрика, на которой я тружусь вот уже десять лет; как до смерти надоевший пейзаж, на который больше глаза не смотрят.

Вскоре я передумал обо всем на свете — кроме тех вещей, о которых я думать никак не хотел. Мне бы всплакнуть, хоть слегка, но я и этого не мог, ибо у меня не было никакого повода для слез.

Врач спрашивает меня:

— Почему вы выбрали имя Лина для женщины, которую ждете?

Я отвечаю:

— Потому что мою мать звали Линой и я ее очень любил. Мне было десять лет, когда она умерла.

Он просит:

— Расскажите о своем детстве.

Ну так и есть, этого я и ждал. Мое детство! Все они интересуются моим детством.

Но я не дурак, я давно научился отвечать на эти идиотские расспросы. Для каждого такого случая у меня было припасено готовенькое детство, идеально отработанная ложь, к которой я прибегал уже много раз. Я рассказывал это Йоланде, редким своим друзьям и знакомым; ту же историю я когда-нибудь поведаю и Лине.

Итак, я — сирота, жертва войны. Родители мои погибли во время бомбардировки. Из всей семьи выжил только я один. У меня не было ни братьев, ни сестер.

Я вырос в сиротском приюте, как и множество других детей того времени. В возрасте двенадцати лет я сбежал оттуда и перешел границу. Вот и все.

— Это все?

— Да, это все.

Не буду же я, в самом деле, рассказывать ему свою подлинную историю!

Я родился в безымянной деревушке, в безвестной стране.

Моя мать, Эстер, была деревенской нищенкой и спала со всеми мужчинами подряд, в основном с крестьянами, которые расплачивались с ней мукой, кукурузой, молоком. Еще она собирала овощи на полях, воровала фрукты в садах, не брезговала курёнком или утенком во дворе какой-нибудь фермы.

Когда крестьяне резали свиней, они оставляли для моей матери самые скверные обрезки, требуху или другие отбросы, все, что деревенские сами не едят.

Ну а нам все годилось.

Моя мать была воровкой, попрошайкой, деревенской шлюхой.

А я сидел перед домом и играл с глиной — лепил из нее огромные фаллосы, груди, ягодицы. Из этой красной глины я вылепливал также тело моей матери и тонким детским пальчиком проделывал в нем отверстия. Рот, ноздри, глаза, уши, пупок, дырка внизу спереди, дырка внизу сзади.

У моей матери было полно дырок, как и в нашем доме, в моей одежке и башмаках. Дырки в башмаках я залепливал жидкой глиной.

Я проводил жизнь во дворе.

Когда я замерзал, хотел есть или спать, то шел в дом, отыскивал что-нибудь съестное — жареную картошку, вареную кукурузу, простоквашу, иногда хлеб — и укладывался на соломенный тюфяк рядом с печкой.

Дверь комнаты почти всегда была открыта, чтобы туда шел жар от печки. И я видел, я слышал все, что там творилось.

Моя мать забегала в кухню, подмывалась над ведром, вытиралась краешком полотенца и шла обратно в комнату, спать. Она почти не разговаривала со мной и никогда не целовала.

Самое удивительное — это то, что я был единственным ребенком. До сих пор не пойму, как мать ухитрялась избавляться от своих последующих беременностей и почему она оставила именно меня. Может, я был ее первым огрехом. Между нами семнадцать лет разницы. Вероятно, потом она научилась делать так, чтобы не попадаться или благополучно вытравлять плод.

Я помню, что ей случалось проводить в постели много дней подряд, и тогда вокруг нее валялись окровавленные тряпки.

Разумеется, все это меня совершенно не занимало. Могу даже сказать, что у меня

было счастливое детство, поскольку я и не подозревал, что детство может быть другим.

Я никогда не ходил в деревню. Мы жили возле кладбища, на самой околице, в самом последнем доме. Мне радостно было играть во дворе, возиться в грязи. Иногда небо сияло чистотой, но я больше любил ветер, дождь, облака. Дождь облеплял мне мокрыми прядями лоб, глаза, шею. Ветер сушил мне волосы, ласково трепал по щекам. Облачные чудища рассказывали о неведомых странах.

Зимой мне приходилось туже. Я любил и снежные хлопья, но не мог долго оставаться на улице. У меня не было теплой одежды, и я сильно мерз, особенно зябли ноги.

К счастью, в кухне всегда было тепло. Мать собирала коровьи лепешки, сушняк, всякий мусор и разводила жаркий огонь. Она не переносила холода.

Иногда какой-то мужчина, выйдя из комнаты, задерживался в кухне. Он долго разглядывал меня, гладил по голове, целовал в лоб, прижимал мои руки к своим щекам.

Мне это не нравилось, я боялся его, я дрожал. Но не осмеливался оттолкнуть его.

Он приходил часто. Но это был не крестьянин.

Крестьян я не боялся, я их ненавидел, презирал, они внушали мне отвращение.

А этого человека, что гладил меня по голове, я снова встретил в школе.

В деревне была только одна школа. Учитель давал уроки одновременно ученикам всех классов, вплоть до шестого.

В честь первого школьного дня мать вымыла меня, чисто одела и постригла. Она и сама приоделась как могла. Потом она отвела меня в школу. Ей было только двадцать три года, она была красива — самая красивая женщина в деревне, — и я стыдился ее.

Она сказала мне:

— Не бойся. Учитель очень добрый. И ты его уже знаешь.

Я вошел в класс и сел на переднюю парту. Как раз напротив учительского стола. Я ждал. Рядом со мной села девчушка, не очень красивая, худенькая и бледная, с косичками, торчащими по сторонам маленького личика. Взглянув на меня, она сказала:

— А ты носишь куртку моего брата. И башмаки на тебе тоже его. Как тебя зовут? Меня — Каролина.

Тут вошел учитель, и я сразу его узнал.

Каролина сказала:

— Это мой отец. А там, сзади, где старшие, сидит мой брат. А дома у нас есть еще младший братик, ему только три года. Моего папу зовут Шандор, он здесь самый главный. А твоего отца как зовут? Кем он работает? Крестьянином, наверно. Здесь все крестьяне, кроме моего папы.

Я ответил:

— У меня нет отца. Он умер.

— А! Как жалко. Не хотела бы я, чтобы мой папа умер. Но ведь сейчас война, и скоро умрет много людей. Особенно мужчин.

Я сказал:

— Я не знал, что сейчас война. А может, ты врешь?

— Я не врунья. Про войну каждый день говорят по радио.

— У меня нет радио. Я даже не знаю, что это такое.

— Ну и дурачок же ты! А как тебя зовут?

— Тобиаш. Тобиаш Хорват.

Она засмеялась:

— Тобиаш? Какое смешное имя. У меня есть дедушка, его тоже зовут Тобиаш, но он уже старый. Почему тебя не назвали каким-нибудь нормальным именем?

— Не знаю. По мне, Тобиаш — нормальное имя. Каролина — тоже не бог весть что.

— Верно говоришь. Мне мое имя не нравится. Зови меня Линой, как все.

Тут учитель сказал:

— Дети, перестаньте болтать!

Лина еще успела шепнуть мне:

— Ты в каком классе?

— В первом.

— Я тоже.

Учитель раздал списки учебников и тетрадей, которые нужно было купить.

Дети разошлись по домам. Я остался один в классе. Учитель спросил меня:

— Что-нибудь не так, Тобиаш?

— Да. Моя мать не умеет читать, и потом, у нас нет денег.

— Я знаю. Не волнуйся. Завтра утром у тебя будет все, что нужно. Иди спокойно домой. Я зайду к вам сегодня вечером.

И он пришел. Он заперся в комнате с моей матерью. Только он один и закрывал дверь, когда спал с ней.

А я, как обычно, уснул в кухне.

На следующий день в школе я обнаружил у себя на парте все необходимое — учебники, тетради, карандаши, перья, резинки, бумагу.

И в этот же день учитель сказал, что мы с Линой не будем сидеть за одной партой, потому что слишком много болтаем. Он посадил ее в середине класса, среди девочек, но там она болтала еще больше, чем со мной. А я сидел в одиночестве перед учительским столом.

На перемене старшие начали было дразнить меня. Они кричали:

— Тобиаш — шлюхин сын, Эстеркин выродок!

Но учитель, высокий и сильный, вступился за меня:

— Оставьте мальчика в покое. Тот, кто тронет его хоть пальцем, будет иметь дело со мной!

И они, понурившись, отступили.

После этого одна только Лина подходила ко мне на переменках. Она делилась со мной бутербродом или печеньем. И говорила:

— Мои родители сказали, что я должна тебя жалеть, потому что ты бедный и у тебя нет отца.

Мне очень хотелось отказаться от ее бутербродов и печенья. Но я был голоден. И потом, у нас в доме никогда не бывало таких вкусных вещей.

Я продолжал посещать школу. И очень быстро выучился читать и считать.

Учитель по-прежнему захаживал к нам. Он давал мне книжки. Иногда он приносил одежду, из которой вырос его старший сын, а то и башмаки. Я не хотел их носить, я знал, что Лина узнает эти вещи, но мать заставляла меня надевать их.

— Кроме этого, тебе не во что одеться. Не ходить же тебе в школу голышом!

Да, я не хотел ходить в школу голышом, я вообще не хотел ходить в школу. Но это было обязательно. Откажись я учиться, меня арестовали бы жандармы. Так сказала моя мать. Ее тоже могли посадить в тюрьму, если бы она отказалась посылать меня в школу.

Так что, делать нечего, я ходил туда. И проучился шесть лет.

Лина говорила мне:

— Мой отец так хорошо к тебе относится. Мы могли бы оставлять одежду старшего брата для младшего, но он отдает ее тебе, потому что у тебя нет отца. И моя мать согласна с ним, потому что она тоже очень добрая и думает, что беднякам нужно помогать.

В деревне было полно добрых людей. Крестьяне и их сыновья — все они постоянно заявлялись к нам в дом, принося с собой еду.

В двенадцать лет я наконец разделался с обязательной шестилеткой, получив отличный аттестат. Шандор сказал моей матери:

— Тобиаш должен продолжать учиться. У него способности гораздо выше средних.

Моя мать сказала:

— Вы же знаете, у меня нет денег, чтобы платить за учебу.

Шандор сказал:

— Я могу подыскать для него бесплатный интернат. Мой старший сын уже учится в таком. Дети там живут и питаются, и платить за это не нужно. Карманные деньги я буду ему давать. Из него может получиться врач или адвокат.

На что мать сказала:

— Если Тобиаш уедет, я останусь одна. Мне-то думалось, он подрастет, наймется батраком к крестьянам и начнет приносить деньги в дом.

Но Шандор возразил:

— Я не хочу, чтобы мой сын был крестьянином. Хуже того, батраком, нищим, как ты сама.

Мать сказала:

— Если я оставила этого мальца, так это потому, что думала о старости. А теперь, когда я начинаю стареть, вы хотите отнять его у меня.

— Я-то полагал, что ты оставила этого ребенка оттого, что любила меня и любила его.

— Да, я вас любила и до сих пор люблю. Но мне нужен Тобиаш. Я не смогу жить без него. Теперь я люблю только его.

Шандор сказал:

— Если ты его действительно любишь, то должна исчезнуть. С такой матерью, как ты, из него ничего хорошего не выйдет. Всю жизнь ты будешь у него камнем на шее, позорным пятном на его судьбе. Поезжай в город. Я куплю тебе билет. Ты еще достаточно молода. Тебе не дашь больше двадцати. И зарабатывать станешь в десять раз больше, чем у этих вшивых деревенских недоумков. Я сам займусь Тобиашем.

Но мать ответила:

— Я осталась здесь из-за вас и из-за Тобиаша. Мне хотелось, чтобы он жил рядом с отцом.

— Ты и впрямь уверена, что он мой сын?

— Вы прекрасно это знаете. Ведь вы меня взяли девушкой. Мне было всего шестнадцать. Вспомните-ка сами.

— Я знаю одно: ты уже много лет спишь со всей деревней.

Она сказала:

— Это верно. А чем бы я жила, если не это?

— Но ведь я помогал тебе.

— Да, старыми тряпками и ношеными башмаками. А нам еще нужно было что-то есть.

— Я делал что мог. Я всего лишь деревенский учитель, и у меня самого трое детей на руках.

Мать спросила:

— Вы меня больше не любите?

Учитель ответил:

— Я никогда тебя не любил. Ты просто околдовала меня своим лицом, глазами, губами, своим телом. Ты завлекла меня. Но вот Тобиаша я люблю по-настоящему. Он принадлежит мне. И я хочу позаботиться о нем. А ты должна уехать. Между нами все кончено. Я люблю свою жену и своих детей. Даже того, что родился у тебя, я люблю. Но тебя саму я больше видеть не желаю. Ты всего лишь ошибка моей молодости, самая тяжкая ошибка, какую я совершил в жизни.

Я был один в кухне, как всегда. Из комнаты до меня доносились привычные звуки, которые я ненавидел. Несмотря ни на что, они занимались любовью.

Я вслушивался. Я дрожал, лежа на своем соломенном тюфяке под одеялом, и вся кухня дрожала вместе со мной. Ладони мои блуждали по телу, стараясь согреть плечи, ноги, живот, но ничего не получалось. Меня трясло от рыданий, которые не могли найти выхода из груди. Лежа на своей подстилке под одеялом, я неожиданно понял, что Шандор — мой отец и что он хочет избавиться от моей матери и от меня.

Зубы мои выбивали дробь.

Мне было холодно.

Я чувствовал, как поднимается во мне ненависть к этому человеку, объявившему себя моим отцом, а теперь собравшемуся разлучить меня с матерью, которую и сам он решил бросить.

Во мне разверзлась какая-то страшная пустота. Я больше не мог терпеть эту муку, мне ничего не было нужно. Ни учебы, ни работы у крестьян, тех самых, что каждодневно приходили спать с моей матерью.

У меня осталось только одно желание — уехать, уйти пешком или умереть, все равно что. Я хотел очутиться как можно дальше отсюда, никогда больше не возвращаться,

исчезнуть, раствориться в лесу, в облаках, ни о чем не вспоминать, все забыть, забыть, забыть.

Я достал из кухонного ящика большой нож, которым резали мясо. Я вошел в комнату. Они спали. Он лежал на ней. Их освещала луна. Это была полная луна. Круглая, яркая.

Я вонзил нож в спину мужчины и налег на него всем телом, чтобы он прошел насквозь, в грудь матери.

После этого я покинул дом.

Я долго шагал через кукурузные и пшеничные поля, через лес. Я шел в ту сторону, где садилось солнце; я знал, что там, на западе, есть другие страны, не похожие на нашу.

Я скитался по деревням, прося милостыню, воруя овощи и фрукты. Я прятался в товарных поездах, ехал на попутных грузовиках.

Наконец, сам того не заметив, я очутился в другой стране, в большом городе. Здесь я тоже продолжал попрошайничать и воровать, чтобы выжить. Спал я на улице.

В конце концов я был арестован и угодил в полицию. Меня отправили в подростковый приют для мальчиков. Тут содержались юные правонарушители, сироты и бездомные бродяги вроде меня.

Я не стал называться Тобиашем Хорватом. Я придумал себе другое имя, составленное из имен отца и матери. Теперь меня звали Шандор Лестер, я считался «военным сиротой».

Мне задавали кучу вопросов, долго разыскивали во многих странах моих выживших родственников, но Шандор Лестер так никому и не понадобился.

В приюте нас сытно кормили, мыли, обучали. Директриса была красивая, элегантная, очень строгая дама. Она стремилась к тому, чтобы мы выросли хорошо воспитанными людьми.

Когда мне исполнилось шестнадцать лет, я смог покинуть приют и выбрать себе профессию. Захоти я обучаться какому-нибудь ремеслу, я мог бы продолжать жить в приюте, но я не переносил директрису, строгие рамки расписания и необходимость спать по нескольку человек в одной комнате.

Мне хотелось начать как можно быстрее зарабатывать, чтобы стать полностью свободным.

И я пошел рабочим на фабрику.

Вчера в больнице мне сказали, что я могу возвратиться домой и начать работать. Ну что ж, я отправился домой и первым делом спустил в унитаз все таблетки, которые мне насовал врач, розовые, белые, голубые.

К счастью, была пятница и до начала работы у меня оставалось целых два дня. Я воспользовался этим, чтобы походить по магазинам и забить продуктами холодильник.

В субботу вечером я нанес визит Йоланде. Затем вернулся к себе, выпил несколько бутылок пива и начал писать.

Я думаю

Теперь у меня осталось мало надежды. Раньше я все время искал, не сидел на месте. Я ждал чего-то. Чего? Этого я и сам не знал. Но мне казалось, что жизнь не может быть лишь такой, какая она есть, иными словами, ничем. Жизнь должна быть чем-то, и вот я ждал, когда оно наступит — это что-то, и искал его.

Теперь я думаю, что ждать нечего, и потому сижу в своей комнате на стуле и ничего не делаю.

Я думаю, что где-то там снаружи есть жизнь, но в этой жизни ровно ничего не происходит. Ничего для меня.

Для других, может, что-то и происходит, вполне возможно, но это меня не интересует.

Я сижу здесь, на стуле, в своей комнате. Немножко мечтаю, так, не по-настоящему. Да и о чем бы мне мечтать? Я сижу здесь, вот и все. Не могу сказать, что мне хорошо, но я сижу здесь не для того, чтобы мне было хорошо, совсем напротив.

Я думаю, что не делаю ничего хорошего, сидя вот так, в бездействии, и что в конце концов мне все равно волей-неволей придется встать с места. Я ощущаю смутное неудобство оттого, что сижу ничего не делая целыми часами, а может, и днями, не знаю. Но я не нахожу никакого повода для того, чтобы встать и приняться за какое-нибудь дело. Не знаю, ну просто не представляю, чем я мог бы заняться.

Конечно, неплохо было бы навести хоть какой-то порядок в комнате, прибраться, что верно, то верно. У меня тут грязновато, намусорено.

Нужно бы, по крайней мере, встать и растворить окно — комната пропахла табачным дымом и затхлой гнилью.

Но меня это не смущает. Или же смущает недостаточно сильно для того, чтобы я встал. Я свыкся с этой вонью, я уже не чувствую ее, просто думаю, что если кто-нибудь случайно зайдет...

Но этот «кто-нибудь» не существует.

И никто не заходит.

Чтобы хоть чем-то заняться, я принимаюсь читать газету, которая валяется на столе с того времени, как я ее купил. Но я, разумеется, не даю себе труда протянуть руку за газетой. Я оставляю ее там, где она лежит, и читаю издали, однако прочитанное тут же вылетает у меня из головы. Тогда я перестаю делать над собой усилие.

Я и без того помню, что на последней странице газеты молодой человек — ну не очень молодой, такой, как я, — читает ту же самую газету, сидя в круглой шикарной ванне; он просматривает объявления и биржевые котировки, он наслаждается отдыхом, у него под рукой, на бортике ванны, стакан дорогого виски. Он прекрасно выглядит — красивый, веселый, умный, в курсе всего на свете.

Мысль об этой картинке вынуждает меня вскочить и бежать в кухню, чтобы исторгнуть рвоту в умывальник — отнюдь не шикарный, а по-хамски прибитый к стене. И все, что извергается у меня изо рта, зловонной массой забивает эту жалкую раковину.

Меня очень удивляет количество мерзкой блевотины, вдвое превышающее все, что я мог съесть за последние сутки. Разглядывая эту гадость, я чувствую новый позыв и торопливо выхожу из кухни.

Я иду на улицу, чтобы забыться, и прогуливаюсь, как все нормальные люди, но только на улицах нет ничего, кроме людей и магазинов, ну ровно ничего.

При мысли о загаженном умывальнике мне не хочется возвращаться домой, но и ходить по улицам тоже нет желания; тогда я останавливаюсь на тротуаре, спиной к большому магазину, гляжу, как люди входят и выходят, и думаю, что те, кто выходит, должны были бы остаться внутри, а те, кто входит, — снаружи, и это сильно сократило бы их усталость и количество телодвижений.

Вот такой замечательный совет мог бы я дать им, но кто станет меня слушать? Итак, я ничего не говорю и не двигаюсь; мне не холодно здесь, подле входа, — меня обдает теплом, что льется из магазина через постоянно раскрытые двери, и мне становится почти так же хорошо, как недавно, когда я сидел у себя в комнате.

Сегодня я вновь начинаю свой бессмысленный бег на месте.

Встаю в пять утра, моюсь, бреюсь, готовлю кофе, выхожу, бегу на Центральную площадь, сажусь в автобус, закрываю глаза, и на меня обрушивается весь ужас моей нынешней жизни.

Автобус делает пять остановок. Одну — на окраине города, остальные — в деревнях, по которым мы проезжаем. В четвертой деревне как раз и находится фабрика, где я работаю вот уже десять лет.

Часовая фабрика.

Я закрываю лицо руками, якобы сплю, а на самом деле желая скрыть слезы. Я плачу. Не хочу больше надевать свой серый халат, пробивать табель, включать станок. Не хочу больше работать.

Я надеваю серый халат, я пробиваю табель, я вхожу в цех.

Станки уже включены. Мой тоже. Мне остается только сесть перед ним, взять деталь, вложить ее в тиски и нажать на педаль.

Часовая фабрика расположена в громадном здании, которое высится над долиной.

Все, кто здесь работает, живут в одной деревне, за исключением нескольких человек, вроде меня, что приезжают из города. Нас не очень много, автобус почти пуст.

Фабрика производит отдельные детали, вернее, заготовки для других заводов. Никто из нас не способен собрать часы целиком.

Что касается меня, то вот уже десять лет, как я сверлю на своем станке одни и те же отверстия в одних и тех же деталях. Этим и ограничивается наша работа. Вставить деталь в тиски и нажать на педаль.

За это мы получаем ровно столько денег, чтобы хватало на пропитание, скромное жилье, а главное, на то, чтобы были силы каждый день начинать все сначала.

И в ясную и в пасмурную погоду в огромном цехе постоянно горят неоновые лампы. Звучит негромкая приятная музыка. Дирекция полагает, что под музыку рабочие лучше трудятся.

Один из рабочих, тщедушный человечек, продает белые порошки — транквилизаторы, приготовленные специально для нас деревенским аптекарем. Не знаю, из чего они делаются, эти снадобья, но иногда покупаю их. Глотнешь такое, и день вроде проходит быстрее, и чувствуешь себя не таким несчастным. Порошки стоят недорого, почти все рабочие их покупают, дирекция смотрит на это сквозь пальцы, аптекарь наживается.

Иногда происходит взрыв — какая-нибудь женщина вскакивает с места и вопит:

— Не могу больше!

Ее уводят, работа продолжается, нас успокаивают:

— Ничего страшного, просто нервы сдали.

В цеху каждый сам по себе, наедине со своим станком. Разговаривать с другими можно только в туалете, да и то недолго, каждая минута нашего отсутствия записывается, регистрируется, учитывается.

Вечером, после работы, у нас едва хватает времени забежать в магазин, затем поесть и лечь пораньше, чтобы не проспать утром. Иногда я спрашиваю себя: живу ли я для того, чтобы работать, или же это работа заставляет меня жить?

Но что это за жизнь?!

Монотонный труд.

Ничтожная зарплата.

Одиночество.

Йоланда.

Да таких Йоланд в мире тысячи и тысячи.

Белокурых красоток, глупых или не очень.

Выбираешь одну из них и спишь с ней.

Но эти Йоланды не исцеляют от одиночества.

Эти Йоланды, как правило, не вкалывают на фабриках, они предпочитают магазины, где зарабатывают совсем мало. Но зато в магазинах почище и здесь легче найти себе мужа.

На фабрике работают в основном замужние женщины. В обеденный перерыв они бегут домой, чтобы накормить семью. Дирекция позволяет им это, так как они все равно работают сдельно. В час дня они возвращаются к станкам вместе с нами. Дети и мужья накормлены и тоже вернулись — кто в школу, кто на завод.

Конечно, самое простое было бы пообедать в фабричной столовке, но для семейных это слишком дорогое удовольствие. Я, например, могу это себе позволить. Беру комплексный обед, из самых дешевых. Не очень съедобно, но мне это безразлично.

После обеда я читаю книгу, принесенную из дома, или играю в шахматы. Сам с собой. Другие рабочие режутся в карты и не смотрят на меня.

По прошествии десяти лет я для них все еще чужой.

Вчера нашел в почтовом ящике извещение: на почте лежит для меня заказное письмо. В извещении указывалось: «Городская ратуша, уголовный суд».

Я испугался. Мне захотелось сбежать, уехать далеко, как можно дальше, куда-нибудь за море. Неужели им удалось напасть на мой след — след убийцы — после стольких-то лет?!

Я отправился на почту за письмом. Вскрываю его. Меня вызывают в суд в качестве

переводчика на процессе, где обвиняемый — мой земляк. Расходы мне будут возмещены, отсутствие на работе согласовано с начальством.

В указанный час я прихожу в суд. Женщина, которая меня встречает, очень красива. До того красива, что у меня возникает желание назвать ее Линой. Но она выглядит очень строгой. У нее совершенно неприступный вид.

Она спрашивает:

— Достаточно ли хорошо вы еще владеете родным языком, чтобы переводить прения сторон на процессе?

Я отвечаю:

— Я не забыл ни единого слова моего родного языка.

Она говорит:

— Вы должны принести присягу и поклясться в том, что будете переводить слово в слово все, что услышите.

— Клянусь.

Тогда она заставляет меня подписать бумагу.

Я спрашиваю ее:

— Может быть, выпьем где-нибудь по стаканчику?

Она отвечает:

— Нет, я устала. Поедем лучше ко мне. Меня зовут Ева.

Мы садимся в ее машину. Она ведет быстро. Наконец останавливаемся перед виллой. Входим в современно оборудованную кухню. У нее в доме все современное. Она наполняет стаканы, и мы усаживаемся в гостиной, на большом диване.

Потом она отставляет стакан и целует меня в губы. Медленно раздевается.

Она красива, намного красивее всех женщин, которых я встречал в своей жизни.

Но это не Лина. Она никогда не будет Линой. Никто никогда не будет Линой.

На процессе Иштвана присутствует целая куча его соотечественников. И его жена тоже здесь.

Иштван приехал сюда в ноябре прошлого года. Он снял крошечную двухкомнатную квартирку, где ютились они с женой и их трое детей.

Его жена нанялась уборщицей в страховую компанию, владевшую большим зданием. Каждый вечер она убирала офисы.

Спустя несколько месяцев Иштван тоже нашел работу, правда в другом городе; он стал посыльным в ресторане, и хозяева были им довольны.

Но раз в неделю он отправлял сверток жене и детям. В свертке были продукты, украденные им в кладовой ресторана. Его обвиняли также в том, что он запускал руку в кассу, но он это отрицал, и это не было доказано.

Однако в тот день на суде речь шла не только о мелком жульничестве. Будучи заключен в тюрьму в ожидании процесса, он в один прекрасный вечер оглушил сторожа, сбежал и явился к себе домой. Жена была на работе, дети спали. Иштван хотел дождаться жену, чтобы бежать всем вместе, но полицейские опередили его.

— Вы приговариваетесь к восьми годам заключения за нападение на сторожа.

Я перевел. Иштван взглянул на меня:

— Восемь лет? Вы правильно поняли? Сторож ведь не умер. Я не хотел его убивать. Вот он сидит, живой и здоровый.

— Я ведь только переводчик.

— А моя семья, что она будет есть эти восемь лет? Что станется с моими детьми?

Я ответил:

— Ничего, вырастут.

Охранники уводят его. Жена падает в обморок.

После суда я провожаю своих земляков до бистро, которое они посещают с самого их приезда сюда. Это многолюдное, шумное кафе в центре города, недалеко от моего дома. Мы пьем пиво и беседуем об Иштване.

— Ну и дурак же он, что вздумал дать тягу!

— Не будь этого, отделался бы несколькими месяцами.

— Может, его выслали бы из страны.

— Да все лучше, чем тюрьма.

Кто-то говорит:

— Я живу как раз над Иштвановой квартирой. С тех пор как они там поселились, я каждый вечер слышу плач его жены. Как придет с работы, так в слезы и рыдает целыми часами. Там-то, в деревне, у нее были и родственники, и соседи, и друзья. Я так думаю, она теперь вернется на родину. Не будет же она ждать его здесь целых восемь лет с тремя детишками на руках.

Позднее я узнал, что жена Иштвана действительно вернулась с детьми на родину. Иногда я думаю, что нужно бы сходить проведать Иштвана в тюрьме, но не делаю этого.

Я все чаще заглядываю в бистро. Хожу туда почти каждый вечер. Знакомлюсь со своими земляками. Мы усаживаемся за длинный стол. Девушка, тоже из наших, приносит выпивку. Ее зовут Вера, она работает с двух часов дня до полуночи. Ее сестра Кати и муж сестры Пауль — завсегдатаи этого кафе. Кати работает в городской больнице. Там есть ясли, где она оставляет свою маленькую дочку, которой всего несколько месяцев. Пауль работает в гараже, он с ума сходит по мотоциклам.

Я знакомлюсь также с Яном, у него нет никакой специальности, на родине он был простым батраком; этот повсюду ходит за мной как тень. Он еще не нашел работы и, я уверен, никогда не найдет. Он грязен, скверно одет, живет пока в общежитии для беженцев.

Мы с Паулем подружились. Я частенько провожу вечер у него дома. Когда его жена приходит с работы, ей нужно еще приготовить еду, постирать белье, заняться малышкой.

Пауль говорит:

— Умираю хочу спать, но нужно дождаться полуночи и сходить за Верой.

Жена отвечает:

— Ничего страшного, дойдет и одна. У нас городок маленький, никто ее не обидит.

Тогда я говорю:

— Знаете что, ложитесь-ка вы спать. Я сам зайду за Верой.

И я возвращаюсь в кафе. Вера и хозяин проверяют счета. Вера видит меня в дверях и улыбается.

Я говорю:

— Пауль очень устал. Сегодня вечером я провожу вас до дома.

Она отвечает:

— Очень мило с вашей стороны. Конечно, я могла бы дойти и одна. Пауль думает, что отвечает за меня.

— А сколько вам лет?

— Восемнадцать.

— Да, верно, вы еще ребенок.

— Ну, вы преувеличиваете.

Мы выходим из кафе уже за полночь. Улицы опустели, городок мирно спит. Вера берет меня под руку, прижимается ко мне. Возле дома она говорит:

— Поцелуйте меня.

Я целую ее в лоб и ухожу.

На другой вечер я опять прихожу за ней в кафе. Она указывает мне на последнего запоздалого клиента, молодого парня, который сидит на самом конце длинного стола.

— Вам необязательно меня ждать. Меня проводит Андре.

— Он из наших?

— Нет, здешний.

— Вы ведь даже не сможете объясниться.

— Ну и что? Ему и не нужно разговаривать. Зато он хорошо целуется.

Я обещал Паулю не оставлять Веру одну. И мне приходится идти за ними до самого ее дома. У двери они долго целуются.

Я думаю, что надо бы рассказать об этом Паулю, но ничего ему не говорю. Только сообщаю, что больше не смогу провожать Веру — мне нужно ложиться пораньше, чтобы не проспать на работу.

И теперь Пауль каждый вечер сам ждет Веру в кафе, а при нем Андре, конечно, появляться не смеет.

Однажды в воскресенье мы сидим у Пауля и беседуем об отпуске. Пауль счастлив: он накопил денег и приобрел подержанный мотоцикл. Они с Кати хотят поездить по стране. Малышка побудет это время в яслях при больнице.

Я спрашиваю:

— А как же Вера? Вы оставляете ее одну на две недели?

Вера отвечает:

— У меня-то ведь нет отпуска. Я буду работать, как работала. А вы, Шандор, что собираетесь делать?

— Уеду куда-нибудь на недельку с Йоландой. Поживем в кемпинге на берегу моря. А вторую неделю буду заботиться о вас.

— Очень мило с вашей стороны!

И тут Пауль говорит:

— Не волнуйся, Шандор. Я попросил Яна провожать Веру домой ночью. Все равно он болтается без дела. Дам ему деньжат на выпивку, и порядок.

Вера пускается в слезы:

— Ну спасибо, Пауль, вот удружил! Неужто не нашел никого получше этой вонючей деревенщины?

Она выбегает из кухни, и мы слышим, как она всхлипывает у себя в комнате. Мы молчим, избегая смотреть друг на друга.

Вернувшись домой, я думаю, что мог бы жениться на Вере. Разница в возрасте не так уж велика, меньше десяти лет. Но сперва я должен отделаться от Йоланды. Нужно решиться и порвать с ней. Лучше всего во время отпуска. Тогда я смогу сократить этот кошмарный совместный «отдых», такой же нудный и отвратительный, как в прошлом году: целую неделю, днем и ночью, видеть рядом с собой Йоланду! Не считая жары, комаров и толпы отдыхающих на тесном пятачке кемпинга.

Как я и предвидел, неделя тянется бесконечно. Днем Йоланда часами валяется на полотенце под жарким солнцем: для нее самое главное вернуться в город загоревшей и потом щеголять в светлых платьях, оттеняющих бронзовую кожу. Я провожу время в палатке за чтением книг, а по вечерам прогуливаюсь по берегу моря, стараясь возвращаться как можно позже, так, чтобы Йоланда уже спала.

Разорвать наши отношения мне не удается, поскольку мы почти не разговариваем.

Да я уже и отказался от мысли жениться на Вере. Из-за Лины, которая может появиться с минуты на минуту.

В воскресенье к вечеру мы возвращаемся в город. Йоланда начинает работать с понедельника. Я помогаю разгрузить ее маленький автомобильчик, отношу в кладовую палатку и надувные матрасы. Йоланда довольна, ей удалось нагулять себе прекрасный загар, отпуск прошел прекрасно.

— До субботы вечером!

Я иду в бистро. Мне не терпится увидеть Веру. Сажусь за стол, кружку мне приносит парень-официант. Я спрашиваю:

— А где же Вера?

Он пожимает плечами:

— Уже пять дней как не приходит.

— Заболела?

— Почем я знаю.

Я выхожу из бистро, бегу к дому Пауля. Они живут на третьем этаже. Взбегаю по лестнице, звоню. Потом колочу в дверь. На стук выглядывает соседка, она говорит:

— Там никого нет. Они в отпуске.

— А девушка тоже?

— Говорю же вам, что никого нет.

Я возвращаюсь в бистро. Вижу Яна, одиноко сидящего за столом. Подхожу, трясу его за плечи:

— Где Вера?

Он отбивается:

— Ну чего ты бесишься? Вера уехала. Два первых вечера я ее провожал до дому, а потом она мне сказала, что я ей больше не нужен, она, мол, уезжает в отпуск с друзьями.

Мне тут же приходит на ум Андре.

И еще я думаю: хоть бы Вера вернулась до приезда Пауля, хоть бы ее опять взяли на работу!

В последующие дни я то и дело заглядываю в бистро и к Паулю. И только много позже я узнаю, что произошло.

Пауль и Кати вернулись домой в субботу. Веры дома не оказалось, комната была заперта на ключ. В квартире стоял какой-то странный запах. Кати отворила окно, чтобы проветрить, и побежала в ясли за малышкой. Пауль пришел ко мне, мы вместе отправились в бистро и нашли там Яна. Мы обсудили положение, и я рассказал про Андре. Пауль был в ярости. Он вернулся домой и, поскольку странный запах так и не выветрился, взломал дверь Вериной комнаты. На кровати лежало ее уже разлагавшееся тело.

Вскрытие показало, что Вера отравилась снотворным.

Наша первая смерть.

Вскоре последовали и другие.

Роберт вскрыл себе вены в ванной.

Альберт повесился, оставив на столе записку на нашем языке: «Я в дерьме».

Магда почистила картошку и морковь, потом села на пол, открыла газ и сунула голову в духовку.

В четвертый раз, когда мы собираем деньги в бистро, официант говорит мне:

— Вы, иностранцы, только и делаете, что скидываетесь на венки да ходите на похороны.

На что я ему отвечаю:

— Каждый развлекается как может.

По вечерам я пишу.

Мертвая птица

В голове у меня каменистая дорога, она ведет к мертвой птице.

— Зарой меня в землю, — просит она, и в изломах ее раздробленных косточек, как черви, кишат упреки.

Да, но для этого нужна земля.

Тяжелая, черная земля.

И лопата.

А у меня только и есть что глаза.

Пара затуманенных печальных глаз, погруженных в синевато-зеленую влагу.

Я приобрел их на блошином рынке за несколько мелких иностранных монеток. Ничего другого на эти деньги я купить не мог.

Я за ними ухаживаю, протираю, сушу в носовом платке, разложенном на коленях. Крайне бережно, чтобы не попортить.

Временами я вырываю перо у птицы и рисую багровые прожилки на этих глазах, моем единственном достоянии. А иногда я их зачерняю — целиком. И тут же небо нахмуривается и заряжает дождь.

Мертвая птица дождя не любит. Она преет под его струями, гниет, испускает неприятный запах.

В таких случаях, не в силах переносить зловоние, я отсаживаюсь подальше.

Время от времени я обещаю:

— Сейчас пойду поищу землю.

Но я сам в это не очень-то верю. Да и птица тоже. Она-то уж меня знает.

И с чего ей вздумалось умирать именно здесь, где одни только камни?

Конечно, нас с ней устроил бы и жаркий огонь.

Или большие красные муравьи.

Но здесь все так дорого.

За какой-нибудь коробок спичек нужно работать долгие месяцы, а уж муравьи в китайских ресторанах стоят бешеных денег.

У меня же почти ничего не осталось от наследства.

И когда я пересчитываю те жалкие деньги, что еще имею, меня охватывает ужас.

Вначале я тратил их не считая, как все, но теперь мне нужно быть очень экономным.

Я буду покупать только самое необходимое.

И стало быть, о приобретении земли, лопаты, муравьев или спичек даже мечтать нечего.

А впрочем, если хорошенько прикинуть, то почему я должен так беспокоиться из-за похорон какой-то неизвестной птицы?!

Теперь я очень редко заглядываю к Паулю. Мы так грустим, что нам нечего сказать друг другу. Мы чувствуем себя преступниками из-за того, что уехали в отпуск без Веры. А я виноват больше их обоих. Я смотрел, как загорает Йоланда, пока Вера умирала. А вдруг она была влюблена в меня?

Кати боится написать матери, что младшая сестра умерла. И мать продолжает писать Вере на ее адрес, и письма с пометкой «за смертью адресата» возвращаются к ней обратно. А мать Веры никак не может уразуметь, что означают эти иностранные слова.

В бистро я тоже бываю теперь не часто. Нас становится все меньше и меньше. Те, кто не умер, вернулись на родину. Молодые, не обремененные семьями, поехали дальше, за океан. Другие прижились здесь, женились на местных и по вечерам сидят дома.

В бистро я встречаю одного только Яна, который по-прежнему живет в общежитии для беженцев, где водит знакомство с эмигрантами, приехавшими со всех концов света.

Иногда Ян поджидает меня в подъезде моего дома.

— Я хочу есть.

— Почему ты не поел в общежитии?

— Поел. Кашу-болтушку, в шесть утра. Я снова голоден.

— Все еще не нашел работу?

— Нет для меня ничего.

— Ну входи. Садись.

Я ставлю две тарелки на стол, покрытый клеенкой, жарю яичницу с салом. Ян спрашивает:

— А картошки у тебя нет?

— Картошки нет.

— Жаль, без картошки не так вкусно. Хлеб-то у тебя, по крайней мере, имеется?

— Хлеба тоже нет. Я не успеваю ходить по магазинам. Мне, знаешь ли, работать надо.

Ян ест.

— Хочешь, я буду покупать для тебя все, что нужно, пока ты на работе?

— Я в этом не нуждаюсь. Привык справляться сам. Уже давно.

Ян настаивает:

— Я могу и стены тебе покрасить. Не то чтоб я этому учился, но делал много раз.

— Нечего их красить, и так хорошо.

— Да ты глянь, какая у тебя грязь. Кухня вся черная, сортир и ванная не лучше. Жуткий вид!

Я оглядываю стены.

— Да, верно, вид жуткий. Но у меня нет денег.

— Я даром покрашу. За одни харчи. Мне лишь бы делом заняться. А то хожу как неприкаянный. Ты только краску купи, и все, а меня будешь подкармливать, как раньше.

— Да не хочу я тебя эксплуатировать.

— Мне все едино, я так и так шляюсь либо по городу, либо по общежитию. А у тебя тут все грязью заросло.

Это верно, квартира у меня грязней некуда. Я и внимания не обращал на это. Как въехал сюда, так и прожил десять лет, а она и вначале была не очень-то чистой.

Ладно, я велю Яну начинать с кухни.

Я думаю: вдруг приедет Лина, а у меня все блестит — и кухня, и ванная, и туалет.

Комнаты еще куда ни шло. В спальне стены заставлены книгами, стоит широкая кровать — для нас двоих. Есть еще одна комнатушка, сейчас она служит мне кладовой, но когда-нибудь я устрою в ней кабинет с письменным столом, а на нем машинка и стопки бумаги.

Да, не забыть бы купить пишущую машинку, бумагу и ленту.

А пока я пишу карандашом в школьных тетрадках.

Ян работает быстро и старательно. Я прямо не узнаю свою квартиру. Теперь Лина может приезжать. Мне не будет стыдно за мое жилье.

Я покупаю новые полотенца для ванной и кухни. Складываю их, до времени, в ящик комода.

Яну я плачу сколько могу. Он страшно доволен своей работой, даже больше, чем я сам. Рвется перекрашивать обе комнаты, но с этим можно и подождать.

Ян счастлив.

— В первый раз я смог хоть что-то послать жене. Деньги, что ты мне заплатил.

— Бедняга Ян, я ведь тебе дал такую малость.

— У нас дома это стоит вдесятеро больше, чем здесь. Жена купила на них башмаки и одежку детям на осень. Надо же их прилично одеть к школе.

Я спрашиваю:

— Как же ты теперь будешь обходиться совсем без работы?

— Сам не знаю, Шандор.

— Возвращайся-ка ты домой, так оно будет лучше.

— Да не могу я. Надо мной вся деревня смеяться будет. Я их всех обещал озолотить. Ох, если бы ты мог мне помочь, Шандор! Найди мне клиентов. Ты же знаешь много народу. Сам видел, я умею делать ремонт, да и много чего другого тоже. Могу, к примеру, садовником работать. Разводить овощи, фрукты, декоративные деревья. Работать могу за гроши да за харчи, и того хватит. Если буду при этом бесплатно жить в общежитии, то сумею посылать все деньги жене.

Я нахожу для Яна кое-какие случайные приработки, но не могу от него избавиться. Почти каждый вечер он является ко мне, мешает писать, мешает спать. Читает мне письма от жены и детей. Жалуется на тоску по родине, на разлуку с семьей.

И почти постоянно плачет. Утешить его можно только одним — картошкой с салом. Набив брюхо, он отправляется на ночлег в свое общежитие с двухэтажными нарами, где уже прочно обосновался и где считается, благодаря давнему сроку проживания, кем-то вроде старейшины.

Когда он наконец уходит, я принимаюсь писать.

Они

Идет дождь. Холодный, мелкий, он сеет на дома, на деревья, на могилы. Когда ОНИ приходят ко мне, дождь струями течет по их разложившимся, разжиженным лицам. ОНИ глядят на меня, и холод становится сильнее, от него не защищают даже мои белые стены. Да они и никогда меня не защищали. Их надежность — жалкая иллюзия, их белизна запятнана.

Вчера я вдруг ощутил прилив неожиданного, беспричинного счастья. Оно нахлынуло на меня сквозь дождь и туман, оно улыбалось, парило над деревьями, танцевало передо мной, окутывало меня.

И я узнал его.

То было счастье далеких дней, когда ребенок и я составляли одно целое. Я был ребенком, мне было всего шесть лет, и я мечтал по вечерам в саду, глядя на луну.

А теперь я устал. Эти, что приходят по ночам, высосали из меня все силы. Сколько ИХ явится нынче вечером? Один? Или целая компания?

Если бы у НИХ по крайней мере были узнаваемые лица! Но нет, ОНИ все расплывчаты, неявственны. ОНИ входят. ОНИ стоят и смотрят на меня. Потом ОНИ говорят:

— Почему ты плачешь? Вспомни!

— О чем?

Тогда ОНИ начинают смеяться.

Позже я говорю:

— Я готов.

Я распахиваю рубашку на груди, и ОНИ вздымают свои бледные, костлявые руки.

— Вспомни!

— Я не могу.

Бледные костлявые руки поднимаются и падают. Кто-то плачет за белыми стенами:

— Вспомни!

Зыбкий серый туман витал над крышами, над жизнью. Ребенок сидел во дворе и глядел на луну.

Ему было шесть лет, и я его любил.

— Я тебя люблю, — сказал я ему.

Но ребенок глядел на меня строго и недоверчиво.

— Малыш, я пришел издалека. Скажи мне, зачем ты смотришь на луну?

— Это не луна, — обиженно ответил мальчик, — это не луна; я смотрю на свое будущее.

— Я как раз оттуда, — мягко сказал я ему. — Там одни только мертвые, грязные поля.

— Ты врешь, ты врешь! — закричал ребенок. — Там есть деньги, и свет, и любовь. Там сады, полные цветов.

— Я пришел оттуда, — мягко повторил я, — там одни только мертвые, грязные поля.

И тут ребенок узнал меня и разрыдался.

То были последние его горячие слезы. Над ним тоже зарядил холодный дождь. Луна исчезла. Мрак и безмолвие вошли в меня с немым вопросом: «Что ты сделал с ним?»

Я устал. Вчера вечером я опять долго писал, прихлебывая пиво. Фразы кружатся у меня в голове. Я думаю, эта писанина скоро погубит меня.

Как обычно, сажусь в автобус. Закрываю глаза. Мы подъезжаем к первой деревне.

Старуха, разносчица газет, подходит к автобусу забрать свою пачку. Она должна разнести газеты всем жителям деревни до семи часов утра.

В автобус садится молодая женщина с ребенком на руках.

С тех пор как я работаю на фабрике, никто еще не садился в автобус на этой остановке.

Но сегодня в автобус садится женщина, и эту женщину зовут Лина.

Не та Лина, которую я жду в мечтах, а настоящая, реальная Лина, та маленькая вредина Лина, что отравляла мне жизнь в детстве. Та, которая замечала, что я ношу одежду и башмаки ее старшего брата, и объявляла об этом на весь класс. Та, что делилась со мной бутербродами и печеньем, от которых мне так хотелось отказаться. Но я был слишком голоден на переменах.

Лина говорила, что бедным нужно помогать, так учили ее родители. Вот я и был тем бедняком, которого Лина выбрала для оказания помощи.

Я прохожу на середину автобуса, чтобы лучше рассмотреть Лину. Я не видел ее целых пятнадцать лет. Она не очень-то изменилась. Все такая же бледная худышка. Волосы ее слегка потемнели и собраны в хвост на резинке. Лицо не накрашено, одета она отнюдь не элегантно и не по моде. Да, Лине далеко до красавицы.

Она рассеянно смотрит в окно, потом ее взгляд падает на меня, но тут же вновь устремляется в пустоту.

Она наверняка знает, что я убил ее отца, моего отца, нашего отца, и, может быть, мою мать тоже.

Нельзя, чтобы Лина меня узнала. Она может донести на меня как на убийцу. Конечно, с тех пор прошло пятнадцать лет, срок давности наверняка вышел. А впрочем, что ей может быть известно? Знает ли она, что у нас с ней общий отец? Что у нас был общий отец? Да и умер ли он?

Нож был длинный, но он с большим трудом вошел в плотное мужское тело. Я нажимал изо всех сил, но мне ведь было всего двенадцать лет, я был тщедушен, как голодный

котенок, почти ничего не весил. Я понятия не имел об анатомии и вполне мог ударить, не задев жизненно важных органов.

Доезжаем до фабрики, выходим.

Лину поджидает соцработница, она ведет ее в ясли.

Я вхожу в цех, включаю станок; он работает так рьяно, как никогда еще не работал, он поет, он гудит: «Лина здесь, Лина здесь!»

За окном танцуют деревья, весело насвистывает ветер, резво бегут облака, блестит солнце, погода лучезарна, как весенним утром.

Так, стало быть, это ее я ждал все эти годы! А я и не подозревал. Мне казалось, я жду какую-то незнакомку, прекрасную собой, но несуществующую. А появилась реальная Лина — после пятнадцати лет разлуки. И вот мы встретились: вдали от родной деревни, в другой деревне, в другой стране.

Утро пролетает как один миг. В полдень я иду обедать в фабричную столовку. Там очередь, она двигается медленно. Лина стоит передо мной. Она берет кофе и простую булку. Точно как я, когда приехал сюда и еще с недоверием относился ко всей этой иностранной еде. Она казалась мне пресной, безвкусной.

Лина выбирает стол на отшибе. Я сажусь за другой, напротив нее. Ем, не поднимая головы. Боюсь взглянуть на нее. Кончив есть, встаю, уношу поднос с грязной посудой и иду за кофе. Проходя мимо Лининого стола, заглядываю в книгу, которую она читает. Она написана не на нашем и не на здешнем языке. Похоже на латынь.

Я тоже раскрываю книгу и делаю вид, будто читаю, но никак не могу сосредоточиться и на самом деле разглядываю Лину. Когда она поднимает глаза, я тут же утыкаюсь в книгу. Иногда Лина долго смотрит в окно, и я понимаю, что одно в ней разительно изменилось — ее взгляд. У Лины моего детства глазки были озорные и счастливые. Теперешняя Лина глядит хмуро, печально, как и все мои знакомые эмигранты.

В час дня мы возвращаемся на фабрику. Лина работает в цеху на этаж выше моего.

Вечером, когда мы выходим с фабрики, нас ждет автобус. Я вижу, как Лина забегает в ясли и берет своего ребенка. Потом садится рядом с кондуктором, а я позади, но не очень далеко от нее.

Лина вышла там же, где села утром. Я тоже выхожу и иду за ней. Она заходит в маленькую деревенскую лавку, я тоже. Она молча указывает на продукты, которые хочет купить, — молоко, макароны, конфитюр. Значит, она еще не говорит на языке этой страны. Или же она стала немой, болтливая подружка моего детства.

Я покупаю пачку сигарет и опять иду следом за Линой. Теперь она меня явно замечает. Но ничего не говорит. Она входит в трехэтажный дом рядом с церковью. Я заглядываю в окно первого этажа. Там горит свет. За столом, склонившись над книгами, сидит мужчина. Остальная часть квартиры погружена в темноту.

Я обнаруживаю переулок, ведущий к лесу. Перехожу реку по узкому деревянному мостику и шагаю по дороге до тех пор, пока не оказываюсь на задах деревни. Сажусь в траву и пытаюсь определить, где находится дом Лины. Вроде бы вон тот, но я не вполне уверен. От домов меня теперь отделяют река и сады. Я смутно вижу, как за окнами движутся какие-то тени, но не могу ничего различить.

Я думаю: если мне понадобится хорошенько разглядеть что-нибудь, придется купить бинокль.

Возвращаюсь к дому, заглядываю в то же окно. Мужчина по-прежнему читает за столом. Лина тоже здесь — сидит в кресле и кормит малыша из бутылочки. Не могу определить, мальчик это или девочка, но теперь знаю другое: у Лины есть муж.

Я решаю ехать домой автобусом. Долго жду на остановке. По вечерам автобусы ходят с большими интервалами. Возвращаюсь домой почти в десять часов.

Ян ждет меня у двери. Прикорнул на ступеньках и спит.

Он спрашивает:

— Где ты был?

Я отвечаю:

— Это еще что! Я тебе отчитываться должен? Ты-то что здесь делаешь? Долго еще вы все будете мне надоедать?

Ян встает и тихо говорит:

— Я тебя ждал... Опять нужен переводчик.

Я отворяю дверь, вхожу в кухню и говорю:

— Убирайся. Уже поздно. Я хочу спать.

Он бормочет:

— Я голоден.

Я отвечаю:

— А мне наплевать.

Я выталкиваю его на лестницу, но он успевает сказать:

— Ты нужен Еве на ближайшем суде. Она занимается иностранцами, беженцами, всеми нашими делами. Она все время спрашивает о тебе.

Я бросаю:

— Скажи ей, что я умер.

— Но ведь это неправда, Шандор. Ты же не умер.

— Ничего, она поймет.

Ян спрашивает:

— С чего ты стал такой злой, Шандор?

— Я не злой, я устал. Оставь меня в покое!

Я покупаю бинокль. И еще я покупаю велосипед. Теперь мне не придется ждать автобуса. Я смогу ездить в деревню к Лине когда захочу, хоть днем, хоть ночью. От города это всего шесть километров.

Я больше не преследую Лину на улице. После работы сажусь в автобус и еду в город. А она выходит в «первой деревне» и больше меня не видит.

Кроме как в столовой.

И только позже, вечером, я еду смотреть на Лину в бинокль. Хотя видеть-то особенно нечего.

Лина укладывает ребенка в детскую кроватку, потом они с мужем ложатся в большую кровать и гасят свет.

Иногда Лина садится у окна и выкуривает сигарету, глядя прямо на меня; но меня она не видит, она видит только лес.

Мне хотелось бы сказать ей, что я здесь, что я слежу за ней, что я уделяю ей внимание в этом чужом для нее мире. Мне хотелось бы сказать ей, что она не должна бояться, потому что я, ее брат, здесь, рядом и готов защитить ее от любой опасности.

Где-то я читал или слышал, что у египетских фараонов идеальным считался брак между братом и сестрой. Я с этим вполне согласен, хотя Лина мне только единокровная сестра. Но других у меня нет.

Наступает суббота. По субботам на фабрике не работают. Я беру свой велосипед и отправляюсь в Линину деревню. Наблюдаю за ней с мужем то со стороны улицы, то со стороны леса. Вижу, как Лина одевается, берет маленькую сумочку и идет к автобусной остановке. Она едет в город.

Я мчусь на велосипеде за автобусом. Дорога идет под уклон, и я поспеваю за ним. Мы въезжаем на Центральную площадь одновременно. Лина выходит. Направляется к парикмахерской. Я сажусь в бистро окнами на площадь и жду.

Через два часа Лина появляется, нагруженная разными покупками. Она сменила прическу. Теперь у нее уложенные завитые волосы, почти как у Йоланды. Я думаю: надо бы ей сказать, что такая прическа ей совсем не к лицу.

Как я и предвидел, она садится в автобус. Я еду следом. Провожаю ее до самой деревни, но только теперь шоссе идет в гору, и я добираюсь с опозданием.

В эту субботу я забываю навестить Йоланду. И хотя в окнах Лининого домика ничего интересного не видно, я остаюсь с ней до восьми вечера. Когда я возвращаюсь к себе, до меня доходит, что я не успел ничего купить из продуктов и у меня в холодильнике пусто. Я мог бы, конечно, заглянуть к Йоланде, но предпочитаю пойти поужинать в кафе, в компании земляков.

И конечно, встречаю там Яна. Он сидит и пьет пиво в окружении других беженцев, чей язык я не понимаю.

Ян объявляет им:

— Это мой лучший друг. Присаживайся, Шандор. Они все мои приятели.

Я пожимаю руки приятелям, потом спрашиваю Яна:

— Как же вы друг с другом объясняетесь?

Ян смеется:

— Это нетрудно. Объясняемся на пальцах.

И он делает знак официанту, показав восемь пальцев:

— Пива!

Затем наклоняется ко мне:

— Скажи, друг, ты заплатишь за эти восемь кружек?

— Конечно. И за восемь порций сосисок с картошкой.

Официант приносит восемь тарелок с сосисками. Мои гости аплодируют, когда я выкладываю кошелек на стол. Они шумно едят и заказывают еще пива, кружку за кружкой.

В этот момент передо мной и возникает Йоланда. Я вижу ее в каком-то тумане. Я уже слишком много выпил, а дым в кафе такой, что хоть топор вешай.

Я говорю Йоланде:

— Давай садись.

— Нет. Пошли отсюда. Я приготовила ужин.

— Я уже поел. Садись и лопай сосиски. Мы тут с друзьями.

Она говорит:

— Ты напился. Хочешь, я провожу тебя домой?

— Нет, Йоланда. Хочу остаться здесь. И пить дальше.

Она отвечает:

— С тех пор как появились твои земляки, ты сильно изменился.

— Верно, Йоланда, я сильно изменился. Даже не знаю, смогу ли стать прежним. Для того чтобы в этом разобраться, нам нужно какое-то время не видеться.

— И сколько же времени?

— Почем я знаю! Несколько недель или месяцев.

— Хорошо. Я подожду.

Главная проблема состоит вот в чем: как мне познакомиться с Линой?

Странное дело: ни мастер ее цеха, ни соцработница не просят меня послужить переводчиком в случае каких-то затруднений. Правда, работа на нашей фабрике настолько элементарна, что ее можно объяснить и глухонемому.

Вот уже второй раз я говорю, что Лина, может быть, онемела. Она так мало разговаривает. Собственно, она никогда и ни с кем не разговаривает.

Остается только подойти к ней в столовой.

Вообще-то я довольно легко завожу знакомства с женщинами. Но Лину я боюсь. Смертельно боюсь, что она меня отошьет.

И все-таки однажды я решаюсь. Проходя мимо ее стола с чашкой кофе, я останавливаюсь. И спрашиваю на нашем родном языке:

— Хотите еще кофе?

Она с улыбкой отвечает:

— Нет, спасибо. Но вы садитесь. Я не знала, что вы мой земляк. Вы из-за этого меня и преследовали?

— Да, из-за этого. Меня интересуют все, кто приезжает из нашей страны. Я хотел бы помогать им.

— Не думаю, что нуждаюсь в вашей помощи. Кто вы?

— Беженец, уже давний. Живу здесь пятнадцать лет. Меня зовут Шандор Лестер.

— Мне нравится имя Шандор. Моего отца тоже зовут Шандор.

— Сколько лет вашему отцу?

— Какое это имеет значение? Ему скоро шестьдесят. Почему вы им интересуетесь?

Я отвечаю:

— Мои родители погибли во время войны. Вот я и думал, ваши живы или тоже умерли?

— Нет, они оба живы-здоровы. Я сочувствую вам, Шандор, по поводу родителей. Меня зовут Каролина, но я не люблю это имя. Муж зовет меня Каролой.

— А я буду звать вас Линой.

Она смеется:

— А меня в детстве и звали Линой.

Потом она спрашивает:

— Ну и как вам живется в этой стране?

— Да так, со временем привыкаешь.

— Я вот никогда не смогу привыкнуть. Никогда.

— Хочешь не хочешь, а придется. Вы ведь беженка. Приехали сюда по доброй воле. И вернуться уже не сможете.

— Нет, я не беженка. Мой муж получил стипендию для работы здесь. Он физик. Мы проживем тут год, а потом вернемся на родину. Там я закончу институт и стану преподавать латынь и греческий. А пока, на этот год, я устроилась сюда, на фабрику. Стипендии мужа не хватает на жизнь. Я могла бы остаться на родине, но муж не захотел разлучаться с ребенком. И со мной.

Я провожаю Лину до ее станка.

— Не бойтесь ничего. Год пролетит быстро. Я вот работаю здесь уже десять лет.

— Это ужасно. Я бы не выдержала.

— Никто не выдерживает, и все-таки никто от этого не умирает. Некоторые сходят с ума, но такое бывает редко.

Вечером я жду Лину в автобусе. Она появляется с ребенком на руках. Я спрашиваю, мальчик это или девочка.

— Девочка. Ей пять месяцев. Ее зовут Виолетта. И прошу вас, не преследуйте меня больше.

Назавтра в столовой я подхожу к Лининому столу со своим подносом. Сажусь напротив нее.

— Я больше не хожу за вами по улице. Но ведь мы можем обедать вместе?

— Каждый день?

— Почему бы и нет? Мы же земляки. Никого это не удивит.

— Мой муж ревнив.

— Он об этом ничего не узнает. Расскажите мне о нем.

— Зовут его Коломан. Он занимается научными исследованиями. Каждый день ездит в город и возвращается поздно вечером. И дома тоже много работает.

— Ну а вы? Вам здесь не скучно? Вы совсем не выходите, у вас нет друзей.

— Откуда вы знаете?

Я смеюсь.

— Я следил за вами. Вот уже много недель, как я веду наблюдение.

— Даже по вечерам? Даже когда я дома?

— Да, я смотрю в окно. У меня есть бинокль. Простите меня.

Лина краснеет, потом произносит скороговоркой:

— Я верчусь как белка в колесе — хозяйство, ребенок, магазины, работа на фабрике.

— Муж вам не помогает?

— У него нет времени. Днем по субботам он сидит с малышкой, пока я езжу за покупками в город. У нас в деревне не всегда найдешь все что нужно.

Я прерываю ее:

— Там нет даже парикмахера. Жаль, что вы так обошлись со своими волосами. Эта прическа вам совсем не идет.

Лина сердито отвечает:

— Ну это уж вас не касается.

— Вы правы. Извините меня. Продолжайте.

— Продолжать что?

— Ваш муж занимается девочкой днем по субботам...

— Ну не то чтобы занимается. Просто устраивает ее возле письменного стола, а сам работает. Если она слишком уж докучает ему плачем, он дает ей бутылочку с чаем, который я готовлю заранее. Вот и все. Он нѐ пеленает ее, не укачивает, позволяет ей поплакать. Он утверждает, будто это полезно для младенцев.

Лина опускает голову, чтобы скрыть слезы. Помолчав, я говорю:

— Вам все это, наверное, очень тяжело.

Она отрицательно качает головой:

— Это ведь ненадолго. В начале лета мы уедем.

— Нет!

У меня невольно вырвался этот крик. Лина удивленно спрашивает:

— Как это «нет»?

— Извините. Разумеется, вы уедете. Но мне больно думать о вашем отъезде.

— Почему же?

— Это длинная история. Вы похожи на одну маленькую девочку, с которой я расстался пятнадцать лет назад.

Лина улыбается:

— А, понимаю. Я тоже в детстве была влюблена в мальчика, моего ровесника. Но однажды он исчез. Уехал в город с матерью. И больше их никто никогда не видел.

— Ни мальчика, ни его мать?

— Ни того, ни другую. Впрочем, мать его вела дурную жизнь. Я очень хорошо помню, когда они уехали, потому что как раз вечером того дня кто-то напал на моего отца — он шел домой, какой-то бродяга подстерег его возле кладбища, ударил ножом и вытащил бумажник. Отец кое-как добрался до дома, и мать долго ухаживала за ним. Она спасла ему жизнь.

— И с тех пор вы не видели Тобиаша?

Лина смотрит мне прямо в глаза.

— Я не говорила вам, что его звали Тобиаш.

Мы неотрывно глядим друг на друга. Я начинаю говорить первым:

— Вот видишь, Лина, я сразу тебя узнал. В первый же день, когда ты села в автобус.

Лина становится еще бледнее, чем обычно. Она еле слышно шепчет:

— Значит, это ты, Тобиаш? Почему же ты сменил имя?

— Потому что я сменил одну жизнь на другую. И потом, мое имя казалось мне таким дурацким.

На следующее утро Лина садится в автобус, но теперь уже сзади, рядом со мной. Мы едем почти одни, пассажиров совсем мало. Никто на нас не смотрит, никто нами не интересуется.

Лина говорит мне:

— Я рассказала о вас... о тебе моему мужу. Коломану. Он рад, что я не одинока на фабрике. Но я немного приврала. Умолчала о твоей матери. Сказала, что ты мне дальний родственник и что ты сирота военного времени. Он хотел бы познакомиться с тобой и просит, чтобы я пригласила тебя к нам.

Я отвечаю:

— Только не так сразу. Нужно еще подождать.

— Подождать чего?

— Подождать, пока мы с тобой сами ближе познакомимся.

В полдень мы обедаем вместе. Каждый день. По утрам вместе ездим на автобусе. По вечерам тоже.

Теперь мне приходится страдать только в выходные, когда мы не работаем. Я прошу у Лины разрешения сопровождать ее в субботу, когда она ходит по магазинам. Мы встречаемся на Центральной площади. Я иду с ней за покупками. Несу ее сумки. Потом мы заходим в кафе, где собираются беженцы, и пьем кофе. Затем Лина садится в автобус и возвращается в деревню, к своему мужу, к своему ребенку. Я за ней туда не езжу.

Не хочется больше смотреть, как она что ни вечер ложится с мужем в постель.

Остается заполнить чем-то воскресенье. Я говорю Лине, что буду ждать ее каждое воскресенье в три часа дня на узком деревянном мостике по дороге к лесу. Если она захочет погулять в той стороне с ребенком, я к ее услугам.

И вот я поджидаю ее там каждое воскресенье, и каждое воскресенье она приходит.

Мы прогуливаемся втроем с ее маленькой дочкой. Стоит зима, и иногда Лина привозит девочку на санках. Я затаскиваю их на взгорок, Лина с Виолеттой скатываются вниз, а я бегу за ними.

Так вот мы и видимся с Линой каждый божий день. Я уже не могу обходиться без нее.

Дни, проводимые на фабрике, становятся для меня днями радости, утренние пробуждения — счастьем, поездка на автобусе — кругосветным путешествием, а Центральная площадь — центром вселенной.

Лина не знает, что я пытался убить ее отца, она не знает также, что у нас общий отец. И, значит, я могу просить ее выйти за меня замуж. Здесь никому не известно, что мы с ней брат и сестра. Лине и самой это неизвестно, стало быть, к нашему браку нет никаких препятствий.

Детей у нас не будет, они нам не нужны. У Лины уже есть ребенок, а я терпеть не могу младенцев. Впрочем, Коломан прекраснейшим образом может увезти свою дочь с собой, когда поедет обратно. Там у ребенка будут и бабушка с дедушкой, и родина, и все, что нужно для счастья.

А мне требуется лишь одно — удержать Лину подле себя. В моем доме. Благо квартира теперь чистенькая.

Я вытаскиваю вещи из комнатушки, где собирался оборудовать рабочий кабинет, и устраиваю там детскую на случай, если Лина и вправду решит обосноваться у меня.

Иногда в полдень, после обеда, мы с Линой играем в шахматы. Я всегда выигрываю. После пятой выигранной мною партии Лина говорит:

— Ну конечно, нужно же тебе взять верх хоть в чем-нибудь.

— Не понял?

Она сердито говорит:

— В школе мы были с тобой на равных. С тех пор мы прожили порядочный кусок жизни. Я стала преподавателем иностранных языков, а ты остался простым рабочим.

Я возражаю:

— Зато я пишу. Веду дневник и сочиняю книгу.

— Бедный Шандор, ты даже не понимаешь, что это значит — сочинять книгу. На каком языке ты ее пишешь?

— На здешнем. Ты даже не способна прочесть то, что я пишу.

Она говорит:

— На своем родном языке и то писать необычайно трудно. А уж на чужом!..

Я отвечаю:

— Я пытаюсь на нем писать, вот и все. А получится из этого что-нибудь или нет, мне все равно.

— Правда? И тебе безразлично, что ты так и останешься рабочим до конца своих дней?

— С тобой — нет, не безразлично. А без тебя мне на все наплевать.

— Ты пугаешь меня, Тобиаш.

— Ты тоже пугаешь меня, Лина.

Время от времени, по вечерам в субботу, я вижусь с Йоландой. Мне надоело следить за тем, как Лина ложится в постель с мужем, а теперь мне опротивело и наше эмигрантское кафе.

Йоланда, напевая, возится на кухне, приносит мне виски со льдом; я пью и читаю газету. Потом мы молча ужинаем, сидя лицом к лицу. Нам нечего друг другу сказать. После ужина, если у меня есть желание, занимаемся любовью. Но желания все меньше и меньше. Я только и думаю, как бы поскорее вырваться отсюда, прийти домой и начать писать.

Я больше не пишу на местном языке свои странные истории, теперь я пишу стихи на родном языке. Все они, конечно, посвящаются Лине. Но я не осмеливаюсь показать их ей. Я не уверен в орфографии и хорошо представляю себе, как Лина будет потешаться надо мной. Что же до их содержания, слишком рано ей знать его. Она вполне способна отказаться от совместных обедов в столовой и от воскресных прогулок.

Однажды в декабре, в субботу, Йоланда говорит мне:

— На Рождество я пойду к родителям. Ты можешь встретить праздник с нами. Мои давно уж хотят с тобой познакомиться.

— Возможно, я и приду.

Но вот в понедельник утром Лина сообщает мне, что ее муж хочет пригласить меня к ним на встречу Рождества.

— Приходи со своей подружкой.

Я качаю головой:

— Будь у меня подружка, я бы не проводил все субботы и воскресенья с тобой. Я лучше приведу приятеля.

Йоланде я говорю, что приглашен вместе с Яном к землякам.

Да, именно так, я веду с собой Яна, очень уж мне хочется посмотреть на физиономию великого физика, встречающего Рождество в компании моего друга, этого деревенского дурачка!

Однако я ошибся.

Коломан принимает нас с распростертыми объятиями. Он тут же по-свойски тащит Яна в кухню, наливает ему пива и делает все, чтобы он чувствовал себя как дома.

Я так часто изучал этот дом снаружи, что теперь с удовольствием оглядываю его изнутри — комнату окнами на улицу, другую, выходящую в сад и лес. Между ними кухня. Ванной нет. Центрального отопления тоже нет, комнаты отапливаются углем, а кухня дровами.

Я думаю, что Лине будет гораздо лучше у меня, чем здесь.

Она хлопочет в передней комнате, накрывая на стол там, где обычно занимается Коломан. Сегодня он убрал со стола все свои книжки.

В комнате стоит наряженная елка, внизу разложены подарки. Рядом с елкой, в манеже, играет девочка.

Коломан зажигает свечи, и девочка первой получает подарки. Разумеется, они ей безразличны, ведь ей всего шесть месяцев. Я принес ей плюшевого кота, а Ян — деревянный волчок, который сам и выстругал.

Лина дает дочке бутылочку.

— Мы сядем за стол, когда она уснет. Так нам будет спокойнее.

Коломан откупоривает бутылку белого вина, наливает, поднимает стакан:

— Счастливого Рождества всем!

Я думаю о том, что у меня никогда не было елки. По-моему, Ян думает о том же.

Лина укладывает ребенка в задней комнате, и мы приступаем к трапезе. Едим утку с рисом и овощами. Приготовлено очень вкусно.

После ужина мы обмениваемся подарками. Ян получает нож с несколькими лезвиями, штопором и открывалкой для консервов. Он страшно доволен. Мне вручают авторучку, и я не знаю, как это понимать — неужели намек со стороны Лины? Да, наверняка это коварная насмешка.

Коломан обращается ко мне:

— Карола мне сказала, что вы пишете.

Я смотрю на Лину, кровь бросается мне в лицо, я, наверное, покраснел как рак. Мой ответ звучит в высшей степени глупо:

— Да, но только карандашом.

Чтобы сменить тему, я быстренько вручаю Лине общий подарок от меня и Яна — набор для ликера, графинчик и рюмки. Купил его, конечно, я.

Лина начинает убирать со стола. Я ей помогаю. Мы нагреваем воду, Лина моет посуду, я вытираю. Пока мы трудимся в кухне, из комнаты до нас доносятся взрывы смеха. Ян и Коломан рассказывают друг другу всякие байки.

Я вхожу в комнату:

— Ян, пора идти. Последний автобус через десять минут.

На глазах у Коломана я целую Лину в щеку.

— Спасибо тебе, кузина, за этот прекрасный вечер.

Ян целует Лине руку.

— Спасибо, спасибо вам! Привет, Коломан!

Коломан отвечает:

— До скорого. Мне было очень приятно.

Всю праздничную неделю между Рождеством и Новым годом фабрика закрыта. И нет больше совместных поездок и обедов в полдень. Еще до наступления праздников я предупредил Лину:

— Буду ждать тебя на мосту каждый день, с трех часов.

Когда не слишком холодно, я езжу туда на велосипеде. Если идет снег, сажусь на автобус. Жду несколько часов на мосту, потом возвращаюсь домой и пишу стихи.

К несчастью, у Коломана, верно, тоже отпуск, так как он теперь гуляет вместе с Линой и ребенком. Увидев их, я прячусь за деревом и, пропустив вперед, ухожу восвояси. Лина наверняка узнает мой велосипед.

За эту неделю Лина ни разу не появилась одна. И ни разу мне не удалось с ней поговорить.

Может, Коломан что-нибудь заприметил во время рождественского вечера?

Теперь я предпочитаю рабочие дни выходным. Меня грызет тоска. Я иду к Йоланде, но ее нет дома — верно, гостит у родителей. Они живут где-то неподалеку, но я не знаю их адреса.

Эмигрантское кафе тоже закрыто.

Однажды вечером я захожу к Паулю. Мне открывает Кати.

— Здравствуйте, Шандор. Что вам угодно?

— Да так, ничего особенного. Хотел поболтать с Паулем и вами.

— Пауля нет дома. Он уехал. Исчез. Может, вернулся на родину, ничего не знаю. Через несколько месяцев после смерти Веры я нашла письмо от него на кухонном столе. Он писал, что любил Веру, понимаете, был влюблен в нее и никогда не сможет себе простить, что уехал в отпуск со мной, оставив ее одну. Писал, что Вера тоже его любила, что именно поэтому она и покончила с собой, когда мы уехали отдыхать вдвоем, а ее бросили.

Я так потрясен, что могу только прошептать:

— Сочувствую вам. Как же вы обходитесь без Пауля?

— Прекрасно обхожусь. По-прежнему работаю в больнице и живу с человеком отсюда, нет риска, что влюбится в мою младшую сестру, поскольку она уже мертва.

И Кати захлопывает дверь. Остолбенев, я стою на площадке еще несколько минут. В те времена я воображал, будто Вера влюблена в меня. Но я ошибался. Она любила Пауля, мужа своей сестры. А с другой стороны, я чувствую облегчение: значит, Вера ничего не ждала от меня.

Тридцать первого декабря я отправляюсь в центр беженцев, захватив с собой несколько килограммов продуктов. Вхожу в просторную столовую. Люди всех цветов кожи заняты украшением зала, подготовкой праздничных столов. Бумажные скатерти, картонные стаканчики, пластмассовые приборы. Повсюду разбросаны еловые ветки.

Завидев меня в дверях, все бегут навстречу с радостными криками:

— Ян! Ян! Твой друг пришел!

Ян сажает меня на почетное место, рядом с кухней.

— Как я рад, что ты пришел, Шандор!

И вот я принимаю участие в развеселом празднестве среди этих людей — эмигрантов из известных, а то и неизвестных стран. Музыка, танцы, песни. Беженцам разрешено пировать до пяти часов утра.

В одиннадцать вечера я тихонько сбегаю. Беру велосипед, качу в «первую деревню». Сажусь на опушке леса. В доме у Лины темно.

Вскоре церковные часы отбивают двенадцать ударов. Полночь.

Начинается новый год. Я сижу на заледенелой траве, обхватив голову руками, и плачу.

Наконец рождественские каникулы окончились. Лина снова моя, почти целый день. Даже когда мы работаем, нас разделяет всего один этаж, и я могу в любой момент пойти взглянуть на нее.

В первое рабочее утро, в автобусе, Лина сказала:

— Прости меня, Шандор, я не могла выйти одна из дома. Коломан работал целыми

днями, но, как только я начинала одеваться, чтобы выйти погулять с Виолеттой, он заявлял, что ему тоже невредно подышать свежим воздухом.

— Знаю, Лина, я ведь вас видел. Ничего страшного. К счастью, теперь это кончилось. Все будет как прежде.

И тут Лина говорит чудесные слова:

— Мне тебя не хватало. Я ужасно скучала дома. Коломан со мной практически не разговаривает. Зарылся в свои книги. Даже на прогулке слова лишнего не скажет. Вот я и думала о тебе. Мне было так грустно, когда я замечала твой велосипед. А что ты делал все эти дни?

— Ждал тебя.

Лина опускает глаза и краснеет.

За обедом в столовой она говорит:

— Я тебя до сих пор не спросила, где ты оставил мать. Вы ведь уехали вместе, правда?

— Нет, я уехал первым. Не знаю, что с ней сталось.

— Ее видели в городе на улицах. Извини меня, Тобиаш, но мне кажется, там твоя мать вела ту же жизнь, что и в деревне.

— У нее не было выбора. Но знаешь, Лина, мне очень хотелось бы забыть эту часть моей жизни. Здесь никому не известно, откуда я взялся и как жил раньше.

— Бедный Тобиаш! Прости меня! Ты ведь даже не знаешь, кто твой отец.

— Ошибаешься, Лина, это я очень хорошо знаю. Но это моя тайна.

— Даже для меня?

— Да, и для тебя. Особенно для тебя.

— Может быть, потому, что я с ним знакома?

— Да, потому что ты с ним знакома.

Лина пожимает плечами.

— Поверь, мне наплевать, что твой отец — один из тамошних крестьян. Я даже не помню их по именам.

— Я тоже, Лина. Я тоже не помню их по именам.

Теперь мы с Линой можем наконец вспоминать нашу прошлую жизнь во время прогулок или за обедом. Лина рассказывает:

— В тот год, когда ты уехал, мы закончили обязательную среднюю школу. Осенью меня отправили в город к маминой сестре. Мой старший брат уже жил в городе, в бесплатном интернате. Мы каждое воскресенье встречались в доме у тети. Мои родители тоже часто приезжали навещать нас. Они привозили деревенские продукты — ведь после войны в городе с едой было плохо. Два года спустя мой младший брат, в свою очередь, поступил в бесплатный интернат, тот, куда мой отец предлагал устроить тебя, помнишь? Ну а потом мы, все трое, поехали в столицу, завершать образование в университете. Мой старший брат стал адвокатом, а младший — врачом. Ты тоже мог выучиться на кого-нибудь, если бы послушался моего отца. Но ты выбрал бегство и стал бог знает кем, заводским рабочим. Почему?

Я отвечаю:

— Потому что только будучи бог знает кем, можно сделаться писателем. И потом, так уж оно получилось; так, а не иначе.

— Ты это серьезно, Шандор? Что нужно быть бог знает кем, чтобы стать писателем?

— Думаю, что да.

— А вот я думаю, что писателем может стать только очень образованный человек. И притом нужно много читать и много писать. А сделаться писателем вот так, пописывая время от времени...

Я отвечаю:

— Я не очень-то образован, но я много читал и много писал. Для того чтобы стать писателем, нужно только писать и писать. Конечно, бывает, что человеку нечего сказать. А иногда, даже когда есть что сказать, невозможно выразить это на бумаге.

— Ну так что же у тебя остается от всех твоих писаний?

— Да ничего или почти ничего. Один-два листка с текстом и моей фамилией внизу. И то редко — я сжигаю почти все, что пишу. У меня пока не получается писать как надо. Но когда-нибудь я напишу книгу, и уж ее-то я не сожгу и подпишу своим именем — Тобиаш Хорват. Все подумают, что это псевдоним. А на самом деле это мое настоящее имя, но об этом знаешь только ты одна, правда, Лина?

Она говорит:

— Мне тоже хочется писать. Вот вернусь на родину, дождусь, когда Виолетта пойдет в школу, и начну.

— Что же ты будешь писать?

— Не знаю. Может быть, историю великой несбывшейся любви.

— А почему эта любовь несбыточна?

Лина смеется:

— Да не знаю я. Я ведь пока еще не начала писать.

— Твоя книга будет лживой.

— Откуда ты-то знаешь?

— Знаю. Потому что тебе не все известно. И ты никогда не сможешь написать нашу историю как надо.

— А у нас, оказывается, есть история?

— Да, Лина, есть.

— История любви?

— Это зависит от тебя, Лина. Разве что у тебя была еще какая-нибудь великая несбывшаяся любовь.

Она с улыбкой отвечает:

— Нет, чего не было, того не было. Но ведь я всегда могу ее придумать.

— Нечего тебе придумывать. Я люблю тебя, Лина, а ты — ты любила меня.

Мы останавливаемся. Виолетта спит в своей колясочке. Близится весна. Снег тает, под ногами у нас жидкая грязь.

Лина глядит на спящую дочку.

— Да, Шандор, я тоже тебя люблю. Но ведь у меня есть муж. И она.

— Не будь их, ты бы любила меня безраздельно? Ты вышла бы за меня замуж?

— Нет, Тобиаш. Я не могу быть женой фабричного рабочего и сама продолжать работать на фабрике.

Я спрашиваю:

— А когда я стану знаменитым писателем и приеду за тобой, ты выйдешь за меня?

Она говорит:

— Нет, Тобиаш. Во-первых, не верю я, что ты осуществишь эту свою мечту — стать знаменитым писателем. Во-вторых, я никогда не выйду замуж за сына Эстер. Ведь твою мать когда-то подбросили в деревню цыгане — воры и попрошайки. А я родилась в приличной семье, и мои родители — порядочные и образованные люди.

— Да, знаю. А у меня мать-шлюха, отца и вовсе нет, и сам я простой рабочий. Даже если я стану писателем, для тебя я всегда буду никем, темным, необразованным сыном деревенской потаскухи.

— Да, это так. Я люблю тебя, но это все пустые мечты. Мне стыдно, Шандор. Мне плохо, когда я с мужем, но и рядом с тобой мне тоже не по себе. Все кажется, будто я обманываю вас обоих.

— Но именно это ты и делаешь, Лина. Ты обманываешь нас обоих.

Я думаю: надо сказать ей все до конца, причинить ей такую же боль, какую причиняет мне она, сказать ей хотя бы, что у нас с ней общий отец, образованный, из хорошей семьи. Нужно бы высказать ей все это, но я не могу, не могу причинить ей боль, потому что не хочу терять ее.

Муж Лины уезжает на два дня, чтобы участвовать в конференции.

Я предлагаю Лине:

— Может, увидимся вечером?

Она колеблется.

— Я не хочу, чтобы ты приходил ко мне домой. И не могу приехать к тебе, это слиш-

ком далеко, как я оставлю малышку одну? Знаешь что, подожди меня на мосту. Когда Виолетта заснет, я выбегу на минутку. Приезжай часам к девяти.

Я приезжаю в восемь. Прислонив велосипед к перилам моста, сажусь и жду, как все прошлые вечера. Я мог бы ждать часами, да хоть целыми днями, если нужно, — ничего важнее у меня нет.

Глядя в бинокль, я наблюдаю за Линой. Она входит в заднюю комнату, укладывает ребенка, тушит свет. Отворяет окно, выглядывает, закуривает сигарету. Она не видит меня, но знает, что я тут. Она ждет, пока малышка уснет.

Церковные часы отзванивают девять. Начинается дождь.

Спустя какое-то время Лина подходит ко мне. На голове у нее косынка, по обычаю женщин нашей страны. Только моя мать не носила ни косынки, ни шляпы. У нее были густые, великолепные волосы, пышные даже под дождем.

Лина бросается ко мне в объятия. Я целую ее в щеки, в лоб, в глаза, в шею, в губы. Мои поцелуи мокры от дождя и слез. Я различаю слезы и на щеках Лины — на вкус они солонее, чем капли дождя.

— Почему ты плачешь?

— Я злая, я обидела тебя, Шандор. Сказала, что не выйду за тебя из-за твоей матери. Но ведь это не твоя вина! Ты тут ни при чем. Ты вправе рассердиться и больше не видеться со мной.

— Я думал об этом, Лина, но у меня не хватило сил. Я в твоей власти. Я не могу не видеться с тобой, я просто умру. Не могу обижаться на тебя, даже когда ты мне причиняешь боль. Я знаю, ты меня презираешь, но люблю тебя так, что перенесу и это. Только одно я не смогу перенести — если ты уедешь на родину вместе с Коломаном.

— Именно это мне и придется сделать через несколько месяцев.

— Я не переживу этого, Лина.

Она нежно гладит меня по волосам:

— Ну конечно переживешь, Шандор. И потом, ты ведь тоже можешь вернуться, и там мы будем видеться по-прежнему.

— Тайком? За спиной у твоего мужа?

— Другого выхода нет. Если ты любишь меня, возвращайся. Что тебе мешает?

— О, много всего.

Я судорожно прижимаю Лину к себе и долго, бесконечно долго целую в губы, а вокруг нас полыхают молнии, грохочет гром; во мне вспыхивает невыносимый жар и миг спустя извергается наружу бурным потоком семени.

Дождь

Вчера я спал очень долго. Мне приснилось, будто я умер. Я видел свою могилу. Она была заброшена, заросла сорняками.

Среди надгробий ходила какая-то старуха. Я спросил ее, почему она не обихаживает мою могилу.

— Это очень старая могила, — ответила она. — Посмотрите на дату. Никто уже и не помнит, кто здесь похоронен.

Я взглянул. Это была дата текущего года. Я не нашелся что сказать.

Когда я проснулся, было уже темно. Не вставая с кровати, я видел небо и звезды на нем. Воздух был прозрачен и мягок.

Я шел. Ничего больше не осталось, только ходьба, дождь, грязь. Мои волосы, моя одежда, все вымокло насквозь, а башмаков у меня не было, я шел босиком. Ноги у меня были белые, и эта белизна резко выделялась на черной грязи. Облака были серые. Солнце еще не взошло. Было холодно. И дождь был холодный. И грязь тоже была холодная.

Я шел. Я встречал других пешеходов. Они все шагали в одну сторону. Они казались такими легкими, как будто совсем ничего не весили. Их ногам, лишенным родной почвы, не грозили никакие раны. Это была дорога тех, кто покинул свой дом, свою страну.

И эта дорога никуда не вела. Прямая и широкая, она не имела конца. Она пересекала города и горы, башни и сады, не оставляя за собой ни малейшего следа. Обернешься, а ее нет как нет. Она была только впереди. По обе ее стороны тянулись бескрайние размокшие поля.

Время рвется на части. Где отыскать забытые пустыри детства? И продолговатые солнца, застывшие в черной мгле? Где отыскать дорогу, оборвавшуюся в пустоту? Времена года утратили всякий смысл. Завтра, вчера... что означают эти слова? Реально только настоящее. Вот сейчас идет снег. А в другой раз льет дождь. Потом восходит солнце или дует ветер. Все это — настоящее. Этого не было вчера и не будет завтра. Это есть сейчас. Это есть всегда. Все разом. Ибо все сущее живет во мне, а не во времени. И все, что живет во мне, зовется настоящим.

Вчера я пошел на берег озера. Вода теперь стала совсем черной, густой и черной, как чернила. И каждый вечер волны уносят с собою несколько забытых дней. Они уплывают к горизонту, словно стремятся к морю. Но море далеко отсюда. Все здесь так далеко.

Я думаю, что скоро выздоровею. Настанет миг, когда что-то сломается во мне самом или где-нибудь в окружающем пространстве. И я воспарю в неведомые выси. А на этой земле только всего и есть что урожаи, мучительное ожидание да невыразимое безмолвие.

Я качу домой под дождем. Я счастлив. Я знаю, что Лина меня любит. Она попросила, чтобы я вернулся на родину одновременно с нею и Коломаном.

Но мне этого не хочется.

Возвращаться на родину... к чему?

Опять работать на какой-нибудь фабрике? Но там уже не будет Лины, ни в цеху, ни в столовой.

Она начнет преподавать в университете.

И перестанет меня узнавать.

Нет, она должна остаться здесь. Нужно, чтобы она осталась. С мужем, с ребенком, мне это безразлично. Я только не хочу, чтобы она уезжала. Я знаю, что она меня любит. Значит, она должна остаться.

Лина останется здесь, со мной. Замужем или нет, с ребенком или нет, все равно. Мы будем жить вместе.

Поработаем какое-то время на фабрике, а потом я начну издавать книги, стихи, романы, новеллы, и мы разбогатеем. Нам не нужно будет работать, мы купим дом в деревне. Пожилая служанка, кроткая и добрая, будет вести наше хозяйство. А мы станем писать книги, заниматься живописью.

Так потекут наши дни.

И нам больше не нужно будет бежать неведомо куда, ждать неведомо чего. Мы будем просыпаться, только когда выспимся. Мы будем ложиться спать, только когда захотим.

Одно лишь плохо: Лина со мной не согласна.

Она непременно хочет вернуться на родину. Уж не знаю зачем. На свете столько разных стран!

Но если я поеду туда, то не удержусь и начну разыскивать свою мать во всех городах, среди всех городских потаскух.

После нашей вчерашней встречи мне стало страшно: что скажет Лина? Она настолько непредсказуема — никогда не знаешь, чего от нее ждать.

На следующее утро она входит в автобус и, как обычно, садится рядом со мной. На левой руке у нее девочка, правую она вкладывает в мою. Так мы и едем до самой фабрики.

Погода прекрасная. В полдень мы обедаем, а потом выходим прогуляться в парк. Садимся на скамейку. Вокруг ни души, мы молчим. Перед нами высится огромное уродливое здание фабрики. А за ним такой прелестный пейзаж, какие видишь разве только в туристических буклетах.

Я кладу руку на Линину. Она не отнимает ее. Тихо, почти шепотом, я читаю одно из стихотворений, которые написал для нее, на нашем родном языке.

— Это чье?

— Мое.

— Знаешь, мне кажется, что у тебя действительно есть талант, Шандор.

Нам пора возвращаться в цех. Наши руки расстаются. И я думаю, что не смогу больше жить, если Линина рука не будет вот так покоиться в моей.

Как удержать ее?

Однажды вечером нахожу в почтовом ящике записку от Евы: «Мы нашли другого переводчика, владеющего языком Вашей страны. Поэтому мы больше не нуждаемся в Ваших услугах. Однако я хотела бы повидать Вас; не зайдете ли на несколько минут ко мне домой, адрес Вы знаете. Ваши зеленые глаза околдовали меня... и все остальное тоже. Буду ждать Вас после восьми вечера по средам и по субботам. С незабываемыми воспоминаниями, Ева».

Я не отвечаю. Что бы ни было, я не способен теперь заниматься с ней любовью. И с Йоландой тоже. Просто не могу.

— Ты почему так мало ешь, Шандор? Не нравится моя готовка?

— Ты замечательно готовишь, Йоланда.

— Тогда в чем дело? Ты похож на голодного кота. Твои земляки вконец тебя извели.

— Не беспокойся, Йоланда.

Я задремываю на диване под звуки музыки. К полуночи Йоланда расталкивает меня.

— Я отвезу тебя домой, Шандор. Или ты хочешь остаться?

— Нет, спасибо, Йоланда, я буду ночевать у себя. Но ты не беспокойся, я пройдусь пешком.

Я возвращаюсь домой. В кухне на полу лежит Ян. Трясу его за плечи, думая, что он напился. Он открывает глаза.

— Я разве не умер?

— С чего это тебе умирать?

— Да ведь я открыл газ.

— Газ уже неделю как отключен. Я за него больше не плачу. И за электричество тоже. Скоро и его отключат. Я слишком много истратил на полотенца, велосипед, карманный фонарь, бинокль... Как ты сюда попал?

— Дверь была открыта.

— Наверное, забыл запереть. Ну, не важно. Здесь все равно украсть нечего. Почему ты хотел умереть?

— Я получил письмо. Анонимку. Мне пишут, что я могу не возвращаться, потому что моя жена нашла себе другого, а я, мол, только на то и гожусь, чтобы слать им деньги. И будто бы жена уже беременна от этого другого. Что мне теперь делать?

— Одно из двух: либо вернуться и забрать сюда жену, либо остаться здесь и больше не думать обо всем этом.

— Но я же люблю жену! И детей тоже люблю!

— Тогда продолжай посылать им деньги.

— И знать, что тот, другой, будет ими пользоваться? Как бы ты повел себя на моем месте?

— Понятия не имею. Я и на своем-то не знаю, что делать.

— Но ведь ты умный, понимаешь больше меня. У кого ж мне тогда спросить совета?

— Может, сходишь к священнику?

— Да я уж пробовал. Но они не знают жизни. Только и талдычат: смирись, мол, да молись и веруй в добро! У тебя поесть не найдется?

— Нет, я ужинал у Йоланды. Ладно, пошли со мной.

И мы идем в наше любимое кафе. Там уже почти никого нет. На последние гроши я заказываю для Яна картофельный салат.

Поев, он спрашивает:

— Мне что, возвращаться в общежитие?

— Разумеется. Где же ты еще собираешься ночевать?

— У тебя. В том чуланчике позади комнаты.

— Чуланчика больше нет. Я устроил там детскую, чтобы поселить у себя Лину.

— Лина собирается жить у тебя?

— Да, в скором времени.

— Ты в этом уверен?

— Уверен, но тебя это не касается. Ладно, можешь переночевать в той комнатке, на ковре. Но только одну эту ночь, не больше.

Автобус подъезжает к «первой деревне». Как обычно, старуха берет свою пачку газет. Входит Лина. Она садится рядом со мной, берет меня за руку, как все прошедшие недели, и впервые кладет мне голову на плечо. Так мы и едем, молча, до самой фабрики. Автобус уже остановился, но Лина не двигается. Думая, что она спит, я легонько трясу ее за плечо. Она падает с сиденья. Выхватив у нее ребенка, я кричу:

— Позовите «скорую»!

Лину уводят в кабинет соцработницы, звонят в больницу. Женщина из ясель забирает девочку.

Я сажусь вместе с Линой в машину «скорой помощи». Меня спрашивают:

— Вы ее муж?

— Да.

Я сжимаю Линины руки, пытаясь согреть их. На полпути Лина приходит в себя.

— Что случилось, Шандор?

— Ничего серьезного, Лина. Просто ты упала.

— А Виолетта?

— Она в яслях, не беспокойся о ней.

Она опять спрашивает:

— Но что же со мной случилось? У меня ничего не болит, я себя хорошо чувствую.

— Да, конечно, ничего серьезного. Простой обморок.

Вот и больница. Мне говорят:

— Возвращайтесь домой, мы вам позвоним.

— У меня нет телефона. Я лучше подожду здесь.

Тогда мне указывают на соседнюю комнату:

— Посидите там.

Это маленькая больничная приемная. Здесь сидит всего один посетитель — молодой человек, крайне испуганный и взволнованный.

— Я не хочу этого видеть. Они заставляют меня присутствовать при родах, чтобы я увидел, как мучается моя жена. Но если я это увижу, то уж никогда больше не смогу заниматься с ней любовью.

— Вы правы, не ходите туда.

Чуть позже его зовут:

— Входите, роды начались.

— Нет!

И он убегает. Я гляжу в окно, как он мчится через парк, прочь.

Я жду еще два часа. Наконец появляется молодой улыбающийся врач.

— Можете спокойно ехать домой. Ваша жена не больна, она просто беременна. Думаю, что завтра мы ее уже отпустим. Приезжайте за ней часам к двум.

Вчера, покинув больницу, я так и не пошел на работу. Долго бродил по улицам города, потом, к одиннадцати часам, сел на скамейку в парке напротив университета.

В полдень из здания вышел Коломан, а с ним молодая блондинка. Они прошли по парку, я за ними. Потом они сели на террасе кафе. Было уже по-весеннему тепло. Они заказали еду, они болтали и смеялись.

Увидев Коломана с этой девицей, я испытал приступ ревности. По какому праву он обманывает Лину, пока она работает на него! И по какому праву увозит Лину на родину, если позволяет себе развлекаться с другими женщинами!

Я вспоминал, как Лина держит меня за руку в автобусе каждое утро. А ведь накануне ночью она спала со своим мужем, не то с чего бы ей забеременеть!

Я встаю и подхожу к столику Коломана.

— У вас найдется свободная минутка?

Он раздраженно спрашивает:

— Что вам от меня нужно, Шандор?

— Лина в больнице. Сегодня утром она потеряла сознание в автобусе.

— Потеряла сознание?

— Да. Я проводил ее в больницу. Там вас ждут.

— А девочка?

— Девочку оставят в яслях до возвращения вашей жены.

— Спасибо, Шандор. Я скоро поеду в больницу. Сразу же после лекций.

Не очень-то он торопится. Спокойно завершает обед и возвращается в университет вместе с девушкой.

А я еду в больницу. Врываюсь в палату к Лине:

— Ваш муж скоро подъедет, сразу после лекций.

— Ты больше не говоришь мне «ты», Шандор?

— Мне холодно, Лина, мне очень холодно. Я чувствую, что теряю тебя. Ты ждешь второго ребенка от Коломана.

На следующее утро мне приходится вновь ехать на автобусе, вновь работать.

Вечером я прохожу мимо Лининого дома, чтобы посмотреть, вернулась ли она из больницы. Во всех комнатах темно.

Проходит три дня, а Лина все еще не вернулась. Я не осмеливаюсь обратиться в больницу, навестить Лину. Я ведь ей не муж, я для нее чужой человек. Нас ничто не связывает, разве только моя любовь к ней. Разве только то, что я ей брат. Но об этом знаю лишь я один.

На четвертый день я звоню в больницу. Мне отвечают, что Лина все еще у них, ее выпишут только в следующее воскресенье.

В субботу после обеда я покупаю букет цветов. Я собираюсь передать его Лине через медсестру, но потом думаю о ее муже, Коломане, и отдаю букет первой встречной на улице.

В воскресенье с утра я жду возле больницы, прячась за деревьями в парке. К четырем часам дня у подъезда тормозит автомобильчик соцработницы. Вскоре выходит Лина, она садится в машину рядом с женщиной.

Коломан не явился за женой.

Вечером, заглянув в их окно, я вижу Коломана, как обычно склонившегося над книгами в большой комнате. Лина возится с дочуркой в спальне.

В понедельник утром Лина входит в автобус. Она выглядит еще более худой и бледной, чем обычно. Садится рядом со мной и плачет, схватив меня за руку, вцепившись в меня.

— Ах, Шандор, Шандор!

Я спрашиваю:

— Почему ты так долго пролежала в больнице?

Мне едва удается расслышать то, что она шепчет мне на ухо:

— Мне сделали аборт, Шандор.

Я молчу. Я не знаю, что сказать. Я не знаю, доволен я или огорчен. Крепко прижимаю Лину к себе. Она говорит:

— Это ведь все из-за тебя. Из-за тебя, Шандор. Коломан решил, что это наш ребенок, мой и твой. А ведь мы с тобой никогда не были близки.

— Нет, Лина, никогда. Ты хотела оставить этого ребенка?

— Шандор, ты даже представить себе не можешь, каково это, когда из тебя вырывают твое дитя. Может быть, это был мальчик. И вот Коломан принудил меня избавиться от него. Шандор, я больше не люблю своего мужа, я презираю, ненавижу его. Кроме того, у него наверняка кто-то есть в городе. Он возвращается все позже и позже. И мы решили развестись, как только вернемся на родину.

Я говорю:

— Тогда пусть Коломан возвращается один, а ты оставайся здесь. Можешь переехать ко мне хоть сегодня, вместе с дочкой; все давно готово, и детская, и наша комната, все там есть, даже игрушки.

— У тебя есть детская комната?

— Да, Лина. Я уже давно жду вас к себе. А потом я тебе сделаю маленького мальчика, Лина. И вообще столько детей, сколько захочешь.

— И мы будем отдавать их в ясли, пока сами будем вкалывать на фабрике.

— А почему бы и нет? В яслях детям хорошо. Там они играют, заводят себе друзей-приятелей.

— Но не родных. Здесь у них никогда не будет родни — бабушки с дедушкой, дяди с тетей, кузенов.

— Ну ясное дело, нельзя же иметь все. Коли уж ты покинул родину, нужно приспосабливаться к чужбине. Но если ты меня любишь, ты согласишься.

— Я люблю тебя, Шандор. Но не настолько, чтобы остаться.

— А если я вернусь вместе с тобой, ты выйдешь за меня?

— Нет, Шандор, нет. Прости меня, но думаю, что не выйду. Как я смогу представить тебя моим родителям? Вот, знакомьтесь, это Тобиаш, мой муж, сын Эстер?

— Ну давай солжем. Они меня не узнают.

— Лгать? Лгать всю жизнь? Моим родителям? Нашим детям? Всему свету? Да как ты можешь предлагать мне такое?

Сижу дома в одиночестве. Смотрю на детскую комнатку, на игрушки, на шелковый халат, который я купил для Лины.

Делать нечего. Я испробовал все средства. Чувство бессилия — что может быть ужаснее?! Теперь мне ничего не остается, как сидеть здесь — тупо, без единой мысли в голове, без единого желания, пить пиво, кружку за кружкой, да курить сигарету за сигаретой.

Все кончено. Никогда Лина не придет ко мне. Скоро она уедет с мужчиной, которого не любит. Я уверен, что она будет несчастна, что никогда больше никого, кроме меня, не полюбит.

Спустя какое-то время я иду на кухню, чтобы перекусить. Достаю из холодильника кусок сала. Беру доску и нож, чтобы нарезать его.

Отрезаю пару ломтиков и останавливаюсь. Пристально гляжу на нож, зажатый в руке. Вытираю его, кладу во внутренний карман куртки. Встаю, выхожу из дома и сажусь на велосипед.

Яростно кручу педали. Я знаю, что сошел с ума. Знаю, что это ничему не поможет, но мне нужно действовать, нужно что-то сделать — все равно терять нечего. А Коломан заслуживает смерти.

Он должен понести наказание за то, что принудил свою жену освободиться от ребенка, которого она носила, чьим отцом он был. Я бы предпочел, чтобы этот ребенок был от меня. Но, увы, это не так.

В восемь вечера я стою перед Лининым домом. В передней комнате темно. Лина, должно быть, в кухне или в спальне, с Виолеттой.

Улицы пусты. Ни одного прохожего. Я сажусь на ступени лестницы и жду.

Коломан появляется к одиннадцати часам, с последним автобусом. Я преграждаю ему путь к двери.

— Что вам нужно, Шандор?

— Наказать вас за то, что вы заставили претерпеть Лину. Это был ваш ребенок, Коломан, а не мой.

Он пытается оттолкнуть меня:

— Убирайтесь отсюда, дурень несчастный!

Я выхватываю из кармана нож и вонзаю ему в живот. Мне не удается вытащить его обратно — Коломан, скрючившись, падает. Я оставляю его валяться там, на земле. Сажусь на велосипед и еду прочь, стараясь не слышать его жутких криков.

Лежу у себя на кровати, жду полицейских. Дверь я нарочно оставил открытой. Так проходит вся ночь, я ни на миг не сомкнул глаз. И однако мне совсем не страшно. Тюрьма или фабрика — какая разница?! По крайней мере, Лина теперь избавлена от этого мерзавца.

Наступило утро, а полицейские так и не пришли. Вместо них, к девяти часам, входит Лина. Впервые она переступает порог моего дома. Она садится на единственный стул в комнате.

Я спрашиваю:

— Умер?

— Нет. Он в больнице. И как только его выпишут, через несколько дней, мы тут же уедем. На его крики сбежались соседи, они-то и вызвали «скорую». Рана оказалась легкой.

Я молчу. Я думаю о том, что и впрямь не способен убить человека.

Она продолжает:

— Коломан не стал давать показания против тебя. Но при одном условии: после развода я должна оставить ему Виолетту. Мне пришлось подписать бумагу. Он заявил, что на него напал какой-то неизвестный.

— Ты не должна была подписывать, Лина. Я не боюсь тюрьмы.

— Я хотела спасти тебя от тюрьмы, потому что я люблю тебя, Шандор. Люблю больше, чем ты меня. Ведь если бы ты любил меня по-настоящему, ты бы просто уехал отсюда, и я бы тебя забыла.

— Но я-то не смогу забыть тебя, Лина. Никогда не смогу.

— Ничего, встретил бы другую женщину...

— Никакая другая не будет тобой, не будет Линой.

— Меня зовут Каролина. А Лина — одна из твоих выдумок. Наверное, всех своих женщин ты зовешь Линой.

— Нет, только тебя одну. И раз уж ты все потеряла, оставайся со мной!

— Ты опять? Нет, ты просто безумен, Шандор. Ты принес мне одни несчастья. Разрушил мою жизнь. Из-за тебя я лишилась двоих детей. Я больше не хочу тебя видеть. Я хочу жить в той же стране, что и моя дочь. Прощай, Тобиаш.

Она встает. Выходит. Затворяет за собой дверь.

Я так и не сказал ей, что я ее брат.

Я так и не сказал ей, что пытался убить нашего отца.

Что же до моей жизни, то ее можно рассказать в двух словах: Лина сперва явилась, потом ушла.

Но мысленно я все еще говорю с ней:

— Еще в детстве ты была злая и некрасивая. Мне почудилось, будто я влюблен в тебя. Но я ошибся. О нет, Лина, я не люблю тебя. Ни тебя и никого другого, и ничего в этой жизни мне не нужно, и не нужна сама жизнь.

Пассажиры корабля

Мне кажется, небо готовится к дождю. А может, дождь уже прошел, пока я плакал.

Да, наверное так. Над моими ладонями воздух расцветился нежными красками, и небо между мрачными облаками стало прозрачно-голубым.

Солнце все еще там, цепляется боком за горизонт, готовое упасть. Фонари пустили корни в землю по обочинам.

Подбитая птица косо взметается в зыбком вечернем сумраке, но тотчас бессильно падает к моим ногам.

«Я была огромной и тяжелой, — шепчет она. — Люди страшились моей тени, что накрывала их с приходом вечерней мглы. Но я тоже боялась — боялась падавших бомб. И я улетала далеко-далеко, но стоило опасности миновать, как я возвращалась и долго кружила над трупами.

Я любила смерть. Мне нравилось играть со смертью. Взлетев на вершину мрачной горы, я складывала крылья и камнем падала вниз.

Но я никогда не достигала дна пропасти.

Я все еще боялась. Я любила смотреть лишь на смерть других.

А свою собственную смерть я научилась любить позже, гораздо позже».

Я беру птицу на руки, глажу перья. Ее вольные крылья сломаны.

«Никто из твоих униженных друзей уже не вернется, — шепчет она. — Так иди же в город. Там еще остался свет. Жестокий свет, который выпьет румянец с твоих щек, свет, подобный смерти. Иди туда, где люди счастливы, ибо они не знают любви. Они так ублаготворены, что не нуждаются ни друг в друге, ни в Боге. По вечерам они крепко запирают двери домов и терпеливо ждут, когда пройдет жизнь».

— Да, я знаю это, — говорю я раненой птице. — Много лет назад я заблудился в городе. Я ни с кем там не был знаком. И потому мне было безразлично, где я нахожусь. Я мог бы быть свободным и счастливым, потому что никого не любил.

Я остановился на берегу черного озера. Чья-то тень пронеслась мимо, пристально глядя на меня. А может, то была поэма, что я безостановочно твердил про себя, или музыка? Не знаю, никак не могу вспомнить. Я был напуган. И убежал со всех ног.

У меня был друг. Семь лет назад он покончил с собой. Я не могу забыть жаркий воздух последних летних дней и безнадежный плач лесов под осенним ливнем.

«Зато я, — шепчет раненая птица, — я знаю волшебные поля. Окажись ты там, ты бы забыл о своем сердце. В них не растут цветы, одни только высокие травы колышутся, подобно знаменам, на этих счастливых бескрайних равнинах. И тебе останется лишь промолвить: я хотел бы отдохнуть, о край вечного покоя!»

— Да, я знаю это. Но вдруг пролетит тень? Картина, поэма, ария?

«Тогда взойди на гору, — шепчет птица, — а меня оставь умирать. Я не в силах переносить печаль. Печаль жестов и скорбно-пепельных водопадов, печаль рассвета, шагающего вдоль грязных, размокших полей».

На горе собрались музыканты. Дирижер прижал к груди свои черные крылья, и музыканты начали играть.

Их корабль плыл по волнам музыки, струны-снасти развевались по ветру.

Крючковатые пальцы самого высокого из музыкантов впились в дерево инструмента. Четверо других скинули свои фраки; их тела напряглись, колени подогнулись, на вздувшихся жилах заплясали черные пауки.

В долине все еще звучал медный голос солнца, простые серые домики паслись на лугу, когда самый умелый из музыкантов, что мечтательно бродил по пшеничному полю, опустился на колени на вершине холма. И пел во чреве корабля тот, кто был счастливей всех.

Другие не увидели костылей калеки-солнца. Картина налилась всеми красками неба. В глазах зажглись еще не взошедшие звезды.

И тогда пассажиры с корабля подняли своих мертвецов на плечи, бросив прощальный взгляд покидаемой земле.

Два года спустя после отъезда Каролины у меня родилась дочь Лина. А через год сын Тобиаш.

По утрам мы отводим их в ясли. По вечерам забираем домой.

Моя жена, Йоланда, образцовая мать.

Я по-прежнему работаю на часовой фабрике.

В «первой деревне» никто теперь не садится в автобус.

А я больше не пишу.

■

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ

Мост

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЮЖЕТ

Перевод с немецкого Г. КОСАРИК

От переводчика

Знаменитый швейцарский драматург и прозаик Фридрих Дюрренматт — создатель особой формы литературных мемуаров, жанр которых сам писатель обозначил как «Литературные сюжеты (I—IX)».

В первом томе, озаглавленном «Лабиринт», Ф. Дюрренматт рассказывает историю написания трех материалов: «Зимняя война в Тибете», «Лунное затмение» и «Бунтовщик», все три вещи хорошо известны русскому читателю. Во втором томе, «Строительство башни», излагается история шести ненаписанных литературных материалов. «Мост» — первая публикация на русском языке из этого тома.

Правда — такое свидетельское показание, которое не должно противоречить фактам, она есть правдивое суждение о реальной действительности и уже потому идентична самой этой действительности: таково ее несколько упрощенное, зато железное определение. Разум путем логического умозаключения может спокойно вывести одну правду из другой, что обычно и делают, извлекая ее в свою очередь из предыдущей и так далее, пока не доберутся до истины — полной и непреложной, что означает — полученной методом дедукции или, напротив, индукции, опирающейся на вымысел, чувственный опыт, гипотезу или версию. Разум и дедукция делают ставку на безошибочность и надежность, индукция отваживается на риск. Поэтому дедукция — метод богов: правду знают одни они и в своих суждениях всегда следуют от общего к частному. Однако человеческая жизнь редко складывается по законам дедукции, чаще ее носит по своим волнам индукция, во власти которой эта жизнь находится, поскольку полна неожиданностей, заведомо не поддающихся расчету, но именно все то непрогнозируемое, что мы называем «случай» и что сваливается нам на голову, как метеор, обычно превращается, едва успев шмякнуться на нас и раздавить в лепешку, в нечто такое, что тут же учитывается и прекрасно укладывается в статистику. Возьмем, к примеру, все тот же метеор: неоспоримую истинность данного факта фиксирует простое тождество — метеор есть метеор; интерпретация же типа, что метеорит, оторвавшийся от пролетевшего над нами метеора, есть якобы кусочек никчемного железа, который Зевс швырнул с Олимпа на Землю, — уже дедукция чистейшей воды. Без веры, что на Олимпе есть Зевс, эта интерпретация вообще родиться не может, а сама гипотеза, если продолжить мыслить дедуктивно, допускает к тому же неограниченное количество последующих толкований, связанных непосредственно с метеором, ну, например, то, что Зевс метнул вниз этот кусок железа просто от смертельной скуки, которую навевает на него его вечная жизнь, и т. д.; а если дедукция вздумает интерпретировать самого Зевса, тогда уж ей придется поверить во всю мифологию, что будет означать необходимость признать истиной тот факт,

© 1990, Diogenes Verlag Zürich
© Г. Косарик. Перевод, 1998

что Хаос породил Гею, а Гея из себя Урана, которого взяла себе потом в супруги, а того оскопил затем серпом его сын Кронос, отец Зевса... Ах, избавим себя от всех этих мифологических мерзостей! Суждение же, что метеор — феномен астрономического порядка, напротив, являясь первоначально дедуктивным по природе и предполагающим цепочку предварительных индуктивных посылок, то есть заранее состряпанных теорий, естественно, оказавшихся потом ложными и породивших тьму новых, высвобождает уже само по себе ряд новейших индуктивных предположений и гипотез, явно тяготеющих к абстракции, но так ни разу и не приведших к абсолютной истине, не ставших мостом от единицы к нулю — от частного к общему, — хотя мне и известно, что есть немало физиков, все еще надеющихся приблизиться однажды к заветной цели; только потом непременно окажется, что их физическая формула мира — тоже чистейшей воды метафизика.

Конкретнее: если бы двадцатидвухлетнего студента Ф. Д. 15 октября 1943 года в три часа сорок минут и семнадцать секунд по швейцарскому времени прихлопнул метеорит, когда тот, подвыпив, шел ночью по Берну домой, шатаясь и мотаясь из стороны в сторону по Кирхенфельдскому мосту в направлении Исторического музея, и мочился сквозь железные прутья вниз на реку Аare в тот самый момент, когда пронесся метеор, случайно замеченный с Гуртена, холма на южной окраине города, опять же подвыпившим студентом астрономии, пытавшимся сфотографировать на севере туманность Ориона, стоявшего на юге, то это утверждение в общем и целом гармонировало бы с истиной и могло бы быть подвергнуто сомнению и оспорено только в той части, насколько точно указано было время и достоверно ли свидетельское показание относительно того, что потерпевший «шел домой», или это все же только лишь предположение. Однако добыть и интерпретировать это правдивое суждение оказалось бы делом весьма нелегким. Потребовалось бы тщательно обследовать погибшего Ф. Д., а случайно сделанную студентом астрономии фотографию соотнести с этим несчастным случаем, доказывая их бесспорную связь и строго выстраивая неопровержимую цепочку доказательств, необходимых в данной ситуации, что было бы сопряжено с крайним умственным напряжением. Напротив, рассчитать путь движения метеора на основании добытых визуальных наблюдений не составило бы никакого труда, хотя это и была всего лишь секундная вспышка, тем не менее документально подтверждавшая, откуда прибыл космический снаряд, та частица протосолнца, из которого, между прочим, образовалось само Солнце. Толкование этого невероятного происшествия носит, безусловно, дедуктивный характер, поскольку вероятность расчета пути метеора предполагает неукоснительное знание законов земного тяготения. Смехотворный обломок, стрельнувший в не менее смехотворного Ф. Д., болтался в Солнечной системе шесть миллиардов лет, можно сказать с момента ее возникновения, пока, притянутый и отклоненный с орбиты неким мини-астероидом размером всего-то с Маттерхорн[1], не попал в силовое поле Земли, да попал так неудачно, что, не нарушив, правда, всемирно известного закона, пулей пролетел вниз, отчего космический несчастный случай обернулся заказным убийством. Хотя и с некоторыми оговорками: чем больше мы будем пытаться списать этот несчастный случай, суть которого может быть выражена одной примитивной фразой, тут же порождающей такую же простейшую, хоть и причудливую интерпретацию, на счет небесных факторов, поспособствовавших его материализации на Кирхенфельдском мосту в Берне, тем глубже увязнем мы во все усложняющихся умозаключениях; и если законы всемирного тяготения незыблемы и общеизвестны, то сила тяготения сама по себе уже вызывает вопросы, как, впрочем, и возникновение метеора. Ответы на них, другими словами, интерпретации всегда будут рассматриваться только как вероятные, отнюдь не как истина в последней инстанции, и в конце концов заведут нас в дебри возможных гипотез и версий. Но если истина и суждение в момент констатации голого факта еще могут оказаться идентичными, то при дальнейшей реконструкции событий они все больше и больше начнут отдаляться друг от друга, пока между ними не зазияет пропасть. То, что вероятно, столь же мало претендует на правдивость, как и то, что логично.

---

[1] Одна из главных горных вершин Альп. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

Правдивость — настолько сложная проблема, что большинство вообще не видит в том для себя никакой проблемы, мой крестный например, особенно что касается правды о Ф. Д.; другое дело наука, которой разобраться с пьяным студентом намного труднее, чем с метеором, — так вот, если кто-нибудь привлек бы моего крестного в Институт судебной медицины для установления причин смерти и опознания трупа Ф. Д., тот обошелся бы с правдой весьма бесцеремонно. Как бывшему миссионеру с африканского Золотого Берега, проповеднику и любимцу каторжан и постоянных обитателей тюрем, а также пастору глухонемых, студент Ф. Д. дал бы ему в руки неопровержимое доказательство существования Бога. «Тут вот один, заявившись пьяным из харчевни, объявил вдруг, что Бога нет, — слышу я его проповедь в каторжной тюрьме Базеля (1947) перед заключенными, сидящими напротив нас порознь, как в камерах-одиночках (я в полном смущении занимаю место на сцене рядом с директором тюрьмы), и в этом месте голос его начинает громыхать, предвещая беду, а сам облик как бы являет всем Бисмарка и Клемансо одновременно, которых огромная гранитная глыба сплющила в единую общую массу, — трах-бах, сверкнула молния, и человека нет. А Бог, следовательно, есть». (Когда же мы идем пешком домой, в готовый рухнуть от ветхости дом в пригороде на Санкт-Альбан, он читает мне нравоучение, прибегая к дедукции: «Если бы ты защитил диссертацию, то не провалился бы сейчас в Цюрихе со своей первой пьесой, более того, тебе никогда бы не пришла в голову эта глупая затея написать ее».) Не-ет, мой крестный указал бы еще и причину, почему метеор, которому, собственно, надлежало и дальше мотаться вместе с Солнечной системой по космосу, из примерно двух с половиной миллиардов земных обитателей выбрал в тот момент не кого иного, а именно Ф. Д. и прямиком угодил в него: «Это Божья кара за то, что бедняга не пожелал стать пастором, как того хотел его отец, а еще больше мать, и за то, что у парня была связь с художницей-католичкой. Он ни бельмеса не понимал по-французски, она по-немецки, так что остается только догадываться, каким нехристианским способом они общались друг с другом. Тут уж Господу Богу волей-неволей пришлось вмешаться», — сказал бы мой крестный, покинул бы Институт судебной медицины и направился в каторжную тюрьму Торбёрг, углубившись в разговор с самим собой на одном из тех африканских наречий, коих он знал превеликое множество. А дело Ф. Д. так и осталось бы незаконченным. Если бы удалось широкомасштабно реконструировать различные векторные силы, направившие метеорит в голову студента, тогда в игру вступили бы известные законы, которыми все умеют манипулировать, а рассуждать в одиночку о движущих мотивах, побудивших Ф. Д., мотавшегося из стороны в сторону, брести около четырех часов утра через Кирхенфельдский мост, это все равно что блуждать в потемках. Правда, один из его друзей вспомнил, что Ф. Д. покинул в гневе за полчаса до полуночи винный погребок в старом городе со словами: «Я протестую, что меня всерьез принимают за трезвого», тогда как другой его собутыльник охарактеризовал Ф. Д. как последнего бездельника без царя в голове, как циника, для которого нет ничего святого, потому что он начитался, скорее всего, Ницше и вбил себе в голову, что хочет изучать философию, ну, типично!; другой же утверждал, что Ф. Д. только оттого не стал нацистом, что они для него, как он сам выразился, были неубедительны в своих крайностях, ах боже мой, да ему сам черт казался не в меру святым; а приват-доцент истории искусств мог бы еще порассказать, как Ф. Д. навестил его незадолго до полуночи и как они распили вдвоем бутылочку и он прочитал Ф. Д. вслух несколько пассажей из «Божественной комедии» Данте, касавшихся ада; директор супермаркета опять же слышал, как Ф. Д. в половине второго утра возвратился домой, потому что он, директор, живет непосредственно под его мансардой, размалеванной, между прочим, бог знает как, — так вот, Ф. Д. поднялся к себе на чердак, в этом он готов поклясться, но позже, очевидно, опять вышел из комнаты и снова направился в город. И писатель-неудачник из Цюриха не преминул бы поведать о том, как всегда предвидел, что Ф. Д. подстерегает неминуемая беда, а знаменитый профессор психиатрии заявил бы, что Ф. Д. сознательно кинулся под метеорит, потому что он, профессор, давно предсказал, что Ф. Д. покончит жизнь самоубийством.

Однако все эти свидетельские показания вряд ли бы выстроились в логическую цепочку доказательств, они только бы усилили подозрение, что Ф. Д. плыл по течению,

обуреваемый то одной, то другой безумной идеей, отчего в принципе и не представляется возможным интерпретировать те побудительные мотивы, которые привели его на Кирхенфельдский мост. Если орбита метеора причинно обусловлена, то путь Ф. Д. случаен, что делает невозможным установить его причинность, а следовательно, и вынести правовое суждение; остается только уповать на самую случайность — может, Ф. Д. действительно хотел сразу пойти домой через Старый город, но, переходя площадь Казино, повстречал на пути ежика, потерянно шмыгнувшего по асфальту в сторону означенного моста, — крошечный и причудливый комочек жизни, нереальный в чужой для него среде; Ф. Д. тут же пришла в голову странная фантазия последовать за ним, и когда еж исчез на Мюнцрайн по откосу вниз, Ф. Д., погруженный в собственные мысли, оказался на мосту, где и угодил под метеорит. Делаем из этого вывод: Ф. Д. бесконечно более сложное явление природы, чем метеор. Ф. Д. безусловно можно рассматривать как космическое тело. Естественно, в его человеческой специфике. И как метеор происходит от сверхновой звезды, которая взяла вдруг и замусорила обломками водородное облако, так и Ф. Д. ведет свою родословную от кобольдообразного придурка — то ли получеловека, то ли полуобезьяны, миллионы лет назад прыгавшей с дерева на дерево и раскачивавшейся на ветках, однако если мелкий метеор держался молодцом, пока его не спекла чудовищная энергия сверхновой звезды, то Ф. Д., как и всякий другой человек, эволюционировал в существо насколько рациональное, настолько и иррациональное. Недочеловек-полуобезьяна Ф. Д. не раз слинял за переходный период, пока не превратился в homo sapiens, пройдя все стадии развития от сложного организма к еще более сложному, перемолов наследственные признаки животного в валках эволюции и обзаведясь мозгом поистине космической конфигурации, способным не только выдавать изредка скудные логические сентенции, но и управлять в основном неуправляемыми, рожденными в подсознании мотивами, непредсказуемыми бредовыми эскападами, запрограммированными в нераспознанном и поныне генетическом коде поведения его далекого предка, явно наложившего свой отпечаток на поступки Ф. Д. в виде молниеносного озарения идеей помочиться с середины Кирхенфельдского моста в реку, как постоянно проделывал то же самое ребенком, идя из церкви через железнодорожный мост и поливая путейное полотно Бургдорф — Тун, уже электрифицированное к тому времени, отчего ответ его на вопрос крестьянки, зачем он это делает, был таков: «Хочу посмотреть, стукнет или нет», что по-простому означало: околею или пронесет. И если тогда его не ударило током высокого напряжения, так сейчас его ударил метеорит. Конечно, представляется вполне возможным вынести компетентное суждение по поводу попавшего в беду студента как существа рационального, статистически учтенного и патологоанатомически расчлененного (судебная медицина установила бы, что Ф. Д. перенес за последнее время гепатит и что у него повышенное содержание сахара в крови, к тому же четко обозначилась наметившаяся склонность к полноте), констатировать его социальное положение (сын пастора) и дефинировать его психологически (затянувшийся переходный возраст), но также и как существа иррационального, то есть Ф. Д. как индивидуума, даже подвергнуть его задним числом психоанализу и истолковать его как личность, а почему бы и нет? Однако все это породило бы лишь полуправдивые интерпретации, спекулятивные умозаключения, не допускающие даже осторожного намека на закон, неумолимо подтолкнувший и подставивший Ф. Д. под метеор.

В деле Ф. Д. истина категорически отказывает нам в наших притязаниях на нее. И при этом безоговорочно заявляет о безусловности своих, раз человеческий разум способен довольствоваться малым. Ф. Д., раздавленный на уцелевшем, к счастью, мосту, оказывается в таком случае той относительно малой частью истины, всегда стремящейся стать чем-то большим, в идеале — абсолютной и в качестве таковой желающей царить не только в прошлом и настоящем, но и в будущем. Однако, претендуя на вечность, истина покидает человеческие пределы и оседает в царстве богов. И раз истину отторгли от человека с целью ее постижения как смысла его самого, она перестала быть частью его и пребывает отныне вне пределов его разума. Человеку, чтобы узнать правду о самом себе, пришлось бы раздвоиться — с бóльшим, правда, успехом, чем я раздвоился с Ф. Д., — ему понадобилось бы не просто встретиться с собой лицом к лицу, как с собственным

двойником, но и с самим собой, как бы вывернутым наизнанку, как с истиной, обитающей вне его оболочки. Таков наказ, взывающий к нему с фриза храма Аполлона: «Познай самого себя» — и означающий, что ты уже познал себя, раз захотел сделать это, потому что любое познание частного предполагает существование общего, из которого это частное и выводится. Возможно, чисто логически. Рассказывают про одного раввина, как тот, вечно маявшийся животом, сидел однажды в том самом месте, где думать о Боге не пристало, и, чтобы как-то избежать этого искушения и не думать о Нем, стал реконструировать в уме Евклидову геометрию, не зная, что она уже существует: эта геометрия просто сидела в нем, хотя он того и не подозревал, — она вытекала из логических форм размышления о самом себе, априорно, как продукт «чистого» разума; одна из самых забавных и пришедшихся как нельзя кстати историй про математику. В действительной жизни все, однако, иначе. Ф. Д., например, рассматриваемый как общее понятие, как «человек в себе», относится к философской категории логического, подпадая, скажем, все под ту же статистику, на основании которой можно было бы, конечно, вычислить вероятную продолжительность жизни Ф. Д., принимая во внимание состояние его здоровья, но не отказывая ему при этом в вечном страхе, что он вдруг возьмет и помрет раньше, или, может, наоборот, давая ему надежду, что проживет подольше. Но если захочется вдруг предпринять дедуктивную попытку вычленить конкретного Ф. Д. из общего, то велика вероятность наткнуться на камень преткновения, ибо из категории логического невозможно извлечь земное бытие индивидуума. Пришлось бы тогда выдумать, что существует не один-единственный Ф. Д. как понятие частное, но и Ф. Д. как понятие общее, очевидно, как некий внепредметный абсурд, а тогда выходит, будто Бог о каждом отдельном смертном имеет лишь общее представление, только идею, из которой каждый выходит как реализация одной из многих ее возможностей и становится тем самым индивидуумом, при этом невольно напрашивается вопрос: а стоит ли этому Богу ломать еще голову над каждым отдельным из возможных людей? Нет, не стоит. Бог занят идеями.

Так что мне не остается ничего другого, как вместо реконструкции правды о Ф. Д. заняться самому созданием вариантов возможного Ф. Д. и параллельно к несостоявшемуся Ф. Д. 1, в которого ночью пятнадцатого октября 1943 года, в три часа сорок минут и семнадцать секунд швейцарского времени, ударил на Кирхенфельдском мосту пронесшийся со свистом и рухнувший с шипением вниз метеорит, выдумать еще одного — Ф. Д. 2, который точно так же, как и его двойник, дошел до моста, но в нерешительности остановился — идти по нему или нет. Не то чтобы он задумался о вероятности того, что на мосту в него может попасть метеорит. Признаю, Ф. Д. 2, как, впрочем, и Ф. Д. 1 и я, тоже постоянно бредил астрономией, но вероятность погибнуть от промчавшегося в космосе метеора может не просто показаться невероятной, она еще грешит и излишней абстрактностью — все как-то вокруг да около: метеор с тем же успехом мог бы поразить любого Ф. Д., какого бы мы ни напридумывали, еще и до моста, например, в винном погребке или в собственной постели, как мог, кстати, размозжить и меня, пока я тут сидел и писал бог знает что; просто жуть, сколько метеоров проносится ежегодно над Землей, засыпая ее обломками, вместе с космической пылью это потянет минимум тонн эдак миллионов на пять. Так что вовсе не мысль о метеоре, а сам мост стал причиной того, что Ф. Д. 2 в отличие от Ф. Д. 1 заколебался, стоит ли идти по нему. Я, конечно, не хочу сказать ничего дурного про Кирхенфельдский мост, эту досточтимую чугунно-ажурную висячую конструкцию прошлого века. В противоположность железобетонным мостам, перекинутым из города на другой берег Аare, в нем есть что-то невесомо-парящее, а в часы пик даже беспомощно-дрожащее, и если взглянуть вниз на зеленую реку, то даже что-то соблазнительно-притягательное. Неудивительно, что время от времени кто-нибудь непременно да прыгает с него туда. Потому, наверное, и меня всегда тянет, когда я иду в город или возвращаюсь назад, пройтись по этому мосту, я люблю его, предпочитаю скучному Нидэггбрюкке, построенному чересчур солидно и чересчур буднично-примитивно, чтобы вызвать приятно щекочущие душу рискованные ощущения, которые просто гарантирует Кирхенфельдский мост, готовый в любой момент, особенно когда идешь по нему, сорваться и с треском рухнуть. Не случайно же он прямиком ведет

в дипломатический квартал. И Ф. Д. 2 тоже любил этот мост, хотя каждый раз, как и я, немного колебался, прежде чем сделать первый шаг, и можно даже допустить на секунду, что именно эта мгновенная оторопь как раз и спасла бы Ф. Д. 2: метеорит упал бы в нескольких сантиметрах от него. И причина колебаний Ф. Д. крылась бы не столько в категории объективного, сколько в чем-то субъективном, в тех особенных ощущениях, которые вызывал у него всегда сам мост, ради чего он, собственно, и переходил его. Он немножко задержался, чтобы еще усилить это будоражившее его чувство, искушаемый медленно уходящей в небытие ночью. Уже начало светать (а как бы иначе смог Ф. Д. 2 увидеть ежа?), за непроницаемой стеной тьмы стояла свинцово-белесая полоска света, четко высвечивая высокий Гуртен — холм, где подвыпивший студент астрономии лихорадочно возился со своим прибором; мост сделался призрачным, казалось, завис над бездной до бесконечности и принял столь угрожающие формы, что веселенький вопрос, а надежен ли он вообще, был так же неизбежен, как и призрачное наступление утра; именно этот вопрос и побудил соблазнившегося им Ф. Д. 2 вступить все-таки после мгновенной оторопи, задержанного дыхания, наконец, удивления на этот мост: ведь сам факт перехода, во время которого Ф. Д. 2 вознамерился подвергнуть сомнению прочность и надежность старинной конструкции, и мог обернуться тем жутковато-рискованным приключением, особенно в тот пиковый момент — Ф. Д. 2 только приготовился помочиться из озорства с моста, как вдруг что-то — не то молния, не то снаряд — яркой вспышкой осветило все вокруг: и здание парламента, и реку, и площадь Гельвеции, и Исторический музей. Ф. Д. 2, ослепленный низвергнувшейся с небес световой массой, почувствовал, как что-то ударило в чугунные перила, разрушило их и зашипело затем внизу глубоко под водой, а Кирхенфельдский мост содрогнулся, закачался и даже слегка задрожал. «Немцы! — мелькнуло в голове Ф. Д. 2. — Или американский бомбардировщик!», и он побежал с расстегнутой ширинкой — хотя в этом, собственно, уже не было никакого смысла — не то чтобы назад, а по мосту вперед, к площади Гельвеции, и притом очень быстро, несмотря на наметившуюся полноту и выявленную еще военно-медицинской комиссией близорукость (официально он вообще не мог разглядеть ежа на площади Казино, перед тем как вступил на мост), и пока он так бежал, он все удивлялся, что не слышит ни грохота, ни гула, ни выстрелов, а только одно мощное шипение не то кипение реки. И лишь миновав школьную обсерваторию и перебравшись наконец через мост на площадь, весь обливаясь потом и тяжело дыша, он сразу успокоился, увидев на голове полногрудой и широкозадой Гельвеции крышку от молочного бидона, мерцавшую в сумеречном свете: он сам, месяц назад и тоже в ночное время, не оправившись еще от гепатита, взобрался на памятник и увенчал здоровой крышкой родину-мать, но, судя по всему, это до сих пор так никого и не тронуло — что ж, пусть побудет там еще месячишко-другой, и раз уж в самые патриотические времена всем наплевать на родину-мать, то и ему нечего беспокоиться. Кругом — тишина, и благодаря близости Гельвеции с молочной крышкой на голове она кажется по-матерински теплой и уютной, ни звука, даже не воет сирена воздушной тревоги; что-то где-то произошло, может короткое замыкание, но вряд ли это как-то связано с войной, а то, что тут ударил метеорит, об этом Ф. Д. 2 даже и помыслить не мог, такой вариант показался бы ему уж слишком невероятным; в конце концов, через тридцать лет я ведь тоже не подумал, что кто-то пальнул по мне издалека, хотя случай сам по себе был куда как яснее в сравнении с сиганувшим ни с того ни с сего с небес метеоритом: я заплыл вблизи Эйлата[1] далеко в море, утром по телевизору в Нью-Йорке в ООН выступал Арафат, на крыше отеля стояли солдаты с автоматами, а я плыл себе и плыл в направлении танкера, вода была кристально чистой, и до иорданской Акабы уже рукой было подать, как вдруг, в нескольких метрах впереди меня, в море взметнул водяной фонтан, я решил, что это кит, и поплыл назад к отелю, и только намного позже до меня дошло, что кто-то в Акабе мог прицелиться и выстрелить в меня; да уж, думает Ф. Д. 2, с трудом передвигая ноги и плетясь с площади Гельвеции через Английский парк к себе домой, наверное, ему все же не следовало идти через Кирхенфельдский мост.

[1] Эйлат — израильский порт на берегу Красного моря.

А вот логик Ф. Д. — так мне больше всего хочется назвать Ф. Д. 3, чтобы отличить его от других двоих, — напротив, вовсе даже не нуждается в опыте забрезжившего утра, да и ни в каком другом тоже, чтобы прийти к мысли, что Кирхенфельдский мост может рухнуть, если он вздумает пойти по нему. Ф. Д. 3 в ночь с четырнадцатого на пятнадцатое октября 1943 года, когда входит в половине второго в свою мансарду — директор продовольственного супермаркета не ошибся, — принимает решение изучать философию. Он, правда, всегда интересовался философией, но поскольку хотел стать художником, а зимой, как Ф. Д. 1 и Ф. Д. 2 (и я, впрочем, тоже), пытался еще заделаться в Цюрихе писателем, то испытывал сейчас смущение, как же ему теперь быть: университет явно был для него залом ожидания, как для Ф. Д. 1 и Ф. Д. 2 (и меня тогдашнего) тоже. Однако пока Ф. Д. 1 сумбурно прожигает жизнь, Ф. Д. 2 все еще надеется, что станет художником или прозаиком (слово «поэт» было ненавистно ему уже тогда), Ф. Д. 3 сейчас, в половине второго, на пороге своей чердачной комнаты, решает оставить писательство и живопись, не гоняться больше за своими мечтами и не потакать своим желаниям, а лучше научиться мыслить, овладев этим делом, как всяким другим ремеслом. Вдохновленный собственной идеей, он снова открывает дверь, спускается по лестнице вниз, мимо квартиры директора — тот тем временем опять заснул, — выходит из дома, идет по переулку Хаспель-гассе и переходит по мосту Нидегбрюкке в Старый город. Он намеревается жить отныне исключительно следуя логике. Однако едва Нидегбрюкке остается позади, как в него вселяется подозрение, что он действовал сейчас не совсем логично, перейдя этот мост, не задавшись ни единой мыслью, его грызут сомнения, пока он идет по затемненному Старому городу в направлении университета, где изучал в прошлом году литературу — если это, конечно, можно назвать изучением, — возвращается потом назад, совершенно машинально, все еще занятый вселившимися в него мыслями, как вдруг — ежа он, естественно, не заметил — оказывается перед Кирхенфельдским мостом и тем самым перед своей изначальной проблемой, поскольку каждый мост есть мост, и вероятность того, что он рухнет, мысля логически, исключить никак нельзя: по логике он может рухнуть в любую минуту. Поэтому для такого шага, как «перейти мост», требуется определенная мера веры в то, что мост не рухнет в тот самый момент, когда «ты будешь переходить его». Эта мера веры зависит, конечно, от состояния моста, хотя и другие факторы тоже могут привести его к крушению: землетрясение, заложенная взрывчатка или, возможно, метеорит гораздо больших размеров, чем тот, который через две-три минуты убьет насмерть Ф. Д. 1 и чуть не попадет в Ф. Д. 2. Если Кирхенфельдский мост в полном порядке, ведь по нему ежедневно ездят автобусы (раньше трамваи), грузовики, легковые автомобили и люди на мотоциклах и велосипедах, и к тому же еще сотни людей идут по тротуарам слева и справа вдоль чугунных перил, тогда требуется лишь толика веры, чтобы перейти его ночью одному, однако эта толика тем не менее все же мера. Перешагнуть через меру логик Ф. Д. 3 не в состоянии, ведь, в конце концов, он принял решение жить по законам логики. И потому серьезно относится к предпосылке, что каждый мост в любой момент может рухнуть, и тогда он делает вывод: «Если всегда есть вероятность, что мост рухнет, тогда однажды он непременно рухнет, ибо «всегда» — это бесконечно многие «сейчас». Он тупо смотрит себе под ноги. «Если я все же пойду через мост, — бормочет он опять, — то время, которое мне для этого потребуется, распадется на эти бесконечные «сейчас». Сейчас — само по себе понятие безвременное. Всякое время — будь то доля секунды или доля этой доли, и так до бесконечности, до доли самой последней и мельчайшей доли — все равно распадается на бесконечное множество «сейчас». У него кружится голова, он увяз в дебрях этих долей, которые, дробясь, все уменьшаются и уменьшаются. Утро уже давно наступило, падения метеорита он просто не заметил — ураганом проносились у него в этот момент в голове бесконечные «сейчас». «Следовательно, мост, который должен однажды рухнуть, и если это «однажды» обернется вдруг тем самым «сейчас», рухнет как раз тогда, когда я по нему пойду», — приходит он наконец к логическому заключению в тот самый момент, когда мимо него по Кирхенфельдскому мосту идет первый трамвай. Тем самым Ф. Д. 3 не только аргументировал свой вывод, как греческий философ Зенон, живший в 490 — 430 гг. до Р. Х., но и повел себя точно так же, как его «летящая стрела»: «Собственно, если все всегда покоится, пока заполняет собой пространство, равное ему самому, а то, что движется, всегда находится во

временно́м отрезке «сейчас», тогда летящая стрела неподвижна». И поэтому Ф. Д. 3 и сейчас, в 1990-м после Р. Х., все еще стоит перед Кирхенфельдским мостом. Бесчисленные миллионы людей, прошедшие и проехавшие с тех пор по мосту, не смогут сдвинуть его с места: истинно — только логическое, все нелогическое — одна видимость. Этой мысли он привержен и сейчас: и Кирхенфельдский мост тоже только видимость, и город, и он сам, Земля, Вселенная и первоначальный взрыв. Не существует ничего, кроме одной-единственной точки, кроме одного-единственного сущего; не существует, следовательно, и причины расширяться до размеров мироздания, тем более способствовать зарождению жизни.

Домыслим себе еще и Ф. Д. 4, который, как и Ф. Д. 3, решительно надумал изучать философию и жить по законам логики. Он удивленно смотрит вслед трамваю, как тот едет мимо него по Кирхенфельдскому мосту, набитый служащими различных посольств — немцами, англичанами, американцами, итальянцами; немцами — секретными агентами английской разведки и англичанами — секретными агентами германской разведки и т. д., возможны любые комбинации, — людьми, которые, собственно, в 1943 году, не будь они в нейтральной Швейцарии, должны были бы по меньшей мере наброситься друг на друга с кулаками, поскольку все они находились в состоянии войны. Ф. Д. 4, видя, что мост не рухнул, хотя трамваю, переезжавшему его, тоже требовалось время, складывающееся из бесконечных «сейчас», и мало того — обладавшему еще вкупе со всеми мирно едущими друг с другом смертельными врагами громадным весом, существенно превосходящим тот, которым он обременил бы мост, если бы пошел по нему в одиночку, приходит тогда к выводу, что, очевидно, в его логической цепочке мышления какая-то посылка ложная, иначе Кирхенфельдский мост непременно бы рухнул вместе с трамваем и служебным персоналом посольств в реку и на зеленый спортивный газон. Ф. Д. 4 тоже остается стоять, как и Ф. Д. 3, перед мостом, однако не зацикливается, как тот, на одной и той же логической цепи, нет, Ф. Д. 4 отчаянно пытается изо всех сил опровергнуть аксиому, что мост должен однажды рухнуть, и ищет логический выход, позволивший бы ему с абсолютной уверенностью и без всякой веры в то, что он не рухнет, перейти мост и тем самым отождествить логику с реальной действительностью. До сегодняшнего дня этого ему так и не удалось. И те крохи веры, от которой ему так хочется отделаться, настолько крепко застряли в его голове, что он, как и Ф. Д. 3, все еще стоит перед Кирхенфельдским мостом.

А вот Ф. Д. 5, застывший, как и Ф. Д. 4, при виде трамвая, благополучно миновавшего мост и въехавшего на площадь Гельвеции, решает предать забвению логику и вообще отказаться от идеи изучать философию — без всяких опасений он беспечно вступает на Кирхенфельдский мост и идет, направляясь домой, не лишая себя при этом удовольствия время от времени сильно топнуть ногой по тротуару на мосту или, досадуя, что столько часов бился в сетях бредовых мыслей, дать пинка чугунным перилам, поврежденным в одном месте. Его вера, что мост не рухнет, когда он будет его переходить, возрастает настолько, что он верит уже и в то, что никакая это не вера, а просто уверенность.

Ф. Д. 6 идет, озадаченный трамваем и поставленный им в тупик относительно ценности чисто логических рассуждений, так же как и Ф. Д. 5, по мосту, но только в большой задумчивости, он тщательно исследует поврежденные перила, поворачивает на площади Гельвеции назад и возвращается по мосту к площади Казино, потом опять на площадь Гельвеции и уже только тогда решительно направляется домой, размышляя о том, что же все-таки означает тот чувственный опыт, который он только что приобрел. Он твердо знал, что мост когда-нибудь да рухнет, но одновременно так же непоколебимо верил, что тот не рухнет, когда он будет его переходить. Хочет ли он по-прежнему изучать философию, в этом он уже не так уверен, как прежде, ему вдруг захотелось стать физиком, и он сердится теперь на себя, что потратил столько времени на греческий и латынь, вместо того чтобы заниматься математикой.

Ф. Д. 7, полный решимости руководствоваться только законами логики, стоит, придя в три часа сорок минут к Кирхенфельдскому мосту, перед заграждением. Он чуть не

упал, наткнувшись на него, и не может ничего понять: несколько часов назад, когда он выходил из винного погребка, никакого заграждения здесь не было. Он в недоумении ходит взад и вперед, читает на куске фанеры предупреждение, высвеченное пронесшимся мимо с шипением метеоритом (Ф. Д. 7 настолько поглощен проблемой заграждения, что даже не задается вопросом, откуда вдруг вокруг взялось столько света?), что мост вот-вот может рухнуть и потому воспрещается вступать на него, поскольку это грозит смертельной опасностью. Забыв о своем намерении действовать только в согласии с логическими принципами, он перелезает через заграждение, охваченный неукротимой жаждой рискованных приключений, бежит через мост и потом по нему же назад, и так несколько раз, пока напавший на него страх, что мост может все-таки рухнуть, не заставляет его внезапно остановиться. Он идет домой, обливаясь потом и тяжело дыша, и успокаивается только перед самым домом. Вера, что мост не рухнет, когда он будет по нему идти, обернулась отчаянным риском, заманившим его на мост, хотя логика и твердила упорно, что мост должен однажды рухнуть.

Ф. Д. 8 чувствует, перелезая через заграждение и вступая на Кирхенфельдский мост, как тот проседает под его ногой, и вера в то, что он еще успеет перейти мост, покидает его. Охваченный ужасом, он перемахивает обратно через заграждение, туда, где безопасно, а мост с грохотом летит вниз, ярко освещенный ударившим в него метеоритом. Вера покинула Ф. Д. 8.

Ф. Д. 9 чувствует, перелезая, как и Ф. Д. 8, через заграждение и ступая на Кирхенфельдский мост, как тот под ним проседает, но все же бежит по нему — против всякой логики, — бежит так неистово, что даже не замечает падения метеорита, одержимый одной безрассудной верой, что еще успеет перейти падающий мост, но с середины, где мост уже разломило, он поворачивает и бежит назад, на площадь Гельвеции, залезает на колени матери-родины с молочной крышкой на голове и смотрит оттуда, как неотвратимо рушится мост. Вера Ф. Д. 9 оправдала себя. Но еще никогда в жизни он не был так счастлив, как когда бежал по мосту.

Ф. Д. 10, перелезший через заграждение в полной уверенности, что с ним ничего не случится, успевает еще заметить, как под ним рушится мост, как на него несется ярко освещенный метеором зеленый газон, и думает при этом: «Как это все для меня типично». Его вера была просто бездумной.

Ф. Д.11, после того как он, не прочитав предупреждения об опасности, перелез через заграждение, приняв при этом решение лучше все же стать писателем, с прохладцей и вразвалочку идет по мосту, пребывая в полной эйфории от собственного решения, и тоже не замечает метеора, как и того, что мост под ним рушится, и благополучно добирается до площади Гельвеции, очевидно окрыленно перелетев разверзшуюся под ним бездну по воздуху. И только захотев вернуться на площадь Казино, поскольку собрался отпраздновать свое славное решение, он замечает, что моста больше нет. Его охватывает смущение. Он не понимает, как же он перешел мост, который лежит глубоко внизу — на дне реки и на набережной Далмации, — может, каким-то чудом, а может, мост рухнул, когда он уже его перешел и, погруженный в свои радужные мечты, не слышал ни грохота, ни шума? На душе у него становится легко, и он залезает на Гельвецию, снимает с ее головы молочную крышку и бросает вслед рухнувшему мосту, радостно восклицая, что нашел для себя наконец литературный сюжет.

Ф. Д. 12, решивший изучать философию, стоит перед заграждением и читает предупреждение об опасности. И думает про себя, что любой мост может однажды рухнуть, предупреждают об этом или нет. Если он сейчас пойдет по нему, значит, он верит, что мост не рухнет, когда он будет переходить его; если он сейчас по нему не пойдет, значит, он верит в то, что мост рухнет, как только он вступит на него. Но поскольку вера есть вера, не важно, кто во что верит, он все-таки вступает на мост, и когда идет по нему, мост рушится и летит вместе с ним в тартарары. Вера вере рознь.

Ф. Д. 13, прочитав запрет о переходе моста, все же идет в конце концов по нему домой и начинает там рисовать, как рушится Кирхенфельдский мост — то с ним самим вместе ночью, около четырех, то днем вместе с трамваем и людьми, падающими вниз в реку, — и так и рисует лист за листом падающий Кирхенфельдский мост и по сей день.

Если мы рассмотрим всех таких разных Ф. Д., нам бросится в глаза, что есть вера разумная и неразумная. Вера в то, что мост, по которому только что проехал трамвай, не развалится, когда я буду переходить его, разумная, несмотря даже на реально существующую возможность, что именно тогда он и рухнет. Однако эта возможность настолько невероятна, что переход моста нельзя даже назвать риском. Если же я бегу по мосту, а он подо мной рушится, то вера в то, что я все-таки переберусь на другую сторону, неразумна. Возможность, что мост рухнет, оказалась не только вероятной, она стала уже фактом. И мой бег через мост есть не что иное, как риск самоубийства. Диалектика веры выливается тем самым в соперничество между верой разумной и неразумной, отнюдь не в игру между разумом и верой, ибо вера — всегда придаток разума, без веры невозможно само благое ожидание, чем всегда и оказывается переход моста — балансирование между уверенностью и неуверенностью; без веры, что мост не ведет в пустоту, а лишь в неизведанное, как и без веры, что все окажется именно так, как я себе и представлял, без этого мостика веры от уже обретенного к гипотезе, допускающей старую интерпретацию факта или порождающей новую, невозможна никакая наука. Именно поэтому Ф. Д. 3 и Ф. Д. 4 вовсе не литературные фикции. Ф. Д. 3 , который из страха, что мост может под ним рухнуть, не рискует переходить его, — частое явление в политике. Так, например, никто не хотел рисковать и не шел на разоружение, потому что другие тоже не хотели рисковать и не разоружались. Каждая сторона поставляла другой свои аргументы против разоружения (почему мост лучше не переходить). Логика гонки вооружения доходила до абсурда. В дополнение к старым разрабатывались новые программы с тем обоснованием, что, когда через годы они будут осуществлены, это позволит ликвидировать преимущества противной стороны и тем самым будет обеспечена безопасность, и все затем, чтобы потом, реализовав эту новую программу, в полной обезоруженности обнаружить, что враг этим временем не дремал и тоже вооружался, так что теперь вдогонку крайне необходима новая программа довооружения, и так ad infinitum[1]. Логика вооружения всегда требует все новых и новых обоснований для дальнейшей гонки. Ее внутреннее противоречие заключается в том, что замалчивается вопрос, почему же враг давным-давно не напал, а только все вооружается и вооружается. В самой аргументации прячется вера, которую невозможно обосновать логически, потому что невозможно уже само по себе никакую веру обосновать логически, будь она разумной из разумных, не говоря уже о той неразумной, что состоит на службе у гонки вооружения: ведь в душе в принципе живет вера, что на самом деле враг не нападет, но раз с помощью формальной логики постоянно муссируется вероятность обратного, эксплуатируют именно ту веру, что он все-таки нападет, чтобы оправдать собственное наращивание вооружения. Самое возмутительное в этой логике ее неискренность. Но и в других мотивировках тоже встречаются логические противоречия, маскирующие искреннюю веру, например, в такой, что врага можно запугать. Такая аргументация предполагает наличие разумного, не впадающего в отчаяние врага, и она тотчас же оказывается несостоятельной, если враг вдруг становится с отчаяния неразумным или начинает верить, что другая сторона утратила от отчаяния благоразумность. А теория, что враг непременно будет вооружаться до зубов, также зиждется на вере, игнорирующей вариант, что враг именно потому и может оказаться вынужденным напасть, поскольку не успел вооружиться до зубов, и что до зубов он сможет вооружиться только в том случае, если повременит с идеей нападения. Гонка вооружения иррациональна, но лишь с огромным трудом удастся распознать в призраке призрак — каждая сторона будет утверждать, что это было необходимо и все еще остается необходимым, хотя и с некоторыми ограничениями. И так он и будет продолжать бродить, в том или ином виде, потому что мы не можем существовать без иррациональ-

[1] До бесконечности (*лат.*).

ного. А абсолютные доктрины находят свое признание только в чистой логике, например такие, как теорема Пифагора. При эмпирическом подходе абсолютная истина заключается только в абсолютном факте (отнюдь не в его интерпретации). Абсолютный же факт всегда находится в прошлом. То, что я девятнадцатого января 1982 года в восемь часов вечера, стартуя, врезался в дерево, стало фактом лишь после того, как я в это самое дерево уже врезался: настоящее подлежит дефиниции, только став прошлым, и лишь в таком качестве может быть подвергнуто толкованию, даже если это и не факт, а протяженное во времени состояние, потому что все, что длится, изменяется, и всякое изменение может быть установлено только тогда, когда оно уже свершилось. Напротив, всякое грядущее есть только вероятное, причем это вероятное включает в себя и невероятное тоже: вероятное еще находится в сфере, поддающейся нашему приблизительному прогнозированию — вероятно, оно наступит, хотя это вовсе и не обязательно; невероятное же, которое тоже может наступить, но на что никак нельзя воздействовать, лежит абсолютно за пределами предварительных расчетов и прогнозирования. Но так как будущее, стоит ему только наступить, оказывается вариантом звеньев цепи «вероятное — невероятное», ставших вдруг реальностью, и так как все, что станет правдой о грядущем факте, может оказаться справедливым и в отношении любого другого факта, тем более уже свершившегося, то можно рискнуть выдвинуть тезис, что действительность есть невероятность, ставшая реальностью. Однако этот гипотетический тезис охватывает всю действительность целиком, какова бы она ни была, и не важно, разбил я свою машину об дерево или нет, не важно, существую я или нет, не важно даже, есть ли еще жизнь на Земле или нет, и тогда, возвращаясь к исходному положению, напрашивается вывод: тезис этот носит космологический характер, поскольку утверждает, что мир, как это ни невероятно, таков, каков он есть, что в свою очередь не противоречит тому, что он таков, каков и есть. И если Ф. Д. 4, делающий ставку на невероятное, верит, что Кирхенфельдский мост может все-таки, вопреки всем вероятностям, рухнуть именно в тот момент, когда он пойдет по нему, он решит построить рядом второй мост, а так как тот тоже может рухнуть, то рядом со вторым еще и третий и т. д., один Кирхенфельдский мост за другим, и никогда не перейдет на другую сторону. Каждый раз он будет находить новую причину и строить новый Кирхенфельдский мост — один уродливее другого: исходя из уверенности, что мост, хотя это и невероятно, все же может рухнуть, когда он вступит на него, он бежит от реальности и прячется в вере, что должен же быть такой мост, который при любых обстоятельствах, пусть это и кажется невероятным, выдержит, когда он будет переходить его. Ф. Д. 4 продолжает и дальше строить Кирхенфельдские мосты, название которых уже утратило свой смысл, потому что они давным-давно уже не ведут на поле вокруг кирхи на другом берегу, а приземляются возле Гренхена на пашне, раскинувшейся на правом берегу Ааре, а Ф. Д. 4 все строит и строит, теперь уже между Аарау и Ольтеном, потому что абсолютную догму, это непременное условие чистой логики, невозможно реализовать на практике, где царит чувственный опыт, и Ф. Д. 4 уже стал задумываться и задаваться робким вопросом, а возможно ли вообще осуществить на практике то, во что веришь; робко и боязливо, потому что это только так кажется, будто Ф. Д. 4 занимается дурацким делом. Он же не одинок. Заходит ли речь о запугивании врага атомными бомбами, о строительстве атомных электростанций, о захоронении ядерных отходов, о загрязнении и разграблении всей планеты и т. д., те, кто верит во все это и сворачивает себе потом на этом шею, вечно уговаривают нас, что мы должны верить, что то, что они делают, абсолютно надежно и верно. С этой верой мы уже вступили на силовое людское поле, и оно внушает нам страх. Судьбу всех смертных определяет не то, в чем вера людей в Бога и что они думают о Нем, а то, что они думают о себе самих и во что при этом верят.

■

ЭРИКА БУРКАРТ

Однажды я была птицей

СТИХИ

Перевод с немецкого и вступление Е. СОКОЛОВОЙ

«Я пишу с самого детства. Только с пером в руке ощущаю себя участницей жизни. (Очень грустно с помощью слов высвечивать мир по кусочкам.) Для меня писательство — форма существования, форма, которую не изменить», — сказала однажды о себе швейцарская писательница и поэт Эрика Буркарт, которая работает в литературе вот уже более сорока лет.

Первая книга ее стихов называлась «Темная птица» (1953). Ощутив однажды крылья у себя за спиной, Эрика Буркарт так и не сумела вернуться на землю: любимым способом перемещения во времени и в пространстве остался для нее полет, а солнце, звезды, созвездия стали важнейшими элементами лирического мира, точками отсчета. Глядя на нашу землю сверху, издалека, ее лирическая героиня видит хрупкий голубой шарик, один из атомов мировой гармонии. И центр дисгармонии.

Для немецкоязычной поэзии двадцатого столетия мотив бегства вообще очень характерен. В той или иной степени он проявляется в творчестве всех крупных поэтов Германии и Австрии. Но если Готфрид Бенн (Германия) ищет спасения от мрачной действительности в ярких красках экзотической природы, а Ингеборг Бахман (Австрия) мечется, пересекая границы, в поисках родины, «дома», то швейцарка Эрика Буркарт бежит от сумбура реальности к гармонии космоса. Остро ощущая единство Вселенной, Буркарт создает цельный поэтический мир, гармоничный вопреки абсурду окружающей действительности. В ее стихах гармония космоса одолевает хаос. Посредством слова.

Тут мы затрагиваем другой важный мотив лирики Буркарт: проблему соотношения слова изреченного и неизреченного (то есть молчания) в человеческом мире.

По мнению швейцарской писательницы, «наш родной язык — это молчание» и именно «из молчания рождается слово». Такое представление хорошо согласуется с ее собственной космологией, в центре которой — звезды и, следовательно, язык звезд, однако несколько выпадает из традиции отождествление «слово=мир», в основе которого слово как источник творения. Так, у того же Готфрида Бенна Слово-Творец короткой вспышкой озаряет Вселенную, высвечивая на миг гармоничную реальность (стихотворение «Слово»). В восприятии Ингеборг Бахман слово давно утратило свою первоначальную сущность, и потому постоянно пересоздаваемый им мир отвратителен (стихотворение «Слова»). Что касается Эрики Буркарт, то за обесценившимися словами она слышит космическое молчание:

Наш родной язык — это молчание.
Прорывается оно
из-под слов
страхами, жестами, болью.

(*«Речь и молчание»*)

Все настоящее в мире: страдание, страх, любовь, солнце и звезды — молчаливо и не нуждается в слове для проверки своей подлинности. Однако человек не является органичной частью мировой гармонии, напротив, часто именно он вносит во Вселенную хаос, с которым сам же после отчаянно борется. Слово становится инструментом в этой борьбе:

© 1978, 1984 by Artemis Verlag Zürich und München
© Е. Соколова. Перевод, вступление, 1998

... Слово пусть станет лотом,
чтоб измерять глубины...
... Слово пусть даст нам крылья,
научит нас высоте...

(*«Слова»*)

В отличие от Бенна и Бахман, Эрика Буркарт предлагает живущему в несовершенном мире человеку путешествие от слова — к молчанию, но к молчанию значимому (как понимал его Л. Витгенштейн). Таким образом, несмотря на определенную трагичность тона, в ее лирике нет безысходности. Всегда остается надежда на «новую землю», на новый восход солнца.

Помимо стихотворений, которые в основном можно отнести к жанру лирической медитации, Эрика Буркарт пишет лирическую прозу, рассказы и романы. Ее книги неизменно отмечаются критикой и находят отклик у читателей, она является лауреатом многих престижных литературных премий.

Юная индианка наблюдает восход солнца

В небе вырастает новая страна.
Мы вместе с ней ждем тебя.

Руки согревает надежда.
Река зеленеет, я вижу путь.

Распахнуты руки. Однажды
я была птицей.
Ты возвращаешь мне крылья.
Выпускаешь на волю
из моей груди голоса.
Я пою, я тебя воспеваю.

Три луча укололи мой лоб.
Ты зажег мне глаза: они видят.
Вместе с серыми деревьями я
стряхну с себя сонную пыль.

Ты огромно. Я так мала.
Ты светло. Я во мгле.
Где же ты, если здесь тебя нет?
Говорят, ты восходишь из недр.
Говорят, ты восходишь из вод.
Вдруг сегодня ты не придешь, вдруг
влюбленная женщина-тень прячет тебя в своем лоне...

Те, кто уже не здесь,
те, кто еще не здесь,
живут рядом с тобой.
Скачут на золотых жеребцах,
стрелами лечат мир.

Ты где-то там. Я пока еще здесь.
Здесь — это краешек Там?
Ты светло. Я во мгле.
Мои мысли уходят под воду.
Мои чувства становятся пылью.
Видеть дано мне лишь
глаз, или зуб, или руку.

Но ты круглое, как щит любимого,
как моя душа во сне.
Ты одно совершенно.
Я тебе поклоняюсь.

Рай и ад

... и плакала, плакала.
Мокрым было
лицо, голая
красная рана.

Потом в тишине
цокал жук-короед,
пробравшийся в сердце.

Любящий верит
в Рай и в Ад, —
то и другое
он видел
своими глазами.

Мост золотой проломился,
свет глубин оказался обманом.

Утонуть.
И всплыть
в другом месте.

Полночь

Ночью проснулась, включила свет,
два мотылька всполошились:
взлетев к потолку,
за собой потянули тени.

Полночь. Квиты
пустые чаши весов,
боль стихает, висит
Земля
на золотом волоске.

Рука под водой

Будто она ничего не делала
никогда другой руки
не касалась.
Странный зверь
Далекий как сон
цветок
кажется чем-то
потусторонним.
До него не добраться.

Ночной ветер

Необузданный бестелесный
приближается по пустырю
к слепым зеркалам окон.

Он размыкает деревья,
захлопывает облака,
гладит мерцающие огни,
разглаживает их,
возводит далекие города,
где что-то кончается, что-то начинается...
Внемлет он мудрецу,
чьи слова навсегда
позабыты.

Кто их вспомнит,
уже не проснется.

Вся обратилась в слух, лежу,
скорчившись в клетке ночи.

Коридоры

Ключ висит над кроватью,
но нет от него замка.

Ключей все больше. Где же
комнаты и дома?

Последняя дверь всегда
остается открытой.

Речь и молчание

Наш родной язык — это молчание.
Прорывается оно
из-под слов
страхами, жестами, болью.

Осмос:
речь проникает
в молчание. Многое остается
как есть, слово
без полифонии обертонов —
звуковой ребус.

Молчание прячет
невнятный смысл
речи, слова
выбрасывает на берег,
смывает прочь: они,
пустые раковины, диковинные
вогнутые поверхности,
пытаются
объять море.

МАРТИН СУТЕР

Small World [1]

РОМАН

Перевод с немецкого Г. КОСАРИК

Посвящается отцу

1

Когда Конрад Ланг вернулся, пламенем было объято все, кроме дров в камине.

На Корфу он жил примерно в сорока километрах к северу от Керкиры на вилле Кохов, которая представляла собой комплекс построек, уступами сбегавший к песчаной бухте. На ее крошечный пляж попасть можно было только с моря или по канатной дороге сверху.

Если говорить точнее, Конрад Ланг жил не на самой вилле, а в сторожке привратника — сырой и холодной каменной пристройке в тени пиниевой рощи, растущей по бокам дороги на подъезде к вилле. Конрад жил не на правах гостя — он исполнял здесь обязанности управляющего. За пропитание, жилье и пересылаемую ему время от времени определенную сумму он должен был следить, чтобы вилла по первому требованию готова была принять членов семьи и их гостей, и платил жалованье прислуге и по счетам рабочим, круглый год поддерживавшим виллу в хорошем состоянии — соль и влага доставляли им много хлопот.

Заботы о маслинах, миндале, инжире, апельсиновых деревьях, а также небольшой отаре овец лежали на арендаторе.

В зимние холодные месяцы, когда лил дождь и штормило, Конраду практически делать было нечего, разве что́ съездить разок в день в Кассиопи, чтобы встретиться там со своими дружками по несчастью, торчавшими зимой, как и он, на острове: старым англичанином — торговцем антиквариатом, немкой — владелицей слегка утратившего свой былой шик бутика, пожилым художником из Австрии и западношвейцарской парой, так же, как и он, приглядывавшей за чьей-то виллой. Они болтали, сидя в одном из тех немногих ресторанчиков, что не закрылись с окончанием сезона, и попивали винцо, забывая порой меру.

Остаток дня уходил на то, чтобы спастись от сырости и холода, пронизывающих до мозга костей. Вилла Кохов, как и многие другие летние дома на Корфу, мало была приспособлена к зиме. В домике привратника даже камина не имелось, только два электрообогревателя, но он не мог их включить одновременно — пробки вышибало.

Поэтому случалось так, что в особенно холодные дни или ночи он перебирался в гостиную одного из нижних ярусов дома. Ему нравилось стоять перед огромным окном, он ощущал себя капитаном на командном мостике роскошного лайнера: под ним — бирюзово-голубой бассейн, перед глазами — ничего, кроме безмятежной глади моря. А за спиной уютное тепло камина и исправно работающий телефон. В домике для привратника обитала раньше прислуга из нижнего яруса, и все телефонные разговоры можно было переводить оттуда сюда, как бы находясь на своем месте: вилла с ее каскадом террас и спален оставалась для Конрада табу по распоряжению Эльвиры Зенн.

---

[1] Мир тесен *(англ.). (Здесь и далее — прим. перев.)*

© Diogenes Verlag Zürich, 1997
© Г. Косарик. Перевод, 1998
Роман публикуется с сокращениями.

Стоял февраль. Всю вторую половину дня ураганный восточный ветер мотал и трепал верхушки пальм и нагонял на солнце ошметки серых облаков. Конрад, прихватив ноты парочки фортепьянных концертов, решил укрыться на вилле в нижней гостиной. Он погрузил на канатку дрова и канистру бензина и поехал вниз. Бензин понадобился, чтобы разжечь дрова. Две недели назад он заказал миндальные дрова — миндаль горел долго и давал много тепла, если дрова были сухие. Но те, что привезли, оказались сырыми. И заставить их гореть другого способа не было. Не очень, конечно, элегантно, зато очень эффективно. Конрад проделывал это уже десятки раз.

Он сложил поленья горкой, облил их бензином и поднес спичку. Затем поднялся на канатке наверх, чтобы забрать из маленькой кухоньки две бутылки вина, полбутылки узо[1], маслины, хлеб и сыр. На обратном пути ему повстречался арендатор, непременно хотевший показать ему пятно на наружной стене, где селитра разъела штукатурку. Когда же Конрад наконец-то снова поехал вниз, навстречу повеяло запахом дыма. Он приписал это ветру, возможно, хотя и непонятно под каким углом, задувавшему с моря в камин, и не придал этому значения.

Кабина почти приблизилась к нижнему ярусу, и тут он увидел, что пламенем объято все, кроме дров в камине. Случилось одно из тех несчастий, которые случаются, когда мысли заняты другим: он положил дрова в камин, а поджег те, что остались рядом. Языки пламени перекинулись в его отсутствие на индонезийскую плетенную из ротанга[2] мебель, а оттуда на икаты[3] на стене.

Возможно, пожар еще удалось бы загасить, если бы в тот самый момент, когда Конрад Ланг выбирался из кабины, не взорвалась оставленная открытой канистра с бензином. И тогда Конрад сделал единственно разумную вещь: нажал на кнопку и поехал назад.

Пока кабина медленно ползла вверх, шахта быстро заполнялась едким дымом. Между двумя верхними ярусами кабина закапризничала, потом еще дернулась пару раз и окончательно замерла, зависнув в воздухе. Конрад Ланг, прижав свитер ко рту, всматривался в дым, с каждой минутой темневший у него на глазах, так что скоро уже ничего нельзя было различить. В панике он лихорадочно дергал за ручку двери, наконец каким-то образом открыл ее, задержал дыхание и пополз на четвереньках по ступенькам рядом с трассой. Уже через несколько метров он добрался доверху и, тяжело дыша и хрипло кашляя, кинулся искать спасения на открытом месте.

Интерьер виллы Кохов на Корфу был перед самым пожаром полностью обновлен голландской дизайнершей. Эта женщина нашпиговала ее индонезийскими и марокканскими диковинами, экзотическими тканями и всякой этнографической чепухой. Весь этот кич мгновенно вспыхнул и горел, как солома. Ветер гнал огонь по шахте канатной дороги и забрасывал его на все ярусы, а оттуда — в спальни и смежные с ними помещения.

Когда прибыли пожарные, огонь в доме уже поубавился и грозил перекинуться на пальмы и бугенвиллеи, а с них на пиниевую рощу. Пожарные ограничились тем, что не позволили ветру и огню уничтожить пинии и расположенную рядом плантацию оливковых. Как на грех, дождей для этого времени года было очень мало.

Конрад спрятался с бутылкой узо в домике привратника. Только когда королевская пиния перед окном с треском вспыхнула, как свеча, взметнув в небо пучок огня, он, шатаясь, выбрался наружу и стал наблюдать издалека, как огонь пожирает белый домик со всеми его потрохами.

Через два дня прибыл Шёллер. По пожарищу его водил Апостолос Иоаннис, глава греческой дочерней фирмы Кохов «Koch Engineering», и ковырял носком ботинка то тут, то там в спекшемся хламе и мусоре. Вилла выгорела дотла. Шёллер был личным ассистентом Эльвиры Зенн. Тощий, аккуратный человек лет пятидесяти пяти. Никаких официальных постов он не занимал, его имя напрасно было бы искать в реестре торговых фирм, но именно он был правой рукой Эльвиры, и в этом качестве его побаивалось все правление концерна.

До сих пор Конрад Ланг маскировал свой страх перед Шёллером, обращаясь к нему с высокомерием человека, превосходящего его своим происхождением. И хотя указания исходили от Шёллера, Конраду, принимавшему их, всегда удавалось сделать вид, будто они

---

[1] Греческая анисовая водка.
[2] Лианы семейства пальм.
[3] Индонезийские штофные обои ручной работы.

— результат проведенных им ранее доверительных бесед с Эльвирой. И даже если Шёллер точно знал, что все контакты между Эльвирой Зенн и Конрадом Лангом идут только через него, лично он все равно не мог простить этому заносчивому старику, что гранддама из высших кругов швейцарской финансовой аристократии вечно дергает ради него за ниточки, постоянно пристраивая его то в своей огромной империи, то у заграничных знакомых компаньоном, управляющим или просто мальчиком на побегушках. Только из-за того, что этот старикан часть своей юности провел вместе с ее пасынком Томасом Кохом, она чувствовала себя обязанной не дать ему погибнуть, однако строго держала его при этом на дистанции. Ланг был одной из самых тягостных обуз в списке обязанностей Шёллера, и тот надеялся, что пожара на Корфу наконец-то хватит, чтобы окончательно развязаться с этим стариком.

Больше часа Конрад Ланг в оцепенении простоял в отсветах пламени среди множества суматошных людей, тушивших пожар. Он оживал, только чтобы сделать очередной глоток из бутылки или втянуть голову в плечи, когда пожарный самолет с грохотом проносился низко над пиниями, сбрасывая очередной заряд воды. В какой-то момент подошел с двумя мужчинами арендатор — те хотели расспросить его о случившемся. Заметив, что Конрад Ланг не в состоянии дать показания, они отвезли его в Кассиопи, где он провел ночь в камере полицейского участка. На следующее утро во время допроса он не смог объяснить, как возник пожар. И при этом нисколько не врал.

Память о том, с чего все началось, стала помаленьку возвращаться к нему только днем. И тогда он уже с возмущением отклонил все обвинения в свой адрес, отчаянно настаивая на своем. Возможно, он даже сумел бы выйти сухим из воды, если бы арендатор в своих свидетельских показаниях не заявил, что видел Конрада Ланга во второй половине дня на пути к нижнему ярусу с канистрой бензина в руках. Вследствие этого Ланга до выяснения обстоятельств дела по подозрению в преднамеренном поджоге перевели в Главное полицейское управление в Керкире. Там он и находился, когда Шёллер, смыв с себя сажу в номере международного отеля «Хилтон-на-Корфу» и переодевшись, достал из мини-бара тоник.

Через час Конрада Ланга вывели из камеры и доставили в кабинет с голыми холодными стенами, где его поджидали ассистент Эльвиры и полицейский чиновник. К этому моменту он уже более двух суток провел под стражей и даже думать забыл о высокомерии. Всегда стремившийся в любой ситуации выглядеть корректно — аккуратно одетым и чисто выбритым, — он предстал сейчас перед ними в вымазанных сажей вельветовых брюках, запачканных ботинках, грязной рубашке, мятом галстуке и желтом до пожара кашемировом свитере, том самом, которым зажимал рот, чтобы не задохнуться. Его коротко подстриженные усики трудно было различить на заросшем щетиной лице, седые волосы свисали космами, а мешки под глазами набухли и стали еще темнее, чем обычно. Он дергался, его пробирала нервная дрожь, и дело было не столько в возбуждении, сколько прежде всего в том, что за эти долгие часы у него во рту не было ни капли алкоголя. Лангу было чуть больше шестидесяти трех, но сейчас он выглядел на все семьдесят пять. Шёллер сделал вид, что не видит протянутой Лангом для приветствия руки. Конрад Ланг сел и стал ждать, пока Шёллер что-нибудь скажет.

— Ну, в чем дело? — не выдержал наконец Конрад.

Шёллер покачал головой.

— Дрова были из миндаля. И никак не загорались, потому что были сырые. Это несчастный случай.

Шёллер скрестил руки и ждал.

— Вы даже не представляете, как здесь бывает холодно зимой.

Шёллер взглянул в окно. Ясный солнечный день был уже на исходе.

— Очень редкая погода.

Вот теперь Шёллер кивнул.

Ланг повернулся к полицейскому чиновнику — тот немного знал английский.

— Скажите ему, что такой день, как сегодня, весьма необычен для этого времени года.

Полицейский пожал плечами. Шёллер посмотрел на часы.

— Скажите им, что никакой я не поджигатель. Иначе они и дальше будут меня тут держать.

Шёллер встал.

— Скажите им, что я старый друг дома.

Шёллер посмотрел на Конрада Ланга сверху вниз и опять покачал головой.

— Вы объяснили Эльвире, что произошел несчастный случай?

— Госпоже Зенн я буду докладывать завтра.

Шёллер направился к двери.

— И что вы ей скажете?

— Посоветую заявить о правонарушении с вашей стороны.

— Это же несчастный случай, — смущенно пробормотал Конрад Ланг еще раз, глядя, как Шёллер покидает помещение.

На следующий день Шёллер улетел тем единственным рейсом, который еще оставался после закрытия сезона и связывал аэропорт «Иоаннис Каподистрия» с Афинами. И уже в тот же вечер он предстал перед Эльвирой Зенн в ее рабочем кабинете на «Выделе» — так Кохи называли «резиденцию старухи», ее личное «бунгало» из стекла, стали и бетона, выстроенное для нее в парке родовой виллы «Рододендрон» знаменитым испанским архитектором. Парк был разбит на пологом склоне и занимал площадь около двадцати квадратных километров, множество невидимых дорожек петляли по нему среди бесчисленных видов рододендроновых кустов, азалий и старых могучих деревьев. Окна кабинета, как и остальных комнат, выходили на юго-запад. Отсюда открывался великолепный вид на озеро, гряду холмов на другом его берегу, а в ясные дни даже на цепь Альпийских гор.

В девятнадцать лет Эльвира Зенн поступила нянькой к Вильгельму Коху — овдовевшему основателю концерна. Его жена умерла сразу после рождения их единственного ребенка. Вскоре Эльвира вышла за хозяина замуж, а через два года, после его ранней смерти, вышла еще раз, на сей раз за исполнительного директора концерна — Эдгара Зенна. Это был усердный человек, сумевший добиться, чтобы заводы Коха, не отличавшиеся особыми инновациями, но слывшие в машиностроении за солидное предприятие, смогли набрать в военные годы силу и достигнуть расцвета. Он наладил производство запчастей для германских, английских, французских и американских автомобилей и станков. После войны он использовал этот опыт и начал производить значительную часть аналогичной продукции уже по лицензиям. Прибыль времен «экономического чуда» он активно вкладывал в недвижимость. Благодаря этому заводы Коха выжили в период экономического спада.

Правда, поговаривали, что его ловкой рукой управляет еще более ловкая рука его жены. Когда Эдгар Зенн в 1965 году умер в шестьдесят лет от инфаркта и предприятие продолжало как ни в чем не бывало процветать, многие увидели в этом прямое подтверждение былым догадкам. Сегодня заводы Коха представляли собой хорошо отлаженный концерн — немного машинного производства, немного текстильной промышленности, немного электроники, химии, энергетики. Даже немного биотехники.

Десять лет назад, когда Эльвира вдруг объявила, что пора уступать дорогу молодым, она перебралась в «бунгало», за которым закрепилось насмешливое прозвище «Выдел». Но бразды правления, переданные ею тогда, согласно сообщениям прессы, успевшему уже достигнуть пятидесятитрехлетнего возраста пасынку, она все еще крепко держала в своих руках. Она, правда, исключила себя из членов совета правления, но решения, принятые на заседаниях, регулярно проводимых у нее на «Выделе», носили куда более обязательный характер, чем все, что вообще решалось верхушкой концерна. Такое положение дел она хотела сохранить, пока не повзрослеет сын Томаса Урс и не возьмет на себя целиком и полностью эту ее роль. Сам же Томас всегда мечтал только о том, чтобы пропустить эту страницу своей жизни. И причиной тому был его характер.

Весть о крупном материальном ущербе на Корфу Эльвира Зенн восприняла, как Шёллер и ожидал, с невозмутимым спокойствием. Она была там один-единственный раз в своей жизни — больше двадцати лет назад.

— Какое произведет на всех впечатление, если я засажу его в тюрьму?

— Вам не придется этого делать. Этим займется правосудие. Поджог и в Греции является преступлением, по которому, независимо от действий потерпевшего, возбуждается уголовное дело.

— Конрад Ланг никакой не поджигатель. Он просто стареет.

— Если вам угодно, чтобы дело рассматривалось как неумышленный поджог по неосторожности, нам придется дать свидетельские показания в его пользу.

— И что вы потом с ним сделаете?

— Суд обяжет его выплатить денежный штраф. В том случае, если он сможет его заплатить, ему не придется отправляться в тюрьму.

— Мне незачем спрашивать, что бы вы сделали на моем месте.

— Нет.

Эльвира думала. Мысль о том, чтобы упрятать Конрада Ланга за решетку на расстоянии полутора тысяч километров к югу отсюда, была ей не совсем неприятна.

— Как выглядят греческие тюрьмы?

— Иоаннис уверяет, что за пару драхм там можно устроиться вполне сносно.

Эльвира Зенн улыбнулась. Она уже старая женщина, хотя по ней этого не скажешь. За всю свою жизнь она предпринимала немало, затратив достаточно времени, энергии и денег, чтобы не выглядеть старухой. И теперь ей, семидесятивосьмилетней, в наиболее удачные для нее дни иногда нельзя было дать и шестидесяти. Причина крылась не только в деньгах и пластических операциях — ей много было отпущено природой, хотя бы это круглое кукольное личико, и когда подошло время, ей не понадобилось выбирать, как многим другим женщинам, между лицом и стройной фигурой. И на здоровье она не жаловалась, не считая диабета («старческий диабет», как негалантно выразился ее домашний врач), из-за него она вот уже несколько лет два раза в день должна была делать себе инъекции инсулина с помощью шприца, больше похожего на авторучку.

Шёллер не сдавался — он вел игру, не выпуская инициативы из рук.

— Вас ни в чем нельзя упрекнуть, принимая во внимание, что вы для него сделали. После этого случая вам уже никуда не удастся его пристроить. Или вы и сейчас готовы за него поручиться?

— Но тогда все кругом начнут говорить, что я отправила его в тюрьму.

— Напротив. Будут только ставить вам в заслугу, что вы не потребовали от него через суд возмещения убытков. Никто не ожидает от вас, что вы станете вытаскивать из тюрьмы того, кто сжег вам виллу стоимостью в пять миллионов.

— Пять миллионов?

— Страховая сумма чуть меньше четырех.

— Сколько она нам стоила?

— Примерно два. Да плюс еще около полутора, которые вложил в нее за последний год господин Кох.

— В голландскую дизайнершу?

Шёллер кивнул.

— Так дешево нам уже никогда не удастся от него отделаться.

— Что я должна предпринять?

— Самое приятное — совсем ничего!

— Тогда я так и поступлю.

Эльвира надела очки и занялась документом, лежавшим перед ней на бюро. Шёллер поднялся.

— А вот Томасу, — произнесла она, не поднимая головы, — все обстоятельства дела вовсе не обязательно докладывать.

— От меня господин Кох ничего не узнает.

Но Шёллер еще не успел дойти до двери, как раздался стук, и в следующий миг в кабинете возник Томас Кох.

— Кони спалил Корфу. — Он не заметил взгляда, которым Эльвира обменялась с Шёллером.

— Только что позвонила Трикс Ван Дайк. Там все как после бомбежки. — Он ухмыльнулся. — Она была там со съемочной группой из «The World of Interiors»[1]. Они хотели дать материал на первой полосе. Но вообще не нашли там никаких Interiors. Трикс говорит, что убьет Кони. Она сказала это таким тоном, что я ей верю.

Томас Кох был лысый, лишь остатки черных волос на загривке неестественно светились, когда солнце, найдя прореху в облаках, ненадолго заглядывало в кабинет. Его лицо казалось слишком маленьким для столь крупной мясистой головы, даже и теперь — когда на нем сияла такая широкая ухмылка.

— Мне кажется, Шёллер, вам надо слетать на Корфу и посмотреть, в чем там дело.

---

[1] «Мир интерьера» (*англ.*).

Уладьте все формальности и держите от меня подальше ради всего святого эту Ван Дайк. — Кох направился к двери. — Ах да! И вызволите Кони из тюрьмы. Объясните им, что никакой он не поджигатель, а всего лишь старый пьяница.

Когда Томас Кох закрывал за собой дверь, они еще слышали, как он хихикал:

— The World of Interiors!

Через три недели Конрад Ланг и Шёллер увиделись снова.

Апостолос Иоаннис внес по поручению владельцев сгоревшей виллы залог и снабдил Конрада Ланга временными документами, а также всем необходимым из одежды, карманными деньгами и билетами второго класса на пароход и на поезд. Море было неспокойно, и Конрад Ланг целых восемь часов добирался на самоходном пароме до Бриндизи, а потом еще три часа околачивался на вокзале. Когда на следующий день он точно в четверть шестого прибыл по адресу, названному ему Иоаннисом, уже стемнело.

На Танненштрассе, 134 находился многоквартирный дом, но ни единой елки[1] на этой улице с оживленным движением не было. И к тому же это оказался рабочий квартал. Конрад Ланг в нерешительности стоял перед подъездом. На записке этаж указан не был. Он стал изучать фамилии на табличках — черных и аккуратненько вставленных в алюминиевые рамочки. Рядом со звонком в квартиру на четвертом этаже он увидел выгравированное имя «Конрад Ланг» и нажал на кнопку. Раздался звук зуммера — входная дверь открылась. Он поднялся по лестнице — наверху в дверях квартиры его ждал Шёллер.

— Добро пожаловать домой, — сказал он ехидно.

Ланг провел в дороге тридцать три часа. И выглядел почти так же плохо, как и во время их последней встречи в полицейском управлении в Керкире. Шёллер показал ему маленькую двухкомнатную квартирку, обставленную совсем дешевой простой мебелью. В кухонных шкафах было все самое необходимое из посуды. Нашлась и пара сковородок да кое-что из еды. В спальне в шкафу лежало постельное белье, махровые полотенца и халат. в гостиной стоял телевизор. Как квартира для туристов, которую еще ни разу не сдавали, подумал Конрад Ланг. Если бы еще без этого трамвайного визга да автомобильных гудков. Он опустился в кресло с откидывающейся спинкой, стоявшее перед телевизором.

— Условия договоренности следующие, — сказал Шёллер, сел рядом на тахту и положил перед собой на низкий столик лист бумаги. — Расходы по квартире берет на себя госпожа Зенн. Если вам захочется добавить что-то из мебели, составьте список. Я уполномочен пойти вам навстречу в разумных пределах. Страховка, больничная касса, зубной врач вам гарантируются. Одежда тоже. Одна из моих сотрудниц придет к вам завтра утром и будет сопровождать вас по магазинам, давая советы, в первую очередь касательно финансовой стороны дела. Предоставляемые вам возможности ограниченны. — Шёллер перевернул листок. — Напротив дома есть кафе «Дельфин» с уютным чайным залом — там вы можете завтракать. Для других трапез предусмотрен «Голубой крест» — вполне приемлемый безалкогольный ресторан в четырех трамвайных остановках отсюда. Вам он знаком?

Конрад Ланг отрицательно покачал головой.

— В обоих заведениях на вас открыт счет, его будет оплачивать госпожа Зенн. Для расходов вне рамок этого соглашения в вашем распоряжении карманные деньги в размере трехсот франков в неделю, которые вы будете получать каждый понедельник у шефа филиала Кредитного банка на Розенплац. Он получил также указание не давать вам авансов. Госпожа Зенн просила меня сообщить вам, что она не ждет и не требует от вас никаких ответных услуг. Разве что кроме той, что вы будете аккуратно обращаться с огнем — это моя личная просьба, и я охотно присоединяю ее ко всему вышесказанному.

Шёллер пододвинул листок Конраду Лангу и вынул из внутреннего кармана шариковую ручку.

— Внимательно прочтите и подпишите оба экземпляра.

Ланг взял ручку и подписал. Он слишком устал, чтобы еще читать это. Шёллер забрал копию, поднялся и направился к выходу. Уже в дверях он оглянулся и вернулся назад, будучи не в силах отказать себе в удовольствии:

— Была бы моя воля, вы бы остались на Корфу. Госпожа Зенн чрезмерно великодушна к вам.

Ответа не последовало — Конрад Ланг заснул прямо в кресле.

---

[1] Tanne (*нем.*) — ель.

2

Хоть бы Урса дома не было, подумал Конрад Ланг и нажал на кнопку. Раньше бы он услышал, как по всему дому разносится трезвон, а еще раньше, когда дергали за веревочку, как стучит и дребезжит под навесом над входной дверью колокольчик из кованого железа. Слух у него уже не такой тонкий, как прежде. Потому-то он и не услышал шагов молодой пары — они вышли из джипа и направлялись теперь к нему, оба в костюмах для верховой езды и запачканных глиной сапогах. Он — лет тридцати, высокого роста и очень хорош собой, если не считать слегка скошенного подбородка. Девушка помоложе, на вид чуть больше двадцати, брюнетка, и скорее хорошенькая, чем красивая. Она вопросительно взглянула на спутника. Тот приложил палец к губам. Они тихонечко приближались к пожилому человеку, который стоял перед воротами парка и ждал. На нем было добротное непромокаемое пальто от Burberry и фетровая шляпа, придававшая ему барский вид. Один из многочисленных друзей дома, подумала молодая женщина, готовая подыграть молодому человеку. Они подкрались на цыпочках.

Конрад Ланг приложил ухо к воротам и напряженно вслушивался. Чьи-то шаги? Молодые люди вплотную подошли к нему, и юноша с силой хлопнул ладонью по металлической обшивке ворот, издавшей оглушительный звук.

— Привет, Кони, тебе деньги нужны? — прокричал он.

Конрад Ланг сначала подумал, что в голове у него что-то взорвалось и лопнуло. Он обеими руками зажал уши. Лицо его исказилось, он ждал второго удара. Молодого человека он все же узнал.

— Урс, — сказал он тихо, — ты так меня напугал.

Заметив молодую даму, смущенно стоявшую рядом с Урсом Кохом, он снял шляпу и провел рукой по гладко зачесанным от высокого лба назад седым волосам. Он производил впечатление человека, слегка опустившегося, но не утратившего изысканных манер.

— Конрад Ланг, — протянул он руку.

Она вежливо пожала ее.

— Симона Хаузер.

— Мы с Урсом старые друзья. Он не имел в виду ничего дурного.

Урс тем временем уже отпер дверь. А в домофоне вдруг что-то хрустнуло и щелкнуло.

— Да? — произнес с акцентом женский голос. — Кто там?

— Никого, Канделярия, — ответил Урс Кох. Пропуская Симону вперед, он рылся в кармане галифе. Обернувшись, та успела еще заметить, как он сунул старику смятую купюру.

Неприятная встреча с Урсом имела и свою хорошую сторону — нежданно-негаданно подвалило сто франков. Может, Урс пожалел о своей грубой выходке, а может, хотел произвести впечатление на новую подружку или решился на это, потому что не нашел впопыхах купюру помельче. Во всяком случае, сто франков — неплохая добыча. Обычно Урс его не баловал.

Томи, пожалуй, тоже. Если, конечно, не впадал в сентиментальное настроение. Но в последнее время это случалось все реже и реже. Или чутье на такие моменты стало подводить Конрада. Томи чаще всего бывал раздражен, когда внезапно появлялся Конрад. Он приказывал слугам говорить, что его нет дома, или просто посылал Кони к черту. Прямо по домофону или, что уж совсем плохо, внезапно появившись у ворот.

Обычно ему открывал кто-нибудь из прислуги. Если везло, то Канделярия, ссужавшая его время от времени двадцатью или пятьюдесятью франками. Его долг ей перевалил уже за несколько сотен франков, иногда он отдавал ей в начале недели кое-что по мелочевке из своих карманных денег. Так сказать, из тактических соображений, ведь все равно придется обратиться к ней еще не раз.

С сотней франков в кармане в баре «Grand Hotel des Alpes» делать в общем-то нечего, зато здесь обслужат как человека, а Конрад Ланг сейчас нуждался именно в этом. Барменшу, работавшую в это время дня, звали Шарлоттой, и она называла его Кони, как бы на правах старой знакомой. Будучи уже немолодой, она помнила его еще с тех пор, когда он, бывало, жил здесь в верхнем люксе, где такая роскошная анфилада комнат. Ага, значит, когда он жил здесь с Томи. Томи — в люксе, а он в номере под ним этажом ниже. Но тогда, рассказывала Шарлотта, у нее еще не было нужды работать. Тогда она была как и он — не то чтобы богата, но все же ни от кого не зависела.

— Твое здоровье, Кони! — сказала она, подавая ему «negroni».

— «Negroni», — говорил он каждый раз, — идеальный drink для этого времени суток: на вид — аперитив, а действует не хуже коктейля.

Стакан, что принесла Шарлотта, был всего-навсего вторым. На третий еще хватит, включая шампанское для Шарлотты, которое она каждый раз по его знаку наливала себе в узкий высокий бокал и ставила позади себя рядом с пепельницей, где дымилась ее «Stella Filter».

— Yamas![1] — сказал Конрад и поднес стакан к губам. Его правое ухо все еще гудело от удара Урса по воротам, а рука дрожала больше чем обычно.

В баре было почти пусто, как всегда в предвечернее время. Шарлотта расставляла по столикам серебряные вазочки с солеными орешками. Сквозь гардины пробивался сумеречный свет. Чуть позади стойки, рядом с кассой, уже горела лампа, в пучке света, исходившем от нее, кружился синий дымок от сигареты, оставленной Шарлоттой. Роджер Уиттакер пел «Smile though your heart is aching»[2], а за столиком возле самого рояля слышалось звяканье чашек сестер Хурни, как всегда молча пивших чай и дожидавшихся пианиста.

Обеим сестрам было далеко за восемьдесят, вот уже несколько лет как они живут в «Grand Hotel des Alpes». Как и некоторые другие, не унаследовавшие двенадцати процентов дохода пивоваренного завода, они поселились в доме для престарелых. Обе тощие и хлипкие, а их бесформенные ноги в медицинских эластичных чулках телесного цвета, выглядывавшие из-под платьев в крупных цветах, выглядят как сардельки. Каждый раз, когда сестры торжественно входили в бар, Конраду Лангу вспоминалось далекое прошлое. Такое далекое, что в памяти всплывала даже не картинка, а только какое-то теплое, давно забытое ощущение, и он не смог бы описать его, но оно всегда вызывало у него добрую улыбку, которую сестры Хурни каждый раз оскорбленно игнорировали.

Конрад Ланг отпил маленький глоточек и снова поставил стакан на стол. Этой порции ему должно хватить до прихода пианиста. Тогда он закажет еще один «negroni». И один бокальчик шампанского для Шарлотты, и «одно пиво для тапера». А уж потом будет решать, истратить ли ему двадцать франков на такси или поехать на трамвае и пропить последние крохи у Барбары в дешевом кабаке «Розенхоф».

Редко случалось такое, чтобы очередную подружку Урса Коха представляли Эльвире Зенн. Все они были для нее на одно лицо, он так часто менял их, что Эльвира не могла их различить. Однако в последнее время она то и дело справлялась об «этой Симоне». Явный признак того, что, если бы Урс укрепил с той свои отношения, это не противоречило бы ее планам.

Аудиенцию Эльвира решила провести за послеобеденным чаем в малой гостиной. В достаточно узком кругу для первого раза. Урс и Симона сидели рядышком на кожаной софе. Томас Кох наполнил шампанским четыре бокала.

— Даже если и было сказано «к чаю», это лишь условность, — произнес он и засмеялся. Он поставил бутылку назад в ведерко со льдом, подал каждому полный бокал, взял себе тоже и поднял его. — За что пьем?

— За наше здоровье, — сказала Эльвира, чтобы опередить Томаса, которому, как всегда, не терпелось сказать что-нибудь лишнее. Судя по всему, он сегодня уже успел выпить, а потому был полон приподнятых чувств к потенциальной невестке. Как, впрочем, и всегда ко всем хорошеньким молодым женщинам. Чтобы нарушить повисшую после звона бокалов неприятную тишину, Урс сказал:

— Когда мы возвращались с верховой езды, перед воротами стоял Кони.

— Что ему было надо? — спросил отец.

— Понятия не имею. Возможно, западный флигель, «bentley» с шофером и полный апанаж[3]. Я дал ему сто франков.

— Может, он вовсе и не денег хотел. Может, просто нас хотел навестить.

— Во всяком случае, он не отказался.

Оба засмеялись.

---

[1] Твое здоровье! (*греч.*)

[2] Улыбайся, даже если душа болит (*англ.*).

[3] Землевладение или содержание, предоставлявшееся во Франции некоронованным членам королевской семьи (*исп.*).

Эльвира покачала головой и вздохнула.

— Вы не должны давать ему денег. И вы знаете почему.

— Но Симона приняла бы меня за изверга, — ухмыльнулся Урс.

Симона почувствовала вызов в его голосе.

— Некоторого снисхождения он все-таки заслуживает.

— Кони — это трагический случай, — безапелляционно изрек Томас Кох и снова наполнил бокалы шампанским.

— Так Урс объяснил вам все про господина Ланга? — поинтересовалась Эльвира.

— Не поймите меня превратно. Я нахожу замечательным все, что вы сделали для этого человека. И еще продолжаете делать даже после того, что случилось.

— Для моей бабушки он как талисман.

Томас Кох чуть не поперхнулся.

— Я думал, что талисманы приносят счастье.

— А ей так одни несчастья. Но она ведь у нас всегда была немножко эксцентричной.

То, как Эльвира посмотрела на него, заставило Урса встать и поцеловать ее в знак примирения.

Томас Кох склонился к Симоне.

— Кони — славный малый, только очень много пьет.

— Он просто никак не может взять в толк, что он не член семьи. И в этом его проблема, — добавил Урс. — Не понимает он, где проходит граница. Он из тех людей, кому палец в рот не клади. Лучше поэтому держать его на расстоянии.

— Что не всегда просто, как вы сегодня, видимо, уже убедились, Симона. — Томас Кох взял в руки серебряный колокольчик и позвонил. — Вы ведь тоже выпьете немного чаю?

— Я, право, не знаю, — ответила она неуверенно и посмотрела на Урса. Тот кивнул, тогда она тоже кивнула.

Томас Кох откупорил вторую бутылку шампанского, и Симона сказала:

— Печально, когда люди теряют последние крохи достоинства.

Томас сделал вид, что понял ее иначе.

— Не беспокойтесь, после третьего бокала шампанского я свое достоинство еще не потеряю.

Отец и сын засмеялись. Эта женщина словно создана для эгоцентричного Урса, подумала Эльвира Зенн. Пожалуй, немножко излишне накрашена для бела дня, но очень мила, без капризов и сговорчива.

Бар в «Grand Hotel des Alpes» уже заполнялся. Над столиками зажглись лампы, Шарлотта принимала заказы, а пианист играл, как всегда, обычный свой ресторанный репертуар. Сестры Хурни унеслись в своих мыслях в далекие времена, другие, но с теми же мелодиями. А Конрад Ланг представил себе, что тот, кто играет, — это он сам.

Летом 1946 года он решил стать знаменитым пианистом. Той весной Эльвира забрала своего пасынка из частной гимназии — директор мягко дал ей понять, что в народной школе ему будет легче. Она поместила его в дорогой интернат на берегу Женевского озера, и Томас настоял на том, чтобы Конрад оставался при нем. Гимназия давалась Конраду без труда, поэтому он без особого желания последовал за Томасом. В «Сен-Пьере» собрался тогда цвет молодежи из тех кругов, которые война обогатила или, по крайней мере, не разорила. Владельцы старого и нового капитала, оставшиеся в разоренной Европе, послали своих сыновей в замок семнадцатого столетия, чтобы подготовить их к предначертанной им судьбе. Конрад жил вместе с мальчиками, фамилии которых были до сих пор известны ему только как названия моторов, банков, концернов, суповых кубиков и т. п.

В «Сен-Пьере» мальчиков расселяли по четверо в каждую комнату. Соседями Томаса и Конрада оказались Жан Люк де Ривьер, отпрыск старинной банкирской династии, и Питер Корт, англичанин. Его отец запатентовал в тридцатые годы «противогаз Корта», который потом по лицензии взяли на вооружение практически все союзники.

— Заводы Коха? — спросил Жан Люк Томаса, когда они уже стояли между чемоданами посреди комнаты и пожимали друг другу руки.

Томас кивнул и в свою очередь спросил:

— Банк?

Жан Люк кивнул. Потом протянул руку Конраду и посмотрел на него, а когда тот

промолчал, не зная, что сказать, вопросительно — на Томаса. Как друг Томас всегда был лоялен, пока они с Конрадом оставались одни. Но стоило появиться кому-то, на кого он хотел произвести впечатление, он тут же распускал хвост и переметывался на другую сторону.

— Это сын бывшей прислуги, — объяснил Томас. — Моя мать покровительствует ему.

И вопрос, кому спать у двери, разрешился.

С этого момента все питомцы интерната обращались с Конрадом снисходительно-вежливо. Никогда — за все время своего пребывания в «Сен-Пьере» — он не был вовлечен ни в одну из их многочисленных авантюр или интриг и ни разу не стал жертвой их жестоких шуток. Трудно было бы дать ему понять яснее, что он им не ровня. Конрад испробовал все. Самых заносчивых он старался переплюнуть заносчивостью, самых блистательных и неотразимых — таким же неотразимым блеском, развязных и дерзких — собственной дерзостью. Он ставил себя в смешное положение, только чтобы вызвать их смех, и даже зарабатывал нарекания и штрафы, чтобы произвести на них впечатление. Он перелезал через стену и покупал в деревне вино. Он доставал сигареты и порножурналы. Стоял на стреме во время их любовных утех с Женевьевой, дочерью главного садовника.

Но в этой школе, где обучали, как жить богачам, Конрад вечно оставался тем, у кого не было главного — капитала.

В 1946 году во время торжественной церемонии прощания перед летними каникулами — в «Сен-Пьере», как во всякой международной школе, учебный год начинался осенью — Конрад Ланг решил стать пианистом. Был душный июньский день. Ворота «Сен-Пьера», окруженного каменной стеной, стояли распахнутыми настежь, и перед главным зданием на площадке, посыпанной гравием, плотно жались друг к другу припаркованные шикарные лимузины. На лужайке возвели небольшую сцену, поставили туда рояль и крутящийся табурет для пианиста. Рядом с подмостками, под балдахином, устроили буфет с холодными закусками. Родители, братья и сестры, учителя и ученики стояли группками, держали в руках бокалы и тарелки, непринужденно болтали и все чаще озабоченно поглядывали на тяжелые тучи и ждали грозы.

Конрад стоял рядом с Томасом Кохом и Эльвирой Зенн, беседовавшей по-французски с матерью Жана Люка де Ривьера. На Конраде, как и на всех остальных, была ученическая форма — блейзер с вышитой золотом эмблемой и форменный галстук в зелено-сине-золотую полоску. Матери появились с высокими прическами и в цветастых шелковых платьях, а отцы, выкроившие время для своих сыновей, прибыли в темных костюмах из мягких тканей, белых сорочках и галстуках излюбленных в «Сен-Пьере» тонов.

Среди этого элегантного и уверенного в себе общества, не замечаемый улыбающейся великосветской публикой, стоял сгорбленный, маленького роста, бледный человек в плохо смотревшемся на нем костюме а-ля Штреземан[1] — брюки в серо-черную полоску, серый жилет и черный свободного покроя пиджак — и время от времени старательно подносил к губам пустой бокал. Конрад изучающе глядел на него, взгляды их встретились, и человек улыбнулся ему. Конрад чуть было не ответил ему улыбкой, но вовремя спохватился, видя, как недвусмысленно игнорируют человечка все остальные, и, чтобы не совершить ошибки, равнодушно скользнул взглядом мимо.

Первые удары грома раскатились над озером, и тяжелые капли дождя покрыли крапинками изысканные летние наряды гостей. В мгновение ока лужайка опустела, рояль накрыли, и все общество, смеясь и пошучивая, переместилось в гимнастический зал, где предусмотрительно поставили второй рояль на случай плохой погоды.

Во время речи директора и торжественных проводов выпускников Конрад тщетно обшаривал глазами ряды в поисках невзрачного человечка, на чью берущую за душу улыбку он не решился ответить. И только когда директор объявил музыкальную часть — выступление пианиста Юзефа Войцеховского, — он увидел его снова. Как-то сразу возникнув на сцене, тот поклонился, сел к роялю и стал все с той же улыбкой ждать, пока уляжется шум в публике, которой, собственно, больше хотелось поскорее перейти к более приятной части торжества.

Когда наконец все стихло, Войцеховский опустил руки на клавиши.

---

[1] Густав Штреземан (1878—1929) — видный немецкий политический деятель, заместитель председателя Союза германских промышленников.

Он извлек из рояля четыре негромких ноктюрна Шопена. Никто не кашлял, не сморкался, иногда слышались только далекие ленивые раскаты грома уже поутихшей грозы. Через двадцать минут пианист поднялся, поклонился и ушел бы, если бы оглушительные аплодисменты не вынудил его дважды сыграть на бис.

Чуть позже, на прощальном коктейле, Конрад опять увидел маленького человечка. Тесно окруженного людьми и осыпаемого комплиментами со стороны тех, кто всего час назад его не замечал. Польский эмигрант, прошел слух, был интернирован; один из преподавателей «Сен-Пьера», служивший в войну охранником, познакомился с ним в лагере в восточной Швейцарии. Ага, значит, никто.

Конрад Ланг все же предпочел такси. Он сидел на заднем сиденье, и машина везла его петляющей дорогой вниз, назад в город, медленно погружавшийся в вечерние сумерки. Он мог бы поехать на трамвае и заглянуть потом к Барбаре в «Розенхоф». Но он чувствовал себя подавленным. Фортепьянная музыка, когда у него было плохое настроение, с той же легкостью вызывала в нем депрессию, с какой делала его счастливым, если все было в порядке. Сегодня она действовала на него удручающе, потому что он слушал ее после того, как подвергся унижению. Она всколыхнула в нем старые, очень горькие, казалось бы изжитые, обиды, и от воспоминаний о них — в этом он был абсолютно уверен — он тут же бы избавился, если бы смог сесть к роялю.

За летние каникулы 1946 года, проведенные ими на вилле Кохов в Сен-Тропе, ему удалось убедить Томаса, как важно уметь играть на фортепьяно. Девушки, которые уже начинали их интересовать, боготворили пианистов, доказывал он. Вскоре Томас ошарашил свою мачеху сообщением, что в следующем учебном году он хочет брать уроки музыки. Что само собой означало: и Конрад тоже. Конрад, в противоположность Томасу, занимался музыкой очень серьезно. Его учитель Жак Латур был в восторге от его увлеченности и его таланта, который заметил в нем очень скоро. Конрад мог воспроизвести мелодию, услышанную только раз. Жак Латур стал давать ему частные уроки, обучая его умению читать ноты. Через короткое время тот уже играл с листа. С самого начала Конрад безукоризненно усвоил, как правильно держать руки, и очень быстро обрел многообещающее туше. Не прошло и двух месяцев, как Конрад совершенно обескуражил Томаса беглой игрой на фортепьяно.

Каждую свободную минутку Конрад упражнялся в музыкальной комнате, где он осваивал технику игры сначала левой и правой рукой в отдельности, потом обеими вместе. Месье Латур поправлял его все реже и реже, все чаще он просто слушал его, до глубины души потрясенный тем, что видит перед собой великий талант, а может даже и маленького гения.

Так продолжалось до «Комариной свадьбы».

Стоило ему только заиграть «Комариную свадьбу», как руки переставали повиноваться. Правая вела мелодию, левая аккомпанировала, но никак не желала смириться с этой ролью.

До «Комариной свадьбы» Конраду казалось, что его руки словно пара хорошо выдрессированных цирковых лошадей, которые то пускаются вскачь с развевающимися гривами, то встают на задние ноги, вскидывая вверх передние. Мозг одновременно посылал рукам идентичные команды, и они идентично их исполняли. Иногда двигаясь параллельно, иногда навстречу друг другу, но всегда, так сказать, в ногу — в одинаковом ритме и темпе.

— Это еще вернется, — говорил месье Латур, — вначале у многих так.

Но с каким бы ожесточением ни упражнялся Конрад, его руки по-прежнему оставались непослушными, как две марионетки, которых кто-то дергал за две одинаковые ниточки. «Комариная свадьба», шуточная богемская песенка, положила конец его карьере пианиста.

Через полгода после начала занятий Латур махнул рукой на своего лучшего ученика. Он еще пытался какое-то время уговорить Конрада перейти на другой инструмент. Но только фортепьяно, и только оно, было его инструментом. Тайком он еще несколько месяцев упражнялся на «клавиатуре», нарисовав ее на матерчатом валике. Во сне он мог исполнить труднейшие басовые и скрипичные партии. Но стоило ему только приказать одной руке нарушить ритм, как другая бежала за ней, словно собачка на поводке.

Конрад Ланг знал наизусть партитуры всех вальсов и ноктюрнов Шопена и фортепь-

янные партии всех основных концертов для фортепьяно с оркестром. Он узнавал по туше ведущих пианистов с первых же тактов. И если ему не суждено было завоевать признание в ближайшем окружении, то произвести несколькими виртуозными пассажами, исполненными одной рукой или параллельно двумя, неизгладимое впечатление поздно ночью в баре, где тапер еще не знал его, удавалось всегда.

Из Томаса Коха, напротив, получился обычный любитель среднего класса, лишенный всяческого вдохновения.

Такси остановилось перед «Розенхофом». Конрад решил про себя, что у него не то настроение, чтобы сидеть в квартире одному. Он расплатился, отдав последнюю мелочь шоферу на чай — один франк и двадцать раппенов, сумма, которой он даже слегка устыдился. Как и все те, кто зависим от щедрости других, он ненавидел скаредность.

Поднявшись по трем ступенькам в «Розенхоф», он раздвинул тяжелые, с пластиковыми краями портьеры, в нос ему ударил чад, пивные пары и запах фритюрного масла, из зала доносился ровный гул мужских голосов — работяги урывали для себя полчасика после работы перед тем, как отправиться по домам. Он повесил пальто на вешалку, где уже не осталось ни одного свободного крючка, положил шляпу на пустую полку сверху и прошел к своему постоянному месту за столиком. Мужчины сдвинулись. Один из них встал и принес для него стул. В «Розенхофе» Конрад пользовался уважением: единственный, кто всегда был при галстуке, единственный, кто разговаривал на пяти языках (не считая познаний в греческом), единственный, кто вставал, если вдруг к столу подходила женщина. Кони был элегантен, образован, однако «не задирал нос», как выражались в «Розенхофе», и не думал, что с него убудет, если он выпьет кружку пива с токарями, подметальщиками улиц, кладовщиками и безработными.

Поначалу завсегдатаи «Розенхофа» встретили Конрада Ланга в штыки. Но чем больше просачивалось сведений из его жизни, тем больше его воспринимали здесь как своего. Многие из завсегдатаев работали в близлежащем монтажном цехе №3 одного из заводов Коха. Кони никогда ни на что не жаловался. Даже когда он бывал в подпитии, никому не удавалась спровоцировать его ни на один злобный выпад в адрес Кохов. А напившись вдрызг, он, если речь заходила о Кохах, обрывал себя на полуслове и прикладывал палец к губам: тссс! Но иногда все же он пускался в откровения.

Конрад Ланг являлся внебрачным ребенком служанки Кохов. Когда умер старый Кох, она стала прислуживать молодой вдове, мачехе Томаса Коха. Они были как две подружки. Вместе объездили весь мир: Лондон, Каир, Нью-Йорк, Ницца, Лисабон. Так продолжалось вплоть до начала войны. Мачеха Томаса вернулась тогда в Швейцарию, а мать Кони осталась в Лондоне — она влюбилась там в немецкого дипломата, скрыв от него, что у нее есть Кони.

— Как скрыла? — спросил кто-то из сидевших за столом, когда Кони впервые рассказывал свою историю.

— Она привезла меня в Швейцарию, в Эмментальскую долину, оставила там вроде бы на время у одного хуторянина и с тех пор больше не показывалась.

— Сколько тебе тогда было?

— Шесть.

— Свинство.

— Пять лет я ишачил на него. И крепко. Вы ведь знаете, что такое эмментальские крестьяне.

Кое-кто сочувственно кивнул.

— А когда из Германии перестали поступать деньги, этот куркуль вытянул из меня все про Эльвиру. И повез меня к ней, чтобы стребовать с нее денег. Но оказалось, что она вообще ничего про все это не знала, и тогда она оставила меня у себя.

— Ну хотя бы это как у людей.

— С тех пор я и рос практически как брат Томаса Коха.

— А почему сейчас ты сидишь здесь и Барбара записывает тебе все в долг?

— Об этом я и сам себя спрашиваю.

Для постоянных клиентов «Розенхофа» Конрад Ланг стал единственной возможностью приобщиться к тайному миру верхушки общества. То, что он рассказывал про них, только подкрепляло их подозрения. Другой причиной особого статуса Конрада Ланга в «Розенхофе» стали его отношения с Барбарой, здешней барменшей. Он был единствен-

ным клиентом, кого она удостоила чести пить у нее в кредит. Но даже если не считать того, что она не провела через кассу, сумма уже приближалась к семистам франкам. По понедельникам, получив карманные деньги, Кони возвращал ей иногда пятьдесят или сто франков. Но в последнее время стал пить все больше, а деньги возвращал все реже. Барбара сама удивлялась своей щедрости. Она не относилась к тому разряду людей, кто раздаривает налево-направо. В этом году ей исполнилось сорок, и до сих пор ей тоже еще никто ничего не подарил. Когда она смотрелась в зеркало, у нее не возникало надежды, что в жизни ее что-то радикально изменится.

Но Конрад Ланг задел в ней какую-то струну: в нем было нечто благородное — по-другому она не могла это назвать. И как он одевался, как вел себя, даже если был в стельку пьян, как говорил, и прежде всего как держал себя с ней. «Милорд», пришло ей на ум — так пела Эдит Пиаф (которую она терпеть не могла), — когда у Конрада Ланга во время его третьего посещения кабака вдруг навернулись на глаза слезы.

Барбара была самой ярой его защитницей. Если кто-нибудь в «Розенхофе» высказывался в том смысле, что бывает судьба и потяжелее, она тут же кидалась в бой: «Всю жизнь быть игрушкой-лакеем при Томасике? Тот вылетел из гимназии — и Кони пришлось отправиться за ним в интернат! Тот вылетел и из интерната — и Кони вместе с ним! Тот не смог получить ни одной профессии, так и Кони не дали по-настоящему ничему выучиться. Когда же Томасу исполнилось тридцать, он женился, и Кохи пристроили его на одной из своих фирм. А Кони остался в дураках».

Ее единственная подруга Дорис Мааг, женщина-полицейский, заметила однажды: «И в тридцать еще можно кое-чему выучиться», но Барбара опять встала на его защиту:

— Он пытался. И хоть ничему путному не выучился, зато приобрел манеры. И много связей с той поры, когда был вместе с Томасом.

— А на что он жил?

— Сначала брал в долг у дружков Томаса. А когда тем надоело, что он не возвращает долгов, — за счет мелких услуг все для них же: присмотреть за яхтой в межсезонье, составить компанию чьей-нибудь престарелой матери, временно поработать управляющим на вилле — такие вот дела.

А на вопрос, почему он позволял так с собой обращаться, у нее тоже был готовый ответ: из благодарности. Потому что Томас Кох уговорил мачеху принять Конрада. Потому что без Томаса Коха его сегодня вообще бы не было в живых. Когда же Дорис Мааг спросила ее: «И чем он занимается теперь?», Барбара задумалась на мгновение и сказала: «Послушала бы ты, как он играет».

Сейчас на Барбару навалилось дел выше головы: она приносила полные доверху пивные бокалы, убирала пустые, принимала заказы и смахивала деньги со стола в большое портмоне под фартуком. Увидев Конрада, она принесла ему его любимый «альт»[1], плеснув туда предварительно чего-то из бутылки.

К семи часам вечера «Розенхоф» опустел, не осталось никого, кроме нескольких закоренелых пьяниц да Конрада Ланга, сидевшего перед третьим стаканом. Барбара достала из холодильника бутылку белого виноградного вина, наполнила себе бокал и подсела к Конраду.

— Удачно сходил? — спросила она.

Конрад затряс головой:

— Урс.

— Тогда, значит, опять записываю?

— А можно?

Барбара пожала плечами.

Вечером того дня, после происшествия с Урсом, Барбара забрала Конрада к себе домой. Это случилось не впервой, она и раньше приводила его к себе, когда ей становилось особенно жалко его или если ей самой вдруг делалось одиноко и хотелось вызвать ревность Курта, своего женатого, лишь изредка появляющегося любовника.

В самый первый раз Конрад предпринял попытку сближения больше из чувства долга, чем вожделения, — всякий джентльмен не против получить время от времени то, о

[1] Темное рейнское пиво; подается в небольших стаканах цилиндрической формы.

чем потом будет старательно умалчивать, — Барбара как раз стелила постель. Она засмеялась и покачала головой, и этого оказалось достаточно, чтобы навсегда отвадить его. Они легли в постель — она в поношенной и выцветшей от частой стирки байковой пижаме, он в нижнем белье, — и Конрад принялся рассказывать ей разные забавные истории. Случаи и анекдоты из жизни высшего света, этого мира богатства.

— А знаешь, Глория фон Турн и Таксис велела приготовить князю на его шестидесятилетие юбилейный торт с шестьюдесятью пенисами из марципана, — начал он рассказывать в этот вечер, как только перевел дух: Барбара жила на пятом этаже в доме без лифта.

— Знаю, — сказала та, помогая ему снять пальто.

— Князь, собственно, был голубым.

— Знаю, — сказала она опять и пошла на кухню.

— Но это было известно только очень узкому кругу людей, — крикнул он ей вдогонку.

— Знаю, — отозвалась Барбара, появляясь со стаканом минеральной воды.

— Я тебе уже об этом рассказывал?

— Много раз.

Барбара готова была надавать себе по щекам, потому что глаза Конрада тут же наполнились слезами. Она знала, каким жалким казался он себе в такие моменты. Но она тоже устала и была, кроме того, рассержена. На него — за то, что позволял так с собой обращаться, и на себя — за то, что притащила его к себе.

— Извини, — сказал Конрад. Она не поняла, что он имел в виду: свою забывчивость или слезы.

— Да не извиняйся ты без конца! Лучше защищайся, — резко оборвала она его и протянула стакан. Конрад покорно взял.

— Что это?

— Пей.

Конрад послушно выпил все до конца. Барбара посмотрела на него и покачала головой.

— Ну́ почему ты делаешь все, что тебе ни прикажут? Скажи — нет, не хочу я минеральной воды, хочу пива с хрютером[1], а свою минеральную воду пей сама. Ну сопротивляйся же!

Конрад пожал плечами и попытался улыбнуться. Барбара провела рукой по его волосам.

— Прости.

— Но ты права.

— Не знаю. Идем, ложись в постель.

— Но я не хочу в постель, хочу пива с хрютером, сама иди в постель! — сказал Конрад.

— Ладно, забудь об этом, — смягчилась Барбара.

В ту ночь Конраду приснился сон. Он играет в крокет в парке на вилле «Рододендрон». Тут же рядом Томи, и Эльвира, и его мать — Анна Ланг. Прекрасный теплый летний день. Женщины в белых платьях. Томи в коротких штанишках и совсем маленький. И тут Кони вдруг замечает, что и сам он ничуть не больше.

Они расшалились и все время смеются. У Томи шар с голубыми полосками, у него с красными. Его черед бить. Удар точен, шар прошел сквозь ворота и катится все дальше и дальше. Кони бежит за ним, пока тот не докатился до откоса и не исчез. Он бросается за ним в кусты и находит свой шар. Но он заблудился. И все глубже заходит в непроходимые заросли. Наконец заросли кончились и он вышел на свободу. Вилла исчезла. Кругом ни души. Он плачет, громко всхлипывая. Кто-то обнимает его и говорит: «Ты должен изменить свою жизнь, иначе ты пропадешь». Это — Барбара. За окном уже рассвело.

После завтрака в кафе «Дельфин» он отправился к себе на квартиру и написал Эльвире Зенн письмо.

Дорогая Эльвира,

вчера мне приснился сон. Ты, и Анна, и Томи, и я играли перед верандой в крокет, на том самом газоне, который садовнику (его звали Бухли?) специально для этого полагалось подстричь. Мы были так счастливы и беззаботны, у Томи, как всегда, голубой шар, у меня — красный. На тебе белое льняное платье, его испортил тебе потом Томи,

---

[1] Хрютер (*швейц. диал.*) — горькая настойка на травах.

когда мы собирали вишни, но в моем сне оно еще белоснежное. Когда я проснулся, воспоминания вдруг нахлынули на меня. Мне показалось, что все это случилось вчера, и я спросил себя: «Почему все так случилось? Почему ты оттолкнула меня? Мы ведь были прежде как одна семья. И почему не может быть так опять? Почему я на старости лет должен оставаться один со своими воспоминаниями? И делиться ими с абсолютно чужими мне людьми, которые не могут взять в толк, о чем я говорю?

Не пойми меня превратно, я не хочу показаться тебе неблагодарным. Я ценю твою щедрость и великодушие. Но эту жизнь я долго не вынесу. Прошу тебя, Эльвира: или оттолкни меня навсегда, или прости и прими опять назад в семью.

Твой совершенно отчаявшийся Кони Ланг

Он несколько раз перечитал письмо и все никак не мог решиться отправить его. Потом положил его в конверт с адресом и сунул, не заклеивая, во внутренний карман пиджака. За кофе в «Голубом кресте» он снова прочитал его и решил не отправлять. Слишком уж жалостливое. Опять убрал его и забыл про него до появления в «Розенхофе». Барбара встретила его вместо приветствия вопросом:

— Ну и? Что ты собираешься делать, чтобы изменить свою жизнь?

— Я написал Эльвире Зенн письмо. — Он сунул руку в карман и показал ей конверт.

— А почему не отослал?

— Марки нет.

— Может, мне его отправить?

Конрад ничего не ответил и просто позволил ей забрать письмо. Когда схлынул поток посетителей, Барбара наклеила марку, накинула пальто и дошла до почтового ящика на углу. Не откладывай на завтра то...

Конрад ничего не заметил. За пивом он все размышлял о письме и пришел наконец к выводу, что ничего жалостливого в нем нет и что оно по-своему патетично.

Почтальон давно вынул все письма из ящика, когда Конрад решил не препятствовать Барбаре и позволить ей отправить письмо.

Эльвира Зенн сидела на «Выделе» в своей «утренней» комнате и завтракала. День еще только нарождался, и матерчатые шторы, ласково затенявшие яркие лучи и придававшие им переливчатый молочный оттенок, были еще наполовину приспущены. Госпожа Зенн пила свежевыжатый апельсиновый сок и предпринимала мучительную попытку забыть письмо, лежавшее поверх стопки поступившей сегодня корреспонденции.

Она допила сок. То, что письмо было наглое, занимало ее недолго. Это ведь была не первая наглость, которую позволил себе Конрад Ланг. Ее обеспокоили детальность и точность его воспоминаний. Садовника действительно звали Бухли, и — что гораздо хуже — он умер, когда Кони еще шести не исполнилось. Томи на самом деле всегда упорствовал и требовал голубой шар, а Кони, который тоже отдавал предпочтение голубому, всегда безропотно довольствовался красным. Но больше всего ее смущали пятна на белом льняном платье. Когда она играла с Анной, Томи и Кони в крокет, платья уже не было. Она выбросила его, потому что оно и вправду оказалось все в темно-вишневых пятнах. Но не Томи забрызгал его. Мысль о том, что память этого старого алкоголика способна удерживать так много, внушала ей страх.

В жизни Эльвиры Зенн было мало такого, в чем она раскаивалась. Но вот что она тогда, в то теплое воскресенье в мае 1943 года, не заплатила хуторянину отступного и не отправила с ним Конрада назад в Эмментальскую долину, — этого она не могла себе простить по сей день.

Первый весенний день. Они отобедали на воздухе. Уже расцвели самые ранние рододендроны. Она сидела с Томасом под полосатой маркизой на большой солнечной террасе, выходившей в парк, и пила кофе, что в то военное время даже Эльвира Зенн не могла позволить себе ежедневно. Молоденькая служанка доложила о визите — пришел мужчина с мальчиком, говорит, что он друг и что для вас это сюрприз. Эльвиру разобрало любопытство, и она разрешила впустить их.

Пока они шли, приближаясь к террасе, она рассматривала их обоих. Деревенский мужик с мальчиком, в руках у того маленький сундучок. Вдруг Томас сорвался с места и бросился им навстречу. И тогда она почувствовала, что совершила ошибку.

— Кони! Кони! — кричал Томас.

Мальчик ответил:

— Привет, Томи.

Эльвира не знала, что Конрад находился в Швейцарии. Последний раз она видела его пять лет назад в Дувре, перед самым началом войны, в тот день, когда она с Томасом возвращалась назад, а Анна с Конрадом оставалась в Лондоне, из-за своего немецкого дипломата. Какое-то время они еще переписывались, из Лондона пришло свадебное объявление, вырезанное из газеты, из Парижа открытка. После этого больше ничего.

И вот теперь этот крестьянин стоял перед ней и рассказывал на своем немыслимом диалекте, который она понимала с трудом, что Анна вскоре после нее тоже приехала в Швейцарию с Конрадом и оставила его, тогда шестилетнего, у него на хуторе. Каждый месяц из швейцарского банка приходило сто пятьдесят франков, а вот за последние три месяца ничего. Ни франка. Фиг.

Кормить пацана задарма он не может, сказал он. Он не Песталоцци, а всего лишь Цельвегер. Вот он и подумал, а вдруг она поможет. Вроде ведь теткой ему приходится. И деньжата, добавил он, оглядываясь вокруг, похоже, тут водятся.

Если бы Томас так не настаивал: «Мама, ну пожалуйста, мама, пусть Кони останется, ну пожалуйста, можно?», она бы по крайней мере попросила дать ей подумать. Но Томас был такой счастливый, а Кони такой смиренный и мужик такой противный, что она поступила необдуманно, а это случалось с ней редко, — она кивнула.

Дала Цельвегеру четыреста пятьдесят франков за неоплаченные три месяца и двенадцать франков за «железку». И осталась стоять рядом с неуклюжим мальчишкой, а в душе ее возникло подспудное чувство, что никогда в жизни ей от него не избавиться.

Поначалу никаких проблем не было. Конрад рос неназойливым, непритязательным ребенком и стал хорошим товарищем для Томаса. Она отправляла обоих в одни и те же школы, они вместе играли, вместе делали домашние уроки. Конрад оказывал благотворное влияние на Томаса. Тот никогда не умел быть один и очень любил верховодить. Конрад же был терпелив и с самого начала добровольно признавал за Томасом первенство.

Проблемы появились чуть позже. Томас превратился в капризного молодого мужчину, которому быстро все надоедало. У Эльвиры в ту пору были другие интересы, и ради собственного комфорта она терпела, что он ведет жизнь плейбоя. Она не только спускала ему его выходки, но еще и щедро финансировала их. Одним из его пристрастий был Кони, которого он то отталкивал, то притягивал к себе, в зависимости от расположения духа. Когда Томасу исполнилось тридцать, она решила положить конец его сладкой жизни. В общемировом пространстве затерялось несколько неоплаченных долгов и среди них — Конрад Ланг.

И вот на тебе, пожалуйста, прошло еще тридцать пять лет, а он так и не исчез из ее жизни. И даже позволил себе еще и наглость.

Придя первый раз в «Голубой крест», Конрад Ланг подумал, что запах исходит от множества присутствующих здесь старух. И только когда ему принесли тарелку, он понял, что воняет от еды — цветной капустой, шпинатом, морковью, жареной картошкой.

— Здесь что, вегетарианская кухня? — спросил он.

И ему ответили:

— Вы же заказали блюдо «С грядки» — разве вам подали что-то другое?

Но со временем он попривык к «Голубому кресту». У него появился собственный, облюбованный им столик, и пожилые официантки обслуживали его как члена своей семьи.

— Господин Ланг, cordon bleu сегодня на славу, а вот тушеная брюссельская капуста немного горчит. Я положу вам лучше кольраби.

Конрад Ланг читал газету, перед ним стояла чашечка кофе. Он был несколько встревожен. Барбара вчера вечером спросила его, получил ли он ответ на письмо.

— Какое письмо? — спросил он ее в свою очередь.

— Письмо к Эльвире Зенн, я опустила его за тебя. Письмо, которое должно изменить твою жизнь.

— Ах, это... Нет, ответа еще не было, — пробормотал он смущенно. И с тех пор ломал себе голову, что же он там такое написал. Но толком ничего припомнить не мог.

— Здесь свободно?

Конрад поднял глаза. Перед ним стояла женщина лет пятидесяти, с хорошенькой го-

ловкой, в костюме из кашемира розово-ржавого цвета, с двойной ниткой жемчуга на шее и в брюках из добротного сукна. Нашенской породы, подумал он и встал.

— Здесь еще не занято? — спросила она снова.

— Нет, нет, разумеется, — ответил Конрад и вытащил задвинутый под стол второй стул. Он был несколько обескуражен. Зал практически был пуст.

Не успела она сесть, как дверь распахнулась. Вошел молодой мужчина, огляделся, увидел ее и направился к их столику. Он уже почти дошел до них, когда женщина вдруг схватила Конрада за руку, притянула его к себе и спросила:

— Ты давно ждешь меня, любимый?

Конрад Ланг почувствовал, что мужчина стоит рядом. Он проникновенно посмотрел женщине в глаза, накрыл своей левой ладонью ее правую руку и сказал:

— Почти всю свою жизнь, мой ангел.

Мужчина стоял у стола и ждал. Но ни Конрад, ни женщина даже не взглянули на него, и тогда он повернулся и быстро вышел на улицу.

— Спасибо, — сказала женщина. И облегченно вздохнула. — Вы спасли мне жизнь.

— Это я называю сделать доброе дело, — ответил Конрад Ланг. — Позвольте пригласить вас на чашечку кофе?

Женщину звали Розмари Хауг, это было ее девичье имя, она снова носила его вот уже четыре года после развода.

Она согласилась на предложение, и ей понравилось, что Конрад Ланг ни полсловом не обмолвился о случившемся. Старой закалки кавалер, подумала она.

Петер Штойбли — терапевт широкого профиля — лишь совсем недавно оставил свою практику, которую имел неподалеку от виллы «Рододендрон». Теперь он обслуживал только небольшую горстку своих давних пациентов. Среди них была и Эльвира Зенн, он стал ее домашним врачом, и она полностью ему во всем доверяла. Он навещал ее два раза в неделю сразу после завтрака, чтобы проконтролировать содержание сахара в ее крови. Ей ничего не стоило вколоть самой себе инсулин, но взять каплю крови из собственного пальца она не могла: Эльвира Зенн не выносила вида крови.

В это утро Эльвира Зенн спросила:

— Сколько вам сейчас лет, доктор?

— Шестьдесят шесть.

— А с какого возраста вы себя помните?

— Я очень хорошо помню, как нашу таксу однажды утром нашли мертвой на садовой дорожке. Мне было тогда, наверное, шесть.

— А возможно ли вспомнить то, что было еще раньше?

— Центральная нервная система в момент рождения еще не сформировалась окончательно. Память малолетних детей в первые два года жизни не может фиксировать происходящее. Требуется время, чтобы научиться запоминать, а также еще выучиться вызывать то, что отложилось в памяти.

— Значит, теоретически возможно, что кто-то помнит события, пережитые им в три года?

— Моему младшему внуку сейчас десять. В четыре года я взял его с собой в ресторан, там проходила «неделя русской кухни». Тому, кто после обеда пил русскую водку, разрешалось разбить стопку об отведенную специально для этого стену. Мне пришлось выпить целых пять, чтобы доставить удовольствие малышу. Он разбил их все. Случай произвел на него такое сильное впечатление, что он рассказывал о нем каждый раз, как только приходил к кому-нибудь в гости. Он помнил это все свои детские годы. Сейчас ему десять, а он все еще не забыл происшедшего. И велик шанс, что и в восемьдесят он не забудет происшедшего с ним в четыре года. — Рассказывая, доктор Штойбли записывал показания сделанного анализа. Теперь он наложил ей на руку манжетку, собираясь измерить давление.

— А все остальные воспоминания тех лет изгладились из памяти?

— Нет, конечно. Просто пути к ним блокированы и доступа больше нет. — Штойбли вставил в уши круглые, как оливки, концы трубок стетоскопа и измерил давление. — Вы проживете до ста лет, — сказал он, записывая обе цифры.

— А можно найти эти пути и возобновить к ним доступ или это совершенно исключено?

— Нет, такой вариант возможен. Существует особая форма гипноза, способствующая восстановлению воспоминаний раннего детства: «Recovered Memories». В Соединенных Штатах взрослые дочери обвиняют с помощью ее своих безупречных отцов в том, что те изнасиловали их в малолетнем возрасте. — Доктор Штойбли собирал свой чемоданчик. — И иногда случается даже так, что люди, страдающие старческим слабоумием и утратившие способность запомнить что-либо новое, настолько уходят в глубины своей памяти, что оказываются на подступах к самым ранним детским воспоминаниям. — Он протянул своей пациентке руку. — Чем старше становишься, тем больше напоминает о себе прошлое, не так ли, госпожа Зенн? В пятницу в это же время?

Эльвира Зенн кивнула.

Они встретились уже назавтра, чтобы вместе поужинать. Это был день, когда Конраду выдавали его карманные деньги. Он мог себе позволить пригласить даму в ресторан, не в «клубный» конечно, но вполне приличный.

Конрад пришел трезвым и весь вечер держался молодцом. Розмари рассказывала, чего обычно никогда не делала, про свою жизнь до развода. Она вышла замуж во второй раз, за хирурга, тот был моложе ее без малого на десять лет. Она оплачивала его учебу деньгами первого, рано умершего мужа, завещавшего ей половину текстильного предприятия, которую она своевременно продала деверю, еще до того, как все ушло с молотка в семидесятые годы.

— Роби Фрис был вашим первым мужем? — спросил Конрад удивленно. — А знаете, я учился вместе с ним в «Сен-Пьере»...

— Ах, вы тоже там учились? Роби много рассказывал про «Сен-Пьер».

И весь вечер они вспоминали имена общих знакомых и названия тех мест, где, возможно, уже встречались друг с другом.

В такси Розмари спросила:

— А вам не хочется узнать, кто был тот мужчина, от которого вы спасли меня в «Голубом кресте»?

— Он все еще имеет для вас значение?

Розмари отрицательно покачала головой.

— Тогда забудем про него.

Розмари жила в собственном «пентхаусе» пятиэтажного дома, расположенного в небольшом парке на самом берегу озера. Конрад попросил таксиста подождать его, проводил ее до входа и попрощался. Он уже совсем было собрался уходить, как дверь приоткрылась и Розмари сказала:

— Вы свободны в субботу вечером? Я бы что-нибудь приготовила.

Ресторан в «Grand Hotel des Alpes» назывался «Carême», по имени великого французского повара девятнадцатого столетия, и гордился своей «ancienne cuisine»[1]. Но Эльвира Зенн любила это заведение еще и по другой причине — оно находилось неподалеку от виллы, на именитых посетителей здесь не глазели, за ней был закреплен столик, стоявший чуть поодаль и недоступный для чужих ушей, а в меню постоянно имелись ее любимые диетические блюда. Она приходила сюда каждый четверг и использовала время ужина чаще всего для неформальных и потому наиболее важных и ответственных разговоров.

В этот вечер она попросила своего внука сопровождать ее. За едой она открыла Урсу, что серьезно подумывает о том, чтобы передать ему руководство компанией «Koch-Electronics». За десертом (яблоко для нее и «крем-брюле» для него) она завела разговор о Симоне, и, удостоверившись, что он уловил, какова взаимосвязь между обеими темами, она перешла к разговору о Конраде Ланге.

— Он беспокоит меня, — доверилась она ему.

— Ты беспокоишься за Кони?

— Не за Кони, а из-за Кони. Я не хочу, чтобы он навредил нам.

— Каким образом такой, как Кони, может нам навредить?

— Своим длинным языком. Рассказами про старое.

— А про старое есть что рассказать?

— Он способен выдумать что угодно.

---

[1] Старинная кухня (*франц.*).

Урс пожал плечами.

— Собака лает, а караван идет.

Эльвира улыбнулась.

— С Урсом во главе.

Она подняла свой стакан с минеральной водой. Урс налил себе остатки бургундского. Они чокнулись.

— Помимо всего прочего, он все равно скоро сопьется до смерти.

— На это его карманных денег ему не хватит, — сказала Эльвира Зенн.

На следующее утро она распорядилась, чтобы Шёллер увеличил Конраду Лангу его недельный лимит на карманные расходы — с трехсот франков до двух тысяч.

В первый вечер Конрад и Розмари немножко пококетничали друг с другом, как, впрочем, делают все при первой встрече. Каждый из них старался показать себя с лучшей стороны, они рассказывали о своих успехах, опуская случившиеся у них неудачи.

Сейчас, в их второй вечер, все складывалось иначе. Розмари встретила его по-домашнему непринужденно, предложила ему помочь ей накрыть стол и удивилась, сколько искусства и умения он проявил при этом. Она наполнила бокалы французским вином, и они поднялись на террасу. Был мягкий вечер, в воздухе пахло весной, отсветы огней лежащего на противоположном берегу озера качались на воде, а из окна под ними ветерок доносил звуки рояля.

— Шопен, ноктюрн № 1 сочинение 9, си-бемоль, — произнес Конрад. Розмари краем глаза посмотрела на него.

Они ели чуть бурый рис, который слегка переварился, и семгу, получившуюся суховатой. За бокалом белого вина Конрад забыл о своей сдержанности. Он все откровеннее и без прикрас рассказывал ей о своей жизни. В какой-то степени она понимала, о чем он говорит: в кругах ее первого мужа ее тоже терпели как досадный привесок.

Незадолго перед тем, как часы пробили полночь, Конрад открыл Розмари одну из своих сокровеннейших тайн. Он сел к роялю в ее гостиной и сыграл партию правой руки того ноктюрна, который они слушали на террасе несколько часов назад. Потом сыграл его левой.

— А теперь обеими вместе, — улыбнулась Розмари.

И тогда Конрад рассказал ей о своей трагедии несостоявшегося пианиста.

В час ночи она села рядом с ним к роялю и сыграла аккомпанемент левой руки к «Элизе» Бетховена. Не без ошибок, но это подвигло его на то, чтобы открыть ей свою последнюю тайну: правду о его финансовом положении на сегодня. О полной зависимости от Кохов. «Я просто в дерьме!»

На следующее утро Конрад Ланг проснулся в постели Розмари Хауг и не мог вспомнить, что было вчера.

Конраду не терпелось расспросить Розмари, что же произошло прошлой ночью. Но не хотелось предстать в роли гимназиста, который спрашивает после первого раза: «Ну и как я тебе?» Так что он вышел от нее со смутным чувством, но несколько успокоенный тем, что она снова пригласила его на вечер. Весь день он провел в своей квартире, тщетно ломая голову и стараясь вспомнить хоть что-то из прошедшей ночи. Точно в назначенный срок, с розой на длинной ножке, он появился вечером у нее. Она приветствовала его коротким поцелуем, взяла розу и пошла с ней на кухню, чтобы налить в вазу воды.

— В холодильнике стоит бутылка белого вина, или ты предпочитаешь красное? — крикнула она через плечо.

— А вода у тебя есть? — спросил Конрад, погруженный в свои мысли.

— В холодильнике. — Розмари обтерла вазу и внесла ее в гостиную. — Если ты будешь пить воду, то и я тоже, — сказала она, проходя мимо него. Она поставила розу на накрытый стол. Конрад вошел с бутылкой минеральной воды в руках и налил ее в два фужера до краев.

— За здоровье, — сказал он и протянул ей фужер.

— И поэтому — воду?

Они выпили.

— Нет, за память! Память важнее. — Он дернулся. — Я никак не могу вспомнить, что было прошедшей ночью.

Розмари посмотрела ему в глаза и улыбнулась.
— Жаль.

На следующее утро Конрад Ланг возвращался берегом озера в город. Утро было свежим и прохладным. На каштанах показались первые светло-зеленые побеги. Уже цвели крокусы.

За весь вечер Конрад не выпил ни капли, и память сейчас его не подводила — он прекрасно помнил все, что было в последние часы. Редко когда он чувствовал себя так хорошо. Может, только один-единственный раз в мае 1960 года на Капри. Но тогда он был молод и влюблен. Они шли по Средиземному морю на «Tesoro», старомодной моторной яхте красотки Пьедрини. Группа богатых молодых людей со всего света, ощущавших себя светской богемой. В том году на экраны вышла «Сладкая жизнь» Феллини, фильм поразил их воображение, став примером для подражания. На Капри они подошли к берегу, решив шикарно повеселиться в том самом месте у крутых скал, откуда Тиберий сбрасывал во время оргий юношей в море. А пикник устроить в саду живописной исторической виллы «Лисий», построенной шведским графом Ферзеном, поэтом-романтиком, в стиле его стихов «Юность любви».

Томас жил, пока яхта стояла, вместе с другими в шикарном отеле на берегу. А Конраду он поручил присматривать за яхтой, что при команде из двенадцати матросов было абсолютно излишней мерой предосторожности. Но Томас в тот момент был безумно увлечен высокомерной, но обворожительной Пьедрини. И Конрад в очередной раз оказался для него помехой. Он, собственно, сам не мог понять, то ли ему обижаться, то ли радоваться, что избавился на какое-то время от этого шумного общества. Он обедал на палубе — его учтиво обслуживал молчаливый стюард в белой ливрее — и поглядывал при этом в сторону гавани. В портовых кабаках мерцали разноцветные огоньки, и море доносило грустные неаполитанские мелодии. Вдруг на него нахлынуло знакомое чувство: опять он находится не в том месте, где все. Там на берегу кружатся пары, раздается звон бокалов, кипит бурная жизнь. А он сидит тут...

Он попросил перевезти его на берег и с нетерпением вышел на променад. В портовых кабаках было много немецких туристов, из граммофонов гремела музыка, а мерцающие разноцветные огоньки оказались грубо размалеванными электрическими лампочками. Он пошел дальше, мимо кабаков, до самого конца пирса. Там сидела молодая женщина, положив на колени скрещенные руки, и смотрела на море. Услышав шаги, она подняла голову.

— Mi scusi[1], — сказал он.

— Niente Italiano, — ответила она. — Tedesco[2].

— Извините, я не хотел вам мешать.

— Ах, швейцарец?

— А вы?

— Из Вены.

Конрад сел рядом с ней. Они какое-то время молча смотрели на море вместе.

— Видите вон ту яхту далеко в море?

Конрад кивнул.

— Как она освещена!

— Да.

— Ветер иногда доносит оттуда обрывки смеха.

— Ах!

— А мы вот сидим тут.

— А мы сидим тут, — повторил за ней Конрад.

И словно решив в эту секунду, каждый про себя, что больше не допустят, чтобы жизнь катилась мимо них, они поцеловались.

Ее звали Элизабет.

Три дня они провели в ее пансионате. О том, что он с яхты, он не упоминал. Из страха, что чары исчезнут. На четвертый день он пошел к Томасу в отель и объявил, что намерен продолжить путешествие без него.

---

[1] Извините меня (*итал.*).
[2] Не понимаю по-итальянски... По-немецки (*итал.*).

— Из-за блондиночки? — спросил тот.

— Какой блондиночки?

— Я видел вас перед Голубым гротом. Ты никого не замечал, кроме нее. Что, впрочем, понять можно.

Томас пожелал ему всего наилучшего, и они распрощались.

На следующий день Элизабет вбежала в комнату в крайнем возбуждении.

— Помнишь яхту? Ну ту, что мы видели еще в наш первый вечер?

Конрад кивнул.

— Ты не поверишь, но мы приглашены туда!

Элизабет стала первой женой Томаса. Она подарила ему сына — Урса. Вскоре после этого она уехала, следуя велению своего непостоянного сердца, в Рим. Маленькое утешение для Конрада и тяжелый удар для Томаса, который сам с его безмерным тщеславием никогда не отличался верностью. И тогда Томас опять вспомнил про старого друга.

С тех пор, с тех трех дней на Капри, Конрад Ланг еще ни разу не чувствовал себя так, как сегодня. Может, он опять влюбился? Взял и на старости лет втюрился.

Он решил прекратить пьянство. Хотя бы на неделю.

Дома Конрада Ланга ждало письмо из банка, где сообщалось, что его недельное содержание составляет с сегодняшнего дня две тысячи франков и что он, согласно новому распоряжению, имеет право снимать всю сумму в любой день недели.

В состоянии полной эйфории он тут же написал благодарственное письмо Эльвире Зенн и заказал столик в «Chez Stavros». Сходил в банк и снял тысячу двести франков. Потом купил немного натуральной семги, луку, хлеба для гренков, лимон, каперсы и четыре бутылки «San Pellegrino» и, сев у открытого окна, недурно закусил, попивая минеральную воду со льдом и лимоном.

Закончив трапезу, он вымыл посуду и сел ради праздничного дня к своему «keyboard»[1]. Два года назад в одном ресторанчике на Корфу он увидел, что у тамошнего тапера стоит на пианино маленькая приставка, и скоро понял, что это устройство способно исполнять за пианиста партию левой руки. Звучало, конечно, несколько топорно, будто робот играет, но все лучше, чем вообще без левой руки. На следующий день он приобрел дешевенький «keyboard», ставший потом, как и весь его прочий скарб, жертвой пожара на вилле. В восполнение утраченного он включил в список жизненно необходимых вещей, дозволенных ему милостью Кохов, более дорогую модель механического пианино, отличавшуюся большими исполнительскими возможностями. С тех пор он время от времени играл для себя, а иногда для своих редких гостей, чаще всего для Барбары.

Однако, сев сейчас к «пианоле», он никак не мог найти, где она включается. Вот умора, подумал он, я же включал и выключал ее уже тысячу раз. Ему пришлось методично обшарить инструмент, прежде чем он через две-три минуты нашел кнопку.

— Совсем от любви помешался, — пробормотал он.

У Дорис Мааг — она пришла в «Розенхоф» прямо с дежурства, еще в полицейской форме, — был очень усталый вид. Она сразу направилась к стойке бара и села за столик.

— Что с тобой?

— Кони пропал. Вот уже три дня.

— Как пропал?

— Три дня здесь не появляется. Вчера я звонила ему — никого. И сегодня опять не пришел.

— Может, он кабак сменил, — предположила Дорис.

— Трудно в это поверить, при его-то безденежье.

— Может, он какую другую дурочку нашел, которая его в кредит поит.

Барбара встала.

— Белого вина?

— Кампари.

Барбара подошла к буфету и вернулась со стаканом, куда налила кампари, положила лед и кружок лимона, в руках она держала бутылку минеральной воды.

— Скажи, когда хватит.

---

[1] Английское обозначение механического фортепьяно, известного у нас как «фонола», «вельтеминьон», «пианола» и др.

— Лей доверху.

Барбара долила минеральной воды до самого верха.

— Пей на здоровье, — сказала она по привычке.

Дорис отпила глоток.

— Апельсин, а не лимон. К кампари следует добавлять полкружка апельсина, а не лимона. Однако все делают эту ошибку.

— Если ее все делают, значит, это уже не ошибка. — Барбара опять села. — И днем он тоже трубку не снимает. И в «Голубом кресте» его не было.

Лицо Дорис Мааг приняло официально-служебное выражение.

— Большинство пропавших, как правило, объявляются сами. Любому исчезновению практически всегда есть банальное объяснение.

— Это как-то к нему не подходит.

— Так все говорят.

— И он задолжал мне 1645 франков.

— В некоторых кругах это сочтут вполне достаточным для исчезновения.

— Но только не в его.

Барбара встала и пошла к посетителю, уже пару раз подававшему знаки. Вернувшись, она сказала:

— В последнее время он очень подавлен. Ни с того ни с сего в глазах появляются слезы.

— От пьянства и нищеты.

— В том-то и беда. Большинство тех, кто кончает жизнь самоубийством, делают это по пьянке.

— Он себя не убьет.

— Иногда узнаешь, что люди неделями лежат мертвые в своей квартире, и ни одна собака этого не замечает. А с одним недавно случился в ванне удар, и он не смог вылезти и добраться до телефона, так тоже никто ничего не слышал. Ему оставалось только ждать, время от времени подливая горячей водички, и надеяться, что кто-нибудь да вспомнит про него. Потом ему пришла в голову идея заткнуть тряпкой верхний слив и дать воде перелиться через край, чтобы соседи снизу вызвали дворника. Вот это сработало. Но страховое агентство отказывается теперь выплатить страховку за порчу имущества. Потому что он сделал это умышленно.

— У Кони в квартире только душ.

— Ну тогда чего волноваться.

Дом на Танненштрассе находился в пяти минутах ходьбы от «Розенхофа». Барбара уговорила Дорис пойти вместе с ней. В случае, если придется просить дворника вскрыть дверь, униформа произведет должное воздействие.

— Я работаю в дорожной полиции, а не в уголовной, — запротестовала Дорис, но потом все-таки согласилась пойти.

Перед выходом они позвонили еще раз, но трубку никто не снял. В квартире Конрада на четвертом этаже было темно. Свет горел только в маленьком окне с матовым стеклом.

— Душевая! — Барбара нажала на кнопку звонка рядом с фамилией «О. Брухин, дворник».

Ей пришлось позвонить трижды, пока наконец в подъезде не зажегся свет.

— Говорить будешь ты, — шепнула Барбара, увидев сердитого взлохмаченного мужчину с опухшим лицом.

— Нашему брату приходится вставать в половине шестого, — заворчал он. Но, увидев униформу Дорис, стал немного посговорчивее. Он выслушал ее, решив проверить, все ли в порядке. Дворник повел их на четвертый этаж и оставил ждать на лестничной площадке. Через некоторое время он появился с отмычкой в руках и попробовал вставить ее в замок.

— Ничего не выйдет, ключ торчит изнутри.

— Значит, надо взломать дверь, — потребовала Барбара.

Дворник повернулся к Дорис.

— Для этого мне надо взглянуть на ваше удостоверение.

Пока Дорис выуживала свой служебный пропуск, ключ в замке повернулся. Дверь приоткрылась, и в щелочке показалось удивленное лицо Конрада Ланга.

— Кони, с тобой все в порядке? — спросила Барбара.
— Как никогда, — ответил он.

Целую неделю Конрад Ланг прожил без алкоголя. Зуд в теле поутих, и руки больше не чесались. Настали спокойные ночи — он спал, уже не обливаясь потом. И вставал отдохнувший, полный желания горы своротить. Моменты же, когда он вспоминал про алкоголь и его начинало «ломать», как он выражался, возникали теперь все реже.

Опыт по «завязыванию» у него был большой. Он знал наизусть все стадии вплоть до второго месяца. И прекрасно помнил эйфорию, охватывавшую его каждый раз на третий день. Но вот это неописуемое чувство упоения, в котором он пребывал сейчас, он еще ни разу не испытывал. Не может быть, чтобы причина крылась в том, что он не опрокинул несколько стаканчиков. И неожиданное улучшение финансового положения тоже ни при чем. Причина была в другом и называлась: Розмари Хауг.

С «ночи забвения», как они теперь это называли, все дни и ночи они проводили вместе. Одинокими пассажирами уплывали они на единственном курсирующем в это время года пароходике на другой конец утонувшего в тумане озера и возвращались назад. Они гуляли по дорожке, вдоль которой стояли старинные газовые фонари, ели в дешевом кафе вместе с пенсионерами яблочный пирог и пили кофе.

— Как старики, — сказала Розмари.
— А я и есть старик.
— Мне так не кажется, — улыбнулась она.
Конрад Ланг тоже не казался себе больше стариком.

Вчера они были на концерте. В программе — Шуман. Взглянув на Конрада, Розмари увидела, что в глазах у него слезы. Она дотронулась до его руки и крепко сжала ее. Посмотрев сегодня на себя в зеркало, Конрад заметил изменения. Ему показалось, что за последнее время сосуды немного сузились, щеки больше не горят так лихорадочно. И выглядит он моложе. Возможно, подумал Конрад Ланг, у меня началась наконец-то счастливая полоса.

В этом настроении он и пребывал, когда Барбара с женщиной-полицейским и дворником решили взломать его квартиру. Его не было здесь два дня, и он собирался всего лишь взять свежее белье, кое-что из одежды и еще пару мелочей, как вдруг услышал голоса за дверью.

Дворник и женщина-полицейский быстро попрощались. Барбара осталась. Она считала, что заслуживает объяснений. Конрад сделал это с радостью. Полный энтузиазма, рассказывал он все больше грустневшей Барбаре о великой счастливой перемене в его жизни. Окончив рассказ, он как бы между прочим спросил:

— Сколько я тебе должен?
— Тысячу шестьсот сорок пять франков, — ответила она.
Конрад Ланг вытащил бумажник и отсчитал ей тысячу восемьсот франков, положив их на стол.

— Процентов я не беру, — сказала она, сдав сдачу из огромного портмоне.
— Ты за меня не рада? — спросил Конрад.
— Рада, почему же, — ответила Барбара. И это было правдой. Она не ревновала, нет, она теряла того единственного человека, который не раздражал ее, даже если использовал.

Конрад Ланг вызвал такси, взял свой чемоданчик и довез Барбару до дома.
Проводив ее до двери, он по-отечески поцеловал ее в лоб.
— Будь здорова. И спасибо за все.
— И ты будь здоров, — сказала она в ответ.

3

По обеим сторонам улицы перед виллой «Рододендрон» стояли чистенькие лимузины стоимостью каждый не менее ста тысяч франков. Городская дорожная полиция определяла для прибывающих гостей места парковки и регулировала уличное движение по узкому проходу между уже припарковавшимися машинами. «Будто у нас нет других дел, кроме как играть в регулировщиков на стоянке машин мультимиллионеров», — проворчал дежурный офицер, получая задание от начальника. Тот только беспомощно развел руками и показал пальцем наверх.

Перед стальными воротами двое в униформах из личной охраны сверяли приглашения со списком гостей и запоминали лица тех, кто ждал удобного случая, чтобы проскользнуть мимо них.

— Когда у таких людей свадьба, даже погода и та им подыгрывает, — сказал репортер бульварной газетенки, обращаясь к журналисту из муниципальной прессы. — На моей лило так, словно небеса обоссались.

День был действительно на редкость по-летнему прекрасен. Только парочка беленьких облачков плыла по ярко-голубому небу, и легкий ветерок вовсю старался, чтобы сияющее июньское солнце не так палило, в воздухе уже разносилось благоухание цветущих лип и роз, обвивавших каменные ограды особняков. Парк вокруг виллы напоминал штаб-квартиру военного лагеря времен наполеоновских войн. Повсюду палатки с национальными флажками и причудливыми вымпелами — плодом фантазии услужливых дизайнеров. В открытых с четырех сторон палатках сидели гости в летних креслах возле накрытых белыми скатертями столиков, усыпанных цветами. Или под старыми деревьями на длинных скамьях перед празднично украшенными деревянными столами. Или возлежали живописными группками на пледах на ухоженных газонах. В разных местах парка сменяли друг друга струнные квартеты, Country Bands, танцевальные оркестры и сельские капеллы музыкантов.

Подобающее для наследника заводов Коха свадебное торжество.

Урс Кох обходил гостей. Всюду, где он появлялся со своей очаровательной невестой, им аплодировали, целовали их, поздравляли с обоюдным счастливым выбором, замечательным приемом и великолепной погодой.

У балюстрады на террасе стояла Элли, третья жена Томаса Коха, и наблюдала все это действо. Томас познакомился с ней в начале семидесятых. Карл Лагерфельд тогда только недавно принял на себя руководство фирмой «Шанель». Элли Фридриксен была одной из самых любимых его манекенщиц. Через год она вышла замуж за Томаса Коха. Через десять стала жить самостоятельной жизнью и как можно дальше от Томаса.

Рядом с ней стояла Инга Бауэр, шведка, она была намного моложе Элли и в двадцать пять вышла замуж за промышленника из окружения Томаса Коха. Обе женщины подружились очень быстро.

— Если бы я знала, что Кони не пригласили, я бы не пришла.

Инга махнула в сторону свадебных гостей.

— А их ты находишь интереснее?

Элли одарила обнявшуюся пару, проплывшую мимо террасы, своей шанелевой улыбкой.

— Нет, конечно, но Томас — да.

— А ты?

Элли отпила из бокала глоток шампанского.

— Я? Я собираюсь разводиться.

Капелла сельских музыкантов под соснами заиграла свадебную величальную. Гости тут же стали подпевать. Все поднялись и выпили за здоровье молодых.

— Бедная девочка.

— Если это и есть та женщина, — сказала с удивлением Инга, — которую он все время искал, то любая другая из тех, что были раньше, была бы ничем не хуже.

Элли насмешливо посмотрела на нее.

— Симона стала просто актуальна, пришел тот момент, когда Эльвира решила, что пришло время и для Урса. Так когда-то стала актуальной его мать, поскольку Эльвира решила, что пришло время для Томаса.

— Это звучит так, будто грядет конец света, — засмеялась Инга.

— А ты оглянись вокруг, — возразила Элли. — Разве *это* не конец света?

Эльвира Зенн установила свой «трон» в палатке для невесты и, казалось, подтверждала всем своим видом, что преклонный возраст не помеха для любви. Она сияла от удовольствия и сверкала бриллиантами, была остроумна и обаятельна и все время следила за тем, чтобы между ее прямой спиной и мягкой спинкой кресла оставалось пространство шириной в ладонь.

Томас расположился напротив нее и чувствовал себя менее раскованно. Его смущало поведение Элли. Обычно они изображали на светских раундах счастливую супружес-

кую пару, и рецепт идеального брака был для всех таков: личная свобода каждому. Но сегодня она держалась холодно. Отказалась обойти с ним гостей, как бы исполняя роль матери жениха, перекинулась не более чем двумя фразами с родителями невесты (парой, экипированной в честь такого события чересчур нарядно и плохо скрывавшей свой восторг по поводу партии, сделанной их дочерью, взлетевшей столь высоко над их привычным окружением). Элли совершенно откровенно держала дистанцию, не желая иметь с ним ничего общего.

Да и со своим сегодняшним положением на вторых ролях он тоже никак не мог смириться. До сих пор на всех семейных приемах в центре внимания всегда был он. На сей раз все было иначе. Триумф праздновал Урс, на него смотрели как на будущего главу концерна. К этому Томас тоже еще не был готов.

Но что больше всего выбило его из колеи, так это поведение Кони Ланга. Прежде он объявился бы здесь, будь у него приглашение или нет. Кони, конечно, застрял бы у ворот, охрана не пропустила бы его, но в подобных ситуациях он умел проявлять особое высокомерие, и тогда кто-нибудь из охраны пришел бы к Томасу и сказал: «У ворот стоит господин, который утверждает, что он ваш старейший друг-приятель и якобы забыл приглашение дома».

Но на сей раз этого не случится. Он в Италии. И прислал Урсу и Симоне стандартную открытку с пожеланиями счастья и прекрасный букет от «Blossoms», самого респектабельного цветочного магазина в городе. Томасу же он написал лично.

Дорогой Томи!

Через несколько дней для тебя начнется новый период жизни. Твой сын создаст свою семью, и тем самым будет сделан последний шаг для передачи эстафеты в его руки. Вскоре ты отойдешь на такие позиции, откуда с чувством успокоения будешь видеть, что твое и Эльвирино дело находится в хороших руках.

И в моей жизни тоже произошел решительный поворот. Представь, я познакомился на старости лет с женщиной моей мечты. Я влюблен как гимназист, перестал пить, и жизнь, которая в последнее время сыграла со мной (и тем самым с вами тоже) злую шутку, вдруг стала ко мне благосклонна.

Разве это не странно, что мы опять в одно и то же время, хотя и в разных местах, переживаем важную перемену в жизни? Не возникает ли и у тебя иногда ощущение, что наши судьбы тесно и неразрывно связаны, хотим мы того или нет?

Мы совершаем вдвоем небольшое сентиментальное путешествие по Италии. Когда мы обедали под аркадой на площади Сан-Марко, я вдруг явственно увидел нас здесь маленькими мальчиками и как Эльвира с Анной по очереди фотографируют нас. Ты помнишь? Тебе очень хотелось поймать голубя, ты бросился за ним и, упав, разбил себе колено в кровь. Анна промыла его тебе в том самом ресторане, где мы сегодня обедали, и перевязала камчатной салфеткой, а Эльвире стало плохо, когда она увидела кровь.

Сколько же с тех пор утекло времени? Шестьдесят лет или шесть дней?

На следующей неделе мы вернемся в Швейцарию. Ты будешь приятно поражен, когда познакомишься с Розмари.

Желаю тебе от всего сердца только одного хорошего.

Не забывший старую дружбу

твой Кони

Томас Кох никак не мог вспомнить себя и Кони детьми в Венеции.

— Не пройтись ли нам немного? — спросила Эльвира. Гости за ее столом поднялись. Томас подал ей руку. Они медленно двинулись по празднично убранному парку.

— Что тебя гнетет?

— Да ничего, а почему ты об этом спрашиваешь?

— Ты все время напряженно размышляешь.

— Ну, когда единственное дитя женится...

Эльвира улыбнулась.

— Это больно только в первый раз.

Теперь уже и Томас улыбнулся. Они сели на скамейку, стоявшую несколько в стороне.

— Мы в детстве были в Венеции? Кони, я, ты и Анна?

Эльвира насторожилась.

— Почему ты об этом спрашиваешь?

— Кони написал из Венеции. Он вспомнил, как я погнался на площади Сан-Марко за голубем и разбил себе колено. Анна перевязала мне рану в ресторане салфеткой, а тебе от этого стало плохо.

— Что за глупости, — сказала Эльвира.

Свадьбу играли допоздна. Когда стемнело, в парке зажгли лампионы и факелы. «Pasadena Roof Orchestra» играла вальсы-бостоны и фокстроты, и пары танцевали на большой террасе. Возле маленького павильона в рододендроновых кустах кто-то пел под гитару голосом Донована, и неудивительно, потому что это он и был, а в большой палатке за роялем сидел Джордж Бейл и играл из «American Songbook».

В одиннадцать часов устроили такой грандиозный фейерверк, что люди в городских кафе на бульваре внизу в восторге хлопали в ладоши. После фейерверка гости начали расходиться.

Урс до полуночи всех угощал и здорово напился. Симона пыталась скрыть свое разочарование, и понадобилось незаметное, но энергичное вмешательство Эльвиры, чтобы новобрачные сели наконец в дожидавшийся их лимузин «Just married!»[1].

Около двух часов ночи Томас Кох, крепко подвыпив, уселся рядом с Джорджем Бейлом за рояль и начал «лабать» «Oh when the Saints»[2], ему любезно аккомпанировал пианист, чей гонорар составил в этот вечер восемнадцать тысяч франков, «исполнение» было восторженно встречено самыми стойкими из гостей.

В три часа ночи ушли последние. Выдохшийся персонал погасил лампионы и еще долго потом дымившиеся факелы.

Томас Кох взял в свою комнату пиво. Когда он сел с пивом на край постели, взгляд его упал на записку, написанную почерком его жены.

«Не могли бы мы завтра поговорить? Предлагаю встретиться после обеда в библиотеке. Элли».

На следующий день уже с утра Эльвира, охваченная нетерпением немедленно увидеть письмо Конрада Ланга, направилась по дорожке вверх — от «Выдела» к вилле. Палатки уже убрали, и все следы праздника исчезли.

Томас занимал одну часть дома, Элли другую, а Урс жил наверху.

Войдя в холл, Эльвира увидела, как Элли вышла из библиотеки; помахала ей и стала подниматься по широкой лестнице на второй этаж.

На пороге библиотеки показался Томас.

— Элли! — позвал он и тут заметил мачеху. — Она хочет развестись. Ты можешь это понять?

Эльвира пожала плечами. Она не понимала, как можно разорвать такой брак, но это ее не удивило. Она знала, что жить с Томасом очень тяжело и что женщина, решившаяся однажды на развод с ним, встретит в суде понимание. Значит, бороться придется только за ограничение материальных потерь. У Эльвиры были для таких дел хорошие адвокаты. Она знала Элли как разумную и трезвую женщину, с которой можно разговаривать. Этот развод сам по себе будет вполне управляемым. Трудно будет только с Томасом из-за его ущемленного самолюбия.

Она прошла с ним в его «холостяцкую» комнату, выслушала все жалобы и причитания, разделила с ним его возмущение и даже поддакнула по поводу Элли, пока ее быстро улетучивающееся терпение еще позволяло ей это. Затем заговорила о письме Конрада Ланга. Томас не мог вспомнить, куда дел его, знал только, что видел его перед самым обедом. Эльвира прикинула, что к чему, и нашла письмо смятым в кармане его шлафрока. Она разгладила его и внимательно прочла. Потом опять смяла в кулаке.

— Он фантазирует.

— Да, но он перестал пить и пишет об этом!

— И ты веришь?

— Но про поворотный момент в жизни он, к сожалению, не врет.

---

[1] Новобрачные (традиционная надпись на свадебном автомобиле; *англ.*).

[2] Хит Луи Армстронга «Когда святые маршируют».

Эльвира положила смятое письмо в большую хрустальную пепельницу, стоявшую рядом с ее креслом на приставном столике.

— А почему бы тебе не поехать с ним куда-нибудь? Это отвлечет тебя от твоих мыслей.

— Я же не могу сейчас разлучать его с возлюбленной.

— Ну уж пару недель они как-нибудь друг без друга выдержат.

— Не знаю. Похоже, что ему сейчас очень хорошо.

— А тебе не очень. И я считаю, что за ним должок.

— Ты так думаешь?

— Да хотя бы Корфу.

Эльвира взяла зажигалку и подожгла письмо Кони.

Появление Томаса Коха на Танненштрассе вызвало переполох. Его шофер заехал на темно-синем «мерседесе-600» класса S двумя колесами на тротуар и помог Томасу выйти из машины. На сей раз помощь не была только соблюдением этикета — хозяин сегодня нетвердо держался на ногах. Несколько турецких ребятишек с цветными ранцами на спине окружили машину, разглядывая ее. Трамвай тоже проехал медленнее обычного, и лица в окнах оборачивались к лимузину, которому явно было не место в этом квартале. «Возможно, одна из тех акул по продаже недвижимости, что сдают предназначенные на слом коробки за бешеные бабки проституткам», — сказал молодой человек своей подружке.

Из окна на втором этаже выглянула пожилая женщина. Она положила на подоконник подушку и оперлась на нее своими полными руками.

— Вам кто нужен? — крикнула она Томасу Коху, увидев, что он звонит во второй раз.

— Ланг.

— Его сейчас здесь почти не бывает. Приходит только иногда забрать почту.

— А вы не знаете, где его можно найти?

— Наверное, дворник знает.

Томас Кох нажал на кнопку и стал ждать.

— Долго будете звонить. У него сегодня ночная смена.

Через какое-то время на третьем этаже задвигалась занавеска. Вскоре после этого раздался зуммер. Томас Кох вошел.

Отмар Брухин, работавший штабелеукладчиком в одном из монтажных цехов заводов Коха и дворником в этом частном доме, принадлежавшем пенсионной кассе концерна Кохов, никак не мог успокоиться и без конца рассказывал одно и то же: как он прямо с постели, небритый, в тренировочном костюме открывает дверь, а там стоит, «не сойти мне с этого места, Кох собственной персоной» и спрашивает адрес одного жильца. «И если хотите знать, от него тоже порядком разило».

Когда шофер уже помогал Томасу Коху опять сесть в машину, дворник спохватился и назвал ему адрес Розмари Хауг.

Конрад сидел с Розмари на террасе и играл в триктрак, когда раздался звонок. Он обучил ее этой игре во время их путешествия по Италии, и с тех пор они играли в нее с неослабевающим азартом и страстью. Отчасти из-за честолюбия Розмари, еще ни разу не выигравшей у него, и отчасти из-за сентиментальных воспоминаний о первой совместной поездке.

Розмари встала и направилась к домофону. Она вернулась удивленной.

— Томас Кох. Хочет знать, здесь ли ты.

— И что ты сказала?

— Что — да. Он поднимается.

На протяжении почти всей жизни Томас был важнейшей фигурой в жизни Конрада. Хотя в последнее время все чаще отступал на задний план. В Венеции он, правда, вспомнил про него. Однако газетные репортажи о свадьбе Урса с удивлением для себя прочел без особого интереса. Но вот сейчас, когда Томас с минуты на минуту должен был войти, он занервничал. И снова почувствовал себя словно новобранец на плацу — как всегда, когда Томас был поблизости.

Розмари заметила в нем перемену.

— Надо было сказать, что тебя здесь нет? — спросила она, откровенно забавляясь.

— Нет, конечно нет.

Они направились к двери. На площадке остановился лифт.

Затем послышались шаги.

— Что ему теперь надо? — пробормотал Конрад, больше обращаясь к себе, чем к Розмари.

Когда в дверь позвонили, он вздрогнул.

Изящный тонкий нос странно смотрелся на мясистом лице Томаса Коха. На нем был блейзер и кашемировая водолазка вишневого цвета, из-за чего короткая шея Томаса казалась еще толще. Его близко посаженные глаза блестели, и от него пахло алкоголем. Он коротко кивнул Розмари и обратился прямо к Конраду:

— Я могу с тобой поговорить?

— Конечно. Проходи.

— Желательно наедине.

Конрад вопросительно посмотрел на Розмари:

— Вы можете побыть в гостиной?

— По мне было бы лучше, если бы мы куда-нибудь пошли.

Томас не допускал никаких сомнений, что его слова не будут восприняты просто как пожелание.

Конрад бросил на Розмари взгляд, полный мольбы.

Она, сбитая с толку, наморщила лоб. Томас ждал.

— Я только надену пиджак.

Конрад исчез в спальне. Розмари протянула Томасу руку:

— Меня зовут Розмари Хауг.

— Томас Кох, очень приятно.

И они стали молча ждать, пока Конрад выйдет из спальни. Он повязал галстук и надел к летним брюкам льняной пиджак.

— Идем, — сказал он и направился за Томасом к лифту.

— Чао, — крикнула ему вслед Розмари не без издевки в голосе.

— Ах, да! Чао! — Конрад остановился, казалось, ему хотелось вернуться и попрощаться как следует, но, заметив, что Томас уже стоит у лифта, он пошел за ним.

Розмари еще увидела, как он открыл перед Томасом дверцу лифта, пропустил его вперед и услужливо нажал кнопку. Лифт закрылся, Конрад даже не оглянулся.

Томас с усмешкой вздернул брови, когда Конрад заказал «Perrier» со льдом и лимоном. Сам он потребовал двойное «Tullamore Dew» без льда и содовой — обычный его drink в состоянии депрессии. Шарлотта поприветствовала Конрада с легким упреком: «Снова в Швейцарии?», но сразу все поняла по его заказу. Она уже многих повидала на своем веку, кто пробовал завязать. Это проходило у них как болезнь. В «Des Alpes» Томаса привела память прежних лет и, кроме того, отель располагался неподалеку от их дома. В баре было пусто, если не считать сестер Хурни. Роджер Уиттакер пел «Don't cry, young lovers, whatever you do»[1]. За столиком в нише Томи произнес свой монолог, Кони молча выслушал.

— Ты же знаешь, когда у них кто-то появляется, они просто расцветают.

Кони кивнул.

— Я ничего не имею против, если она время от времени подцепит кого-нибудь. Ты ведь знаешь, я тоже не очень-то...

Кони кивнул.

— Но она обращается со мной как с дерьмом последним. Вызывает меня в библиотеку на ковер. И сообщает, что хочет развестись.

Кони кивнул.

— Нет, не сообщает — она ставит меня в известность.

Кони кивнул.

— Не то чтобы говорит, что хочет развестись. Нет — она разводится! Точка!

Томас Кох опрокинул в себя виски и принялся разглядывать стакан на свет.

— Как ее тут зовут? — спросил он.

— Шарлотта, — прошептал Кони.

— Шарлотта! — крикнул Томи.

— Чтобы я не узнал этого уже от адвоката!.. Шарлотта!

---

[1] Не плачьте, влюбленные, что бы вы ни делали (*англ.*).

Барменша принесла еще виски. Даже не взглянув на нее, Томи протянул ей пустой стакан.

— Ты бы хотел, чтобы с тобой так поступали?

Кони затряс головой.

Томи отпил глоток.

— Я тоже нет, но это, скажу я тебе, уже чересчур. Ты бы только посмотрел на нее!

Кони кивнул.

— Особенно сейчас. Когда у них есть кто-то другой, они всегда выглядят во сто раз краше. Нарочно. Чтобы доконать тебя.

Кони кивнул.

— Так я ее тоже доконаю. Я ее доведу! — Томас махнул пустым стаканом в сторону бара.

Когда Шарлотта принесла виски, он спросил:

— Ты еще катаешься на лыжах?

— Собственно, нет, после Аспена я это оставил.

В 1971 году во время своего душевного кризиса после второго развода Томас вытащил Конрада из небытия и улетел с ним на реактивном самолете в Аспен. Там он его заново экипировал и снабдил горными лыжами. Оба они обучались раньше у одного и того же инструктора, и Конрад за несколько зимних сезонов в Санкт-Морице стал вполне сносным горным лыжником (хотя и несся всегда по трассе со страхом). Тогда он уже через несколько дней снова обрел спортивную форму, но это было четверть века назад.

— Этому нельзя разучиться, как и езде на велосипеде. Да и лыжи с тех пор настолько усовершенствовались, что ты сможешь спускаться даже лучше, чем тогда.

Томи опять опрокинул виски.

— Мы отправимся в Барилоче, — объявил он. — Это отвлечет нас от наших мыслей.

Кони не кивнул.

— Все, что тебе нужно, мы купим там. Проверь, не кончился ли у тебя паспорт. Мы полетим в воскресенье.

Кони не кивнул.

Томи поднял свой пустой стакан. Когда появилась Шарлотта, он сказал:

— Принеси и ему тоже.

— Лучше не надо, — сказал Кони. Но не настолько громко, чтобы это услышала Шарлотта, уже направившаяся к стойке.

— Мне почему-то кажется, что я ее уже где-то видел.

— Шарлотту?

— Нет, ту, у которой ты живешь. Могу я ее знать?

— Она вдова Роби Фриса.

— Ах, вдова Роби Фриса? Но тогда ей наверняка уже стукнуло пятьдесят. Как минимум.

— Я ее не спрашивал.

— Но она еще очень даже ничего.

Кони кивнул.

— Поэтому ты и не пьешь?

— И поэтому тоже.

Шарлотта принесла два стакана. Томи поднял свой.

— За Барилоче.

Кони кивнул.

Конрад Ланг так и не появился, и незадолго до полуночи Розмари Хауг, забыв про свою гордость, набрала его номер. Занято.

После полуночи она попробовала еще раз. По-прежнему занято.

Когда и в час ночи тоже все еще было занято, она позвонила в службу повреждений на линии и получила справку, что у абонента неправильно лежит трубка.

Если бы он не хотел, чтобы я ему звонила, он выдернул бы шнур из розетки, сказала себе Розмари и заказала такси.

В третий раз Отмара Брухина выдергивали из постели из-за Конрада Ланга. На сей раз у него была утренняя смена, и будильник должен был зазвонить только через полтора

часа. Взглянув на него, он сразу понял, что вставать еще рано, но уже слишком поздно, чтоб заснуть снова.

Входную дверь внизу он открыл в соответствующем настроении.

Женщина, стоявшая перед ним, была из тех, кого его отец имел обыкновение величать «дама» — это он разглядел даже при слабом освещении в подъезде. Она казалась несколько смущенной, но все же не настолько, как можно было бы ожидать в подобной ситуации. Довольно уверенно она потребовала проводить ее в квартиру Ланга. Она позвонила несколько раз, но никто не открывал.

— Может, его дома нет, — буркнул Брухин.

— Там горит свет.

— Может, он забыл его выключить. И может, он спит.

— Телефонная трубка лежит неправильно.

— Может, не хочет, чтобы его беспокоили. Такое бывает, — предположил Брухин. Чем-то эта женщина не нравилась ему.

— Послушайте, я беспокоюсь, не случилось ли чего. Если вы мне не откроете и с ним что-то случится, я обвиню вас и возложу на вас ответственность.

Тогда Брухин впустил ее в дом и повел на четвертый этаж.

Они звонили и стучали, колотили руками и ногами, кричали и звали, пока не сбежалось полдома. Конрад Ланг не реагировал. Брухин отправил бы всех по квартирам спать, если бы не фортепьянная музыка. Именно из-за нее он дал себя уговорить и пошел за отмычкой.

Ключ в замочной скважине не торчал. Брухин и женщина вошли в квартиру и онемели от ужаса: Конрад Ланг лежал наполовину раздетый на полу гостиной — одна нога на кресле, рот и глаза полуоткрыты. На столе недопитая бутылка виски, рядом пианола, извергающая одни и те же аккорды левой руки в темпе вальса: раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три... В комнате воняет алкоголем и блевотиной.

Розмари опустилась на корточки.

— Кони, — прошептала она, — Кони, — и пощупала его пульс.

Конрад Ланг застонал. Потом приложил палец к губам и произнес: — Тссс.

— Если вы спросите меня, я скажу, что он пьян, — изрек Брухин и пошел к двери.

Жителей дома, в тревоге стоявших за порогом квартиры, он успокоил:

— Все в порядке. Надрался.

Конрад Ланг проснулся. То, что он лежит в собственной постели, он понял, еще не открывая глаз: он узнал уличный шум — машины, тормозящие перед светофором, вот они замерли и ждут, когда можно ринуться дальше; трамваи, звонящие на остановке. У него раскалывалась голова, во рту пересохло, и правую руку он не чувствовал — должно быть, отлежал. На душе скверно, видимо, придется оправдываться, а в чем — он, хоть убей, не мог вспомнить. Он медленно открыл глаза. Окно распахнуто, но занавески задернуты. Уже наступил день. И голова у него трещит с похмелья. Что еще?

«Да ведь я не пью!» — пронзило его вдруг. Он снова закрыл глаза. Что же еще-то?

Томи! А что же еще?!

Из кухни донесся шорох. Затем он услышал шаги. И голос:

— Тебе помогает Alka Seltzer?

Розмари!

Он опять открыл глаза. Розмари стояла возле кровати со стаканом, в котором бурлило и шипело.

Конрад откашлялся.

— Три. Три таблетки немного помогают.

— Здесь и есть три. — Розмари протянула ему стакан. Он приподнялся на локте и залпом выпил.

Барилоче!

— Я поеду теперь домой. Если хочешь, приходи, когда тебе будет лучше. — В дверях она задержалась. — Нет! Пожалуйста, приходи, как только тебе станет лучше.

Когда Конрад Ланг во второй половине дня вышел из дома, ему повстречался Брухин, возвращавшийся с утренней смены.

— И что только женщины находят в вас, — произнес он удивленно.

— Что вы хотите этим сказать?

— Такой пьяный, весь в блевотине, а они все равно к вам рвутся.

— В блевотине? — Конрад не мог припомнить на себе никаких следов.

— С головы до пят. Та еще картина.

Кони остановил такси возле цветочного магазина и купил огромный букет неоранжерейных роз всех цветов, благоухавших, пожалуй, даже слишком для его еще не окрепшего желудка.

Розмари улыбнулась, увидев его в дверях с цветами.

— Мы оба не можем обойтись без банальностей.

Потом она приготовила ему бульон с яйцом, села рядом с ним за стол и смотрела, как он осторожно подносит дрожащую руку ко рту. Когда он с этим справился, она унесла бульонную чашку и вернулась с бутылкой «бордо» и двумя бокалами.

— Или тебе сейчас лучше пиво?

Конрад затряс головой. Розмари наполнила бокалы, и они чокнулись.

— Черт, — сказал он.

— Да, дело дрянь, — согласилась она. И они отпили еще по глотку.

Тогда Кони рассказал ей все про Барилоче.

Они налили себе уже по третьему бокалу.

— Только на десять дней, — произнес он.

— А если потом ему захочется еще махнуть и в Акапулько, ты сможешь сказать ему нет?

— Факт!

— Нет, ты этого не сделаешь. Я видела тебя, когда он приходил. Ты не скажешь ему нет. Никогда и ни за что на свете!

Конрад не посмел возразить.

— Ты и сам знаешь.

Конрад крутил в руках бокал.

— В этом твоя жизнь.

Вот теперь он взглянул на нее.

— А я-то думал, это наша общая жизнь.

Розмари ударила ладонью по столу. Он вздрогнул и сжался.

— А ты думаешь, я так не думала? — закричала она на него.

Глаза Конрада мгновенно наполнились слезами. Розмари обняла его. Он положил голову ей на плечо и горько заплакал.

— Прости, — всхлипывал он, — старый человек, а плачу как ребенок.

Когда он успокоился, она посоветовала:

— Скажи ему нет.

— Я же живу за его счет.

Розмари снова налила ему.

— Тогда живи за мой счет.

Конрад не ответил.

— Деньги у меня есть.

Он отпил глоток.

— Это не должно тебя огорчать.

— Меня это никогда и не огорчает. К сожалению.

— Ну, тогда все в порядке.

— Да. Но что я ему скажу?

— Поцелуй меня...

Томас Кох сидел в своей спальне среди полусобранных чемоданов и сумок и пил холодное пиво. На столике с телефоном стоял поднос, а на нем две полные бутылки пива. Он был в бешенстве. Только что звонил Кони и сообщил ему, что не едет в Аргентину.

— Как это ты не поедешь? — спросил он с насмешкой.

Конрад Ланг ответил не сразу. Томас услышал, как он набрал в грудь воздуха.

— Мне не хочется с тобой ехать. Не рассчитывай на меня.

— Я же тебя приглашаю.

Снова пауза.

— Знаю. Я отказываюсь от приглашения. Большое спасибо.

Томас начал злиться.

— Скажи, ты в своем уме?

— Я свободный человек. И имею право отклонить любое приглашение, — сказал Кони. Но это прозвучало уже менее уверенно.

Томи засмеялся.

— Ну ладно, пошутили и хватит. Завтра в девять. Я пришлю шофера. В аэропорт поедем вместе.

На какое-то время наступила полная тишина. Потом Кони сказал:

— Поцелуй меня в ...! — И быстро положил трубку.

Томас тут же позвонил ему. Ответила вдова Роби Фриса.

— Дайте мне Кони, — приказал он.

— Ланг, — ответил Кони.

— Не смей бросать трубку! — взревел Томас.

— Поцелуй меня в ...! — сказал Кони и снова положил трубку.

Томас Кох налил себе еще пива и кинулся вниз. Он набрал внутренний номер Эльвиры.

— Он отказался!

Эльвира сразу поняла, кого он имеет в виду.

— Но этого он себе просто не может позволить.

— Он — нет, зато может вдова Роби Фриса! Он живет теперь на ее содержании.

— Это тебе точно известно?

— Да. Я был в ее квартире. Он даже к ней перебрался.

— А то, что он не пьет, это тоже правда?

— Пока я не появился, не пил. — Томас засмеялся. — Но когда я уходил, он уже был пьян, как всегда.

— И тем не менее отказал тебе?

— За этим стоит наша вдовушка.

— И что ты теперь сделаешь?

— Полечу один.

— Как же он смеет так бесцеремонно поступать с тобой после всего, что мы для него сделали. И продолжаем делать.

— Сколько это составляет в сумме?

— Цифры у Шёллера, хочешь узнать их?

— Да нет, лучше не надо, я только еще больше обозлюсь.

Через десять минут позвонил Шёллер.

— Вы хотите узнать по статьям или общую сумму?

— Лучше общую.

— Ровно сто пятьдесят тысяч шестьсот франков в год.

— Сколько, простите???

— Может, вы все-таки хотите знать ежемесячные затраты?

— При такой сумме — да.

— На питание — тысяча восемьсот; на квартиру — тысяча сто пятьдесят; страховка и больничная касса — шестьсот; одежда — пятьсот; разное — пятьсот; на карманные расходы — две тысячи. Все суммы даны в среднем, и притом округлены.

— Две тысячи на карманные расходы?! — воскликнул Томас.

— Госпожа Зенн увеличила сумму с марта. До этого она составляла тысячу двести франков.

— Она упомянула, в связи с чем?

— Нет, этого она не говорила.

Томас положил трубку и налил себе пива. В дверь постучали.

— Войдите! — крикнул он раздраженно. В комнату вошел Урс.

— Я слышал, ты уезжаешь?

— Как ты думаешь, почему Эльвира увеличила в марте карманные расходы Кони, подняв их с трехсот до двух тысяч в неделю?

— Она сделала такое?

— Шёллер только что мне об этом сказал.

— Две тысячи! Да на них столько шнапса можно купить!

— Просто до смерти упиться!

Урс вдруг что-то вспомнил и улыбнулся про себя.

— Чего ты ухмыляешься?

— Может, для этого она и увеличила сумму?

Томас не сразу сообразил.

— Думаешь, чтобы он... нет, ты же не считаешь, что она на такое способна?

— А ты думаешь — нет?

Томас задумался. Потом тоже улыбнулся.

— Да, пожалуй что — да!

Отец и сын сидели посреди разбросанных вещей и чемоданов и ухмылялись.

Через два часа Томас Кох стоял в дверях «пентхауса» Розмари Хауг.

— Я могу поговорить с тобой наедине? — спросил он Конрада, не удостоив Розмари даже взглядом.

— У меня нет тайн от госпожи Хауг.

— Ты в этом уверен?

— Абсолютно.

— Могу я войти?

Конрад посмотрел на Розмари.

— Можно ему войти?

— Только если будет вести себя как положено.

Конрад провел Томаса в гостиную.

— Что вам предложить, господин Кох? — спросила Розмари.

— Пиво.

Она принесла пиво для Коха и минеральную воду для них обоих. И села на софу рядом с Конрадом.

Томас бросил на нее несколько растерянный взгляд, но тут же решил, что ее лучше проигнорировать.

— За тобой долг, и потому ты должен со мной поехать.

— Какой долг?

— Корфу, например.

— О том, что случилось на Корфу, я очень сожалею. Но тебе я все равно ничего не должен.

— А сто пятьдесят тысяч в год? Или сто пятьдесят тысяч для тебя тоже ничего?

— Это для вас они ничего. А для меня они не главное, чтобы бросить все и бежать за тобой, как только ты свистнешь.

— Ты еще узнаешь, что такое они для тебя не главное!

— Тут я тебе помешать не смогу.

— И станешь жить за ее счет? Думаешь, ей доставит удовольствие кормить старого пьяницу?

Конрад Ланг взглянул на Розмари. Она взяла его за руку.

— Мы с Конрадом собираемся пожениться.

На какое-то мгновение Томас Кох лишился дара речи.

— Роби Фрис перевернется в гробу, — нашелся он наконец.

Розмари встала.

— Полагаю, будет лучше, если вы уйдете.

Он посмотрел на нее, не веря своим ушам.

— Вы меня выгоняете?

— Я прошу вас уйти.

— А если я не уйду?

— Я вызову полицию.

Томас Кох схватил пиво.

— Она вызовет полицию! — засмеялся он. — Ты слышал, Кони? Твоя будущая половина хочет вышвырнуть из квартиры с помощью полиции твоего лучшего друга. Ты слышишь это?

Конрад молча встал и последовал за Розмари, она уже стояла у открытой двери и ждала.

Томас грохнул пивной банкой об низкий столик, вскочил, кинулся к двери и застыл в угрожающей позе перед Конрадом.

— Значит, ты не поедешь, и это твое последнее слово? — выкрикнул он.

— Да.

— Из-за нее?

— Да.

— Ведь ты без меня до сих пор ишачил бы на хуторе, или ты уже позабыл?

Конрад вдруг неожиданно обрел полный душевный покой. Он посмотрел Томасу в глаза.

— Поцелуй меня в ... .

Томас Кох отвесил ему звонкую пощечину.

Конрад Ланг ответил ему тем же.

Потом он вышел на террасу и стал ждать. Он увидел, как Кох вышел внизу из подъезда. В руках он держал носовой платок и сморкался в него.

— Томи! — позвал его Конрад.

Томас остановился и поднял глаза. Конрад беспомощно пожал плечами. Томас ждал. Конрад помотал головой. Томас отвернулся и ушел.

Конрад почувствовал на своем плече руку Розмари. Он улыбнулся ей и обнял ее.

— Печальное расставание.

— Но разве это еще и не освобождение для тебя?

Он задумался.

— Когда кто-то, кто был пожизненно осужден, выходит из тюрьмы, это для него к тому же еще и расставание.

Весь день Конрад был тихим как никогда. Вечером он без всякого аппетита поклевал холодный ужин. Затем поставил Шопена и попробовал читать. Но из этого ничего не вышло, он никак не мог сосредоточиться. Его мысли снова и снова возвращались к Томасу Коху и той безобразной сцене, которая положила конец их переменчивой дружбе. Около десяти вечера Розмари поцеловала его в лоб и предоставила ему полную свободу терзаться в одиночестве.

— Я скоро приду, — сказал он.

Но вместо этого принялся беспокойно бродить по квартире, не раз выходил на террасу, смотрел на гладь озера и на тоненький серпик месяца над затихшим городом. Пару раз он был близок к тому, чтобы налить себе чего покрепче из бара в гостиной у Розмари.

Было уже почти два часа, когда Конрад нырнул в постель.

Розмари сделала вид, что спит.

Когда на следующее утро Конрад открыл глаза, Розмари давно уже встала. Он поднял занавески. В ярко-голубом небе за окном солнце стояло уже высоко. Стрелки показывали час дня, на сердце у него было легко, и он не знал отчего. Стоя под душем, он снова вспомнил сцену с Томасом. Но боль, которую он испытывал еще вчера, ушла. Он ничего не ощущал, кроме неописуемого облегчения. Одевшись особенно тщательно, он отломал розу из букета, стоявшего на туалетном столике Розмари, вдел ее себе в петлицу летнего пиджака.

Розмари сидела на террасе и читала утреннюю газету. Розовый отсвет от солнечного тента был ей очень к лицу. Она озабоченно взглянула на него, услышав шаги. Но, увидев счастливое и радостное выражение лица Конрада, улыбнулась.

— Ты спал сном младенца.

— Именно так я себя и чувствую.

Он завтракал, и они ни слова не проронили про Томаса Коха. Только сказав: «Сегодня я приготовлю для нас сказочный бефстроганов», Конрад еще добавил: «Чтоб отпраздновать этот день».

Конрад отправился в супермаркет, расположенный в десяти минутах ходьбы, и накупил, как всегда, всего слишком много. На обратном пути он заблудился. Решив спросить прохожих, как ему пройти к дому, он обнаружил, что забыл адрес Розмари. Нагруженный пакетами, он беспомощно стоял на тротуаре в каком-то совершенно незнакомом ему месте. Вдруг кто-то взял у него два пакета, и мужской голос сказал:

— Боже мой, ну и нагружены же вы, господин Ланг. Подождите-ка́, я помогу вам донести все это до дому.

Это оказался Свен Коллер, адвокат, живший этажом ниже в одном доме с Розмари Хауг.

До дома было не более ста метров.

4

Конрад Ланг снова бросил пить.

Для алкоголика это занятие на целый день. Среди всего прочего он возобновил игру в теннис. Теннис входил в систему образования Томи, и следовательно, Конрад научился этому тоже. Розмари была членом клуба, куда она брала его с собой через день в качестве гостя. «Теннис — пожизненный вид спорта, — изрек тренер, — а когда стареешь, то ведение счета еще и хорошая тренировка памяти».

Он пошутил, не предполагая, сколь необходима Конраду тренировка памяти.

С того злополучного дня, когда он не смог найти дом Розмари, хотя практически стоял рядом, с ним уже не раз случалось нечто подобное. Просто какие-то идиотские вещи: например, он нажал в лифте кнопку «подвал», вышел и только по чистой случайности нашел дорогу назад к лифту. И даже опасные: он поставил вскипятить чайник (в своих беспомощных поисках заменителей алкоголя он остановился на чае, какого сорта — без разницы) и включил не ту конфорку. По закону подлости на ней стояла деревянная салатница. Придя через полчаса в кухню (чтобы взять чайник!), он обнаружил, что салатница обуглилась, а рулон кухонных бумажных полотенец рядом с плитой уже загорелся.

Он потушил пламя и ликвидировал улики. Розмари он до сих пор так ничего и не сказал. Он не хотел ее беспокоить напрасно, поскольку не думал, что речь идет о чем-то серьезном. Помутнение разума тогда на Корфу он отнес на счет перебора алкоголя. А провалы памяти и мелкие неприятности последнего времени казались скорее результатом воздержания. Если не брать их во внимание, все у него складывалось просто великолепно.

Розмари — это самое лучшее, что приключилось с ним за шестьдесят пять лет. Она самоотверженно поддерживала его во время курса самостоятельного отвыкания от алкоголя, не строя из себя при этом медицинскую сестру. Она умела внимательно слушать и была замечательной рассказчицей. Могла стать нежной, и если оба были в настроении, то и очень желанной. Конрад Ланг и Розмари Хауг являли собой привлекательную пару: галантный пожилой господин и холеная элегантная дама. Они показывались в теннисном клубе, иногда на концертах и время от времени в излюбленных ресторанах. А в остальном они вели замкнутый образ жизни. Конрад, зарекомендовавший себя вскоре как более удачливый повар, частенько готовил роскошный ужин, к которому они шутки ради облачались в вечерние туалеты. Иногда они вместе садились к роялю и почти каждый вечер играли в триктрак.

Конрад Ланг провел самое счастливое лето в своей жизни.

Когда подкралась осень, он не чувствовал себя одиноким. Пожалуй, впервые в жизни.

Эльвире померещилось что-то неладное. Вернувшись от Конрада ни с чем, Томас только и произнес: «С этой минуты ни раппена». Больше из него ничего нельзя было вытянуть. И сразу после этого он улетел в Аргентину.

Эльвира Зенн тут же хотела дать соответствующие распоряжения Шёллеру, но потом решила с этим повременить. Пока не узнает, что произошло между обоими при последней встрече, она рисковать не будет. Она не рискнула загонять без нужды Конрада в угол. Кто знает, какова будет его реакция. И тогда она поручила Шёллеру немедленно собрать информацию о Конраде. Шёллер привлек одно агентство, с которым сотрудничал иногда, когда приходилось выполнять подобные поручения.

Но еще прежде чем он представил отчет Эльвире Зенн, она получила от Конрада Ланга письмо, в котором тот благодарил ее за материальную поддержку и отказывался от нее в дальнейшем. Как она вскоре узнала от Шёллера, он вел с Розмари Хауг замкнутый и благопристойный образ жизни. И действительно завязал с пьянством. На фотографиях, сделанных наблюдателем и показанных ей Шёллером, он выглядел гораздо лучше, чем когда бы то ни было.

Эльвира распорядилась не спускать с Кони глаз и перестала выплачивать ему деньги. С одного счета, про который даже Шёллеру ничего не было известно, она перевела сто тысяч франков в качестве пожертвования в помощь детям. Спонсором она указала Конрада Ланга. Потом написала ему теплое письмо, пожелала всего наилучшего на новом этапе его жизни и приложила квитанцию на сумму благотворительного взноса. Конрад Ланг ответил ей трогательным письмом, заверив ее, что никогда не забудет этого ее благородного жеста.

Это было как раз то, чего она добивалась.

Однако как раз с тем, что он ничего «никогда не забудет», у Конрада появились проблемы.

В один неуютный ноябрьский день он решил сделать Розмари сюрприз и устроить сырное фондю. Он поехал на такси в город в тот единственный магазинчик, где, по его мнению, всегда был приличный выбор сыров, необходимых для хорошего фондю, купил сыра на три персоны (он ненавидел, когда на столе было мало еды), выбрал в близлежащей булочной подходящий для этого серо-белый хлеб и запасся еще чесноком, майценой[1], вишневой водкой «кирш» и белым вином.

Дома он обнаружил, что Розмари опередила его: в холодильнике лежал пакет с набором сыров для фондю из того же самого магазина, рядом стояла бутылка белого вина (поставка из того же виноградника). На кухонной доске — серо-белый хлеб от того же пекаря, а рядом коробка майцены и бутылка вишневой водки «кирш» той же марки.

— Передача мыслей на расстоянии, — рассмеялся он, входя в гостиную Розмари.

— Что?

— Я тоже подумал, что сегодня самая подходящая погода для фондю.

— То есть как это «тоже»?

Память явно подводила Ланга. Но его рефлексы, рефлексы человека, всю жизнь вынужденного приспосабливаться, функционировали все еще безотказно.

— Одного твоего слова, что у тебя нет желания устроить фондю, будет достаточно, я, собственно, только что купил все на троих.

— Конечно, у меня огромное желание устроить фондю, — засмеялась Розмари.

— Ну вот видишь, что же это тогда, как не передача мыслей на расстоянии.

Он вернулся в кухню и спустил в мусоропровод второй пакет с сырами, бутылку «кирша», хлеб и коробку майцены.

И хотя еще никогда ни к одному человеку Конрад не испытывал такого безграничного доверия, как к Розмари Хауг, он все же не решался посвятить ее в свою тайну. Во-первых, он не хотел доставлять ей беспокойство по пустякам, веря, что скоро это пройдет. И во-вторых, симптомы походили на признаки старческой немоши. Шестидесятипятилетний мужчина неохотно признается женщине моложе его на тринадцать лет и на которой он собирается жениться, что уже страдает стариковскими болезнями.

И Конрад Ланг разработал методику, как скрывать свои проблемы. Он набросал для себя план местоположения дома и магазинов, где имел обыкновение делать покупки. Составил список имен, которые ему нужно было обязательно держать в памяти. Положил в бумажник записку с адресом их совместного проживания. А на тот случай, если вдруг окажется вдали от дома, всегда носил теперь с собой еще и план города — с ним легко было выдать себя за заблудившегося туриста.

Но в конце ноября случилось нечто, что Конрад никак не мог предусмотреть, — он не сумел найти выход из супермаркета. Блуждал между рядами полок с товарами, чувствуя себя словно в лабиринте, и не знал, где выход. На глаза не попадалось ничего такого, что помогло бы ему сориентироваться, и ни разу он не оказался в том месте, где хоть что-нибудь напомнило ему о том, что он здесь уже бывал. Притом супермаркет был совсем небольшим.

В конце концов он выбрал молодую женщину, чья тележка была завалена покупками, а поверх них сидел и хныкал ребенок. Скоро та заметила, что некий пожилой мужчина неотступно следует за ней — идет, когда она везет тележку, и останавливается, если и она стоит на месте. Каждый раз, когда она бросала через плечо недоверчивый взгляд, Ланг хватал без разбору с полки все подряд и клал в свою тележку. Добравшись наконец до кассы, он с облегчением вывалил на конвейер перед привыкшей ничему не удивляться кассиршей рядом с безобидными овощами и мясными изделиями целый ряд весьма странных товаров. Самыми компрометирующими из них были презервативы с привкусом малины.

Конрад Ланг очень страдал от испытываемых неудобств. И прежде всего потому, что был перед ними абсолютно беспомощен. Порой ему хотелось напрячь свои мозги, что-

[1] Кукурузная мезга.

бы попытаться как-то помочь им, умел же он, например, справляться со своим коленом, когда оно вихлялось, грозя вывернуться, или с поясницей, если возникали боли. С другой стороны, он был не из тех, кто смело глядит трудностям в глаза. В той жизни, которая стала его уделом, приходилось многое терпеливо сносить, его с малолетства приучили заменять одно на другое.

Поэтому и сейчас он не стал принимать никаких серьезных мер, а только купил экстракт женьшеня, про который слышал, что он способствует улучшению памяти. «Полезно пожилым мужчинам с молодыми женами», — пошутил он, отвечая на вопрос Розмари, заговорившей с ним о флакончике, найденном ею среди нот, куда он его запрятал и забыл про него.

Розмари задумчиво улыбнулась.

От первого брака с Робертом Фрисом у Розмари Хауг остался прелестный домик в Понтрезине в Ретийских Альпах. Она ни разу не была там с тех самых пор, как узнала, что ее второй муж свил там себе любовное гнездышко, а после развода, шесть лет назад, частенько подумывала продать его. Но теперь, когда у нее появился Конрад Ланг, ей вдруг захотелось провести там с ним рождественские праздники. Ей казалось, что пришло ее время и желанный для нее мужчина тоже появился.

Они поехали на поезде, потому что Конрад считал, что всякий отдых начинается, стоит только сесть в вагон. Розмари, собственно, предпочла бы поехать на новеньком «ауди», стоявшем в гараже. Вскоре она пожалела, что поддалась на уговоры. Конрад проявил себя в поездке с неожиданной стороны, чего она раньше за ним не замечала. Он так нервничал перед отъездом, что они прибыли на вокзал чуть ли не за час. Потом он беспрестанно искал билеты, беспокойно пересчитывал багаж и всю поездку в комфортабельном купе первого класса и старомодном вагоне-ресторане находился в таком напряжении и настолько не мог сконцентрироваться, что она почувствовала себя совершенно разбитой, когда они наконец приехали.

Женщина, присматривавшая за домом, обо всем позаботилась к их приезду. Комнаты были убраны и проветрены, кровати застелены, в холодильнике полно еды. На серванте при входе лежал предрождественский венок из еловых веток со свечами и красными лентами, а на теплой кафельной печи в горнице лежали на полатях, источая аромат, сухие апельсиновые корки.

Розмари никак не могла дождаться момента показать Конраду это местечко в горах, которое столько значило для нее в прошлом и теперь уже с Конрадом, вероятно, тоже будет много значить. Но когда она водила его по старому дому, ей почудилось, что его рассеянность и невнимательность граничат с невежливостью.

Они рано легли спать. Впервые с тех пор, как они познакомились, между ними, перед тем как они заснули, осталось что-то невысказанное.

На следующий день Розмари обнаружила сделанные Конрадом для себя памятки.

Конрад спал, как это часто случалось с ним в последнее время, почти до полудня. Розмари принялась готовить завтрак. И нашла в холодильнике бумажник Конрада. Она хотела положить его в кухне на стол, но из него выпала бумажка, исписанная с двух сторон. На одной — схема пути до мясника, булочной, киоска и супермаркета и обратно до ее квартиры, где рядышком стояло: «Мы». На другой стороне — имена их хороших знакомых, соседей, уборщицы. В самом низу, подчеркнуто жирным, было написано: «Она — Розмари!».

Розмари убрала бумажку на место. Когда Конрад встал, она предложила ему прогуляться до озера.

Рождественская суета еще не началась. На расчищенных дорожках в заметенном снегом лесу им повстречалось совсем немного гуляющих.

— Я думаю, тебе это тоже знакомо: заходишь в кухню, чтобы взять забытую разливательную ложку для супа, а потом стоишь и не знаешь, зачем ты сюда пришел.

Розмари держала Конрада под руку. Она кивнула.

— Да, так оно и есть, — продолжил Конрад, — только бывает и похуже. Стоишь с суповой ложкой в спальне и не понимаешь, что тебе тут надо. Идешь затем с ней в гостиную, в ванную, в кухню, в столовую и все никак не можешь вспомнить, что ты собирался сделать с этой ложкой.

— И в конце концов засовываешь ее в бельевой шкаф, — закончила рассказ Розмари.

— А-а, так тебе это тоже знакомо?

— Нет, просто я там ее нашла.

Они молча шли дальше. Розмари начала разговор на эту тему полчаса назад. После долгого колебания она придумала сложный обходной маневр, чтобы пощадить его, но сейчас ей все эти ухищрения казались глупыми, и она решила поговорить с ним начистоту.

— Мне в руки попала бумажка, по которой ты находишь нашу квартиру и освежаешь в памяти мое имя.

— Где ты ее нашла? — спросил он.

— В холодильнике.

Он засмеялся. Казалось, лед был растоплен. Он рассказал ей все. Все, о чем сумел вспомнить.

Навстречу им шла пара, разговоры смолкли, поприветствовав их, пара скрылась из виду. Через некоторое время Розмари мягко сказала:

— Это было уже не в первый раз, я находила разные предметы в самых странных местах.

— Например?

— Носки в духовке.

— В духовке? Почему же ты ничего не сказала?

— Я не сочла это важным. Приняла за рассеянность.

— Еще что?

— Да так, пустяки.

— Ты же сказала — предметы!

Розмари сжала его локоть.

— Презервативы в морозилке.

— Презервативы? — Конрад смущенно засмеялся.

— С малиновым ароматом.

Он остановился.

— Ты уверена?

— Так на них было написано.

— Нет, я имею в виду, ты уверена, что в морозилке?

Голос Конрада звучал несколько раздраженно. Розмари кивнула.

— И почему ты опять ничего не сказала?

— Я не хотела... Ах, я сама не знаю почему.

Они медленно пошли дальше. Конрад расслабился. Вдруг он рассмеялся.

— С малиновым ароматом!

Розмари тоже засмеялась.

— Может, тебе надо обратиться к врачу?

— Думаешь, это серьезно?

— Ну, хотя бы для того, чтобы успокоиться.

Сзади них послышался шорох полозьев — сани, запряженные лошадьми. Они сошли с дорожки, пропуская их.

Потом пошли дальше, ощущая в воздухе теплый лошадиный запах. Когда стих звук колокольчиков, Конрад сказал:

— Как это прекрасно, что наконец-то я смог поговорить об этом с кем-то откровенно. С Розмари я так никогда бы не смог.

Розмари остановилась как вкопанная.

— Но я и есть Розмари.

Какую-то долю секунды она подумала, что сейчас он выйдет из себя. Но он только горько усмехнулся:

— Вот я и попался!

Решение сходить к врачу как бы придало Конраду сил. Словно само намерение вплотную заняться своими проблемами стало одновременно и началом освобождения от них. Память больше не подводила его. У Розмари ни разу не возникло ощущения, что он путает ее с кем-то другим.

Они сентиментально и в полной душевной гармонии встретили Рождество с елочкой

и бенгальскими огнями и сходили в полночь к мессе. Через неделю они чинно отпраздновали Новый год с обилием осетрины на столе и небольшой бутылочкой шампанского, постояли полчаса у открытого окна и послушали далекий колокольный звон.

Полные уверенности в будущем они вступили в новый год.

Наутро в праздник Крещения Конрад Ланг тихо встал в четыре часа утра, выскользнул из спальни, надел на каждую ногу по два носка, а поверх пижамы плащ. На голову он натянул меховую шапку Розмари, открыл тяжелую дверь на улицу, вышел в звездную зимнюю ночь и быстро пошел по главной улице в конец деревни. Там он свернул вбок на тропинку, пересек осторожно железнодорожные рельсы и браво зашагал в сторону Штацерского леса.

Ночь была холодной, и Конрад порадовался, что обнаружил в карманах своего плаща пару перчаток из свиной кожи. Он надел их, не замедляя темпа. Если он будет так все время идти, то через час дойдет. Было еще рано. Он мог себе даже позволить немного задержаться. Ведь он специально поднялся заблаговременно.

Снег в лесу был глубоким, по обеим сторонам дороги высокие снежные заносы, поглощавшие любой звук, можно было и не надевать домашние шлепанцы, его и так никто бы не услышал.

Время от времени ему попадались освобожденные от снега деревянные скамейки. Возле каждой стояла мусорная корзина, и на каждой красовался черный человечек на желтом фоне, бросающий что-то в нарисованную корзину. Но Конрад не поддался на эту удочку. Он туда ничего не бросил.

Все шло по плану, пока он не дошел до развилки. Там он увидел дорожный указатель с двумя желтыми табличками. На одной было написано: «Понтрезина в получасе ходьбы», на другой — «Санкт-Мориц в полутора часах ходьбы». К этому он не был готов.

Он остановился и попытался разгадать этот трюк. Ему понадобилось много времени, прежде чем он раскрыл коварный замысел: его хотели заманить и навести на ложный след. Это развеселило его. Он покачал головой и рассмеялся. *Его* заманить и направить по ложному следу!

Когда Розмари проснулась, было еще очень темно. Она почувствовала, что что-то не так. Конрада рядом не было.

— Конрад?

Она встала, зажгла свет, накинула халатик и вышла.

— Конрад?

В холле горел свет. Теплое верблюжье пальто Конрада висело на вешалке, его меховые сапоги стояли рядом на металлической подставке и обсыхали. Значит, он где-то здесь, в доме.

Дверь в тамбур была закрыта, но, проходя мимо, она почувствовала, как тянет холодом. Розмари приоткрыла дверь в тамбур. В лицо ей ударил ледяной ночной воздух. Дверь на улицу была распахнута настежь.

Она вернулась в дом, юркнула в белые меховые сапожки и надела теплое пальто на меховой подстежке. Мехового капора на месте не оказалось.

Она вышла за дверь.

— Конрад?

И потом погромче еще раз:

— Конрад?

Ответа не последовало. Тишина. Она прошла вперед до садовой калитки. Та тоже была открыта. Деревенская улица тихо спала. Дома стояли темные.

Часы на деревенской церкви пробили пять.

Розмари вернулась в дом и, открывая дверь за дверью, стала звать Конрада.

Потом подошла к телефону и набрала номер полиции.

Геркли Капрец давно уже служил полицейским в Верхнем Энгадине. Он привык, что богатые господа, у которых седина в голову, а бес в ребро, вдруг пропадают по ночам. Но он, естественно, также отдавал себе отчет в том, что обязан относиться к этому с достаточным вниманием — в зимний сезон сюда сплошь наезжают господа, имеющие вес и влияние на те инстанции, которые могут здорово осложнить ему жизнь. Его коллега по-

младше, правда, еще не обладал такой взвешенностью суждений, но уже усвоил навыки уважительного поведения и не раскрывал рта, когда его не спрашивали.

Капрец в присутствии Розмари тотчас же деловито передал по телефону внешнее описание Конрада Ланга.

— По имеющимся данным, пропавший одет в плащ и пижаму, в шлепанцах на ногах и с дамской нутриевой шапкой на голове.

Полицейский на другом конце провода засмеялся.

— Такого отыскать, пожалуй, труда не составит.

Капрец ответил ему сдержанно и тактично:

— Спасибо. — Он положил трубку, посмотрел Розмари в глаза и сказал: — Меры по розыску приняты, госпожа Хауг.

Фаусто Бертини ехал на санях под № 1 ранним утром к ремонтной мастерской извозной конторы, где он подрабатывал в зимний сезон. Полозья с одной стороны отошли, надо было их подремонтировать перед выходом на маршрут. Сезон был в разгаре. Сани шли нарасхват. Через каждые несколько метров из-за неисправности полозьев сани кидало в сторону и они сбивали шаг лошади. Бертини чертыхался.

На развилке кобыла упрямо встала.

— Но! — закричал на нее Бертини. — Пошла! — И когда это не возымело действия, в сердцах обругал ее: — Porca miseria! — И еще добавил: — Va fan culo![1]

Лошадь не двигалась с места. Бертини только собрался вытащить кнут, который редко брал в руки, потому что, несмотря на ругань, свирепостью не отличался, как вдруг увидел шкуру зверя, зашевелившегося в снегу возле дорожного указателя. Кобыла всхрапнула.

— Тпру, стоять, — приказал Бертини. Лошадь успокоилась, он осторожно слез с козел и тихонько направился к зверю.

Но зверь оказался обыкновенной меховой шапкой, сидевшей на голове пожилого господина, заваленного снегом.

— Кажется, я отморозил себе ноги, — сказал тот.

Но ноги Конрад Ланг не отморозил. Однако пришлось ампутировать два пальца на левой ноге и один на правой. Если не брать этого в расчет, то в остальном он остался цел и невредим. Ему спасло жизнь то, что он зарылся в снег, сказали врачи. Он ничего не помнил до момента, пока не услышал позвякивание колокольчика на дуге. Когда Бертини затаскивал его в сани, он нес всякую чепуху. В больнице в Самедане, куда его доставили, он дважды терял сознание. Но сейчас все случившееся, казалось, беспокоило его значительно меньше, чем Розмари. Его главной заботой было поскорее выбраться из больницы.

Поскольку Розмари не являлась ни родственницей, ни женой, она не имела прав распоряжаться его судьбой, но, к великому счастью, у нее были хорошие отношения с начальством больницы, и она упросила главного врача отпустить Конрада лишь после того, как его осмотрит невропатолог.

Через два дня в Самедан прибыл доктор Феликс Вирт.

Феликс Вирт был одним из немногих друзей по второму браку, с кем Розмари еще поддерживала контакт. Он учился вместе с ее мужем, и они в свое время не потеряли друг друга из виду, хотя оба специализировались в разных областях: муж — хирург, а Феликс Вирт — невропатолог. Во время бракоразводной баталии Феликс неожиданно встал на ее сторону и даже свидетельствовал в суде против ее мужа.

Феликс Вирт всегда откликался на все ее просьбы. То, что она раньше не посоветовалась с ним, объяснялось только тем, что, как и Конрад, она не придавала значения происходящему. Феликс Вирт тотчас же согласился обследовать Конрада Ланга, не подчеркивая, что делает это ради нее.

Она встретила его в аэропорту. В такси по дороге в больницу доктор Вирт все время расспрашивал Розмари. В состоянии ли больной самостоятельно побриться? Интересуется ли он тем, что происходит вокруг него? Может ли он делать маленькие покупки один? Способен ли продолжить беседу с того места, где она была прервана?

— Он еще не в старческом возрасте. У него просто провалы памяти, о которых я тебе рассказывала по телефону.

---

[1] Итальянские ругательства.

— Извини, но я вынужден задавать эти вопросы.

Они молчали, пока такси не остановилось перед больницей. Розмари сказала:

— Боюсь, что у него болезнь Альцгеймера.

Доктор Вирт прижал ее к себе. Затем вышел.

— Вы специалист по болезням головного мозга? — спросил Конрад Ланг после того, как доктор Вирт закончил задавать вопросы для составления анамнеза.

— Можно и так сказать.

— И вы связаны врачебной тайной?

— Конечно.

— Я не хочу никому причинять беспокойства, но опасаюсь, что у меня болезнь Альцгеймера.

— То, что вы сами мне сейчас об этом говорите, господин Ланг, свидетельствует, по сути, против такого диагноза. Нарушения памяти могут иметь различные причины.

— Тем не менее для меня было бы лучше, если бы вы обследовали меня именно на этот предмет. Госпожа Хауг и я, мы, собственно, собираемся пожениться.

Это сообщение застало доктора Вирта врасплох. Ему потребовалось время, чтобы вновь обрести свою профессиональную деловитость.

— К сожалению, по сей день нет точного определения такой болезни, как альцгеймеровская деменция. Единственное, что мы можем попробовать, это исключить другие причины атрофии мозга.

— Тогда приступайте к последовательному исключению остальных причин.

Доктор Вирт сел рядом с постелью, открыл свой чемоданчик и начал тестирование больного.

В результате Конрад Ланг получил низкий балл. Конрад Ланг заработал восемнадцать очков из тридцати возможных. Результат был катастрофическим.

Феликс Вирт дал Розмари Хауг настоятельный совет поместить Конрада Ланга для более тщательного обследования в университетскую клинику.

— Если так тебе будет спокойнее, — согласился Конрад, когда Розмари предложила ему это.

Через три дня Конрад Ланг лежал в одноместной палате университетской клиники.

Через две недели после того, как кучер нашел его с отмороженными пальцами ног в сугробе в Штацерском лесу, Конрад Ланг лежал в больничной рубашке на обтянутых клеенкою носилках и дрожал от холода.

Ассистентка накинула на него одеяло и вдвинула носилки в овальное жерло компьютерного томографа. Цилиндр начал вращаться. Медленно, быстрее, еще быстрее.

Конрад Ланг погрузился в голубой туман. Вокруг пустота.

Где-то очень далеко голос произнес:

— Господин Ланг?

И еще раз:

— Господин Ланг?

Искали какого-то господина Ланга.

Чья-то легкая рука коснулась его лба. Он отбросил ее и сел. Когда он захотел встать с носилок, то заметил, что ступни его ног перевязаны.

— Я хочу выбраться отсюда, — сказал он Розмари, когда она вошла в его палату. — Они здесь отрезают пальцы на ногах.

Она подумала, что он шутит, и засмеялась. Но Конрад откинул одеяло, размотал бинты и торжествующе показал ей на совсем еще свежие рубцы на ногах.

— Вчера не было двух пальцев, а сегодня уже трех.

В тот же день Конрада Ланга выписали из университетской клиники. Результаты проведенного клинического обследования исключали возможность большинства других заболеваний, кроме болезни Альцгеймера.

Доклад Шёллера ошеломил Эльвиру Зенн.

— Клиническое обследование? — переспросила она еще раз.

— Они исследуют там его мозг. У него симптомы нарушения памяти. Деменция, другими словами — старческое слабоумие.

— Старческое слабоумие? Это во сколько же? В неполных шестьдесят пять?

— Да, но он немножко помог себе. — Шёллер опрокинул в себя невидимую стопку.

— С этим можно как-то бороться?

— Если это, к примеру, Альцгеймер, то нет.

— А именно это имеется в виду?

— По-видимому, да.

Эльвира Зенн задумчиво покачала головой.

— Держите меня в курсе.

Когда Шёллер вышел из кабинета, она встала и подошла к полке с книгами, где стояло несколько старых фотографий. На одной она была изображена молоденькой девушкой рядом с Вильгельмом Кохом, основателем концерна, пожилым господином с непроницаемым лицом. На другой — под руку с Эдгаром Зенном, ее вторым мужем. Посредине стояла фотография Томаса Коха примерно в возрасте десяти лет.

Эльвира достала с полки фотоальбом и принялась листать его. На одном снимке, где Томас и Конрад были запечатлены детьми на площади Сан-Марко, она на мгновение задержалась. Еще совсем недавно Конрад испугал ее своими неожиданными и такими точными воспоминаниями о Венеции. Неужели это возможно, что благосклонная к ней судьба приступила теперь к окончательному вытеснению из его памяти — раз и навсегда — этих воспоминаний?

Она поставила альбом на прежнее место. Уже стемнело. Включив свет, она подошла к окну. Задергивая шторы, она на миг увидела в окне свое отражение — оно улыбалось ей.

Весной Розмари поехала с Конрадом на Капри. Она знала, что поездка будет для нее мучительной — здоровье Конрада заметно ухудшалось. Но в последнее время он только и говорил о Капри, причем так, будто они уже бывали там вместе. И тогда у нее родилась идея собрать «общие» воспоминания о Капри.

Она взяла напрокат просторный «мерседес» с шофером. Правда, ей самой показалось, что она ведет себя как сноб, но теперь поездки с Конрадом даже на трамвае требовали от нее столько душевных сил, что ей захотелось избежать того нервного напряжения, которое сулило ей путешествие на поезде или самолете.

Конрад знал на Капри каждую тропочку и каждую бухточку. Он привел Розмари к руинам виллы Тиберия, ел с ней бобы в какой-то траттории под лимонными деревьями, водил ее по вилле Ферзена, обескураженный ее полным запустением.

«Ты помнишь?», «А ты не забыла?» — спрашивал он ее беспрестанно. Когда она говорила ему: «Мы никогда здесь не были вместе», он смотрел на нее непонимающим взглядом и бормотал: «Да, конечно, извини». Но тут же спрашивал опять: «А это ты помнишь?», «Еще не забыла?»

В конце концов Розмари сдалась и перестала его поправлять. Она научилась предаваться чужим воспоминаниям. Они оба еще раз пережили счастливые дни на острове их первой большой любви.

5

Розмари Хауг сидела в гостиной и читала газету, в ней сообщалось, что Урс Кох, 32 лет, введен в Совет правления концерна Кохов и уже принял на себя руководство фирмой по производству электроники. Томас Кох, 66 лет, полностью отошел от дел, непосредственно связанных с производством.

В комментариях это трактовалось как первый шаг на пути передачи власти в управлении концерном. И притом не от отца к сыну, как хотели заставить думать непосвященных Кохи, а от неродной бабушки к внуку. Эльвира Зенн твердой рукой руководила концерном сначала как председатель совета правления, а потом в качестве серого кардинала.

Вскоре после возвращения с Капри Конрад в первый раз проиграл Розмари в триктрак. Прошло совсем немного времени, и он с трудом уже понимал, как вообще играют в эту игру.

И готовить он тоже перестал. Он все чаще беспомощно стоял посреди кухни, не зная, что и в какой последовательности делать.

Какое-то время они еще ходили в ресторан. Но Конраду становилось все труднее разобраться в меню. Он очень медленно ел, и это выбивало официантов и поваров из привычного ритма, так что от посещения ресторанов пришлось отказаться.

К роялю они тоже не прикасались. «Мне это ни о чем не говорит», — заявлял Конрад, если она предлагала ему сыграть вместе одну из его любимых вещей из репертуара времени их первого знакомства.

Как-то она пришла из магазина с покупками и застала его в тот момент, когда он отчаянно пытался воспроизвести один из своих виртуозных пассажей одной рукой. Это звучало так, будто на рояле бренчит маленький ребенок. С тех пор она уже больше не заговаривала о рояле.

Лето подходило к концу, и Конрад Ланг превращался в больного, которому нужен постоянный уход. Конрад, всегда такой элегантный, особенно с тех пор, как они познакомились, начал у нее на глазах опускаться. Он не менял одежду до тех пор, пока Розмари сама не отдавала ее в прачечную или чистку. Брился теперь неаккуратно и делал это все реже и реже.

Вот уже несколько дней она находила по всей квартире в самых неподобающих местах его кальсоны. Иногда они были мокрые. Именно к этому с некоторых пор ее готовил Феликс Вирт. «С того момента, как он начнет мочиться в штаны, тебе определенно потребуется сиделка», — сказал он.

Вначале она гнала от себя эту мысль. Стоило ей только подумать, что в квартире будет кто-то чужой, как ей становилось не по себе. В последнее время она все чаще испытывала ощущение, что он не знает, кто она такая. Дело было не только в том, что он путал ее имя (он называл ее то Элизабет, то Эльвира), случалось, что он смотрел, уставясь на нее, как на совершенно незнакомую женщину.

Из таких ситуаций он умел искусно выходить с помощью обычных, ничего не значащих фраз: «Целую ручку, милостивая госпожа!», или «Не знакомы ли мы с вами еще с Биаррица?», или «Small world!», надеясь, что она сама поможет ему дальше. Чаще всего она так и делала. И лишь иногда, когда ей становилось невмоготу, она оставляла его без ответа.

Розмари Хауг пошла посмотреть, куда подевался Конрад. Войдя к себе в спальню (с недавнего времени они спали в разных комнатах — мера, которую Конраду практически невозможно было объяснить), она услышала, как он дергает изнутри ручку ванной комнаты. Попасть туда можно было отсюда или из коридора. Дверь в свою спальню она теперь запирала, потому что Конрад иногда бродил ночами по квартире и уже несколько раз неожиданно вырастал перед ней, когда она лежала в кровати.

— Здесь закрыто, Конрад, — крикнула она, — воспользуйся другой дверью!

Вместо ответа Конрад начал дико барабанить в дверь кулаками. Розмари повернула ключ и открыла дверь. Конрад стоял на пороге ванной с красным лицом. Увидев ее, он набросился на нее и повалил на кровать.

— Проклятая ведьма, — выдохнул он. — Я точно знаю, кто ты.

И ударил ее по лицу.

— Даже если бы он был твоим мужем, этого все равно нельзя допускать, — сказал Феликс Вирт. Она позвонила ему сразу после случившегося, и он немедленно приехал, ввел Конраду успокаивающее.

— Но он чуть не стал моим мужем. Мы хотели пожениться летом. Однако он даже это забыл!

— Твое счастье.

— И тем не менее некоторым образом я его жена. Мне иногда кажется, что мы знаем друг друга целую вечность.

— Он ударил тебя, Розмари. И он снова это сделает.

— Он меня с кем-то спутал. Это самый мирный и мягкий человек, какого я только встречала.

— Он снова тебя с кем-то спутает. Ты слишком поздно появилась в его жизни. Воспоминание о тебе отложилось в том участке мозга, который первым вышел из строя. Он скоро не будет знать, лето сейчас или зима, день или ночь, не сумеет сам одеться, сам

вымыться. Ему понадобятся пеленки, и его надо будет кормить с ложки, он не будет никого узнавать, не будет понимать, где он находится и под конец даже кто он такой. Позволь мне подыскать для него место в инвалидном доме. Окажи ему и себе такую милость.

— По какому праву? Я ему не родственница и не жена. Я же не могу взрослого дееспособного мужчину взять и просто так, за здорово живешь, засунуть в инвалидный дом.

— Я напишу тебе врачебное заключение, согласно которому его в самое ближайшее время признают недееспособным.

Какое-то время они молча смотрели на освещенную террасу.

Поднялся ветер, он трепал лозу дикого винограда, обвившую балюстраду.

— Я знал женщин, жен, проживших со своими мужьями по тридцать, сорок лет, вообще не представлявших себе жизни без них, которые, однако, говорили мне: «Если я не избавлюсь от него в ближайшее время, я его возненавижу».

Розмари ничего не ответила.

— Ты любишь его?

Розмари, помолчав, сказала:

— Целый год я была очень сильно влюблена в него.

— Этого недостаточно для того, чтобы пять лет подтирать ему зад.

Ветер бросал тяжелые капли дождя в стекло террасы.

— Ты плохо выглядишь.

— Спасибо.

— Я говорю это, потому что мне не безразлично, как ты выглядишь.

Розмари посмотрела на него и улыбнулась.

— Возможно, я возьму сиделку в дом. Хотя бы ночную.

Конрад Ланг проснулся, вокруг было темно. Он лежал в чужой постели. Она была узкой и высокой, и Элизабет рядом не было. Он захотел встать, но у него ничего не вышло. С обеих сторон кровати оказались решетки.

— Эй! — закричал он. И потом еще громче: — Эй! Эй! Эй!

Никого. И кругом темнота.

Он вцепился в решетку и начал ее трясти.

— На помощь!.. Эй! Эй! Эй!.. На помощь!

Дверь открылась, и в ярко освещенном дверном проеме появилась массивная фигура. В комнате зажегся свет.

— Что случилось, господин Ланг?

Конрад Ланг стоял на коленях, обхватив руками прутья низкой решетки.

— Меня заперли в клетку, — прохрипел он.

Сиделка подошла к кровати. На ней был белый фартук, а на мощной груди болтались на шнурке очки для чтения. Она молча опустила решетку.

— Никто вас не запирал. Это сделано для того, чтобы вы больше не падали с кровати. Когда вам захочется, вы всегда можете встать. — Она показала ему на кнопку звонка. — Вам надо только позвонить. Криком вы разбудите госпожу Хауг.

Конрад Ланг не знал никакой госпожи Хауг. Он попытался выбраться из кровати.

— Вам надо в уборную?

Конрад не ответил. Он пойдет сейчас искать Элизабет. Он уже пошел к двери, но женщина схватила его за руку и остановила. Он хотел вырваться. Но она держала его крепко.

— Отпустите, — сказал он вполне миролюбиво.

— Куда вы направляетесь, господин Ланг? Сейчас два часа ночи.

— Отпустите.

— Будьте столь любезны, господин Ланг. Сейчас вы опять заснете, поспите еще часочка два, а потом, когда будет светло, вы пойдете гулять.

Конрад вырвался и побежал к двери. Сиделка бросилась за ним и ухватила его за рукав, тот оторвался с оглушительным треском. Конрад отбивался и попал женщине по лицу. Она ударила его в ответ — дважды.

В этот момент дверь отворилась, и на пороге перед ними появилась Розмари.

— Элизабет, — сказал Конрад. И заплакал.

Это была уже вторая сиделка, которую увольняла Розмари. Первую ей, правда, не удалось застукать, когда она била Конрада. Но однажды утром Розмари увидела на его плече кровоподтеки, а под глазом синяк. Женщина уверяла, что он поскользнулся в ванной. Конрад ничего не помнил.

Управляющая из службы по уходу за больными отказалась прислать замену. «Господин Ланг — агрессивный больной, и всегда может случиться, что кто-то даст ему сдачи», — сказала она.

И снова ей помог Феликс Вирт. Он знал одну бывшую медсестру, двое ее детей уже выросли, и теперь она подумывала снова начать работать. Хорошо оплачиваемое место частной ночной сиделки вполне ее устраивало.

Ее звали Софи Бергер, и она была готова прийти в тот же вечер.

Стройная, высокая, рыжеволосая женщина лет сорока пяти. Приступив к обязанностям, она показала себя Конраду с лучшей стороны в первый вечер.

— Small world! — воскликнул он и принялся оживленно болтать с ней, и вел себя при этом как радушный хозяин.

Когда он отправился спать, Софи Бергер сказала ему, что останется здесь сегодня на ночь и в случае, если понадобится ему, он может без стеснения звонить. Он подмигнул и заявил:

— Можешь не сомневаться, так оно и будет.

— Двусмысленности и фамильярность вообще-то совершенно не свойственны ему, — извинилась за него Розмари, как только Конрад вышел.

— Ну, это же первый вечер, — засмеялась Софи Бергер.

Но, несмотря на хорошее начало, ночь превратилась в настоящий кошмар. Без конца хлопали двери, Розмари слышала голос Конрада и то, как он трясет металлическую решетку кровати.

В конце концов она не выдержала, встала и пошла в его комнату. Конрад забился в угол кровати и закрыл, словно защищаясь, голову руками. Сестра не приближалась к нему, и в глазах у нее стояли слезы.

— Я даже пальцем до него не дотронулась, — сказала она, когда Розмари вошла в комнату, — ни волосочка не упало с его головы.

А Конрад сидел и твердил только одно:

— Пусть мама Анна уйдет. Хочу, чтобы мама Анна ушла.

На следующий день Конрад Ланг исчез. За завтраком он поел с особым аппетитом. Ночную сиделку не упомянул ни единым словом. Розмари помогла ему одеться и проделала все то, чему ее научили, чтобы восстанавливать его адекватное отношение к действительности.

— По-настоящему прекрасный осенний день, так тепло для конца октября, — сказала она и спросила: — Что у нас сегодня, вторник или среда?

Он ответил как всегда в последнее время:

— С тобой каждый день — воскресенье.

Она почитала ему вслух газету и, как обычно под конец, чтобы проверить его на внимание, открыла страничку биржевых новостей.

— Заводы Коха: акции поднялись на четыре пункта.

В это утро, вместо того чтобы посмотреть на нее бессмысленными глазами, он изобразил вдруг на лице, как раньше, мгновенную реакцию миллионера и распорядился:

— Покупаем немедленно!

Они оба рассмеялись, и Розмари, плохо спавшая в эту ночь, почувствовала облегчение. Бессонная ночь стала также причиной того, что после обеда она задремала прямо в кресле. Проснулась она в три часа, но Конрада нигде не было — он исчез. Пальто его тоже не было, домашние туфли стояли в коридоре, и, уже позвонив в полицию, она заметила, что он унес с собой свою подушку.

Как только Феликс Вирт освободился, он пришел и сидел с ней, не произнеся ни слова упрека.

Уже наступил вечер, а следов Конрада так и не удалось обнаружить. В телевизионных новостях передали сообщение о розыске пропавшего. Розмари увидела на экране улыбающееся лицо Конрада (снимок она сделала сама на Капри) и услышала, как голос диктора говорит, что Конрад Ланг помутился рассудком и потому особая просьба производить задержание с щадящими мерами предосторожности. Глаза ее наполнились слезами.

— Одно тебе обещаю твердо, — сказала она, — если с ним ничего не случится, я согласна поместить его в инвалидный дом.

Коникони тихонечко лежал в сарайчике в саду. Стемнело, но холодно не было. Он устроил себе постель на куче торфа. И тепло укрылся джутовыми мешками. В них хранились луковицы тюльпанов, он высыпал их в корзины, а подушку он захватил.

Здесь его никто не найдет. Здесь он может оставаться до самой зимы. Перед сараем росли сливы и грецкий орех. А около двери был кран, из него иногда капала вода, падая на железную лейку. Кап-кап...

Приятно пахло торфом, цветочными луковицами и навозом. Было тихо. Иногда лаяла собака, но очень далеко. За порогом слышалось время от времени шуршание в опавшей листве. Мышка, наверное, или ежик.

Конрад закрыл глаза. Кап-кап...

Здесь она его не найдет.

Розмари Хауг тщетно ждала известий всю ночь. «Пожалуйста, не звоните нам больше, — попросил ее раздраженный полицейский где-то около двух часов ночи, — как только мы что узнаем, тут же позвоним сами».

Ближе к трем часам ночи Феликсу Вирту удалось убедить ее принять легкое снотворное. Когда она уснула, он лег на софу, поставив будильник на шесть утра. В семь он принес Розмари в постель апельсиновый сок и кофе. И весть, что пока ничего нового нет. И уехал в клинику.

Около восьми в дверь позвонили двое полицейских. Розмари открыла им и обомлела, увидев их серьезные мины.

— Что-нибудь случилось?

— Мы только хотели спросить, нет ли у вас чего нового?

— Нет ли у *меня* чего нового?

— Пропавшие иногда сами объявляются, а родственники так радуются, что забывают сообщить нам.

— Если он объявится, я тут же поставлю вас в известность.

— Не стоит обижаться. Всякое бывает.

— Определенно что-то случилось!

— Чаще всего они находятся. Особенно помешавшиеся, — успокоил ее тот, что постарше.

— Если бы ничего не случилось, его бы уже давно нашли.

— Иногда они заходят в чужие дома. И пока их там обнаружат и позвонят нам — пройдет целая вечность.

Полицейский помоложе спросил:

— Подвал, гараж, чердачные помещения везде проверили?

Розмари кивнула.

— У соседей?

Розмари снова кивнула.

Полицейские попрощались.

— Если чего узнаете, то один-один-семь, — сказал молодой полицейский уже у лифта.

— Можете на меня положиться, — ответила Розмари.

— Не беспокойтесь, он обязательно где-нибудь всплывет,— крикнул тот, что постарше, закрывая дверь лифта. — Хотя бы со дна озера, — хмыкнул он, когда лифт уже начал спускаться.

Под рододендронами было темно. Через плотную верхушку листвы, укрывающей его, как крыша, Коникони видел лоскуток подернутого дымкой октябрьского неба. Торфяная почва была холодной и влажной, и пахло осенью и гнилью. Под гравием, окаймлявшим парковую дорожку из гранитных плит, жили серые мокрицы. Когда он дотрагивался до них пальцем, они сворачивались в твердые катышки и ими можно было играть в бабки.

Час назад в метре от него садовник сгребал опавшую листву. Коникони не пошевельнулся, и садовник медленно удалился.

Чуть позже мимо прошли старческие женские ноги. Вскоре после этого молодые. Потом опять все затихло.

По дорожке просеменил черный дрозд. Он немножко поковырял клювом на краю цветочной клумбы и обнаружил кончик дождевого червя. Дрозд потянул за него и вдруг замер. Его неподвижный пустой глаз заметил человека. Коникони затаил дыхание.

Дрозд выдернул червяка из земли и быстро исчез.
Ветер донес запах сжигаемой листвы.
Если они будут звать меня, я не откликнусь, решил про себя Коникони.

Когда в полдень Розмари вышла на террасу, она услышала, как тукает мотор, и увидела полицейскую лодку, медленно проплывавшую с тукающим мотором вдоль берега. На берегу она различила полицейских в синих плащах. Они разделились на две группы и обшаривали берег. Тогда она сделала нечто такое, чего никак от себя не ожидала: она позвонила Томасу Коху.

Поговорить с Томасом Кохом оказалось не так-то просто. Сказанного ею «по личному вопросу» было явно недостаточно, чтобы ее соединили с ним. И того, что «речь идет о чрезвычайном случае», тоже было мало. Только когда она заявила, что «произошел несчастный случай с одним из членов семьи», Томас Кох довольно быстро подошел к телефону.

— Конрад Ланг не является членом нашей семьи, — отрезал он, когда она объяснила ему, в чем дело.

— Я не знаю, что мне предпринять.

— А что вы хотите от меня? Может, прикажете отправиться на его поиски?

— Я надеялась, вы используете свое влияние. Мне кажется, полиция не слишком серьезно относится к этому делу.

— А кто вам сказал, что я имею влияние на полицию?

— Конрад.

— В таком случае он уже давно тронулся,

Розмари положила трубку.

Симона Кох иначе представляла себе замужнюю жизнь. Всего один год и четыре месяца замужем — и уже шестой семейный конфликт. Нельзя сказать, что она ожидала от этого брака слишком много. Зная, что Урс сильная и властная натура, она заранее приготовилась к тому, что многое в их общей жизни будет идти так, как захочет он. И понимала, что на него возложено множество дел и общественных обязанностей, в которых не всегда найдется место для нее. У самой Симоны в жизни было не много забот. Она проявляла интерес к электронной технике высоких температур, к авторалли, токийской бирже, фазаньей охоте в Нижней Австрии, к многоборью в конном спорте, гольфу и работам юной дизайнерши по текстилю, пока однажды не застукала ее с Урсом за интимным ужином в маленьком ресторанчике. Симона договорилась встретиться там со своей приятельницей. И... помешала Урсу закончить «деловую» встречу.

Симона была так поражена, что сначала рассмеялась. Потом выбежала на улицу и тут же увидела свою приятельницу, расплачивавшуюся за такси.

— Идем, мы посидим где-нибудь в другом месте, здесь полно народу.

Они отправились в другой ресторанчик, и Симона ни словом не обмолвилась своей лучшей подружке о случившемся. Она стыдилась признаться, что муж обманывает ее уже через полтора месяца после свадьбы.

Расплакалась она только дома. Урса не было всю ночь. Потом он заявил: если бы она не рассмеялась, он бы пришел домой.

Это был первый семейный кризис.

Иногда она думала, ей следовало бы тогда закатить ему настоящую сцену. Может, это положило бы конец изменам.

Урс Кох никогда не сомневался в том, что брак не означает для него потерю личной свободы, как он называл свое право на маленькие, несущественные для семейных отношений приключения.

Симона, воспитанная своей матерью весьма прагматично, до сих пор с пониманием относилась к тому, что мужчины не всегда соблюдают верность. А кроме того, раньше она сама не раз была одной из тех, с которыми они сидят тайком в укромных ресторанчиках. Но то, что муж так быстро потерял к ней интерес, испугало ее. Ее мать внушила ей: «Ты такая же, как я, просто хорошенькая, а это значит, что нам нужно устраивать свою жизнь до двадцати пяти».

Сейчас ей двадцать три, и она уже иногда спрашивала себя: а хватит ли ей времени начать все заново? Поэтому она только слабо защищалась, считала измены и все больше

впадала от них в депрессию, что очень вредило ее внешнему облику. Ситуацию усугубляло то, что они жили на вилле «Рододендрон». Симона чувствовала себя посторонней в этом старом большом доме. Ей казалось, будто все следят за ее реакцией на выходки Урса, не проходившие незамеченными ни для членов семьи, ни для слуг, терявших каплю за каплей уважение к ней.

Эльвира, Томас и Урс были настолько каждый по-своему поглощены собой, что замечали присутствие Симоны только тогда, когда это требовалось на людях.

А по большей части она была полностью предоставлена своей грусти и тоске, справиться с которыми сейчас бывало особенно трудно — наступившая осень напоминала о том, как быстротечно время и как скоро появляются морщины.

Все тоскующие, как правило, бродят в поисках подходящих декораций для своей меланхолии, вот и Симона забрела в отдаленную часть парка и вдруг услышала какое-то журчанье. Из зарослей рододендроновых кустов, окаймлявших парковую дорожку, торчала голова пожилого человека, тот, судя по всему, справлял свою малую нужду.

Увидев ее, он со смущеным видом застегнул брюки. Симона деликатно отвернулась. Когда она снова повернулась, он уже исчез.

— Эй! — крикнула она. Никакого ответа. Только слабое шевеление листвы в том месте, где он только что стоял.

— Пожалуйста, выходите, — сказала Симона неуверенным голосом.

Никакого движения.

— Что-то не так, госпожа Кох? — послышался голос сзади.

Это был садовник по имени Хугли, он шел по дорожке ей навстречу.

— Там кто-то есть, — сказала она. — Вон там, в рододендроновых кустах, пожилой мужчина.

— Вы уверены?

— Я его видела. Он спрятался. Примерно вон там

— Эй, а ну, давай выходи! Быстро! — крикнул садовник.

Никакого движения. Тихо. Он бросил на Симону скептический взгляд.

— Я видела его. Он мочился и потом исчез. Он где-то там внизу.

Хугли осторожно вступил на влажную парковую почву и зашагал к кустам рододендрона, доходившим ему до подмышек. Симона направляла его:

— Чуть-чуть правее, да, вот сейчас вы дойдете до того места. Осторожно!

Садовник Хугли остановился, исчез в кустах и вскоре вынырнул оттуда вместе с пожилым мужчиной.

— Господин Ланг! — воскликнул он удивленно.

Симона теперь тоже узнала этого человека. Конрад Ланг, поджигатель Корфу.

Незадолго до полудня в полицию позвонил шофер такси.

Вчера у него был вызов по адресу Розмари Хауг. Пожилой мужчина с подушкой в руках попросил отвезти его на Фихтенштрассе, 12. То, что вместо тридцати двух франков тот заплатил ему сто, таксист не упомянул.

Фихтенштрассе, 12 оказалась виллой времен грюндерства[1], перестроенной в большое конторское здание. Никто там не знал Конрада Ланга, и никто не видел пожилого мужчину с подушкой. Но поскольку таксист настаивал на том, что отвез пассажира именно по этому адресу и даже видел, как он вошел в калитку, полицейский вахмистр Штауб попросил разрешения осмотреть участок и даже вызвал для этого служебную собаку.

Бывший парк позади дома представлял собой мрачную картину — зарос и одичал. Участок двумя террасами поднимался вверх по склону. На самом верху находилась раньше площадка для сушки белья, затененная сейчас огромными елями, среди которых торчали из мха заржавевшие штанги для просушки и выколачивания ковров. От соседнего участка площадку отделяла густая живая изгородь.

Овчарка по кличке Сента потянула того, кто вел ее на поводке, именно к этой изгороди. Полицейский отвязал ее, и она исчезла в зарослях кустарника. Через какое-то время стало ясно, что собака взяла след на соседнем участке. Полицейский протиснулся сквозь чащобу и уткнулся в забор из железного штакетника. Продвигаясь вдоль него в том на-

---

[1] 70-е годы XIX в. — период массового создания банков, акционерных обществ и страховых компаний.

правлении, в каком исчезла Сента, он буквально через несколько метров наткнулся на узенькую полуоткрытую калитку. За ней виднелись заросшие зеленью ступени; спускаясь, они вели на соседний участок.

На виллу «Рододендрон».

Когда полицейские позвонили в стальные ворота виллы «Рододендрон», им открыл удивленный садовник Хугли.

— Как, вы уже здесь? — сказал он. Прошло не больше минуты, как он по приказанию Томаса Коха звонил в полицию.

Полицейский вахмистр Штауб откашлялся.

— Мы ищем пропавшего человека, и у нас есть все основания предполагать, что означенное лицо находится здесь, на этом участке, — произнес он.

— Еще бы, конечно, — ответил Хугли и повел их в дом.

В вестибюле виллы Эльвира и Томас Кох стояли перед резным, старинным на вид стулом, имевшим форму трона, на котором восседала печальная фигура Конрада Ланга — взлохмаченного, небритого и безучастного ко всему, в мятом и запачканном землей костюме. Рядом с ним стояла Симона Кох, пытавшаяся напоить его горячим чаем.

Когда вошли полицейские, Томас Кох двинулся им навстречу.

— А-а, господа полицейские, вы сработали на удивление быстро. Пожалуйста, позаботьтесь о нем. Его нашли здесь, в нашем парке. Это Конрад Ланг. У него умственное помешательство.

Полицейский вахмистр приблизился к «трону» Конрада Ланга.

— Господин Ланг? — спросил он громче обычного. — С вами все в порядке?

Конрад кивнул.

Чуть тише Штауб сказал, обращаясь к Эльвире и Томасу:

— Он в розыске со вчерашнего дня.

И опять громко Конраду:

— Ну и дела вы устраиваете!

— Ни малейшего представления, как он проник сюда, — сказал Томас Кох полицейскому вахмистру.

— Зато нам это хорошо известно: через маленькую калитку с соседнего нижнего участка.

— Калитку? — спросил Томас Кох.

— Да, там внизу есть проржавевшая садовая калитка, почти недоступная из-за зарослей и, вероятно, целую вечность не использовавшаяся. Вы этого не знали?

Вместо него ответила Эльвира:

— Я забыла про нее. На той вилле внизу жил когда-то друг моего первого мужа. Но он переехал, еще когда Вильгельм был жив. И с тех пор калиткой никто не пользовался.

— Когда же это было?

— Шестьдесят лет назад, — задумчиво произнесла Эльвира больше для себя самой.

Томас покачал головой:

— Я об этом понятия не имел.

— На вашем месте я принял бы кое-какие меры, так любой может сюда пробраться, — посоветовал ему Штауб. Затем он опять повернулся к Конраду и громким голосом сказал:

— Пойдемте, мы отвезем вас домой.

Конрад непонимающе смотрел на полицейских.

— Я и так дома.

Полицейские обменялись улыбками.

— Да, да. Но мы доставим вас в другой ваш дом.

Конрад на мгновение задумался.

— Ах, вот что, — пробормотал он наконец и встал. Он взглянул на Томаса Коха. — Значит, ты не помнишь эту калитку?

Томас покачал головой.

Конрад прикрыл рот ладонью и прошептал ему:

— Лазейка пиратов! — Потом он взял Симону за руку. — Спасибо.

— Не стоит благодарности, — ответила Симона.

Он изучающе глядел на нее какое-то время.

— Мы не знакомы с вами еще с Биаррица?

— Вполне возможно, — улыбнулась Симона.

Полицейские подхватили Конрада Ланга и вывели его из дома, Симона пошла за ними.

Томас Кох стоял и качал головой.

— Лазейка пиратов... Калитка... В мозгу вроде как бы что-то щелкает. Кто это говорил, что он больше ничего не помнит?

Эльвира не ответила.

Томас смотрел вслед полицейским, Конраду Лангу и Симоне.

— Биарриц! Они же знают друг друга вовсе не по Биаррицу.

Через десять дней Шёллер проинформировал свою шефиню, что Конрада Ланга поместили в дом для престарелых «Солнечный сад», где за ним будет полный уход.

— Я предполагаю, что на этом тема «Конрад Ланг» будет окончательно закрыта, — добавил он с едкой ухмылкой.

Эльвира Зенн чуть не ответила: «Надеюсь».

В этот вечер Шёллер ушел от нее очень поздно.

6

«Солнечный сад» — дом для престарелых и инвалидов — представлял собой шестиэтажное здание, расположенное на краю леса, не слишком далеко от виллы «Рододендрон» и отеля «Grand Hotel des Alpes», где в баре Конрад Ланг выпил не один «Negroni» — идеальный послеобеденный drink.

А сейчас он сидел в гостиной верхнего этажа и никак не мог понять, что он здесь потерял. Верхний этаж был закрытым отделением, здесь содержались пациенты с прогрессирующими формами заболевания. Или те, которые уже хоть раз да убегали отсюда.

Конрад Ланг не относился к пациентам с прогрессирующей формой заболевания, и врачам было бы приятнее видеть его в другом отделении, где он нашел бы себе партнеров для общения. Но во-первых, в закрытом отделении оказалась свободной одноместная палата, во-вторых, опасность, что Конрад Ланг убежит, была достаточно велика, и в-третьих, в результате быстрого развития болезни его так и так переведут в закрытое отделение. Однако пока Конрад Ланг производил в этом новом для себя окружении скорее впечатление посетителя, чем пациента.

Когда Розмари привезла сюда Конрада и помогла ему внести вещи в комнату, она не смогла сдержать слез при виде палаты с больничной койкой.

Он обнял ее и утешил:

— Не надо печалиться. Это ведь не навечно.

Он провожал ее до лифта, который можно было вызвать и открыть только с помощью ключа, находившегося у сестры, и прощался с ней так, словно молил понять его, что неотложные дела и обязательства мешают ему лично сопроводить ее домой.

Пытаясь смягчить ситуацию, она привозила его поначалу к себе домой на целый день. Но вскоре выяснилось, что ее квартира стала для него чужой. На него нападало странное беспокойство, стоило ему там оказаться. Он все время пытался встать с кресла, куда она его усаживала, пока готовила обед. И часто она находила его в пальто и шляпе уже в коридоре, где он стоял и дергал ручку закрытой входной двери.

Однажды вечером, когда они вернулись от нее и дверь лифта открылась уже на шестом этаже «Солнечного сада», а взгляды тех, кто сидел в гостиной, выжидательно устремились на них, он отказался выйти из лифта. Потребовалось все ее искусство, чтобы уговорить его, и потом еще помощь дюжего санитара, чтобы водворить его в палату.

Когда она уходила, в глазах его стояли слезы.

Врач отделения на следующий день сказала ей, что будет лучше, если она не станет больше брать его к себе домой. Это вносит путаницу в его мысли. Потом ему трудно понять, где же он. Он должен постепенно привыкнуть, что здесь — его дом.

Так закрытое отделение «Солнечного сада» — дома для престарелых и инвалидов — окончательно стало новым домом Конрада Ланга.

Забор из железного штакетника, отделявший виллу «Рододендрон» от нижнего соседнего участка, был заменен на современный, полностью отвечавший технике безопасности. И уж раз они этим занялись, Урс Кох распорядился обновить в том же духе забор по всему периметру участка.

Это обстоятельство и сознание того, что Конрад Ланг содержится в закрытом отделении на шестом этаже такого заведения, откуда нормальным путем выйти живым невозможно, должны были бы, собственно, удовлетворить Эльвиру Зенн: она могла чувствовать себя в полной безопасности от дальнейших внезапных наваждений прошлого. Но она все время ловила себя на том, что думает о Конраде. Она, правда, уверяла себя, что никто не станет обращать внимания на болтовню полусумасшедшего старика, однако полного спокойствия это ей не приносило.

И поэтому она пригласила к себе на чашку чая молча страдающую в своем браке Симону и завела с ней как бы невзначай разговор о старом человеке.

— Как-то там теперь поживает Кони, — произнесла она со вздохом.

Симона удивилась:

— Конрад Ланг?

— Да. Как он тут сидел! Как жалкий гномик! Больно было глядеть на него!

— Мне его тоже было очень жалко.

— Ужасная болезнь!

Симона молчала.

— Притом все так удачно складывалось: состоятельная женщина, перспектива остаток жизни делать то, что он любит больше всего — вообще ничего не делать. И вот пожалуйста — инвалидный дом.

— Так он в инвалидном доме?

— Всякая любовь всегда на чем-то кончается — женщина ведь еще молода.

— Это весьма эгоистично.

— Не каждый же способен ухаживать за слабоумным мужем.

— Но спихивать его в инвалидный дом — это подло!

— А может, ему там хорошо? Он среди своих.

— Трудно себе такое представить.

Эльвира вздохнула.

— Мне тоже. — Она снова налила чай. — Ты не могла бы как-нибудь навестить его?

— Я?

— Посмотрела бы, как ему там. Все ли у него есть. Может, надо что-нибудь сделать для него. Мне было бы спокойнее.

Симона все еще колебалась.

— Я не люблю ходить по больницам.

— Это не больница. Это дом для престарелых. Там не так страшно.

— А почему бы тебе самой не пойти?

— Это невозможно.

— Ну тогда давай вместе.

— Вероятно, ты права. Забудем про это. И про Конрада тоже.

Первое впечатление Симоны — въедливый специфический запах, обрушившийся на нее, как только дверь лифта открылась на шестом этаже.

Стоило ей выйти, как в гостиной все смолкло. Она осмотрелась и увидела за отдельным столиком у окна Конрада Ланга, сидевшего неподвижно и тупо смотревшего в одну точку. Она подошла к нему.

— Добрый день, господин Ланг.

Конрад Ланг удивленно поглядел на нее. Потом встал, протянул Симоне руку и сказал:

— Не знакомы ли мы с вами еще с Биаррица?

Симона рассмеялась.

— Ну конечно же, еще с Биаррица.

Она села рядом с ним, и гостиная снова наполнилась звуками — неумолчной болтовней, невнятным бормотаньем, хихиканьем и перебранкой.

То, что Симона рассказала про Конрада Ланга, Эльвиру не успокоило.

— Его надо оттуда вытащить, притом быстро, — сказала Симона возбужденно. — Иначе он и в самом деле заболеет.

На нее он не произвел впечатления человека, страдающего болезнью Альцгеймера. Он тотчас же узнал ее, хотя они встречались всего лишь дважды, тут же вспомнил свою шутку про Биарриц и подробно рассказал ей, как выглядел курорт в послевоенные годы,

словно это было только вчера. В этом доме он окружен какими-то полоумными людьми, говорила Симона, с ними невозможно разговаривать разумно. И что самое замечательное: он не припоминает ни одного визита этой самой Розмари Хауг. Со дня свадьбы Эльвира ни разу не видела Симону такой активной и решительной. Она была одержима идеей вытащить Конрада из этого заведения.

— Бедняга, — было резюме Эльвиры. — Тебе удалось поговорить с врачом?

— Я пыталась. Но мне не захотели давать никаких объяснений, поскольку я не родственница.

— Может, тебе лучше вступить в контакт с этой Хауг?

— Я и собираюсь так поступить. Только не знаю, сумею ли сдержаться.

— Можешь полностью рассчитывать на мою поддержку, — пообещала Эльвира.

Уходя, Симона даже подумала, что, возможно, эта старая женщина не так уж холодна и бездушна. Началось маленькое сражение за освобождение Конрада Ланга из дома для престарелых. Симоне никак не удавалось встретиться с Розмари Хауг. В конце концов дворник сказал ей, что она на неделю уехала.

Неудивительно, подумала Симона.

Через администрацию «Солнечного сада» ей посчастливилось узнать имя врача, определившего сюда Конрада Ланга, и очень скоро, без всяких проволочек, он назначил ей время встречи, как только она объяснила ему, о ком идет речь.

Врача звали доктор Вирт, и, несомненно, он внушал симпатию. Он принял ее в своем кабинете и терпеливо выслушал, когда она ему заявила, что, по ее мнению, Конраду Лангу не место в том окружении, в каком он находится, и у нее есть опасения, что хотя он сейчас не болен, но там с ним это обязательно произойдет.

— Вы хорошо знаете Конрада Ланга? — был его первый вопрос, когда она закончила.

— Нет, но семья моего мужа знает его очень хорошо. Он практически вырос вместе с моим свекром.

— И он разделяет ваше мнение?

Симона смутилась.

— Он не навещал его. Он слишком занят.

Доктор Вирт понимающе кивнул.

— Отношения между ними сейчас не из лучших. Кое-какие события прошлого.

— Пожар на Корфу?

— Да, среди прочего и это. Точных причин я тоже не знаю. Я в семье недавно.

— Видите ли, госпожа Кох, я очень хорошо понимаю, что вы чувствуете, но смею вас заверить, что вы заблуждаетесь. Если вам и показалось, что у господина Ланга адекватное поведение, то только потому, что он мастерски владеет искусством светского общения, приобретенным благодаря его воспитанию, он умеет многое затушевать, и еще возможно, что вы застали его в благоприятный момент. Взлеты и падения характерны для этой болезни. Но мы должны исходить в своем решении из кризисных ситуаций.

— Я на это смотрю по-другому. Лучше ориентироваться на те моменты, когда он в благополучном состоянии.

— И что вы предлагаете?

— Чтобы вы вытащили его оттуда.

— А что дальше, кто будет за ним ухаживать?

— Ну, на госпожу Хауг, по-видимому, рассчитывать больше не приходится? — осведомилась Симона язвительно.

Доктор Вирт отреагировал на это с раздражением:

— Госпожа Хауг сделала для Конрада Ланга гораздо больше, чем можно ожидать от женщины после такого короткого знакомства. Именно я и уговорил ее предпринять этот шаг.

— Надеюсь, она наслаждается своей вновь обретенной свободой.

— Госпожа Хауг находится в клинике на Бодензее с диагнозом «состояние депрессии на почве нервного истощения», и я надеюсь, что она скоро опять придет в себя. Если уж кто и не соблюдал своих обязанностей по отношению к Конраду Лангу, так это семейство Кохов, уважаемая госпожа Кох.

Симона смущенно молчала. Потом сказала, уже не так самоуверенно:

— Может, еще не поздно кое-что исправить?

— Как вы себе это представляете?

— Ну, скажем, частный уход за пациентом. Снять квартиру, соответственно ее оборудовать и нанять медицинский персонал по уходу за больным.

— День и ночь, госпожа Кох, а это означает — круглые сутки трое-четверо человек из специально обученного медперсонала по уходу за больным плюс лечащие врачи, диетическое питание, лабораторные исследования и т. д. Маленькая клиника на дому для одного-единственного пациента?

— Я пользуюсь полной поддержкой госпожи Зенн.

Когда Симона Кох покидала клинику, она все же заручилась обещанием доктора Вирта обдумать ее предложение и обсудить его со своими коллегами и компетентными инстанциями.

Идея Симоны превратить маленький гостевой домик в мини-больницу показалась Эльвире слишком далеко идущей. Она хотела заполучить Конрада под свой контроль, но не в такой степени.

— А тебе не кажется, что частная клиника была бы более разумным решением?

— Ему не нужна никакая клиника, — настаивала на своем Симона, — ему нужен уход, особенно в кризисные моменты.

— Но я же видела его здесь, в полной отключке!

— Тогда у него как раз и был кризис.

— Если ты притащишь сюда Кони, твой муж просто взбесится. Не говоря уж о Томасе. Надо найти такое решение, которое никому бы из нас не было в тягость.

— Бывают случаи, когда нельзя уклоняться от ответственности.

— Мы не в ответственности за Конрада Ланга.

— Но он все-таки имеет какое-то отношение к семье.

Эльвира прореагировала абсолютно спокойно.

— Что ты знаешь о семье, — только и сказала она в ответ.

— Об этом не может быть и речи, — заволновалась Розмари Хауг, услышав от Феликса Вирта о визите Симоны Кох. Они сидели в зимнем саду клиники на Бодензее, пили кофе и смотрели на туман, накрывший пологом берег озера. — Их теперь совесть замучила. Они думают, что деньгами исправят то, что сделали с ним за шестьдесят лет. Они хотят напоследок использовать его. На сей раз для успокоения своей нечистой совести.

— С другой стороны, — как бы размышлял Феликс Вирт, — это единственная и последняя для него возможность прожить остаток жизни по крайней мере так, как он привык.

— Когда я предлагала частный уход за ним, ты мне это отсоветовал.

— Речь идет о четырех- или пятистах тысячах франков в год. И все это ради человека, который даже не может тебя вспомнить?

— А ты знаешь, какими были его последние слова, сказанные Томасу Коху? «Поцелуй меня в ...!» По-моему, это нельзя сбрасывать со счетов.

Клочья тумана повисли на голых ветках фруктовых деревьев на берегу.

— Мне надо выбраться отсюда, Феликс.

Конрад Ланг сидел в гостиной, где было полно людей, и вдруг случилось нечто неожиданное: Джин Келли спрыгнул с экрана! Сначала он принялся вытанцовывать на газете, но Конрад разорвал ее пополам, тогда он стал кривляться на одной половинке. Конрад эту половинку разорвал, а Келли взял и перепрыгнул на вторую. Конрад и ее разорвал на четвертинки. Тогда тот выскочил на середину комнаты.

Сидевшей рядом с ним старой женщине Конрад сказал: «Вы видели? Он уже здесь». Но женщина не обратила на него внимания. И тут произошло нечто еще более интересное: она сама вдруг оказалась на экране, и стало видно, что старая женщина — ведьма с острым подбородком и острым носом.

Конрад испугался и закричал: «Смотрите, смотрите, ведьма, ведьма!» Тут к нему подошел огромный мужчина и сказал: «Заткнись, не то получишь». И тогда Конрад понял, что надо как можно быстрее уносить отсюда ноги. Он встал и пошел к лифту, но там не было кнопок. Он направился по коридору к двери — та вела к лестнице. Дверь оказалась запертой. Но ключ висел справа в маленьком стеклянном ящичке. Он тоже был заперт. Он двинул локтем по стеклу и вынул ключ. Затем отпер дверь на лестницу. В спину ему громко ругалась ведьма. Он вышел на открытую площадку пожарной лестницы на шестом этаже. И начал медленно спускаться.

Добравшись до площадки пятого, он услышал, как Джин Келли крикнул сверху:

— Господин Ланг?

Ведьмины штучки. Не удостоив ее взглядом, он двинулся дальше.

На площадке третьего он увидел, как на него идут горные стрелки в зимних мундирах карательных отрядов. Вот они медленно поднимаются по лестнице навстречу ему. Он уже и над собой слышит громыхающие по железным ступеням шаги. Взглянув наверх, он увидел белые брючины. Еще и горная пехота в зимних маскировочных комбинезонах.

Он сел на перила и стал выжидать. Живым они его не возьмут.

Розмари Хауг уже издали увидела, что в «Солнечном саду» что-то случилось. На всех площадках пожарной лестницы, которая спускалась по западной стене от крыши шестиэтажного здания вниз до самой земли, стояли санитары и сестры, пожарные и полицейские. Кроме площадки третьего этажа. Там на перилах сидел одинокий мужчина.

Перед домом было полно полицейских машин, стояла «скорая помощь» и пожарники. Подъехав ближе, она заметила внизу у самой лестницы надувной трехметровый матрац. Припарковавшись, она вдруг поняла, кто этот одинокий мужчина. И бросилась бежать.

Кордон полицейских задержал ее.

— Мне надо пройти, — выдохнула она.

— Вы родственница?

— Нет. Да! Я его подруга. Пустите меня к нему. Я поговорю с ним!

Через десять минут, после того как дежурный врач подтвердил полиции, что госпожа Хауг единственная из близких этого пациента, ее пропустили, и она стала медленно подниматься наверх.

— Ну и напугал ты меня, Конрад, — громко сказала она как можно бодрее. — Если бы ты знал, как это выглядит снизу, очень рискованно, они тут все страшно нервничают и не понимают, как ты мог выкинуть такую штуку.

Она добралась до второй площадки и приготовилась подниматься по ступеням выше, мимо последнего поста спасателей.

— Я сейчас уже буду с тобой, Конрад, и мы пойдем в «Des Alpes», мне необходимо расслабиться, а тебе?

Конрад не отвечал. Розмари добралась до последнего витка перед третьим этажом и начала медленно подниматься дальше.

— Ты не хочешь спуститься мне навстречу, Конрад? Я уж больше не могу, а ведь внутри есть лифт... да и холодно тут. Ну хорошо, я уже иду, Конрад. О'кей?

Она хорошо видела его. Он сидел на перилах спиной к улице, и вид у него был абсолютно безучастный.

Она преодолела последние две ступени и уже ступила на площадку — не далее чем в трех метрах от него.

— Уфф, вот я и здесь, ты что, даже не хочешь поздороваться со мной? Я тебя просто не узнаю — сидишь и не обращаешь на меня никакого внимания.

Не сделав ни единого жеста, свидетельствовавшего о том, что он узнал ее, Конрад перекинулся через перила и полетел головой вниз.

Он был единственным, кто не кричал.

Конрад Ланг приземлился мягко и только слегка пострадал в потасовке с пожарными, пытавшимися вызволить его из надувного матраца.

Его держали вчетвером, чтобы врач смог ввести ему успокаивающее, а санитары потом отнесли его в палату.

Розмари тоже понадобились успокоительные капли.

И администратору «Солнечного сада» тоже.

— Когда-нибудь это должно было произойти, — сказал он командиру спасательного отряда. — Такое идиотское предписание! Держать в закрытом отделении ключ от выхода к пожарной лестнице на всякий случай! Так уж лучше сразу приделали бы мостки для прыжков вниз!

Розмари осталась сидеть у постели Конрада. Перед тем как заснуть, он сказал ей:

— Спокойной ночи, сестра.

В тот же вечер она рассказала Феликсу Вирту по телефону о случившемся, и он спро-

сил: она все еще возражает, чтобы о дальнейшей судьбе Конрада Ланга заботились Кохи?

— Разве могу я навязывать себя мужчине, который, выбирая между мной и прыжком вниз с третьего этажа, предпочел второе?

Симона навещала теперь Конрада почти каждый день. Она чувствовала какую-то необъяснимую связь с ним.

Симона пришла на следующий день, не зная о случившемся. Конрад встретил ее в хорошем настроении, ухоженный и опрятно одетый, как никогда. Ничто не омрачало его прекрасного настроения — от вчерашнего дня в памяти не осталось и следа.

— Целую ручку, милостивая госпожа, — сказал он хорошенькой незнакомке, которая, очевидно, пришла к нему. Он склонился к ее руке, и она увидела у него на затылке синяки, а на левом ухе рваную рану.

Она тут же призвала к ответу сестру отделения, и та рассказала ей о вчерашнем. Симоне стало ясно — это была попытка самоубийства. Она долго гуляла с ним, надеясь, что он расскажет ей о случившемся поподробнее.

Конрад радовался прогулке, как дитя. Уже начало смеркаться, когда они проходили мимо «Grand Hotel des Alpes». Конрад прямым ходом направился туда, кивнул стоявшему в дверях швейцару, как старому знакомому, и повел пораженную Симону сразу в бар.

— Small world, — сказал он барменше, принявшей у них пальто. Она назвала его Кони и принесла ему один «negroni», как всегда.

Симона заказала бокал шампанского, окончательно убеждаясь, что этому человеку не место в доме для престарелых.

— Глория фон Турн и Таксис велела приготовить князю на его шестидесятилетие юбилейный торт с шестьюдесятью пенисами из марципана. Князь, собственно, был голубым. Но это было известно только очень узкому кругу людей. Ты знала об этом?

— Нет, я этого не знала, — сказала Симона, хихикая в кулачок. Она была рада, что он обратился к ней на ты.

Когда заиграл пианист, они повторили свой заказ. Конрад вдруг встал и подошел к двум старым дамам в костюмах из ткани с крупными цветами, они сидели за маленьким столиком возле тапера. Он обменялся с ними несколькими фразами, а когда вернулся, в глазах у него стояли слезы.

— Вы расстроились, господин Ланг? — спросила Симона.

— Нет, я счастлив, — ответил он, — счастлив, что тетя Софи и тетя Клара все еще живы.

— Ах, а я думала, у вас нет родственников.

— Как вам могло прийти такое в голову?

Пока Симона рассказывала Эльвире про вчерашнюю попытку самоубийства, особого интереса это у нее не вызвало.

Но когда она спросила ее, кто такие тетя Софи и тетя Клара, Эльвира встрепенулась.

— Он рассказывал тебе о тете Софи и тете Кларе?

— Что значит рассказывал — он их встретил!

— Обе умерли шестьдесят лет назад, — фыркнула Эльвира.

Когда Симона уходила, Эльвира пообещала ей еще раз обдумать ее идею с гостевым домиком.

Администрацию «Солнечного сада» долго уговаривать не пришлось. Для нее это означало одно свободное место и, кроме того, избавление от пациента, причинившего за последнее время много хлопот.

Органы здравоохранения приветствовали частную инициативу семьи Кохов в связи с нехваткой медперсонала по уходу за больными.

Томаса Коха больше всего удивила перемена в настроении Эльвиры.

— Я тебя все-таки не понимаю, — сказал он. — Теперь, когда ты наконец можешь избавиться от него, ты снова тащишь его сюда.

— Мне его жалко.

— Это ты можешь доказать другими способами.

— Мне скоро уже восемьдесят. И мне уже ничего не нужно никому доказывать.

Сама мысль, что жалкий вид ровесника, некогда его товарища по играм, будет постоянно напоминать ему о бренности собственной жизни, была для него невыносима.

— Ну помести его, ради бога, в частную клинику, но не сюда же!

— Знаешь, я не могу забыть, как ты умолял тогда: «Пожалуйста, мама, ну пожалуйста, пусть он останется!»

— Я был ребенком.

— Он тоже.

Томас Кох покачал головой:

— Так ты еще никогда не говорила.

— Может, на этом круг и замкнулся. — Эльвира поднялась с кресла, давая понять, что дискуссия закончена.

— Но меня же не он беспокоит! — только и сказал Томас Кох.

Чтобы уговорить Урса, потребовалось больше времени.

— Ты шутишь, — засмеялся он.

— Понимаю, тебе это кажется несколько эксцентричным.

— Эксцентричным — это мягко сказано. Зачем тебе это?

— Может, я делаю это ради его матери — Анны Ланг. Она была для меня тогда, в трудное время, хорошей подругой.

— До тех пор, пока не сбежала с нацистом и не бросила своего ребенка!

Эльвира пожала плечами.

— Прикажешь теперь и мне бросить этого ребенка?

— Кони не ребенок. Он старый надоедливый человек и всю жизнь сидит у нас на шее, а теперь еще и спятил, так что самое время сдать его. Вот как следует поступить!

— Он не всегда был старым надоедливым человеком. Он был еще очень хорошим и верным другом твоего отца.

— За это его, как положено, щедро вознаградили. За всю свою жизнь он пальцем о палец не ударил.

Эльвира промолчала. Урс воспользовался паузой.

— Прошу тебя, не делай этой глупости. Пусть о нем заботится государство. Тех налогов, какие мы платим только с личных доходов, хватит на содержание десятка таких, как Кони. И дома для престарелых не настолько плохи.

— И даже настолько хороши, что пациенты закрытого отделения бросаются вниз с пожарной лестницы.

— Мой единственный упрек им, что они подложили надувной матрац.

— Есть и еще одна причина, почему я — за. Симоне нужно какое-то занятие.

— Ах вот так?

— Посмотри на нее. Ты же не уделяешь ей внимания.

— Симона по-другому представляла себе наш брак. Но это еще не значит, что надо изображать из себя мать Терезу!

— С тех пор, как она заботится о Кони, она чувствует себя лучше. — Несколько двусмысленно Эльвира намекнула: — Может, он пробуждает в ней ее материнские инстинкты?

Урс хотел что-то возразить, но вдруг передумал и резко встал.

— Похоже, тебя не удастся переубедить.

— Думаю, что нет.

7

Гостевой домик виллы «Рододендрон» строился изначально как прачечная с комнатами для девушек-служанок на втором этаже. И был сложен, как и вилла, из красного кирпича. Его венчала голубятня в форме башни. Прачечная стояла во дворе виллы, окнами к кухне и подсобным хозяйственным постройкам, скрытым в тенистой части парка.

В пятидесятые годы ее перестроили под домик для гостей с одной общей гостиной, поставив туда вольтеровские кресла и курительные столики, а также пианино и книжные стеллажи со встроенным баром. Массивные двери из орехового дерева украшали теперь медные щеколды, а окна с двойными рамами — изображения фамильного герба. Рядом с гостиной находились спальня, ванная и туалет. На втором этаже были устроены еще четыре спальни и ванная. Кухни в домике не было.

Особым успехом этот домик никогда не пользовался. Как гостевой его подводило расположение, и, кроме того, он не шел ни в какое сравнение с большими, полными воздуха и света гостевыми комнатами виллы с видом на озеро.

Так что гостевой домик большей частью пустовал.

Симона Кох тряхнула стариной, вспомнив про свой организаторский талант, которым когда-то поразила своих работодателей. Меньше чем за две недели она перепрофилировала гостевой домик, приспособив его к нуждам Конрада Ланга и тех, кому предстояло за ним ухаживать.

Директриса частного агентства по уходу за больными на дому давала Симоне советы по оборудованию домика, а потом предоставила в ее распоряжение медперсонал. Обязанности лечащего невропатолога согласился взять на себя доктор Феликс Вирт. Медицинское наблюдение общего характера осталось за доктором Петером Штойбли.

Холодным осенним днем в конце ноября Конрад Ланг переехал в гостевой домик виллы «Рододендрон».

— Small world! — были его первые слова, как только он вошел в гостиную.

Если бы Симоне требовались еще доказательства, что Конраду Лангу не место на шестом этаже «Солнечного сада», то изменений, произошедших с ним с первого дня пребывания в гостевом домике, хватило бы для этого с избытком. Конрад Ланг расцвел. С аппетитом ел, делал поварихе комплименты на итальянском языке, спал без снотворного, сам брился и одевался, хотя и несколько экстравагантно, но без посторонней помощи.

Он чувствовал себя в гостевом домике так, будто жил в нем всегда, и уже на второй день начал вносить свои предложения, как сделать его жизнь здесь еще приятнее: — Лучше бы музыку вместо этого. — Под «этим» он имел в виду телевизор.

— Какую музыку? — спросила Симона.

Он удивленно посмотрел на нее.

— Рояль, конечно.

Симона в тот же день купила стереосистему и все, что подвернулось ей под руку из фортепьянной музыки. Когда она поставила ему вечером первый лазерный диск, он сказал:

— А у тебя нет того же с Горовицем?

— Чего? — спросила Симона.

— Ноктюрна № 2 сочинение 15, фа-диез мажор, — ответил он снисходительно. — Здесь Шмальфус.

И доктор Вирт тоже подтвердил Симоне после своего первого визита, что Конрад Ланг чувствует себя гораздо лучше, не говоря уже о том, что может самостоятельно подняться утром, побриться и одеться.

— Но не питайте особо больших надежд, — добавил он при этом, — такие колебания с временным улучшением характерны для общей картины заболевания. — О том, что вслед за просветом часто наступает внезапное ухудшение, он умолчал.

Но Симона все равно надеялась на лучшее, хотя бы потому, что никто с полной уверенностью не мог утверждать, что у Конрада Ланга действительно болезнь Альцгеймера. И это признавал даже доктор Вирт.

Больше всего Конраду нравилось гулять по парку. Для Симоны это было далеко не простым делом, поскольку она обещала держать его от семьи подальше. Прогулки были возможны только в отсутствие Томаса и Урса, а если оба были дома, ей приходилось выкручиваться, объясняя Конраду, дожидавшемуся прогулки, почему это невозможно именно сейчас.

С Эльвирой проблем не возникало, потому что «Выдел», где она проводила большую часть дня, вообще не интересовал Конрада. Он рассматривал его как нечто инородное в парке и всегда обходил стороной.

Не то что виллу. Она всегда оставалась для него исходным и конечным пунктом их прогулки. «Становится прохладно, давай зайдем в дом», — говорил он, когда они приближались к ней. Или: «Нам пора назад, Томи ждет».

Чаще всего Симоне удавалось отвлечь его внимание от виллы упоминанием о сарайчике садовника. Это было его любимое место в парке. Он ловко находил щель над дверной притолокой, где садовник прятал ключ. Отперев дверь, он каждый раз таинственно говорил: «А теперь понюхай, как здесь пахнет». И они вдвоем вдыхали заполнявший са-

райчик аромат торфа, навоза и цветочных луковиц. А потом Симона садилась вместе с ним на плетеную корзину с крышкой. Через несколько секунд он полностью погружался в другое и, судя по выражению его лица, счастливое время.

Когда она потом решалась против своей воли вернуть его в теперешнюю действительность, он сопротивлялся, и ей не сразу удавалось отвести его назад в гостевой домик. Но стоило ему войти в гостиную, как он сразу чувствовал себя там дома. Садился в кресло и ждал, пока она поставит музыку. Тогда он закрывал глаза и слушал.

Немного погодя Симона тихо уходила. Ей бы очень хотелось знать, замечает ли он, что ее уже больше нет рядом, когда снова открывает глаза.

Конрад открывал глаза, когда музыка затихала, и рядом чаще других оказывалась сестра Ранья. От семи до половины восьмого Лючана Дотти приносила ужин, и уже ночной сестре полагалось составить Конраду компанию или, смотря по его состоянию, помочь ему за столом.

Сестра Ранья всегда приветствовала Конрада по-индусски, слегка склонившись и сложив руки под подбородком. Конрад отвечал ей точно так же. Они говорили друг с другом по-английски, и ее акцент переносил его в Шри-Ланку, в те времена, когда остров еще назывался Цейлоном, и где они играли в гольф на лужайке. Он ездил туда один раз в пятидесятые годы с Томасом Кохом по приглашению британского губернатора, сына которого они знали по «Сен-Пьеру».

Переезд Конрада в гостевой домик виллы «Рододендрон» оказался счастливым решением проблемы и для Розмари Хауг.

За две недели, понадобившиеся для переоборудования домика, она еще не раз навестила его в «Солнечном саду». Но так и не смогла понять, узнает он ее или нет.

Совесть окончательно перестала мучить ее, когда Феликс Вирт рассказал ей, как благотворно подействовала на Конрада смена обстановки, каким он кажется довольным, какой заботой окружен. В конце первой недели после переезда, договорившись с Симоной Кох, она навестила Конрада в сопровождении Феликса Вирта. Уют и царившая в гостевом домике атмосфера понравились ей.

Еще от дверей она услышала смех Конрада (когда же она слышала в последний раз, как он смеется?), сестра провела ее в гостиную, где он сидел с молодой женщиной у стола возле окна и рисовал. Перестав смеяться, он недоуменно взглянул на нее и произнес:

— Слушаю вас, вы к кому?

— Это я, Розмари, — сказала она, — я хотела только взглянуть, как тут у тебя дела.

Конрад посмотрел на молодую женщину, пожал плечами и продолжал рисовать. Розмари в нерешительности постояла еще какое-то время. И уже выйдя за дверь, снова услышала его непринужденный смех. Она почувствовала, какая тяжесть спала с ее плеч, а она ведь даже и не подозревала, что все это так давит на нее.

В тот же вечер она впервые переспала с Феликсом Виртом.

И Симона Кох тоже ожила. Но не потому, как думала Эльвира, что для нее нашлось занятие, а потому, что впервые с тех пор, как стала членом семьи, сумела проявить себя. И не в каких-то пустяках вроде выбора цвета штор для библиотеки или составления меню праздничного обеда. Она добилась своего в решении принципиально важного и щекотливого вопроса, отстояв свою точку зрения, несхожую с мнением всего семейного клана.

Этим она достигла гораздо большего, чем могла мечтать. Бунт той, на которую все семейство поглядывало с улыбкой, как бы отторгая от семьи, помог не только Конраду, но и прибавил ей веса в семье. Все, включая Урса, относились теперь к ней с гораздо большим уважением.

Из всех больных, страдавших болезнью Альцгеймера, Конрад Ланг оказался в наилучших условиях.

Все его дни были заполнены до отказа и протекали строго по графику, и никому не приходило в голову отмахнуться от него, если он энное количество раз рассказывал одну и ту же историю. Ему все время давали почувствовать, как все его любят. И особого труда для обслуживающего персонала это не составляло, потому что Конрад Ланг на самом деле был всем мил и приятен.

В предпоследнее воскресенье перед Рождеством Конрад долго стоял у двери в пальто и меховой шапке, пока наконец не появилась Симона.

— Господин Ланг уже целый час как хочет выйти из дома. Он боится опоздать и пропустить снегопад, — объяснила сестра Ирма.

Едва они вышли в парк, Конрад, обычно начинавший прогулку в размеренном темпе, сказал: «Идем!» — и быстро пошел вперед. Симона с трудом поспевала за ним. Когда они были уже у заветной цели — сарайчика садовника, то оба здорово запыхались.

Он прислонился к стене деревянного сарайчика и ждал.

— Чего мы ждем, Конрад? — спросила Симона.

Он посмотрел на нее так, словно только что заметил.

— Разве ты не чувствуешь, как пахнет? — И снова посмотрел в облачное небо, уходившее за горы далеко за озером.

Вдруг стали падать большие и густые снежные хлопья, плавно опускаясь на края бочки с дождевой водой, на крышку, прикрывавшую компостную кучу, на дорожку, выложенную плитами, на еловые ветки, которыми были укрыты на зиму розы, и на черные ветви сливовых деревьев.

— С неба падают снежные fazonetli, — сказал Конрад.

— Fazonetli? — не поняла Симона.

— Маленькие платочки. Уменьшительное от fazzoletti.

Маленькие белые носовые платочки падали с серого неба, охлаждая траву, голые сучья, каменные плиты, и другие, что ложились поверх них, больше уже не таяли. Вскоре все кругом затянуло светло-серым покровом, становившимся все толще и белее с каждой минутой.

— С неба падают снежные fazonetli, — пропел он и подбросил вверх свою меховую шапку.

— С неба падают fazonetli, — подхватила Симона.

И они начали кружиться в хороводе снежинок, пока не обессилели от смеха, слез и счастья.

Конрад и Симона возвратились в гостевой домик с мокрыми волосами и в запорошенных снегом пальто. Сестра Ирма тут же увела Конрада, а Симона прошла в гостиную, зажгла две свечи на рождественском венке, поставила фортепьянный концерт Шумана, села на тахту и стала ждать.

Конрад вошел с сестрой Ирмой. На нем была другая одежда, волосы высушены феном, а на щеках горел румянец, как у ребенка. Он сел в свое кресло, съел немного рождественской коврижки, закрыл глаза и стал блаженно слушать музыку.

Вскоре после этого он уснул.

Симона задула свечи и тихо вышла из комнаты.

У входа в домик стояла стройная высокая рыжеволосая женщина лет сорока пяти в белом сестринском переднике.

— Меня зовут Софи Бергер, я из резерва. Сестра Ранья сегодня выходная, а господин Шнайдер попал из-за снегопада в автомобильную катастрофу.

— Он пострадал? — спросила Симона.

— Нет. Но он врезался в трамвай. А это означает долгую бумажную войну.

— Ну что ж, работы у вас будет немного. Думаю, господин Ланг сегодня быстро заснет.

Симона набрала код входной двери.

— Вы знакомы с господином Лангом?

— Да, однажды уже имела удовольствие.

Симона накинула на плечи свое мокрое пальто и пошла довольная к вилле. Черные гранитные плиты снова уже проступили сквозь выпавший снег.

Коникони открыл глаза и тут же снова закрыл их.

Через несколько мгновений он снова открыл их, но на сей раз медленно-медленно, чтобы посторонние не заметили. Сначала сквозь ресницы просочилось немного света, потом он уже мог различить контуры мебели и только после этого увидел маму Анну. На ней был белый рабочий передник, как у медицинской сестры, и она была занята тем, что накрывала на стол. Он подождал, пока она выйдет, потом услышал, как она разговаривает на кухне. Он быстро встал с кресла и спрятался за тахтой, стоявшей у стены.

Он услышал, как мама Анна снова вошла в комнату, он даже видел ее туфли и ноги.

Она позвала: «Господин Ланг?» — и снова вышла.

Он услышал, как она открывает дверь в спальню.

— Господин Ланг?

Потом дверь в ванную.

— Господин Ланг?

Она начала с кем-то разговаривать на кухне. Потом он услышал шаги, поднимавшиеся по лестнице. Через некоторое время она снова появилась.

— Господин Ланг? — Она открыла дверь в тамбур, потом входную дверь.

Какое-то время было тихо. Потом он услышал под окном голос мамы Анны, негромко позвавший: «Господин Ланг?»

Коникони встал и тихо вышел в коридор. Из кухни доносились разные звуки. Дверь в тамбур стояла открытой. Он прошел к входной двери. Ее также забыли запереть. С улыбкой на лице он выскользнул наружу в ночную темень. Небо теперь было абсолютно ясным. Над слабо освещенной грядой гор висел полумесяц.

У Кохов, как всегда в предрождественские воскресенья, собрались гости. Это стало традицией, заведенной еще Эдгаром Зенном. Именно он завел такой порядок: приглашать в первый адвент[1] на праздничный ужин управляющих заводами Коха.

Сегодня вечером это был несколько рискованный конгломерат из модных молодых менеджеров по текстилю и пожилых солидных директоров-энергетиков; естественно, и те и другие пришли с женами. Двадцать восемь человек сидели вокруг огромного обеденного стола в столовой виллы, Эльвира, Симона, Томас и Урс входили в их число.

Только что внесли первое блюдо, и тут Симону вызвали из-за стола по очень срочному делу. Урс привстал, когда она, извиняясь, поднялась со стула.

В вестибюле ее дожидалась только что заступившая на смену новая ночная сестра.

— Господин Ланг исчез.

— Исчез? Как это могло случиться? — спросила Симона, надевая пальто и поспешно направляясь к двери.

Софи Бергер побежала за ней следом.

— В доме его нет, — крикнула она, увидев, что Симона бежит к гостевому домику. — Я везде посмотрела.

Симона побежала в другую сторону. Обе женщины молча шли по парку, с мокрых деревьев сползал тающий снег. Кое-где перед сарайчиком садовника еще лежал снег, и в лунном свете отчетливо проступали следы, которые вели туда. Дверь была не заперта. Симона открыла ее:

— Конрад?

Никакого ответа. Квадрат лунного света, проникший через открытую дверь, лежал на полу. Плетеные корзины, на которых они всегда сидели, торф, и цветочные луковицы, и мешки с удобрением — все на месте, но Конрада не было. Она уже собралась уходить, как вдруг заметила что-то на полу. Она подняла предмет. Это была домашняя туфля Конрада. Посмотрев повнимательнее, она нашла и вторую. А рядом его носки.

— Госпожа Кох, — позвала ее Софи Бергер, — поглядите.

Симона вышла. Сестра показывала на отпечатки двух голых ступней на подтаявшем снегу. На правой не хватало одного пальца, на левой — двух.

— Я думаю, мы не станем дожидаться возвращения моей жены, — сказал Урс Кох с плохо скрываемым раздражением, обращаясь к Трентини, которому во время торжественных приемов на вилле вменялось в обязанность следить за соблюдением этикета.

— Будем надеяться, что не случилось ничего серьезного, — сказала по-матерински озабоченно госпожа Гублер, супруга представителя фирмы «Турбины».

— Такой большой дом, словно океанский лайнер, постоянно требует присутствия помощника капитана, — добавил ее супруг.

— Прекрасный образ, — кивнул Томас Кох.

А Эльвира Зенн отметила про себя, что ей надо поговорить с Симоной о правилах приема гостей. Прислуга начала подавать второе блюдо, когда вдруг раздался стук в стек-

[1] Первое из четырех воскресений перед Рождеством.

лянную дверь веранды. Томас метнул взгляд на Трентини. Тот пошел к двери, отодвинул штору и внимательно вгляделся в темноту. Потом подошел к Томасу Коху и что-то шепнул ему. Пока они совещались, что предпринять, штора выпятилась, принимая очертания двери, открывшейся вовнутрь. За шторой ощущалось какое-то движение. Но вот обе половинки раздвинулись.

И появился Конрад Ланг. Мокрый до нитки и в запачканной одежде, с завернутыми брючинами на голых ногах. Он оглядел онемевших гостей и прямиком направился к Эльвире Зенн.

Перед ее стулом он остановился и прошептал:

— Мама Вира, пусть мама Анна уйдет. Пожалуйста!

Томаса Коха больше всего озадачила реакция Эльвиры. Он сидел от нее по левую руку и был единственным кроме нее, кто понял, что́ сказал Конрад. Она побелела как мел, и ему пришлось проводить ее на «Выдел», где она тут же легла в салоне на оттоманку и закрыла глаза. Он накрыл ее пледом.

— Вызвать доктора Штойбли?

Она не ответила.

— Где номер телефона?

— В кабинете на бюро.

Томас вернулся раздраженным.

— Его жена говорит, что его уже вызвали к Кони. Я разыскал его в гостевом домике и объяснил ему, на чьей стороне приоритеты в этом доме.

Пока они ждали прихода врача, Томас спросил:

— Что тебя так напугало?

Эльвира молчала.

— «Мама Вира, пусть мама Анна уйдет»?

Она покачала головой.

— Он ведь так сказал?

— Я этого не слышала.

Раздался звонок в дверь. Томас встал и пошел открывать. Вошел доктор Штойбли.

— Вы приняли слишком близко к сердцу внезапное появление пациента из гостевого домика? Обморочное состояние у диабетиков часто является признаком нарушения обмена веществ.

— Пожалуй, можно так сказать.

— Если бы вы заранее спросили меня о Конраде Ланге, я бы решительно отсоветовал вам делать то, что вы сделали.

— Откуда мне было знать, что вы отпустите его ночью бегать по парку босиком?

— Дело вовсе не в этом конкретном случае. Он вообще слишком большая обуза для вас. Я как врач запрещаю вам подобные нервные перегрузки.

— Что же мне, выбросить его на улицу? Как это будет выглядеть?

— Попытайтесь хотя бы забыть про него. Давайте будем делать вид, что его вообще не существует.

Эльвира улыбнулась.

— Как он там?

Доктор Штойбли покачал головой.

— Он очень возбужден и подвергся сильному переохлаждению. Я дал ему успокоительное. Надеюсь, он уже спит, и если нам повезет, он выберется из этого без воспаления легких.

Он протянул ей леденец на глюкозе.

— Пососите и через час еще один. Утром я зайду опять, и тогда мы посмотрим, надо ли менять дозировку инсулина.

Эльвира развернула леденец.

— Сколько времени длится эта болезнь, прежде чем от Альцгеймера умирают?

— От одного до шести лет, в зависимости от течения болезни и ухода за больным. Конрад Ланг и до семидесяти протянет, но может случиться и так, что он не доживет до следующего Рождества. Или болезнь вступит в последнюю стадию.

Доктор Штойбли поднялся.

— В том случае, конечно, если он переживет сегодняшнее. Я пойду сейчас еще раз взглянуть на него. А потом буду все время дома.

Эльвира сделала попытку подняться.

— Не вставайте, я знаю дорогу. — Доктор Штойбли протянул ей руку. — До завтра, приду около девяти.

Эльвира Зенн тем не менее встала и проводила его до двери. Затем подошла к телефону и набрала номер Шёллера.

Если бы Шёллер захотел описать свои чувства к Эльвире Зенн, слово «любовь» там бы отсутствовало. Но обожание, симпатия и покорность нашли бы свое место. И к тому же — зачем скрывать от самого себя? — не без налета эротики. Он был холост, ему было под шестьдесят, и он всегда чувствовал, что его влекут властные женщины старше его возрастом — бесспорный факт, обогащавший отношения еще одной, пусть и не самой важной гранью. Эльвире было уже под восемьдесят, но она не утратила своей женской привлекательности и по-прежнему возбуждала его.

Шёллер, по его достоверным источникам информации, был единственным любовником Эльвиры Зенн, и хотя *это* случалось нечасто, именно это в известной степени и сделало его ее доверенным лицом, если, конечно, такая независимая и расчетливая женщина вообще была способна доверять кому-то. Он знал, что она информирует его о своих делах настолько, насколько считает нужным, и использует его в своих целях. Но он отличался от всех из ее окружения тем, что это возбуждало его.

И хотя Шёллер не был в их странном союзе доминирующей фигурой, Эльвира всегда могла положиться на него, зная, что он защитит ее, если понадобится. То, что она слабым голосом в мельчайших деталях рассказала ему в этот поздний вечер, окончательно восстановило его против Конрада Ланга. Было уже далеко за полночь, столбик термометра опустился намного ниже нуля, когда Шёллер покинул «Выдел» вне себя от ярости — Эльвира старательно расшуровала тлевшие в нем злобные угольки, подстрекая его к войне.

Подвалы особняков похожи на подвалы больших домов: там пахнет стиральным порошком, затхлостью, керосином и всяким ненужным барахлом.

Котельную виллы «Рододендрон» найти было нетрудно. Она находилась непосредственно рядом с лестницей в подвал, из-за двери доносилось тихое и равномерно подрагивающее гудение. Дверь не была заперта. Центральное отопление на вилле «Рододендрон» имело разводку и регулировочные краны, так что всегда по потребности можно было подсоединить отдельные участки к подаче тепла или, наоборот, отключить их. Свет в котельной погас. Шёллер пошарил рукой в поисках слабо мерцающего выключателя. Свет в помещении вспыхнул снова. Он вернулся назад к вентилям и до упора завернул тот, на котором стояло «Гостевой домик».

Софи Бергер не питала иллюзий, понимая, что произошедший инцидент существенно уменьшает ее шансы на дальнейшую работу. Доктор Вирт, которого срочно вызвали из ресторана, в довольно резкой форме сказал ей, чтобы она наблюдала за пациентом по монитору и тут же сообщала ему или доктору Штойбли, если пациент проснется. И ни в коем случае не входила к нему в комнату. Этому предписанию она последовала с особой радостью. У нее не было ни малейшего желания еще раз встретиться лицом к лицу с этим стариком. За то, что у нее возникли такие трудности, она винила только его. Раньше ей всегда удавалось найти подход к психически больным пациентам. Особенно мужского пола. Чем она виновата, что кого-то напоминает ему?

Так думала она, сидя в комнате для дежурства и неотрывно глядя на монитор. Конрад Ланг лежал на спине и спал с широко открытым ртом. Может, ей вообще бросить медицину и попробовать работать в баре, где будет не так холодно, как у этих богачей? Она встала, принесла плед, уселась в единственное удобное кресло, закуталась и опять уставилась в монитор.

Она проснулась оттого, что замерзла. Было почти шесть утра. На мониторе Конрад Ланг по-прежнему спал с широко открытым ртом. Только скинул ногами одеяло, и его ночная рубашка при этом задралась. Софи Бергер встала и тихонько спустилась вниз в спальню. Она подняла с полу одеяло и накрыла Конрада Ланга. Он лежал весь в поту, хотя в комнате было всего двенадцать градусов. Она вернулась наверх к монитору и позвонила садовнику Хугли. Прошло какое-то время, прежде чем тот ответил.

— Это Бергер, ночная сестра из гостевого домика. Что-нибудь случилось с отоплением?

Отопление не входило в круг обязанностей садовника. Но в шесть утра он готов был оказать и эту услугу. Отправившись в котельную, он через некоторое время обнаружил, что распределительный вентиль гостевого домика закрыт до отказа. Он отвернул его и позвонил ночной сестре. «Все в порядке», — доложил он. Он не хотел причинять никому неприятностей.

Сразу после семи появилась дневная сестра Ирма Катирич, в домике уже стало чуть теплее. Тем не менее она сразу спросила:

— Что с отоплением? Здесь холодно, как в морозильнике.

— Вроде бы все в порядке, я справлялась.

Сестра Ирма направилась в спальню, очень быстро вышла оттуда, молча подошла к телефону и набрала номер доктора Штойбли.

— Пневмония, — только и произнесла она в трубку и тут же положила ее.

— Вы что, слепая? — фыркнула она на Софи Бергер, проходя мимо.

«Мне запретили входить в его комнату», — хотела та сказать, но сестра Ирма уже исчезла в спальне Конрада Ланга.

Физически Конрад Ланг находился не в самом плачевном состоянии, однако воспаление легких усугубило его болезнь. Из-за кислородной недостаточности усилилось помутнение рассудка, антибиотики ослабили его, он ничего не ел и целыми днями лежал и не реагировал на обращение к нему. Только когда приходила сестра Ранья, он складывал руки под подбородком и улыбался.

Доктор Штойбли навещал его каждый день, осматривал его и при этом уговаривал:

— Начинайте кушать, господин Ланг, вставайте чаще, двигайтесь. Если вы сами не будете ничего делать, чтобы поправиться, я ничем не смогу вам помочь.

Эльвире, которой должен был докладывать после каждого визита о состоянии Конрада, он сказал:

— Если он выживет, то только очень высокой ценой. Это характерно для болезни Альцгеймера, она развивается неровно — или наступает множество мелких незначительных изменений, или, как у него, не частые, но кардинальные.

— Он что-нибудь говорит? — спрашивала она каждый раз. И когда ответ был отрицательный, облегченно вздыхала.

Симону она тоже спрашивала:

— Он может говорить? Вы с ним разговариваете?

Симона качала головой.

— Наверное, тебе стоит его навестить. Ты могла бы попробовать поговорить с ним о его прошлой жизни. Я ведь ничего о ней не знаю.

— Прошлая жизнь осталась в прошлом, — сказала Эльвира.

— Но только не при этой болезни, — ответила Симона.

Возможно, Конрад Ланг и умер бы, если бы не сестра Ранья. У поварихи после многих безрезультатных попыток вызвать у него аппетит и накормить любимыми блюдами сдали нервы, она отчаялась, и тогда Ранья начала тайком подкармливать его своими домашними лакомствами: засахаренным миндалем в медовом сиропе, острыми рисовыми шариками с кориандром, маленькими кусочками жареной холодной говядины с лимоном и луком — все это она отправляла своими длинными тонкими пальчиками ему в рот. И при этом без умолку болтала на смеси тамильского, сингальского и английского, лаская и целуя его, как младенца. Сестра Ранья никому не рассказывала о своих успехах в лечении Конрада.

Симона узнала об этом чисто случайно. Целый день она занималась своими делами и пришла навестить Конрада позже обычного, когда уже стемнело. Войдя в гостевой домик, она тут же услышала неумолкающий голосок сестры из спальни Конрада. Она тихо открыла дверь и увидела, как сестра Ранья кормит счастливого Конрада.

Когда Конрад заметил ее, он испугался, но Ранья погладила его по голове и сказала:

— Don't worry, Mama Anna is not here[1].

И только тут увидела в дверях Симону.

---

[1] Не беспокойся, мамы Анны здесь нет (*англ.*).

— Кто такая мама Анна? — спросила Симона Урса в тот же вечер. — Это кто-то, кого Конрад боится.

Урс понятия не имел.

Ей помог свекор.

— Его мать звали Анной. Но почему он должен бояться ее?

— А не она ли спихнула его маленьким ребенком какому-то крестьянину?

— За это можно возненавидеть. Но бояться?

— Может, мы не все знаем.

Томас Кох пожал плечами, встал и извинился. Стареющий плейбой на перепутье между браками, подумала она.

Симона никак не могла уснуть. Среди ночи ей пришла в голову одна идея. Она встала, спустилась вниз в вестибюль и стала дожидаться возвращения свекра. Когда тот наконец ввалился с остекленевшими глазами, она давно уже заснула в кресле, но, вспугнутая грохотом, тотчас же спросила:

— Она была рыжая?

— Женщин много есть на свете... — запел он, повеселев.

— Мать Конрада, я про нее.

Томасу потребовалось время, пока он сообразил, что к чему. Потом засмеялся:

— Рыжая, как черт.

— Старые фотографии? Но у меня нет их. Зачем? Чтобы видеть, как я состарилась? — Эльвира сидела в «утренней» комнате и разговаривала с Симоной. — Зачем они тебе?

— Я хочу показать их Конраду. Иногда таким способом удается вывести больного из состояния апатии.

— У меня ничего нет.

— У каждого есть хоть какие-то фотографии из его прошлого.

— А у меня нет.

Симона сдалась.

— Ну, по крайней мере ты должна знать, почему он боится собственной матери?

— Может, потому, что из него не вышло ничего путного, — улыбнулась Эльвира.

— Что она была за женщина?

— Тот тип женщины, которая скрывает от нацистского дипломата своего ребенка ради того, чтобы тот на ней женился.

— Но она ведь была одно время твоей лучшей подругой?

— Анны уже давно нет в живых, и я не хочу о ней говорить.

— Как она умерла?

— Во время бомбежки в поезде, насколько я знаю.

— И у нее были рыжие волосы?

— Разве это имеет значение, какого цвета были ее волосы?

— Конрад испугался новой сестры. А у нее волосы рыжие.

— Анна была блондинкой.

— Томас сказал, она была рыжая, как черт.

— Томаса теперь уже тоже стала подводить память.

Монсеррат работала в доме всего только месяц. Она была племянницей Канделярии, неустанно старавшейся пристроить членов своего обширного семейства на вилле Кохов. Монсеррат взяли горничной.

— Сегодня сеньора заходила в кабинет дона Коха, — рассказывала она Канделярии за обедом. — Она что-то искала в его письменном столе.

— Ты постучала?

— Я думала, там никого нет, я ведь видела, как он ушел.

— Всегда надо стучать.

— Даже если знаешь наверняка, что в комнате пусто?

— Даже если от дома не останется ничего, кроме двери.

Монсеррат было всего девятнадцать, и ей еще многому предстояло научиться.

Урс ничем особенно помочь не смог. Симона завела разговор на эту тему за обедом, раз уж выдался такой редкий случай, что Урс обедал дома.

— Зачем тебе старые фотографии? — спросил он с раздражением, снова почувствовав какую-то связь с ее последним хобби по имени Конрад Ланг.

— Специалисты порекомендовали посмотреть вместе с ним старые фотографии и использовать его прошлое как привязку к настоящему. Но похоже, в вашем драгоценном семействе этого не водится.

— У Эльвиры все полки забиты альбомами со старыми фотографиями.

— Она мне ни одной не дает. Говорит, что не знает, где они лежат.

Он недоверчиво рассмеялся.

— В ее кабинете, в книжном стеллаже. Навалом.

Симона дождалась трех часов дня — момента, когда Эльвира заканчивала обычно свою работу с корреспонденцией. Она отправилась на «Выдел» и постучала в дверь кабинета.

— Да? — отозвалась Эльвира нелюбезно. Симона нарушила табу этого дома. Когда Эльвира находилась в своем рабочем кабинете, никто не смел ее тревожить.

Симона вошла.

— Урс сказал, что ты хранишь все фотографии здесь. Может, ты разрешишь взять несколько из них на время?

Эльвира сняла очки.

— Видимо, Урс давно здесь не был. Разве здесь есть где-нибудь фотографии? — И она указала на книжный стеллаж рядом с ней.

Там стояло несколько папок-скоросшивателей, ряд выстроенных в хронологическом порядке годовых отчетов заводов Коха, перечень ассортимента выпускаемой ими продукции, восемнадцатитомная энциклопедия и две фотографии в рамочках — Эльвира с первым и со вторым мужем.

И больше ни одной фотографии, ни одного альбома.

— Может, дело в том, что никто не должен видеть, как она молодеет год от года? — засмеялся Томас Кох, когда Симона рассказала ему об этом.

Она застала его в наилучшем расположении духа. Он только что принял решение провести праздники на яхте Баренбоймсов, плававшей в Карибском море с превеселенькой компанией на борту. Он, конечно, встретит Рождество — неписаный закон — на вилле «Рододендрон», но уже утром улетит на Кюрасао и там поднимется на яхту «Why not?»[1]. В сопровождении Саломеи Винтер, двадцати трех лет.

Так что он был очень даже готов помочь и сразу вызвался отдать Симоне все фотографии, «хоть весь ворох», если ей охота. Но когда он целеустремленно двинулся к письменному столу и открыл ящик, где лежали фотографии, тот оказался пустым. Хотя он мог поклясться, что они всегда лежали именно там. Он не поленился поискать их и в других возможных местах, но фотографии как в воду канули.

Рождественский сочельник праздновался на вилле «Рододендрон» в тесном семейном кругу. В библиотеке поставили большую елку, нарядив ее игрушками, приобретенными еще Вильгельмом Кохом в его первом браке: прозрачные шары, переливавшиеся всеми цветами радуги, как мыльные пузыри, стеклянные еловые шишки и ангелочки с лицами модниц начала века. Красные яблоки на шелковых лентах оттягивали ветки, увешанные серебряной мишурой и серебристо-золотым дождем. Все свечи были красные. На макушке елки сидел золоченый ангел, благословляя раскрытыми руками тех, чьи помыслы были чисты.

По традиции дома старший из присутствующих мужчин обычно читал вслух из Священного Писания. Вот уже много лет это делал Томас Кох.

— «Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь».

Под конец Томас сел к роялю и проиграл свое уже набившее оскомину попурри из рождественских песен. Эльвира слушала растроганно, Урс думал об очередном увеличении капиталовложений в электронику, Томас — о Саломее Винтер, двадцати трех лет, а Симона — о Конраде Ланге.

---

[1] Почему нет? (*англ.*)

Конрад Ланг сидел с сестрой Раньей в гостиной. И ни один человек не мог бы сказать, о чем думал он.

Утром в Рождество Симона постучала в дверь к своему свекру, полная решимости помочь свершиться рождественскому чуду. Томас Кох отнекивался, находил тысячу отговорок, протестовал, но Симона оставалась непреклонной.

Может, причиной тому была радость предстоящего отъезда на Карибское море, может, арманьяк 1875 года, к которому он усиленно прикладывался, отдавая дань тому, что это был год рождения его отца, может, его слабость ни в чем не отказывать хорошеньким женщинам, а может, он просто растрогался от одной только мысли, что способен на такой великодушный жест, — во всяком случае, перед своим отъездом Томас Кох появился в гостевом домике у Конрада.

Войдя в комнату и увидев, что Конрад продолжает неподвижно сидеть у окна, погруженный в себя, и смотреть в одну точку, он тут же раскаялся, что принял такое решение. Однако все же сел рядом с ним. Симона оставила их вдвоем.

— Урсу повезло с женой, — сказал Томас.

Конрад не понял.

— Ну, с Симоной, она вот только что вышла отсюда.

Конрад не смог вспомнить.

— Я отправляюсь завтра на яхту «Why not?».

Конрад не реагировал.

— На яхту Баренбоймсов, — попробовал помочь ему Томас.

— Ах так, — сказал Конрад.

— Тебе что-нибудь нужно? Принести тебе что-нибудь?

— А что?

— Что-нибудь.

Конрад задумался. Он попытался привести в порядок свои мысли, по крайней мере настолько, чтобы суметь дать ответ. Но когда ему уже показалось, что он сможет это сделать, он вдруг забыл, на что ему надо ответить.

— Так, так, — сказал он в конце концов.

Терпением Томас Кох никогда не отличался.

— Enfin bref[1], если тебе что придет в голову, дай мне знать.

— D'accord[2], — ответил Конрад.

Томас снова сел.

— Tu prefers parler français?[3]

— Si c'est plus facile pour toi[4].

Они стали разговаривать по-французски о Париже. Кони просвещал Томаса, у кого в это время года самые лучшие устрицы на Центральном рынке, и хотел также знать, будет ли он выставлять в этом сезоне Эклера на бегах в Лоншане[5]. «Чрево Парижа» снесли еще в 1971 году, а Томас с 1962 года больше не держал скаковых лошадей.

Трюк с французским у Симоны не сработал. Казалось, что для Конрада этот язык, дававший ему доступ к части его воспоминаний, был связан только с Томасом Кохом.

Но вечером ее ожидало второе рождественское чудо.

Симона обставила одну комнату на вилле полностью по своему вкусу — цветастая обивка кресел и канапе, цветастые шторы и диванные подушки, много кружев, икебаны из сухих цветов и аромат летнего вечера, источаемый бесчисленными вазочками с засушенными цветочными лепестками. Урс насмешливо обозвал эту комнату а-ля «Лаура Эшли»[6] и не скрывал, что находит ее отвратительно безвкусной. Но для Симоны это было ее единственное пристанище в огромном доме смешанных стилей — мрачного грюндерства и голого прагматичного «баухауза»[7].

---

[1] Короче говоря (*франц.*).
[2] Договорились (*франц.*).
[3] Ты предпочитаешь говорить по-французски? (*франц.*)
[4] Если это для тебя легче (*франц.*).
[5] Ипподром в Булонском лесу в Париже.
[6] «Лаура Эшли» — всемирно известная дизайнерская фирма.
[7] Школа функционального конструирования в Германии 20—30-х гг.

Симона вошла в комнату «Лауры Эшли» и увидела на своем письменном столике желтый конверт. На клочке бумаги было наспех нацарапано: «Нашел все же парочку фотографий. Боже, какие мы стали старые! Желаю успеха! Томас».

Все фотографии были однотипные. Беспечные молодые люди в лыжных костюмах пятидесятых годов за длинным столом, на горной лыжной трассе. Беспечные молодые люди в купальных костюмах шестидесятых годов у поручней на яхте. Беспечные молодые люди в вечерних туалетах пятидесятых годов и в бумажных шутовских колпаках, с гирляндами на шее в новогоднюю ночь за длинным столом. Беспечные молодые люди в легкой, спортивного кроя одежде пятидесятых годов в открытом кабриолете. На всех фотографиях без труда узнавался Томас, и на многих мелькал также Конрад Ланг.

Конрад Ланг отреагировал на фотографии именно так, как Симона и ожидала.

— Это было на Новый год, — сказал он, когда она показала ему снимок, где была запечатлена радостная компания в праздничных одеяниях. — В отеле «Палас».

— В каком году? — спросила Симона.

— В последнем.

На фотографии в кабриолете он показал на кучера:

— Вот это Питер Корт. В 1955 году он столкнулся под Дувром лоб в лоб с грузовиком, перевозившим скот. Тогда Питер только три месяца как вернулся из Европы, где он отвык от левостороннего движения. Ему было всего двадцать шесть лет.

Глядя на фотографию в горах, он удивленно покачал головой:

— Серж Пайо! Кто бы мог подумать, что он еще жив!

Затем схватил групповую фотографию на яхте и улыбнулся:

— «Tesoro»! Клаудио Пьедрини и его брат Нунцио. И...

Он яростно порвал фотографию на мелкие клочки, бормоча:

— Свинья! Подонок! Эта проклятая свинья!

Потом закрыл рот и больше уже не произнес ни слова.

Когда Симона склеила кусочки разорванной фотографии, ей не бросилось в глаза ничего особенного. Томас обнимает какую-то девушку, как, впрочем, и на всех остальных фото, где Конрада нет.

Кони проснулся посреди ночи и сразу понял: он ненавидит Томи. Он только не знал за что, но чувство ненависти переполняло его. И то, что этот гнев направлен именно против Томи, он тоже знал, потому что спокойно мог думать обо всех людях, с которыми встречался в жизни, — об Эльвире Зенн, ее муже, о Йозефе Цельвегере с хутора и его тощей жене, об учителе музыки Жаке Латуре — и никогда не испытывал по отношению к ним ничего, разве что некоторую антипатию или страх.

Теперь, когда он вспоминал Томи, сердце его на мгновение останавливалось, он чувствовал, как кровь бросается ему в голову и им овладевает одно только желание — убить эту подлую свинью!

Кони выпрямился в кровати, потом встал. Дверь тут же открылась, и в полосе света голос сестры Раньи пропел:

— Mama Anna isn't here.

— I'll kill the pig[1], — выдавил из себя Конрад.

Сестра Ранья зажгла свет и испугалась, увидев выражение его лица. Она подошла к нему и обняла его.

— Which pig?[2]

Конрад задумался. Which pig? Он этого уже не помнил.

На следующий день Симона снова принесла фотографии.

— Это было в новогоднюю ночь 1959 года, — сказал он. И еще: — Питер Корт! А я думал, он погиб в автомобильной катастрофе. — И снова: — Ах, Серж Пайо! И Томи, эта свинья!

— Почему Томи свинья? — спросила Симона.

— Это всем известно, — ответил он.

---

[1] Я убью эту свинью (*англ.*).

[2] Какую свинью? (*англ.*)

С неспокойной совестью поехала Симона на следующий день в Цюрс вместе с Урсом («Ты еще припоминаешь? Это я, Урс, твой муж!» — выкрикнул он ей недавно, когда она вернулась из гостевого домика) покататься на лыжах с гор и встретить Новый год. Фотографии она отдала сестре Ранье, чтобы та могла посмотреть их с Конрадом.

Когда она вернулась, его летаргия уступила место чему-то другому. Ей показалось, что это ненависть. Сестра Ранья подтвердила, что это так. Она рассказала, что он стал беспокойным по ночам, что ему снятся всякие ужасы и что он иногда просыпается со страшной ненавистью на лице.

— Значит, мы больше не будем показывать ему фотографии, — сказала Симона.

Сестра Ранья поглядела на нее удивленно.

— Но тогда мы лишим его эмоций.

И Симона продолжила сеансы с фотографиями.

— Что за фотографии? — поинтересовалась Эльвира Зенн.

Доктор Штойбли, докладывая ей о состоянии Конрада, бросил одну короткую фразу:

— Кажется, он съехал еще ниже. Практически не реагирует больше на фотографии.

Доктор Штойбли описал ей те фотографии, которые Симона все время показывала Конраду. Сначала намечался некоторый успех, но в последнее время уже никаких результатов — он ничего больше не мог вспомнить.

— А тот успех, в чем он выражался?

— Это возбуждало его. Он начинал много говорить. Правда, путал все времена и события, но для картины болезни это нормально.

— Что он рассказывал?

— О людях на фотографиях, о тех местах, где они были сделаны. Отчасти даже удивительно. Ведь все-таки фотографии сорокалетней давности.

— А теперь он на них больше не реагирует?

— Почти нет. Та часть мозга, где хранились эти воспоминания, похоже, теперь тоже поражена.

Доктор Штойбли много бы дал, чтобы узнать, почему Эльвира вдруг успокоилась.

8

Прошел год с небольшим после того как кучер Фаусто Бертини, ехавший на санях, нашел его в снежном сугробе в Штацерском лесу, и казалось, что Конрад Ланг полностью ушел в себя. Единственными людьми, которых он воспринимал, были сестра Ранья, при виде которой он буквально расцветал, стоило ей войти в комнату, и с которой он ровно и гладко разговаривал на корректном английском, и Жозелина Жобер, занимавшаяся с ним трудотерапией — с ней он рисовал кисточкой свои акварели четкими мелкими штрихами.

Стоял безрадостный январь, озеро внизу скрылось за пасмурной пеленой, целыми днями шли холодные дожди.

Симона переживала седьмой семейный кризис. Урс познакомился в горах с Терезией Пальмерс, попрыгуньей из Вены, которую вызвал на Новый год Эрвин Гублер, один из крупнейших в стране торговцев недвижимостью. Сейчас Урс поселил ее, следуя семейной традиции, в апартаментах люкс в отеле «Des Alpes». Симоне стало известно об этом — среди записок, сообщавших о поступивших телефонных звонках, лежала одна, на которой стояло: «Госпожа Терезия Пальмерс просит господина У. Коха позвонить ей в отель «Des Alpes» в апартаменты люкс». И номер телефона при этом.

Не столько сама афера беспокоила Симону, сколько совпадение некоторых событий. Она была беременна. Урс, правда, об этом еще не знал. Именно в тот день, когда она собиралась преподнести ему эту радостную весть, она нашла записку с номером телефона. И очень сомневалась теперь: знай все, вел бы он себя по-другому?

Тоскливый январь и безнадежность, медленно заползавшая в гостевой домик, делали свое дело. Впервые с тех пор как она взяла под свое крылышко Конрада Ланга, ее просто задавила свинцовой тяжестью чудовищная депрессия. Симона принуждала себя заходить к Конраду в привычное время, но это были тягостные минуты, проводимые обоими в молчании — каждый погружался в свою собственную безысходность. Все чаще случа-

лось так, что Симона уходила раньше обычного, и все чаще после этого она бежала в свою комнату «Лауры Эшли» и ревела там в одиночестве.

Похоже было, что Симона Кох, как и другие женщины, вот-вот бесследно исчезнет из жизни Конрада Ланга.

Эльвира Зенн выждала еще пару дней. Но из гостевого домика так и не пришло вестей об улучшении состояния Конрада Ланга, и тогда она уступила настойчивости доктора Штойбли и уехала в Гштад, где традиционно проводила свой зимний отдых в шале Кохов.

— Удаленность от дома пойдет вам на пользу, — сказал доктор и пообещал ей неустанно следить за происходящим. — Если что изменится, я позвоню вам.

— В любое время суток.

— Даже среди ночи, — солгал он ей.

Эльвира в Гштаде, Томас на Карибском море, Урс в тенетах любви — светская жизнь на вилле «Рододендрон» сошла на нет, и Симона из-за своего состояния ничего не предпринимала, чтобы как-то изменить положение. Она была рада почувствовать себя свободной от семейных обязательств, не вылезала из кровати дотемна или просто сидела в своей комнате и выходила, только чтобы нанести визит Конраду Лангу.

Однажды в пасмурную туманную субботу — холодный затяжной дождь барабанил в окна, не видно было даже буков возле беседки, и Урс уехал якобы по делам на уик-энд в Париж — Симона почувствовала в руках и ногах такую тяжесть, словно они превратились в тяжелые мокрые ветви старых елей, что росли у нее под окном, и она не пошла к Конраду.

Она и на другой день не вышла из своей комнаты. И даже на следующий ей удалось почти до вечера не думать о нем, но в дверь вдруг постучали.

Пришла сестра Ранья, прослышавшая, что Симоне нездоровится, она хотела спросить, не нужно ли ей чего. И еще она принесла акварель от Конрада. На акварели был изображен пестрый сад, на краю его торчал обломок ствола. Рядом с обломком Конрад написал красками слово «дерево». Ее тронула даже не столько сама картина, сколько то, что было написано корявыми буквами внизу под ней: «Конрад Ланг. Собственно, я еще хотел написать об этом».

Что он хотел написать? О чем? О причудливом саде из красных, зеленых, желтых и синих змеиных линий, кругов, крапинок и длинных лент, означавших, возможно, живые изгороди, дорожки, пруды, кусты, цветы на клумбе? Или о написанном крупными буквами слове «дерево» рядом с маленьким невзрачным обломком от него?

Может, он хотел написать, что и обломок все еще живое дерево?

«Собственно, я еще хотел написать об этом». И что помешало ему? То, что он уже забыл о чем? Или что рядом с ним не было никого, кто мог бы понять, что он имеет в виду? Акварель доказывала, что еще много чего происходит в этом мозгу, о котором врачи говорили, что скоро он будет не в состоянии управлять простейшими функциями организма.

И Симона Кох не исчезла из жизни Конрада. Напротив, она решила сделать все, чтобы он не исчез из ее.

Для доктора Вирта явилось большой неожиданностью, когда во время очередного визита ему сообщили, что его просят ненадолго зайти к госпоже Симоне Кох.

Теперь он сидит в этой своеобразной девичьей светелке, так не соответствовавшей духу этого дома, и пытается объяснить, что болезнь Альцгеймера по-прежнему остается неизлечимой.

— По состоянию больного на сегодня в нашем распоряжении есть только то, к чему мы уже давно прибегаем. И в общем у нас прекрасные результаты. А то, что мы наблюдаем сейчас, так это переход в новую стадию. И он неизбежен, госпожа Кох. Его нельзя остановить. Пока еще нельзя.

— Пока еще? А что, есть перспектива задержать развитие болезни?

— Некоторые специалисты считают, что даже в обозримом будущем.

— Что за специалисты?

— Болезнь Альцгеймера — большая проблема, и ее решение сулит огромные прибыли. Поэтому практически нет ни одной фармацевтической фирмы, которая не проводила бы исследования в этой области.

— И уже есть ощутимые результаты, это вы имеете в виду?

— Каждый месяц новые, порой многообещающие.

— Почему же вы не пробуете использовать их? Разве господину Лангу есть что терять?

— Ему-то, конечно, нет, зато мне есть. Эти медикаменты еще не допущены к применению в медицинской практике.

— Но разве не проводят иногда испытания в случае добровольного согласия больного?

— Эта стадия болезни уже исключает сознательное проявление доброй воли.

— Значит, тогда вообще невозможно провести эксперимент на пациенте, страдающем этой болезнью?

— Нет, почему же. Если пациент на ранней стадии заболевания дал на то свое согласие. Так сказать, в профилактических целях.

— И кому он должен был его дать?

— Обычно — лечащему врачу.

— Вам он дал его?

— Нет.

— Почему?

— Мы это с ним не обсуждали.

— Другими словами, вы ему этого не предлагали?

— Обычно это и не делается. — Доктор Вирт начал ощущать некий дискомфорт. — Могу ли я еще быть вам чем-нибудь полезен? Меня ждут в клинике.

— А разрешается ли провести такое испытание без согласия пациента?

Доктор Вирт встал.

— Это очень сложно.

— Но не невозможно?

— Да. Вероятность есть.

— Тогда я попрошу вас выяснить этот вопрос.

— Я охотно это сделаю, — пообещал доктор Вирт. — А вы пока попытайте счастья еще разок с фотографиями, но только из другого периода жизни. Таким способом иногда удается кое-что расшевелить.

Целую неделю она ничего не слышала о докторе Вирте, но наконец случайно встретила его в одном дорогом ресторане. Ее привел туда Урс, чтобы рассеять подозрения, которые она, по его ощущению, питала. Доктор Вирт сидел через несколько столиков от них с очень привлекательной дамой, по виду ей было лет пятьдесят пять. Чувствовалось, что это не деловой обед. Дама показалась ей знакомой. И только когда они покидали ресторан, Симона узнала ее: Розмари Хауг, подруга Конрада, которая давно не показывалась.

Вероятно, Симона была несправедлива по отношению к доктору Вирту, но в тот момент решила сменить невропатолога. Это решение и великолепное «бордо» настолько окрылили ее, что она отважилась на отчаянный шаг и призналась Урсу, что беременна.

Ее признание положило конец всему — Терезии Пальмерс, «Grand Hotel des Alpes» и апартаментам люкс.

— Не знаете ли вы хорошего невропатолога? — спросила она у своего гинеколога доктора Шпёрри.

— Вам не нужен невропатолог, небольшая депрессия на ранней стадии беременности обычное явление.

— Я опекаю одного больного, у него Альцгеймер, — пояснила она.

— С целью приобретения навыков ухода за младенцем? — Гинеколог Симоны иногда бывал крайне бестактным.

Закончив осмотр, он написал ей адрес одного невропатолога и даже договорился для нее о дне и часе приема.

— Поменьше занимайтесь теми, кто болен Альцгеймером, это плохо действует на психику.

Невропатолога звали доктор Штайнер. Он выслушал ее и сказал:

— Многообещающие наметки уже есть, это правда. Некоторые из препаратов, возможно, будут скоро допущены к использованию в медицинской практике. Доктор Вирт относится к той горстке врачей, которые проводят клинические испытания одного из них. Если он не сделал этого в отношении данного пациента, значит, на то есть причины.

Симона не стала упоминать Розмари Хауг.

— Он не получил своевременно его согласия, а сегодня это сделать очень трудно, болезнь прогрессирует. — Что-то в реакции доктора Штайнера побудило Симону спросить: — Или вы придерживаетесь на этот счет другого мнения?

— Видите ли, госпожа Кох, обычно складывается очень щекотливая ситуация, когда приходится не соглашаться со своим коллегой. Особенно если обладаешь далеко не полной информацией, как, например, я. — Он задумался на мгновение. — Но чисто теоретически я вам отвечу: возможность проверить на пациенте химические соединения, которые успешно прошли предварительные клинические испытания, не вызвав при этом у здоровых, добровольно подвергшихся эксперименту людей вредных побочных эффектов, существует. Для этого требуется или согласие больного, или, если это уже невозможно, его родных. И разрешение Комиссии по вопросам медицинской этики.

— А если у него нет родных?

— Тогда это вправе сделать официально назначенный опекун.

— А разрешение Комиссии по вопросам медицинской этики получить можно?

— Если течение болезни оправдывает испытание и все случаи риска точно просчитаны, тогда можно получить от них разрешение на разовый эксперимент.

— Вы тоже проводите такие испытания?

Доктор Штайнер отрицательно покачал головой.

— Это делают профессора и приват-доценты, с которыми фармацевтические фирмы заключают договор на исследовательскую работу, а также врачи непосредственно в больницах.

— Вы знаете кого-нибудь из этих людей?

— Доктора Вирта.

— А кроме доктора Вирта?

— В вашем случае пациент пользуется частными услугами по уходу за больным. И это создает проблемы. Было бы проще, если бы он находился в клинике. Такое решение для вас приемлемо?

Симона не раздумывала ни минуты.

— Нет, об этом не может быть и речи.

— Тогда это будет трудно сделать.

— Но может, вы все-таки попытаетесь выяснить как?

Доктор Штайнер колебался.

— Ну пожалуйста.

— Я дам вам знать.

Когда Симона вошла в гостиную, Конрад Ланг сидел за столом. Его рука покоилась на большом пластиковом мяче с яркими цветными полосками. Она села рядом с ним. Через какой-то промежуток времени он оторвал свой взгляд от мяча и посмотрел на нее.

— Погляди, — сказал он и показал на мяч, — как это все уходит назад.

— Ты имеешь в виду цветные полоски?

Он поглядел на нее изучающим взглядом, как учитель на безнадежно тупую ученицу. Потом покачал головой, засмеялся и принялся снова изучать мяч.

— Да, теперь я тоже вижу, — сказала Симона.

Конрад удивленно взглянул на нее.

— А как вы вошли сюда?

Сразу после этого посещения Симона отважилась на отчаянный поступок. Она взяла ключ от «Выдела» — он висел на вилле в кладовке возле кухни. Выждала, пока охрана совершит свой обход и покинет территорию виллы. И после этого вышла из дома. День был пасмурный. Везде уже зажглись огни, и был густой туман. Плащ Симоны за недолгий путь вниз по парку до «Выдела» основательно намок. Она вошла в переднюю, словно имела на то полное право.

В доме было тепло и хорошо проветрено. На комоде рядом с вешалкой, как обычно, стояли свежие цветы. Эльвира всячески поддерживала у прислуги уверенность в том, что может в любое время без предупреждения вернуться домой и должна найти все так, как если бы вышла из дома всего на несколько часов. Симона постояла какой-то момент в нерешительности в прихожей, обдумывая, с чего начать. И направилась в «утреннюю» комнату.

И здесь тоже свежий букет цветов. А на столе у окна сегодняшние нетронутые газеты. Единственная мебель, которая могла бы ее здесь заинтересовать, это небольшой сервант из вишневого дерева. Она по очереди открывала одну дверцу за другой. Все, что она нашла, был чайный сервиз из майсенского фарфора на двенадцать персон, еще кое-какая посуда для завтрака, несколько бокалов и рюмок и бутылки с разными ликерами.

В «утренней» комнате, помимо двери в прихожую, была еще одна — она вела в гардеробную. Симона открыла эту дверь и обмерла от страха — в тот же момент на противоположной стене открылась дверь и обозначился женский силуэт. Но уже в следующий миг она сообразила, что противоположная стена — сплошное зеркало. По обеим сторонам комнаты находились высокие раздвижные двери. Когда Симона открыла одну из них, в шкафу-купе, куда свободно можно было войти, зажегся свет.

Она безуспешно обыскала четыре таких шкафа с платьями, бельем, блузками, туфлями, шубами и костюмами. И вдруг обнаружила дверную ручку на зеркальной стене. Она открыла еще одну дверь — та вела в элегантную ванную комнату, облицованную мрамором в изумрудных тонах. Симона проверила несколько зеркальных шкафчиков, выдвижных ящичков, набитых косметикой, маленький холодильник с ампулами инсулина и прошла в следующую дверь.

Спальня Эльвиры Зенн.

Ни следа от холодной сдержанности, ясных четких линий и подобранности цветов, как в других помещениях. Здесь царил безудержный хаос из югендстиля, барокко, бидермайера и стиля в духе Беверли-хиллс. В комнате пахло пудрой и тяжелыми духами, спальня уже наполовину погрузилась в рано надвинувшуюся темень сумеречного дня.

Симона задернула гардины, зажгла свет и решила заняться сначала секретером.

В общую программу договорных обязательств частной охраны входили также дополнительные патрульные рейды. «Вызываем дополнительный патрульный рейд на виллу «Рододендрон», — раздалось в переговорном устройстве, когда, закончив работу, охранники уже въезжали в подземный гараж центральной диспетчерской.

— Проклятая контрольная камера, — выругался Армин Фрей, сидевший за рулем.

— Но мы ведь можем быть уже дома, — предложил Карл Вельти. У него было назначено свидание с хорошенькой ассистенткой зубного врача.

— Однако мы же еще не ушли, — возразил Армин Фрей, которому ни с кем не светило свидание, разве что с собутыльниками в его постоянном кабаке, где он мог бы сказать за столом: «А знаете, что сегодня опять выкинула с нами эта чертова контрольная камера?»

Он развернулся и поехал назад к вилле «Рододендрон».

— По крайней мере остановиться на минутку у телефона-автомата, ты, зануда, в состоянии?

— Так уж сразу и зануда, и все только потому, что не надуваю работодателя.

— Вон телефонная будка, эй, зануда!

Когда они снова прибыли на виллу, уже совсем стемнело. Они открыли ворота и доложились в домофон:

— Охрана. Дополнительный патрульный рейд. — И направились в мокрый парк, пробивая сетку дождя пучками света карманных фонариков.

Дойдя до «Выдела», они заметили полоску света в окне спальни — искрились и вспыхивали мокрые листья рододендрона.

— Но этот объект помечен как временно нежилой, — сказал Армин Фрей.

— Только этого нам не хватало, — простонал Карл Вельти.

Симона совсем отчаялась. И в спальне ничего. Она погасила свет. Стоя в темноте, она не отрывала глаз от секретера. Здесь что-то все-таки не так. Она снова зажгла свет и поняла, что сделала неправильно: крышка секретера была поднята вверх, когда она вошла в комнату, а сейчас она была опущена. Она захлопнула ее и повернула ключ. Но язычок не вошел, замок не запирался. Она попробовала еще раз и еще. И когда ничего не вышло, она крутанула ключом в другую сторону. Тот легко повернулся, и замок защелкнулся.

Она опять погасила свет, но снова поглядела на секретер: опять что-то не так. Включив свет в третий раз, она увидела, что боковая стенка верхней части секретера отошла. Симона приблизилась и убедилась, что стенка открывается, как дверка. По-видимому,

поворотом ключа в другую сторону она отперла ее. За дверкой скрывался тайник — полое пространство в двойной задней стенке. Там и лежали девять фотоальбомов в разных переплетах.

Симона вынула их, защелкнула потайную дверцу и потушила свет.

Но стоило ей открыть дверь в прихожую, как ее ослепили два мощных пучка света.

— Охрана. Не двигаться, — приказал возбужденный голос.

Оба охранника знали Симону и тут же извинились.

Симона извинения отклонила.

— Это приятное чувство, когда охрана не дремлет. Могу я вам что-нибудь предложить?

Армин Фрей не отказался бы. Но Карл Вельти сухо сказал:

— Спасибо, мы на работе. — Если не мешкать, он еще успеет на свидание.

Армин Фрей решил ему отомстить и стал медленно доставать блокнот из нагрудного кармана.

— Ну, тогда нам только понадобится еще ваша подпись.

— Оставь, в случае хозяев это не обязательно.

— Этот дом был заявлен как временно нежилой. — Армин Фрей начал педантично заполнять отчетный бланк: место нарушения — спальня на «Выделе», время нарушения — 18 часов 35 минут.

— Мне бы тоже не хотелось, чтобы вы подали рапорт. Речь идет о сюрпризе для госпожи Зенн к ее восьмидесятилетию. — И она указала на фотоальбомы.

Армин Фрей выразил понимание.

— Ах, вот что. Мы такое тоже проделали, когда моему отцу стукнуло шестьдесят. Со старыми фотографиями.

— Именно так, — сказала Симона.

— Так, так, — торопил его Карл Вельти.

Альбомы относились к разным периодам. Большинство из них к концу пятидесятых — началу шестидесятых годов, на фотографиях был запечатлен грузный, слегка вульгарный Эдгар Зенн и юная Эльвира, тоненькая и элегантная, казалось, державшаяся на дистанции, словно посторонняя. На отдельных снимках можно было увидеть Томаса Коха, но нигде не было Конрада Ланга.

В одном альбоме были собраны фотографии первых послевоенных лет. На большинстве из них красовался Томас: в школьной форме, на теннисном корте, в спортивном лыжном костюме, верхом на лошади и, наконец, во время конфирмации. На некоторых из этих снимков попадался один и тот же нескладный мальчик, возможно, это и был Конрад.

Второй из самых старых альбомов был, видимо, сделан еще до войны. Там было полно фотографий самых знаменитых в мире мест, и почти на всех была узнаваема молодая Эльвира иногда с одним, а иногда с двумя маленькими мальчиками.

Самый первый альбом содержал фотографии тридцатых годов. Почти все снимки были сделаны на вилле «Рододендрон» или в парке рядом с домом. И на них — ребячливого вида Эльвира и стареющий Вильгельм Кох.

А еще пустые места с остатками белых клочков от вырванных с мясом фотографий.

На следующий день Симона сделала лазерные копии с тех трех альбомов, где встречался Конрад. И — сама не зная почему — с того, где были вырваны фотографии. Затем она снова пошла на «Выдел» и положила все девять альбомов назад в тайник. Вернувшись в гостевой домик около полудня, она застала раздраженную сестру Ирму Катирич.

— Не ест, — с упреком выкрикнула та, будто Симона была в этом виновата.

Она вошла и увидела Конрада сидящим за столом, перед ним стояли тарелка с нетронутыми канелони[1] с овощной начинкой, стакан свежевыжатого сока из моркови, сельдерея и яблок и блюдечко с листьями салата.

Сестра Ирма наклонилась, подняла с пола салфетку и энергично повязала ее Конраду.

— Так, теперь мы покажем нашей гостье, как хорошо мы умеем кушать. — Когда

[1] Короткие толстые макароны с начинкой.

она раздражалась, с ней случались такие казусы: она начинала разговаривать как больничная сестра, забывая, где находится.

Конрад сорвал с себя салфетку и бросил ее на пол.

— Сейчас получишь, — зарычал он на сестру.

Ирма воздела глаза к небу и демонстративно вышла.

— Мне нужна твоя помощь, — сказала Симона. Конрад удивленно посмотрел на нее.

— У меня есть несколько фотографий, и я не знаю, кто на них.

Она помогла ему встать (после воспаления легких он иногда чувствовал слабость в ногах), и они уселись рядышком на тахте. Симона принесла альбом, где был сфотографирован нескладный мальчик, про которого она думала, что это Конрад.

— Вот тут, например. Ты не можешь сказать, кто эти люди? — Снимок был сделан на колесном пароходе. Несколько мальчишек-сверстников с рюкзаками за спиной и взрослый мужчина тоже с рюкзаком и в белой фуражке с козырьком.

Конрад даже задумываться не стал.

— Вот это Баумгартнер, наш классный учитель. Во время школьной экскурсии на Рютли[1]. Это Хайнц Альбрехт, это Йозеф Биндшедлер, это Мануэль Айххольцер, это Рихард Мартхалер, мы звали его Мартели, а толстяк — это Марсель фон Гунтен. Томи тот, кто без рюкзака.

— А почему Томи без рюкзака?

— У нас был один на двоих.

— И? Ну, как прошла экскурсия?

— Когда Фуррер делал это фото, дождь как раз перестал идти.

— А кто такой Фуррер?

— Учитель географии. А здесь вот Томи на горной лыжной трассе «Ланигиро» в Санкт-Морице. «Ланигиро» то же самое, что «Оригинал», только написано задом наперед, это такой знаменитый веселый оркестр, они часто играли в Санкт-Морице. И я их снял.

Конрад лихорадочно листал альбом. Все фотографии, на которых он находил себя, он комментировал в мельчайших подробностях. Если не сразу вспоминал чье-то имя, сердился, как это делают те, с кем подобное случается редко.

— Ну вот, прямо вертится на языке, — говорил он каждый раз.

Он смог дать объяснения и к некоторым фотографиям, где его не было.

— Это Томи верхом на Relampago, по-испански значит «молния». Тогда я был еще на хуторе у Цельвегеров. Когда я вернулся на виллу «Рододендрон», жеребца уже продали.

По поводу одной фотографии Томаса с двумя молодыми людьми в пуловерах для игры в крикет и с теннисными ракетками в руках он сказал:

— Это Томас с нашими room-mates[2] в «Сен-Пьере», Жаном Люком де Ривьером и Питером Кортом. А я заработал retenu, потому что меня застукали в деревне.

— Что такое retenu? — спросила Симона.

— Арест.

Сестра Ирма, вернувшаяся в комнату, опять начала ругаться:

— Сейчас вы снова заработаете retenu, потому что ничего не едите.

Кони послушно встал, сел к столу и начал есть.

Тридцативосьмилетний доктор Петер Кундерт был психоневрологом. В больнице Св. Магдалены он участвовал в проведении клинических испытаний, которые сам лично считал пустой тратой времени. Его ровесник доктор Ян О'Нейл был биохимиком. Родом из Дублина, он был членом исследовательской группы при одной фармацевтической фирме Базеля, занимавшейся теми же проблемами.

Они познакомились и подружились. За бокалом вина они признались друг другу в своих сомнениях. В поздний час О'Нейл рассказал Кундерту о химическом соединении РОМ-55, у которого, по его мнению, было гораздо больше шансов. Кундерт допустил на следующий день непростительную ошибку, рассказав обо всем своему шефу. Тот воспринял это как критику в адрес собственного проекта. И тем самым вероятность испытать препарат О'Нейла в больнице Св. Магдалены сошла на нет.

---

[1] Альпийский луг на левом берегу Уринского озера, где по преданию в 1291 г. лесные кантоны дали клятву, заключив «вечный союз», заложивший основы Швейцарской Конфедерации.

[2] Товарищи по комнате (*англ.*).

Лабораторные биологические тесты РОМ-55 закончились, и их результаты были настолько обнадеживающи, что теперь пришло время приступить к клиническим испытаниям, безусловно, под руководством О'Нейла, что означало бы конец совместной работы друзей. Поэтому они оба проявили немалую заинтересованность, как только услышали от доктора Штайнера о существовании пациента с болезнью Альцгеймера, находящегося в исключительно благоприятных условиях частного ухода. Это могло дать им шанс, и Кундерт, не бросая работы в больнице Св. Магдалены, принял бы участие в проекте друга. Пусть даже и не совсем официально.

Кундерт и О'Нейл оба пришли в восторг от состояния пациента. Утрата навыков или явные признаки распада речи свидетельствовали, что болезнь уже сильно запущена. Никакая Комиссия по вопросам медицинской этики не дала бы им в таком случае разрешения на проведение эксперимента. Они сидели в комнате Симоны, как два маленьких мальчика в ожидании новой игрушки, которую получат, если будут вести себя хорошо.

Кундерт был высокого роста и слегка горбился, словно хотел казаться поменьше. На лице его все время блуждала улыбка, он носил очки, снимал их при разговоре и держал в руке. В его черных волосах уже пробивались седые пряди.

О'Нейл был маленький и крепкого телосложения, его каштановые волосы потускнели от частого употребления лака, которым он пользовался, не давая торчать им в разные стороны. А выражение лица было как у дворняжки, которая не пропустит ни одной уличной драки.

Первым заговорил Кундерт:

— Хотя господин Ланг рассеян, но удивительно восприимчив к окружающему, даже если и не очень ясно отдает себе отчет в том, где и в какое время находится. Нас он постоянно называл де Ривьер и Корт.

— Это его товарищи по комнате в «Сен-Пьере», в сороковые годы, — пояснила Симона.

— Он говорит удивительно живо и обладает поразительным запасом слов. Он даже разговаривал с нами по-французски и по-английски. И это означает, что то, что мы называем афазией, то есть распадом речи, еще не наступило или находится в зачаточной стадии.

— Так было не всегда, были периоды, когда он не говорил ни слова. Только с момента, как я нашла фотографии его юности, он опять проявляет ко всему интерес и демонстрирует красноречие.

— Важно, чтобы в период лечения вы продолжали рассматривать с ним эти фотографии.

— А вы думаете, есть шанс его вылечить? — спросила Симона.

Оба доктора посмотрели друг на друга. Теперь заговорил О'Нейл. Он говорил на хорошем немецком, но с английским акцентом и редкостной интонацией ирландцев, заканчивающих каждую фразу вопросительно.

— Для мозга больного Альцгеймером типичны три важнейших характерных признака: во-первых, бляшки, откладывающиеся на стенках сосудов головного мозга; во-вторых, чувствительные к воспалению нервные клетки; в-третьих, нейрофибриллы, тонкие волоконца в теле нервной клетки, утратившие свои функции.

Симона беспомощно смотрела на О'Нейла. Он почувствовал, что должен дать кое-какие разъяснения:

— Три важнейших альцгеймеровских признака, и мы не знаем, обусловливает ли один появление другого, короче, что из чего вытекает. — Господин Ланг стал бы одним из первых, на ком мы попробовали бы новый препарат РОМ-55.

— Чем он рискует?

— Тем, что болезнь будет прогрессировать.

— Это грозит ему и без эксперимента, — сказала Симона.

Октябрь. Вторая половина дня. Кони стоит перед оранжереей рядом с компостной кучей. От влажного замшелого кирпича, из которого сложен фундамент и пол теплицы, тянет гнилью. Отсюда видна скользкая мокрая листва на дорожке к домику садовника.

Они условились, что он стукнет два раза в оконное стекло позади себя, если случится что-нибудь непредвиденное. И что будет стоять спиной к оранжерее и ни при каких обстоятельствах не повернет головы. Он прятал в правой руке маленькое кругленькое зеркальце, с помощью которого шпионил.

Нельзя сказать, что он так уж много видел. В оранжерее царил полумрак, и цветочные горшки и веера убранных сюда на зиму пальм все загораживали. Но под определенным углом зрения он иногда нечетко видел, как мерцает в черной зелени оранжереи белое тело Женевьевы, покладистой дочери главного садовника, — не то грудь, не то упругая попочка. Про Женевьеву говорили, что та позволяет делать с собой что захочешь. Одни только фантазии на эту тему превращали свидания с ней в бурные и короткие встречи, во время которых неопытные любовники лишь безнадежно распаляли себя. Кони в число любовников не входил. Но в последнее время, когда он додумался до уловки с зеркальцем, он постепенно все чаще видел себя в роли любовника и представлял, что это он, а не кто другой, дрожащими руками стаскивает с нее розовые панталончики — или, может, бюстгальтер? — и обнажает ее зад — а может, грудь?

Кони стоял перед оранжереей рядом с компостной кучей. Вдруг он почувствовал запах погасшей сигареты. Он поднял глаза и увидел рассерженного главного садовника. Кони потерял самообладание и стукнул два раза в стекло.

Теперь он сидел в комнате в своем кресле и ждал, что будет.

Дверь вдруг отворилась, и Женевьева вошла с пылесосом. Она улыбнулась ему и начала пылесосить. Он смотрел на нее, как она манипулирует щеткой, медленно приближаясь к нему. Она отодвинула маленький столик, стоявший между его креслом и тахтой, и пропылесосила коврик у его ног. Теперь она подсунула трубку под тахту. Щетка застряла там, и она наклонилась. Ее зад был сейчас на уровне глаз Конрада. На ней самой — светло-зеленый рабочий фартучек-юбочка, едва доходивший ей до подколенных ямочек. Конрад знал, что Женевьева ничего не будет иметь против, если он возьмется обеими руками за подол фартучка и поднимет его. Он так и сделал. Какую-то долю секунды он разочарованно смотрел на смятые цветные трусики, затиснутые в прозрачные белесые колготки, потом услышал крик, а потом у него запылала щека от полученной пощечины.

У него тут же потекли слезы.

— ‘звините, ‘звините, но не надо юбка вверх, господин Ланг, — запричитала уборщица-румынка, когда вошла сестра Ирма, наблюдавшая всю картину по монитору.

— У нас пациентов не бьют, даже если они грязные похотливые старики.

Одним из новшеств, введенных доктором Кундертом, стала запись показаний монитора. На сутки хватало двух комплектов видеокассет, которые все время менялись, а потом перезаписывались, если не происходило ничего особенного. Таким образом он имел возможность изучать записи, сделанные медперсоналом за время его отсутствия.

Доктора Вирта не посвящали в планы предстоящего эксперимента, но поскольку он всегда приходил точно в назначенное время, не составляло труда предотвратить нежелательную встречу обоих невропатологов. По просьбе Симоны доктора Штойбли тоже держали в неведении. Она не склонна была полагаться на тактичность и сдержанность домашнего врача в отношениях со своей старой пациенткой Эльвирой Зенн.

Симона и доктор Кундерт просматривали на мониторе вместе с сестрой Раньей сделанную запись сцены. Конрад Ланг неподвижно сидит в кресле, с поднятой головой и улыбкой на лице. Вот слева в кадре появляется с пылесосом в руках девушка-уборщица. Отодвигает столик, пылесосит под тахтой, наклоняется прямо перед его носом, и тогда Конрад, совершенно естественно, задирает ей подол и зарабатывает за это оплеуху.

— Такое поведение совершенно для него не свойственно,— удивилась Симона.

— В том, что характер пациента претерпевает изменения, нет ничего удивительного для картины этой болезни.

— Все из-за фотографий, — тихо произнесла сестра Ранья, — тех фотографий, которые вы с ним разглядываете. Он сейчас такой, какими бывают подростки.

— Можно мне взглянуть на эти фото? — спросил доктор Кундерт.

Сестра Ранья вопросительно поглядела на Симону. Когда та кивнула, она вышла из комнаты и вскоре вернулась с альбомом фотографий периода «Сен-Пьера». Остальные альбомы с копиями Симона держала в своей комнате.

Кундерт просмотрел снимки.

— Недурное времечко в жизни мужчины, — обронил он под конец. — Если все сложится удачно, мы отпразднуем успех раньше, чем он утратит эти воспоминания.

Симона не была особо уверена, что им это удастся. Уже в последующие дни, так ей

показалось, появились признаки того, что интерес Конрада к фотографиям угасает. И имена и обстоятельства, при которых они были сделаны, стали как-то стираться из его памяти.

Мало ей было проблем с другими людьми, так нет, появились еще и свои собственные. Первые три месяца беременности протекли без всяких неприятных ощущений. А теперь, на четвертом месяце, они появились.

— Не волнуйтесь по их поводу, — сказал ей врач.

— Скажите это моему мужу, — ответила она.

Сначала чрезмерная заботливость Урса растрогала ее, но мало-помалу он стал действовать ей на нервы. Каждый раз, когда она вставала ночью, он спрашивал: «У тебя все о'кей, мое сокровище?», и если она дольше обычного задерживалась в туалете, он стучал в дверь и шептал: «Тебе что-нибудь нужно, мое сокровище?» Раньше он никогда так не называл ее. Скрыть от него рвоту по утрам было трудно, и ему потребовалось немного времени, чтобы обратить это в средство давления на нее против общения с Конрадом Лангом.

— Я восхищаюсь твоим милосердием, но сейчас пришло время, когда ты должна больше уделять внимания себе. Предоставь заботу о нем специалистам!

Это совпало к тому же с возвращением Эльвиры.

За время ее отсутствия Симона постоянно спрашивала себя, выглядит ли на «Выделе» все точно так же, как до ее вторжения? А вдруг альбомы лежали в тайнике в другом порядке? Не оставили ли в них люди, делавшие копии, своих предательских значков и пометок?

Она нервничала и в тот вечер, когда Урс пригласил к ним на ужин Эльвиру в честь возвращения. Симона не заметила ничего тревожного для себя в ее поведении. Эльвира выглядела отдохнувшей. Ее лицо было спокойно, покрыто легким ровным загаром, а волосы, подкрашенные чуть светлее обычного, выгодно оттеняли загар.

Она спросила:

— Как дела у нашего больного?

— Соответственно обстоятельствам.

— Сидит и смотрит перед собой в одну точку?

— Нет, разговаривает.

— О чем?

— О прошлом.

— О чем конкретно?

— В настоящий момент о днях в «Сен-Пьере».

— Но с тех пор прошло уже больше пятидесяти лет.

— Он все больше углубляется в свои самые ранние воспоминания.

— Она дойдет с этим Кони. А ей ведь надо щадить себя. — Урс улыбнулся Симоне. — Может, мы объявим обо всем?

Симона встала и вышла из комнаты.

Урс продолжал сидеть с дурацким видом.

— Чего ты ждешь, иди за ней!

— Извини, видишь ли... Симона... Мы с Симоной...

— Я уже все поняла. Рада за вас.

Едва Урс вышел, Эльвира тут же встала.

Доктора Штойбли вдруг вызвали совсем поздним вечером. Около десяти часов он подошел к воротам виллы «Рододендрон» и встретился там с высоким молодым человеком, тот только что нажал на кнопку звонка в гостевой домик. Они кивнули друг другу в знак приветствия. Из домофона раздался голос Симоны:

— Доктор Кундерт?

— Да, это я.

— Я могу войти вместе с вами? — спросил доктор Штойбли.

Кундерт колебался.

— Я, право, не знаю, здесь довольно строго следят за предписаниями мер безопасности. Вас ждут на вилле?

— Нет, сегодня на «Выделе». Но я тоже часто бываю в гостевом домике у нашего пациента Конрада Ланга. Я доктор Штойбли.

По дороге он спросил Кундерта:

— Вы, вероятно, присоединились к нам недавно?

— Да, совсем недавно.

— Психиатр?

— Психоневролог.

— А доктор Вирт?

Они дошли до развилки. Штойбли остановился, дожидаясь ответа.

— Очень рад был познакомиться, — сказал Кундерт несколько поспешно и направился по дорожке к гостевому домику.

На «Выделе» его ждала взволнованная Эльвира.

— Ваш вид отнюдь не соответствует экстренному врачебному вызову, — улыбнулся Штойбли.

— Загар скрывает бледность. У меня поднялся сахар. И земля под ногами качается.

— Вам восемьдесят, и вы только что спустились с высоты в полторы тысячи метров.

— Мне еще не восемьдесят.

Он прошел за ней в спальню. И пока измерял ей кровяное давление, она бомбардировала его вопросами:

— Как у него дела?

— Без изменений с позавчерашнего дня, со времени нашего последнего с вами телефонного разговора.

— Вы тогда ни словом не обмолвились о его подробнейших воспоминаниях о событиях пятидесятилетней давности.

— Я этого не сделал, потому что это не так. Вашему кровяному давлению любой может позавидовать. Например, я.

— Симона говорит, он в деталях описывает свое пребывание в «Сен-Пьере».

— В данный момент он опять заговорил, но несет всякую чушь. Если она его понимает, тогда с ней самой не все в порядке.

— Она беременна.

— В таком случае она не должна разыгрывать из себя посреди ночи медсестру при молодом враче.

— А она это делает?

— Как раз сейчас. Я вошел вместе с ним. Некий доктор Кундерт, психоневролог.

— А что с доктором Виртом?

— Я тоже хотел это знать.

— И?

Штойбли пожал плечами.

— Ну так как у нас обстоят дела с сахаром?

— Я могу только сказать, как я себя чувствую, — холодно возразила Эльвира.

Доктор Штойбли начал копаться в своем чемоданчике.

— Что случилось с доктором Виртом?

— Я спрошу его об этом лично.

— Держите меня в курсе.

Эльвира отвернулась, когда доктор Штойбли уколол ее в кончик пальца.

Через два дня Кундерта уволили.

Штойбли навел справки у Вирта, какая конкретно роль отведена Кундерту в лечении Конрада Ланга. Вирт был наслышан о Кундерте. Доктор Вирт спросил профессора о Кундерте. Тот ничего не знал и незамедлительно вызвал Кундерта на ковер.

Кундерт принял удар довольно мужественно и дал относительно честный ответ. Разговор длился десять минут. И после этого Кундерту был вручен приказ об увольнении без предварительного уведомления. Основание: грубое нарушение условий договора о приеме на работу. Юридические нормы были соблюдены, и возразить было нечего.

Сейчас он сидел у Симоны, сгорбившись больше обычного.

— Не остается ничего другого, как искать место, и по возможности подальше отсюда. У профессора очень длинная рука.

— А вы можете себя представить штатным сотрудником среди нашего медперсонала? — спросила Симона. — Хотя бы временно. Пока не уладите свои дела.

— Шеф О'Нейла не допустит меня к испытаниям.

— И тем не менее.

— А что вам от этого проку, если мы все равно не сможем провести испытания?

— Мне хотя бы не придется больше видеть физиономию Вирта.

Кундерт улыбнулся.

— Это безусловно уважительная причина.

Врач больницы зарабатывает, конечно, немного, но денег, выделенных на Конрада, тоже слишком мало. Симоне не оставалось ничего другого, как поговорить с Урсом.

— Ты уверена, что это снимет с тебя тяжесть забот?

— Наверняка. Кундерт официально будет целиком и полностью занят только Конрадом.

— А что говорит Эльвира по этому поводу?

— Мне не хотелось бы обсуждать с ней все проблемы, вплоть до проблем с моей беременностью.

Этот аргумент возымел силу, и доктор Петер Кундерт мог немедленно приступать к работе.

9

Кони должен был оставаться лежать в постели, хотя и боялся темноты. Ему запрещали звать кого-нибудь или вставать. Иначе его заберут те горластые черные мужчины с белыми глазами, которые таскают уголь. Они приходили с тяжелыми черными мешками в подвал гостиницы, а уходили с пустыми. Однажды он видел, как один из них снова вышел с наполненным мешком. Он спросил маму Анну, а что у него там в мешке. «Такие же непослушные, как и ты».

— И что он с ними сделает?

— А ты как думаешь, что делают с непослушными?

Кони не знал, но рисовал себе картины одну страшнее другой. Но самое страшное было, если ему навсегда придется остаться в черном мешке. В вечной темноте. Раньше Кони никогда не боялся темноты. Только с тех пор, как они попали в Лондон. В Лондоне вдруг раздавался вой сирен, и потом вокруг делалось темно. Они готовятся к войне, так это называлось, и по людям было видно, что им тоже страшно. Собственно, он боялся воя сирен, но поскольку темнота была связана с этим воем, он стал бояться и темноты.

Кони мог, конечно, выбирать между боязнью темноты и страхом, что его засекут, если он зажжет свет. Случалось и так, что он выбирал второе и зажигал свет. За это мама Анна привязала его сейчас за ногу к кровати. Он слышал рядом с собой голос мужчины, но тот не должен был его видеть. Если этот мужчина увидит его, Кони попадет в черный мешок.

Сестра Ранья сидела в комнате наверху и наблюдала по монитору за спальней Конрада. В спальне было темно, и просматривались только контуры тела Конрада Ланга на белеющем фоне постели. Он не двигался, но она знала, что он не спит. Когда Конрад Ланг спал на спине, как сейчас, он храпел. Но храпа слышно не было. Только слабое дыхание и глубокие вздохи того, кто лежит ночью в темноте без сна. Сестра Ранья встала со стула и тихо пошла по лестнице вниз. Она осторожно нажала на ручку двери в спальню. Когда она вошла в комнату, она заметила, что он затаил дыхание.

— Господин Ланг? — позвала она шепотом. Никакой реакции. Она подошла к кровати. — Господин Ланг?

Конрад Ланг не шевелился. Теперь сестра Ранья забеспокоилась. Она поискала рукой выключатель, который находился рядом со звонком на перекладине над кроватью, и зажгла свет.

Конрад Ланг закрыл руками лицо.

— Я не зажигал света, мама Анна, — сказал он умоляющим голосом.

— Mama Anna isn't here, — сказала сестра Ранья и обняла его.

Передавая на следующее утро дежурство сестре Ирме, сестра Ранья рассказала ей о произошедшем ночью.

— Скажите доктору, бесы прошлого не дают ему спать.

Позднее Кундерт просмотрел с Симоной ночную запись.

— Почему же он так боялся света? — спросила Симона.

— Он вообще не боялся света. Боялся только зажечь его. Потому что мама Анна запрещала ему это. Он не боится света. Он боится мамы Анны.

Доктор Кундерт перемотал пленку назад. До того места, где Конрад Ланг закрывает лицо руками и умоляет: «Я не зажигал света, мама Анна».

— «Мама Анна», — повторила Симона. — Есть ли у вас какая догадка, почему он называет ее то мама Анна, то мама Вира?

— Возможно, на своем детском языке, — предположил Кундерт.

— А может, и так: два мальчика-ровесника, и оба называют своих матерей «мама». И это ведет к постоянной путанице. Отсюда мама Анна и мама Вира.

Через неделю пришло согласие Комиссии по вопросам медицинской этики на однократное проведение испытания препарата РОМ-55 на пациенте Конраде Ланге, шестидесяти семи лет. Доктор Кундерт никак не мог дождаться момента, когда можно будет сообщить об этом Симоне. Но Симона плохо провела ночь. Урс настоял на том, чтобы вызвать доктора Шпёрри. Тот зашел еще до начала своих приемных часов и прописал ей постельный режим.

Канделярия, домоправительница, получила строгие указания: никаких посетителей и никаких телефонных разговоров.

— Но это очень важно, — настаивал доктор Кундерт.

— Если доктор сказал «нет», значит, нет, — ответила Канделярия. — Вы ведь сами доктор.

Так что ему пришлось дожидаться второй половины дня, когда Симона почувствовала себя лучше и, несмотря на протесты Канделярии, пришла в гостевой домик.

— Можно начинать, — бросил на ходу Кундерт, когда она вошла в дежурную комнату, которая все больше превращалась в комнату наблюдения за больным по телемонитору.

Симона подумала сначала, что это относится к экрану, на котором было видно, как мучается возле постели физиотерапевт с безразличным ко всему Конрадом. И только заметив, с какой ухмылкой он ждет ее реакции, она все поняла.

— Вам дали зеленый свет?

— Завтра О'Нейл придет с установкой для РОМ-55. Послезавтра можно уже будет попробовать.

— Так быстро?

— С каждым днем промедления мы теряем все больше нервных клеток.

Симона присела к столу, на котором стояли кофейные чашки и термос. Она сильно изменилась за последние месяцы — почти перестала пользоваться косметикой и меньше следила за своей одеждой. По ее фигуре беременности почти не было заметно.

— Вам уже лучше? — спросил доктор Кундерт.

Симона кивнула.

— Можем ли мы на вас рассчитывать?

— Конечно, вы можете на меня рассчитывать. Но меня больше бы устроило, если бы вы отвели для меня время во второй половине дня.

Любимым фото Конрада был кабриолет «мерседес» на опушке леса. К машине прислонилась Эльвира, вся в белом — узкая миди-юбка, короткий двубортный жакет с широкими лацканами, перчатки, берет, надвинутый на правое ухо. И только туфли и чулки черные. На первый взгляд кажется, что она на снимке одна. Но когда Конрад увидел это фото в первый раз, он тут же обратил внимание Симоны на вихор за задним левым крылом «мерседеса»: «Кони». Потом Конрад показал на переднее левое крыло: «Томи». И там в выемке между фарой и радиатором можно было заметить спрятавшегося и глазевшего оттуда мальчишку.

— «Мерседес» дает сто десять километров в час.

С тех пор он каждый раз затаенно ждал, когда черед доходил до этого фото, заметит она что-нибудь или нет. И чтобы доставить ему удовольствие, она никогда не находила на снимке ничего примечательного, тогда он с детской радостью показывал ей обоих спрятавшихся мальчуганов. «Кони — Томи». И тут же деловито добавлял: «Мерседес» дает сто десять километров в час».

Если же на него нападали апатия и депрессия и он отталкивал от себя фотографии,

она все же каждый раз могла вытащить его из этого состояния с помощью любимой фотозагадки. И если было нужно, делала это несколько раз подряд. В эту игру Симона играла с Конрадом, когда вошла Ирма и доложила, что в соседней комнате доктор О'Нейл и что он хочет с ней переговорить.

В гостиной у стола О'Нейл и Кундерт склонились над маленьким квадратным аппаратом с отростком в виде сопла, на нем висела маска. Она напоминала кислородную, применение которой стюардессы демонстрируют пассажирам перед каждым полетом.

О'Нейл не стал тратить время на светские поклоны.

— Нам надо испробовать, как он на это отреагирует.

— А что это такое?

— Аэрозольный аппарат. С его помощью мы будем вводить РОМ-55. Методом ингаляции.

Симона плохо провела ночь. Спала беспокойно и проснулась сразу после двух. Она долго боролась со своим дыханием, стараясь дышать ровно, чтобы Урс, спавший чутко, не услышал, что она не спит, и не начал приставать к ней: «Что с тобой? Тебе нездоровится? Принести тебе что-нибудь? Позвать врача? Тут что-то не так. Это все ненормально. Может, нам сменить врача? Ты мало уделяешь себе внимания. И еще это безобразие с Кони! Ты же сказала, что с новым врачом все будет по-другому. На тебе сейчас лежит ответственность за двоих. И это не только твой ребенок, но и мой. Принести тебе что-нибудь? Тебе надо в ванную, мое сокровище?»

И только заметив полоску света под дверью, которая вела в «будуар», она увидела, что лежит в кровати одна. Она зажгла свет.

Комната начала медленно кружиться, она почувствовала, как набегает слюна. Она села на краю постели и попробовала сосредоточиться на чем-нибудь другом. Вдруг ей показалось, что она слышит в будуаре голос Урса. Она медленно встала, подошла к двери и открыла ее. Урс, полусидя на маленьком письменном столе, держал телефонную трубку тесно прижатой к уху и улыбался. На появление Симоны он отреагировал так, как если бы был застигнут на месте преступления. Он тут же положил трубку и стал смотреть, как она с отвращением на лице закрывает за собой дверь.

Симона еще успела дотащиться до туалета. И там ее вывернуло.

Она не знала, сколько времени она простояла на коленях перед унитазом. Но когда она, бледная и измученная, вернулась назад, ее уже ждал доктор Шпёрри. Она повела его в свою комнату «Лауры Эшли», даже не удостоив взглядом стоявшего рядом с ним Урса. Она закрыла дверь и легла на канапе. Врач измерил ей пульс и давление.

— Вам надо лечь в больницу, пока не станет лучше.

— Там мне лучше не станет.

— Но там мы сможем кормить вас искусственно. Вы не прибавляете в весе, у вас происходит обезвоживание организма. Это очень плохо для ребенка.

— Кормить меня искусственно можно и здесь.

— Вам нужен уход и врачебный контроль, все это возможно только в больнице.

— Больница есть у меня и тут.

Когда взошло солнце, Симона уже лежала в одной из двух спален на втором этаже гостевого домика, хотя Урс и предпринял слабую и тщетную попытку протеста.

— Успокойся, — только и сказала она, и он тут же стушевался.

10

— Они *что-то* попробовали? — спросила Эльвира упавшим голосом.

— Конраду Лангу в рамках клинических испытаний было введено лекарство, по которому еще не завершены исследовательские работы, — дал ей разъяснения доктор Штойбли.

— И они имели на это право?

— Если ходатайствовал лечащий врач и все заинтересованные лица дали свое согласие, то да.

— Но меня никто не спрашивал.

— В этом смысле вы не являетесь заинтересованным лицом. В этом качестве высту-

пают лечащий врач, фармацевтическая фирма, Комиссия по вопросам медицинской этики и пациент. В данном случае опекунский совет.

— И все дали согласие?

— Очевидно.

Эльвира Зенн покачала головой.

— Я думала, это неизлечимо.

— Так оно и есть. По крайней мере, на сегодняшний день.

— И Кони, возможно, будет первым, кого они вылечат?

— В лучшем случае он внесет свой научный вклад в дело изучения болезни Альцгеймера.

— Не зная этого?

— Не имея ни малейшего представления.

Единственным событием в эти дни в гостевом домике стал приход Томаса Коха. Загорелый и полный энергии, он неожиданно вырос в дверях и потребовал, чтобы его впустили. Сестра Ирма, никогда не видевшая его прежде, допустила ошибку, спросив его, кто он такой и что ему здесь надо. А он в свою очередь тоже не сдержался и рявкнул на нее:

— Не ваше собачье дело! Пропустите меня!

Доктор Кундерт, услышав громкий спор в дверях, спас ситуацию.

Через несколько минут Томас, раздраженный, вошел в комнату, где лежала его невестка. Ее вид — хорошенькая женщина, готовящаяся стать матерью его первого внука, — мгновенно укротил его. Вместо того чтобы жаловаться на прием, устроенный ему сестрой Ирмой, чего ему так хотелось, он произнес:

— Надеюсь, скоро тебе станет лучше.

— Я тоже надеюсь, — вздохнула Симона. — Ну, как там было?

— Где?

— Не знаю. Там, где ты только что был.

Томас Кох мгновение помолчал.

— На Ямайке.

— Может, ты слишком много разъезжаешь?

— То есть как?

— Ну, раз ты так долго думаешь, где ты только что был.

— Это все возраст. — Он засмеялся громче, чем нужно, и сел на стул рядом с ее кроватью. И тут же стал серьезным. По-отечески взял ее руку.

— Урс сознался мне, что ты спишь здесь не только из-за своих проблем с беременностью.

Симона ничего не ответила.

— Я намылил ему голову.

Ей хотелось, чтобы он отпустил ее руку.

— Боюсь, это у него от меня. Как волка ни корми... Но в одном с Кохами ты можешь быть уверена: когда дело доходит до чего-то серьезного, мы выбираем наших жен. Какое значение имеет все остальное? Да никакого!

Она отняла свою руку.

— Я понимаю тебя. Так не поступают, тем более когда жена ждет ребенка. Этому нет никакого оправдания. — И тут он перешел к главному: — И тем не менее я считаю, ты должна выйти отсюда. Врачи, медсестры и старый человек, который потихонечку умирает, — это все удручающее окружение для будущей матери. Мы отведем тебе комнату и обеспечим хороший уход. Ты сама удивишься, как быстро встанешь на ноги.

— У меня здесь есть все, что мне нужно, и за мной прекрасно ухаживают. Неверный супруг тоже далеко не идеальное общество для будущей матери.

— Это больше не повторится.

— Зато повторялось уже слишком часто.

— Все опять наладится.

— Нет.

Это прозвучало так, словно Симона долго обо всем размышляла. Хотя на самом деле только сейчас, в эту секунду, ей все стало абсолютно ясно. Нет, ничего больше не наладится. Никогда. Пришло время задуматься, как жить дальше.

— Что это значит?

— Еще не знаю.
— Не делай глупостей.
— И не подумаю.
Томас встал.
— Передать что-нибудь Урсу?
Симона покачала головой.
— Поправляйся быстрее, — сказал Томас и двинулся к двери.
— Ты был у Конрада?
— Нет.
— Почему?
— Я не знаю, о чем с ним говорить.
— О старых временах.
— Старые времена старят человека, — ухмыльнулся Томас и вышел из комнаты.

С этого момента Симона пошла на поправку. Внезапная уверенность, что она не любит Урса и не хочет дальше жить с ним, вернула Симоне хорошее самочувствие.

Насколько внезапно улучшилось здоровье Симоны, настолько же резко ухудшилось оно у Конрада. Он несколько раз пытался ночью встать. Каждый раз это замечала сестра Ранья, не спускавшая глаз с монитора, она своевременно появлялась в его комнате, предотвращая самое страшное.

При анализе записей доктора Кундерта обеспокоил тот факт, что Конрад стал хуже говорить по-английски. Он долго подыскивал слова и путал их с французскими и испанскими. Доктор Кундерт был готов к тому, что состояние пациента ухудшится. Когда в этот день Симона собралась после обеда провести очередную фотобеседу с Конрадом, он с особым напряжением вглядывался в монитор. Через две-три минуты он уже знал, что его опасения подтвердились. Конрад Ланг хотя и проявлял интерес к снимкам, которые ему показывала Симона, но так, как будто видел их впервые. Он не смог ответить почти ни на один стандартный вопрос и не выдал ни одного из своих стандартных комментариев. Симоне все время приходилось помогать ему обговоренными на этот случай подсказками. И все чаще Симона бросала растерянный взгляд на скрытую телекамеру.

Когда она дошла до фотографии с «мерседесом», Кундерт вскочил со своего стула. Он встал и подошел поближе к монитору.

Симона задала свой обычный вопрос:

— А вот здесь это Эльвира?

Конрад, как всегда, медлил. Но на сей раз явно не для того, чтобы подержать Симону в неведении, а чтобы действительно что-то вспомнить. Но потом все же утвердительно кивнул и усмехнулся. Симона тоже облегченно усмехнулась, и Кундерт у монитора сделал то же самое. Конрад Ланг показал на вихор Кони, торчавший из-за заднего левого крыла, и сказал:

— Томикони.

Потом показал на Томи, спрятавшегося между левой передней фарой и радиатором, и сказал:

— Конитоми.

Симона попробовала импровизировать. Она показала на спрятавшегося мальчика, которого Конрад до сих пор всегда называл Кони, и спросила:

— Кони?

Конрад радостно покачал головой и выпалил:

— Томи.

— А сколько километров дает «мерседес»? — спросила она.

— Понятия не имею.

Кундерт и Симона рассматривали фотографию вместе.

— Когда вы показали на Кони, он сказал «Томикони»?

— А когда на Томи, то «Конитоми», — ответила Симона.

— Он попытался сделать вид, что не знает больше, где кто из мальчиков спрятался.

— А почему он поменял имя, когда я хотела докопаться?

— Потому что к этому моменту он уже забыл свой трюк с Томикони и Конитоми.

Симона была обескуражена.

— Означает ли это, что лекарство не подействовало?

— Оно еще не могло подействовать. Это означает всего лишь, что болезнь развивается своим чередом. Но о действии РОМ-55 нам это ничего не говорит. Это лишь означает, что дальнейшие связи нервных клеток атрофировались, прежде чем лекарство успело подействовать. Нам просто не повезло.

— И прежде всего Конраду.

— Прежде всего ему.

Оба помолчали. Потом Симона сказала:

— Представьте себе, оно действует, а там уже нет ничего живого.

Такую картину Кундерт вполне был готов себе представить.

Кони видел в комнате лица. Они смотрели на него с обоев и занавесок. Многие были очень злыми. Некоторые были любезными, но все равно злыми. И только немногие просто приветливыми.

Если он не двигался, они не глядели на него и не могли ничего ему сделать. Спасения от них не было, даже если выключить свет. Тогда появлялись другие лица. Те корчили гримасы, когда дул ветер. И еще приходили звери, садились на стул и следили за ним. Поэтому лучше было не гасить свет. Так по крайней мере удавалось постоянно держать их в поле зрения.

Надежды, что изменения в состоянии Конрада связаны с временным кризисом, лопнули в ближайшие же дни.

Не столь разочаровывающим было только сообщение Жозелин Жобер. Конрад по-прежнему с увлечением рисовал акварели. Однако они становились все более абстрактными, и орфография в надписях, которыми он всегда наделял свои картины, тоже изрядно хромала. Почти в каждом втором слове буквы и слоги повторялись, потому что он забывал, что уже написал их. «ЕвЕвропа», писал он, или «Ябяблонолоня». Как и прежде, он всегда подпевал ей без слов, если она пела ему на своем ломаном немецком походные, рождественские или студенческие песни.

А на фотографии, показываемые ему Симоной, он теперь реагировал пассивно. И больше не говорил: «Венеция», «Милан» или «У моря», когда она спрашивала его, где это было. В лучшем случае он кивал, если она спрашивала сама: «Это у моря?» или «Это в Венеции?». Но теперь она могла показать ему фото, сделанное в Венеции, и спросить: «Это в Париже?», он все равно бы кивнул. Различить себя и Томаса он тоже больше не мог. Он путался, где кто, и называл обоих «Томикони» и «Конитоми». Зато Эльвиру Зенн он узнавал на всех снимках и называл ее не иначе как «мама Вира».

Симона была подавлена и, вернувшись к себе в комнату, бросила фотографии на стол.

— Я рад, что тебе уже лучше, — произнес голос у нее за спиной.

Это был Томас Кох. Он сидел на краю постели и теперь встал. Симона смотрела на него выжидательно.

— Меня пустила сестра. Вспомнила, вероятно, что этот дом мой.

— Я не вернусь назад в виллу, если ты пришел за этим.

— Это ваши дела с Урсом.

Симона ждала.

— Как здоровье Кони?

Симона пожала плечами.

— Сегодня так себе.

— А чудодейственное лекарство?

— Никакого результата, — сказала она. — Пока еще, — добавила она быстро.

Симона еще никогда не видела Томаса Коха таким. От его самоуверенности не осталось и следа. Он смущенно стоял в этой маленькой простой комнатке, не знал, куда деть свои руки, и, похоже, был чем-то серьезно обеспокоен.

— Ну ты садись.

— У меня не так много времени. — Он взял со стола фотографии и с отсутствующим видом стал перебирать их. Симону охватил страх. Но Томасу явно было безразлично, откуда они у нее.

— Так много воспоминаний, — пробормотал он задумчиво.

— Для него с каждым днем их становится все меньше и меньше. — Симона показала

на одного из мальчиков под тентом на пляже. Квадратный череп, узко посаженные глаза.
— Это ведь ты, да?

— Ну ты же видишь.

— Кони больше не может отличить вас друг от друга. Иногда он называет тебя Кони, себя иногда Томи, а чаще говорит Томикони или Конитоми.

— Ужасная болезнь. — Томас продолжал перебирать фотографии.

— Хочешь его увидеть?

— Нет, — сказал он как-то поспешно. — Нет, может, в другой раз. Пойми меня правильно.

Симона поняла. Томас Кох был очень озабочен. Но только не по поводу Конрада Ланга, а по поводу самого себя.

Конитоми мог бы уже лечь спать. Он устал. Но он не хотел этого. Если он заснет, они придут и станут его колоть.

Томикони не знал, что лучше: если не зажигать свет, они его не увидят. А если зажечь свет, тогда он вовремя заметит, что они идут. Если же он все-таки заснет, то может пропустить момент, когда они зажгут свет. И тогда уже все, слишком поздно, потому что они уже будут здесь. Если он, конечно, спрячется, тогда они, может, и уйдут.

Конитоми тихонько откинул одеяло и поджал ноги. Это было не так просто. К левой ноге они привязали ему что-то тяжелое, чтобы он не мог убежать. Теперь спустить ноги с кровати. Сначала правую, потом эту, тяжелую. Он съехал с края кровати. И стоял возле нее. Где бы ему спрятаться?

Слишком поздно. Зажегся свет.

— Не надо меня колоть, — захныкал Томикони.

— Now there, now there[1], — успокоила его сестра Ранья.

С того дня, как его не пустили в гостевой домик, сказав, что Симону нельзя тревожить, Урс Кох выждал без малого четыре недели. За это время о самочувствии своей жены он справлялся через третьих лиц. Он обладал уже достаточным жизненным опытом и знал, что лучше всего придерживаться тактики «не бегать за женщинами, тогда они сами прибегут».

В случае с Симоной, которую он, несмотря на ее резкий протест, объяснимый, по-видимому, ее беременностью, считал покладистой, такая тактика тоже должна была сработать. И поэтому, когда его отец сказал: «Тебе бы надо быть к ней повнимательнее, а то как бы ей не взбрели в голову дурные мысли», он сразу спросил: «Самоубийство?» Но тот ответил: «Развод», и тогда Урс только усмехнулся и выбросил это из головы. Он решил еще немного подождать. Но потом, когда она по-прежнему не давала ничего о себе знать, он подумал, что пора сменить тактику.

С огромным букетом ромашек — любимыми цветами Симоны — он направился к гостевому домику, позвонил и попросил сестру Ирму передать ей, что не уйдет, пока его не впустят. И будет ждать хоть всю ночь. Это подействовало. Его провели в комнату к Симоне.

— Я хочу извиниться и просить тебя снова вернуться ко мне, — начал он разговор. Это было частью его новой тактики.

И даже когда Симона ответила: «Нет, Урс, в этом нет никакого смысла», он продолжал играть свою, видит бог, не простую для него роль.

— Я хорошо осознаю: то, что я сделал, нельзя исправить.

И только когда Симона сказала в ответ: «Нет, нельзя, и поэтому будет лучше, если ты и пытаться не будешь», он отклонился от продуманного текста и вскипел:

— Что ж мне теперь, стреляться прикажешь?

На Симону это не произвело впечатления.

— Мне безразлично, что ты сделаешь. Я подам на развод.

Какой-то момент она думала, что вот сейчас он начнет бушевать. Но он вдруг рассмеялся.

— Ты спятила! Посмотри на себя! Ты скоро уже будешь на шестом месяце!

— Чтобы знать это, мне не надо на себя смотреть.

---

[1] Ну, ну, не плачь! (*англ.*).

— Как ты себе это представляешь? У нас родится ребенок и мы разведемся? Всё одновременно?

— Тебя послушать, так тебе куда приятнее сделать сначала одно, потом другое, так, что ли?

— Ни то, ни другое. Я вообще не хочу развода. Об этом не может быть и речи. Я не хочу никаких дискуссий на эту тему.

— Отлично. Я, собственно, тоже. — Симона подошла к двери и взялась за ручку.

— Ты выбрасываешь меня из моего собственного гостевого домика?

— Прошу тебя, уходи!

Урс сел на кровать.

— Я никогда не дам согласия на развод.

— А я подам жалобу.

— На что?

— На измену. Причем семикратную, если тебе интересно.

Урс поднял брови.

— Доказательства?

— Я сделаю все возможное, чтобы найти и свидетелей, и доказательства.

Урс встал и приблизился к ней.

— Я не допущу, чтобы моя беременная жена развелась со мной после двух лет супружеской жизни, понятно? Так просто я не сдамся. Со мной этого не случится, а значит, не случится с нами. С Кохами такого не бывает.

— Мне безразлично, что бывает с Кохами, а что нет, — сказала Симона и открыла дверь.

— И все только из-за того, что ты беременна, да? — Симона покачала головой. — Из-за чего тогда?

— Я не хочу прожить всю свою жизнь с тобой.

В один из весенних дней — фён разогнал облака, небо заголубело, садовники озабоченно наморщили лбы — Кони нарисовал «Дом снежснежков в мае». Симона пришла чуть раньше на сеанс с фотографиями. У Конрада еще не закончилась трудотерапия — он сидел, глубоко погрузившись в себя, за столом и рисовал. Симона поздоровалась с ним, он коротко кивнул ей и опять занялся своим рисунком. Он окунул кисточку в стакан с мутной водой и начал водить ею по листу с акварелью. Симона села и стала терпеливо ждать. Когда сестра сказала:

— Чудесно, господин Ланг, просто превосходно, мне это очень нравится. Можно мне показать госпоже Кох? — Она встала и подошла к столу.

Листок был еще влажным и кое-где вспучился. Бесцветно-водянистая облачно-серая голубизна на белом фоне. По нему широкий мазок кистью, окруженный рыжеватыми и желтыми, равномерно жирными мазками, расходящимися от него лучами. Внизу большими топорными буквами было написано по-печатному: «КониТоми Ланг — Дом снежснежков в мае».

— Действительно очень красиво, — подтвердила Симона.

Она села рядом с Конрадом и стала раскладывать перед ним фотографии на столе, а врач по трудотерапии собирала тем временем свои «орудия производства». В суете, возникшей в этот момент, Симона не услышала, как вошел доктор Штойбли. Только когда она в полном отчаянии при третьем «Томикони, Конитоми» подняла глаза к телекамере, она увидела его стоящим близко от стола.

В «утренней» комнате Эльвиры окна были нараспашку. Послеполуденное солнце светило в самую глубину комнаты, лучи добирались до оттоманки, где она сидела рядом с доктором Штойбли. Он только что вернулся из гостевого домика и докладывал ей о дальнейшем ухудшении здоровья Конрада.

— Значит, сенсации в медицине не произошло, — констатировала Эльвира.

— Похоже на то. Когда я пришел, он даже не узнавал себя на старых фото. Конитоми и Томикони — это все, что он смог сказать.

— На каких старых фото?

— Симона показывала ему фотографии, где вы, очевидно, путешествуете с Томасом и Конрадом по Европе. Мальчикам, пожалуй, лет по шести.

Эльвира молча встала и исчезла за дверью, которая вела в гардеробную. Доктор Штойбли остался сидеть, мучаясь вопросом, что же он такое сказал. Через некоторое время Эльвира вернулась с фотоальбомом.

— Эти фотографии?

Штойбли взял альбом в руки, полистал его и кивнул.

— Очевидно, фотокопии сделаны с этих фотографий.

Эльвира вынуждена была сесть. Она вдруг показалась ему такой старой, какой и была на самом деле. Доктор Штойбли взял ее руку за запястье, уставился на часы и начал считать пульс.

Эльвира резко выдернула руку.

Доктор О'Нейл, доктор Кундерт и Симона сидели в комнате наверху и пили кофе. На экране монитора они видели Конрада Ланга, утонувшего в своем кресле в гостиной. Конрад дремал. Он сегодня не завтракал и не обедал.

Симона задала вопрос, который уже давно ее мучил:

— То, что лечение ускорило процесс, полностью исключается?

Кундерт и О'Нейл обменялись взглядами.

— Насколько наука позволяет исключать что-то полностью, — ответил О'Нейл.

— Следовательно, полностью это не исключается? — заметила Симона.

Они уставились на монитор. Конрад Ланг не двигался. Вот он открыл глаза и удивленно обвел ими комнату, снова закрыл их и продолжал дремать дальше.

— Если удастся остановить процесс, пока Конрад еще в состоянии говорить и понимать речь, то у него есть шанс, что оставшиеся клетки можно будет стимулировать и между ними возобновятся связи. Вероятно, у него большие провалы в памяти, и необходимо с помощью нудной и кропотливой работы заново привести в порядок всю систему приобретенных им знаний. И это возможно. Мы исходим из того, что это возможно, иначе нас здесь бы не было.

— Просто вы хотите подбодрить меня, — улыбнулась Симона.

— Мне это удалось?

— Немножко.

Эльвира немедленно вызвала Томаса и Урса к себе в кабинет, где обычно проводились неофициальные заседания Совета правления концерна. Она сразу перешла к делу.

— Урс, твоя жена обокрала меня.

Урса как по голове стукнули. Он решил, что речь идет о делах концерна.

— Я не знаю, как и с чьей помощью, знаю только, что она завладела фотографиями, которые я хранила здесь в потайном месте. — Она показала на альбомы, лежавшие на столе. Урс взял один из них и принялся листать. — Она как-то проникла сюда и сделала с них копии. Доктор Штойбли видел, как она разглядывает их с Кони.

Томас тоже взял альбом и стал листать его.

— А зачем ей это понадобилось?

— Она хочет стимулировать его память, откуда я знаю зачем. Это якобы может помочь восстановить его восприятие реальности. Окружающей его действительности.

— Ты так предполагаешь или ты знаешь это?

— Она постоянно приставала ко мне, чтобы я дала ей фотографии прошлых лет. И к Томасу тоже. Ведь так, Томас?

Томас сосредоточенно разглядывал фотографии в альбоме. И поэтому сейчас поднял голову и переспросил:

— Что?

Эльвира отмахнулась от него и снова накинулась на Урса:

— Я хочу получить фотографии назад, и притом немедленно!

— Но они и так у тебя, она же только копии сделала, ты сама только что это сказала.

— Я не хочу, чтобы она копалась в нашем прошлом вместе с Конрадом!

Урс покачал головой и еще полистал альбом.

— А почему здесь так много фотографий вырвано?

Эльвира отобрала у него альбом.

— Верни мне фотографии!

Томас засмеялся и ткнул Урсу под нос альбом, который он разглядывал:

— Что ты тут видишь?

— Эльвиру перед «мерседесом».

— А меня и Кони нет? — широко ухмыльнулся он.

Эльвира вырвала альбом у него из рук.

Томас обалдело посмотрел на нее. А потом перегнулся к своему сыну и сказал:

— «Мерседес» давал сто десять километров в час.

— Принеси мне фотографии! — приказала Эльвира и встала.

— А что, в прошлом есть что-то такое, чего нельзя знать другим? — спросил подозрительно Урс.

— Принеси мне фотографии!

Урс встал, раздраженный.

— А я-то думал, речь идет о фирме Кохов.

— И о ней тоже. — Эльвира вышла из комнаты.

— Она явно стареет, — сказал Томас своему сыну.

Кони сидел в своем кресле в гостиной в халате. Одеть его сегодня не удалось. Когда Симона вошла, он никак не отреагировал на это. И на то, что она пододвинула стул и села рядом с ним.

— Кони, — начала она, — у меня тут есть несколько новых фото, и мне нужна твоя помощь, чтобы разобраться в них. — Она открыла альбом.

На первой фотографии была запечатлена молодая Эльвира в зимнем саду виллы «Рододендрон». В длинной, ниже колен, юбке и свитерочке без рукавов.

— Вот эта женщина, например, — кто она?

Конрад даже не взглянул. Симона поднесла фотографию к самому его лицу.

— Эта женщина?

Кони вздохнул.

— Фройляйн Берг, — ответил он, словно имел дело с непонятливым ребенком.

— Ах, а я думала, это Эльвира.

Кони покачал головой, удивляясь ее тупости.

Рядом с фото Эльвиры осталось белое пятно, где раньше была наклеена еще одна фотография. Симона перевернула страницу. На следующем снимке вилла была видна с южной стороны: лестница, ведущая на террасу, а на ней — Вильгельм Кох. В светлых брюках, белой рубашке с галстуком, в темном жилете, но без пиджака.

— А этот мужчина?

Кони уже смирился с тем, что должен объяснять этой женщине, без конца пристающей к нему с вопросами, самые элементарные вещи.

— Папа-директор, — ответил он терпеливо.

— Чей папа?

— Томитоми.

На другой странице рядом с вырванной фотографией был запечатлен павильон — рододендроны вокруг еще совсем маленькие. У чугунных перил стоят две старые женщины в шляпах с широкими полями и бесформенных, висящих на них мешком, длинных, почти до земли, платьях.

— Тетя Софи и тетя Клара, — объявил Кони, не дожидаясь вопроса. Его интерес проснулся. Доктор Кундерт у монитора отметил это с явным облегчением.

Страницу за страницей Симона просмотрела с Конрадом все фотографии старого альбома. Снимки парка, «папы-директора», «фройляйн Берг», «тети Софи и тети Клары». И белые пятна от утраченных фотографий.

На одном из самых последних Эльвира была в цветастом летнем платье-костюмчике с короткими рукавами, она стояла у балюстрады на террасе. Рядом с ней Вильгельм Кох, положивший — чего не было прежде ни на одной фотографии — руку по-хозяйски ей на талию.

— Папа-директор и мама, — прокомментировал Конрад.

— Чья мама?

— Томитоми, — вздохнул Конрад Ланг.

— Фройляйн Берг — мама Томитоми?

— Теперь уже да.

С последним фото произошло нечто неожиданное. На нем была запечатлена цветоч-

ная грядка вдоль живой изгороди и кадка с цветущим олеандром, ради которого, очевидно, и делался снимок. Кони долго и внимательно изучал фотографию. Наконец изрек:

— Папа-директор и Томитоми.

Симона взглянула на телекамеру.

— Папа-директор, — Кони указывал на какое-то место посреди олеандра, — и Томитоми. — Он ткнул пальцем чуть ниже того места.

Когда Симона вгляделась повнимательнее, ей стало ясно, что фотограф забыл перевести пленку и дважды снял на один и тот же кадр. В живой изгороди она различила едва заметный контур круглой головы Вильгельма Коха. А на коленях у него силуэт ребенка.

Доктор Кундерт и Симона долго сидели над фото, пытаясь понять ответы Конрада Ланга. То, что в девичестве Эльвира Зенн носила фамилию Берг, ни для кого не являлось секретом. Но если маленький Конрад знал это, значит, он был знаком с Эльвирой до того, как его мать Анна Ланг приступила к своим обязанностям служанки на вилле «Рододендрон». К тому времени Эльвира уже была женой директора Коха. Конечно, ничего невероятного в том, что молодая Эльвира, став женой пожилого мужчины, пригласила в служанки кого-то из старых знакомых, чтобы скрасить жизнь, не было.

Гораздо сильнее поразило их двойное изображение. Чем больше привыкали глаза и чем лучше они могли различить другую, более слабую картинку, тем, казалось, отчетливее она проступала. В том, что мужчина не кто иной, как Вильгельм Кох, сомнений быть не могло. А вот ребенок на Томаса похож не был. Ни характерного квадратного черепа, ни узких, близко посаженных глаз. Если малыш на кого-то и походил, то скорее на Конрада Ланга на его детских снимках.

— Почему во всем альбоме нет ни одного фото маленького Томаса? — спросил доктор Кундерт.

— Может, это как раз те, которые были вырваны?

— А почему кому-то понадобилось их вырывать?

Симона произнесла то, о чем они оба вдруг подумали:

— Потому что ребенок на тех фотографиях не Томас Кох.

Той же ночью Урс позвонил Симоне.

— Мне надо с тобой поговорить. Я сейчас приду.

— Нам нечего обсуждать.

— А что ты скажешь про фотографии, которые украла у Эльвиры?

— Я только брала их на время, чтобы сделать копии.

— Ты вломилась к ней в дом.

— Я открыла дверь ключом.

— Ты вторглась в ее личную жизнь. За то, что ты сделала, нет никакого прощения.

— Я и не прошу о прощении.

— Но сейчас ты немедленно вернешь все фотографии!

— Она боится этих фотографий. И постепенно я начинаю понимать почему.

— Почему?

— Здесь что-то не так. В ее прошлом. И она опасается, что Конрад вытащит все на свет божий.

— Что такого может вытащить на свет божий больной человек?

— Спроси Эльвиру! Спроси ее, кто был на фотографиях, которые она вырвала!

Томи тихонько лежал на торфе в сарайчике садовника, тепло укрытый джутовыми мешками, и боялся пошевелиться. В парке все было под снегом, а с неба падали fazonetli. Она ищет его!

Если найдет, то кольнет и его тоже. Как папу-директора. Он все видел.

Он проснулся, потому что папа-директор разговаривал так, как всегда после шнапса. Громко и не как обычно. Он слышал, как папа-директор поднялся по лестнице и начал громыхать и бушевать в той комнате, где спали он и мама.

Томи встал и посмотрел в щелочку в дверь — она всегда оставалась приоткрытой, пока они не легли в постель. Его мама и мама Кони, поддерживая папу-директора под руки, провели его в спальню и посадили на кровать. Мама Кони протянула ему шнапс. Они раздели его и уложили в постель. Потом мама Кони уколола его иглой. Они накрыли его,

потушили свет и вышли из комнаты. Кони открыл дверь пошире и подошел к папе-директору. От него сильно пахло шнапсом. Свет вдруг зажегся, это вернулась мама Кони. Она взяла его за руку и отвела в детскую.

— Почему ты уколола папу-директора? — спросил он.

— Если ты еще раз такое скажешь, я и тебя уколю, — ответила она.

Рано утром он услышал множество голосов в соседней комнате. Он вылез из кровати, чтобы посмотреть, что там такое. Там было полно людей. и среди них его мама и мама Кони. Папа-директор лежал в кровати не двигаясь.

Тут его увидела мама Кони и увела из комнаты.

— Что с папой-директором? — спросил он.

— Он умер, — ответила она.

За окном падал снег. Он рос все выше и выше. Падал на крыши и деревья. Томи закрыл глаза. Здесь она его не найдет. Но, проснувшись, почувствовал, что ему больно руку, а когда посмотрел на нее, то увидел, что рука привязана и из нее торчит игла. Значит, она все-таки нашла его!

Он выдернул иглу. Зажегся свет. Он закрыл глаза.

— Не надо меня колоть!

И на «Выделе» свет тоже еще горел. Урс пришел к Эльвире очень поздно. Они сидели в салоне. В камине мерцали остатками огня последние угли.

— Она говорит, ты боишься этих фотографий, потому что что-то не так в твоем прошлом. Ты опасаешься, что Кони это вспомнит.

— Что может быть не так в моем прошлом?

Урсу трудно было бы сейчас сказать, обеспокоена Эльвира или нет.

— Она просила тебя спросить, кто был на тех фото, которые вырваны.

Нет, вот теперь видно, что она беспокоится.

— Не знаю, что она имеет в виду.

— А я знаю. Я видел этот альбом у тебя. Тот, где вырваны фотографии.

— Не помню. Вероятно, я там сама себе не нравилась.

Эльвира взглянула на Урса. Он был не такой, как отец. Не уходил от проблем. Хотел точно знать, что на него надвигается, чтобы вовремя принять нужные меры. Урс Кох — тот самый человек, который нужен заводам Коха. Он сохранит их и поведет дальше как надо, продолжая ее дело. Высок ростом, здоров и не подвержен никаким сомнениям.

— Если есть что-то, что я должен знать, ты обязана сказать мне об этом.

Эльвира кивнула.

На следующее утро Эльвира пришла в гостевой домик. Симона находилась с доктором Кундертом у Конрада. Они как раз пытались уговорить Конрада позавтракать. Но тот только лежал, уставившись в потолок. Вошла сестра Ирма и сказала:

— У дверей стоит госпожа Зенн и говорит, что хочет видеть госпожу Кох.

Симона и Кундерт обменялись взглядами.

— Проводите ее сюда, — сказала Симона.

Очень скоро сестра Ирма вернулась назад.

— Она не хочет входить, вы должны выйти к ней, говорит она. Она довольно сильно рассержена.

— Если она хочет видеть меня, пусть придет сюда.

— И я должна ей такое сказать? Да она убьет меня на месте.

— Вы посильнее ее будете.

Сестра Ирма вышла и довольно долго не появлялась. Когда она вернулась, Эльвира была с ней. Бледная и рассерженная. Она проигнорировала Конрада и доктора Кундерта и как столб застыла перед Симоной. Ей требовалось собраться с силами, прежде чем она смогла заговорить.

— Дай мне фотографии!

Симона побледнела.

— Нет. Мы их используем в терапевтических целях.

— Немедленно отдай мне фотографии!

Обе женщины в упор смотрели друг на друга. Ни та, ни другая не собирались уступать. Вдруг с кровати раздался голос Конрада:

— Мама, почему ты уколола папу-директора?

Эльвира не взглянула на Конрада. Ее взгляд заметался от сестры Ирмы к доктору Кундерту и от него к Симоне. Потом она резко повернулась и вышла из комнаты. Симона подошла к постели Конрада.

— Она уколола папу-директора?

Конрад приложил палец к губам.

— Тссс...

Весь день Эльвира провела в своей спальне, никого к себе не пуская. Вечером, когда пора было колоть инсулин, она подошла к маленькому холодильничку в ванной комнате, достала шприц-ручку, поднесла его к раковине и нажала пальцем сверху. Потом открыла оба крана и надолго оставила течь воду.

Томи лежал в кроватке и плакал. Но только совсем тихонько. Если его услышит мама Кони, она придет и уколет его. Она так сама сказала. Мама Кони спала теперь рядом. Поэтому вполне возможно, что она его слышала. Ее теперь звали мама Анна. А маму — мама Эльвира. Потому что и маму Кони и его маму они оба называли мамами, и по-другому никак нельзя было разобраться, кого они имеют в виду.

Томи плакал, потому что его заставили спать в кроватке Кони и в комнате Кони. Это была такая игра. Томи изображал иногда Кони, а Кони — Томи. И тогда Кони спал в кроватке Томи, а Томи укладывали в кроватку Кони. Но Томи не любил эту игру. Комната Кони находилась в домике позади виллы, где спала его мама. Мама Анна. А Томи боялся ее. Он услышал спор голосов на лестнице. Дверь отворилась, и зажегся свет.

— Не надо колоть! — сказал Томикони.

— Никто не собирается тебя колоть, детка, — сказал голос. — Мы отнесем тебя сейчас в твою кроватку.

Томи обрадовался. Это была не мама Анна. Это были тетя Софи и тетя Клара.

Эльвира полулежала в своей гигантской кровати, обложившись подушками. Мучительный фён наконец-то прекратился, март и природа одумались и вошли в свои берега. Урс сидел в маленьком мягком кресле у края постели. Эльвира вызвала его к себе, потому что хотела сообщить ему нечто важное.

— Ты вчера спросил меня, есть ли в моем прошлом такие вещи, которые ты обязательно должен знать. Да, такие вещи есть.

Когда через два часа Урс стоял и смотрел из окна виллы на гостевой домик, он уже не был таким спокойным и беспечным, как при Эльвире. Уходя от нее, он поздоровался с доктором Штойбли, встретившимся ему на пути.

Эльвира позвонила доктору Штойбли и назвала ему цифры своего самостоятельно проведенного анализа.

— Что-то здесь не так, — сказал он и тут же отправился к ней.

Проверив у нее сахар, он наморщил лоб и вынул инсулиновый шприц с ампулой альтинсулина — препарата быстрого и короткого действия, применяемого при обнаружении абсолютной недостаточности инсулина в организме. Он выпустил из иглы воздух и сделал ей инъекцию в ногу.

— Не думаю, чтобы вы съели килограмм шоколадных конфет.

Эльвира только махнула рукой. Она терпеть не могла сладкого.

— И вы уверены, что регулярно делали уколы инсулина?

— Думаю, что да. Но будет лучше, если вы проверите, я уже старая женщина. Лекарство в ванной, в холодильничке.

Доктор Штойбли направился в ванную комнату. Эльвира перегнулась через край кровати и запустила руку в его чемоданчик. Когда он через некоторое время вернулся, на лице его отражалось недоумение.

— Похоже, все точно. Записи и число пустых ампул совпадают. Я отправлю одну пустую в лабораторию.

Доктор Штойбли пообещал зайти к ней завтра еще раз.

Оставшись одна, Эльвира сунула руку под одеяло, вытащила оттуда инсулиновый шприц и положила его на секретер.

Симона и доктор Кундерт заняли столик в одном из многочисленных «fresco» — этих захудалых харчевнях-гостиницах, которым новые хозяева вернули их изначальную суть: покрасив стены в белый цвет и накрыв столы бумажными скатертями, они превратили их с помощью приветливой обслуги и незамысловатых блюд интернациональной кухни в симпатичные заведения. Они заказали салат по-гречески и мексиканские кукурузные лепешки с мясной начинкой и бобами. Кельнерша обращалась к ним на ты, и Симона сказала доктору Кундерту:

— Похоже, мы здесь единственные, кто разговаривает друг с другом на вы.

И с этого момента они перешли на ты.

— О чем я тебя давно хотел спросить: почему ты все это делаешь для него? Он ведь тебе совсем чужой.

— Сама не знаю. — Она задумалась. — Мне его просто жалко. Он как старый отслуживший плюшевый мишка. Его время от времени вытаскивают со скуки, чтобы однажды вышвырнуть на помойку окончательно. Разве это жизнь для человека?

Кундерт кивнул. Глаза Симоны наполнились слезами. Она вынула из сумки платок и вытерла слезы.

— Извини, со мной это теперь часто бывает, с тех пор как я забеременела. Как ты думаешь, кто был на вырванных фото?

— Конрад Ланг, — ответил Кундерт не колеблясь.

— Мне тоже так кажется.

Кундерт налил себе вина.

— Этим и объясняется, почему он путает на ранних фотографиях Кони и Томи.

— Мне он сказал, что все выглядит так, будто он Кони, а на самом деле он — Томи.

— Как это может быть?

— В четыре года все возможно: Томикони, Конитоми, мама Вира, мама Анна.

Кундерт разволновался.

— Значит, обе женщины задурили малышам головы и так долго играли с ними в подмену имен, пока те окончательно не запутались и уже больше не помнили, кто из них кто. И тогда они поменяли детей местами.

— Но зачем было этим женщинам менять детей местами?

— Ради ребенка Анны Ланг. Чтобы он унаследовал заводы Коха.

Складывающаяся картина была тем не менее лишена для Симоны всякого смысла.

— С какой стати пришло Эльвире в голову сделать такое в угоду Анне Ланг? — Кафе заполнилось людьми. Негромкие голоса и смех беззаботных людей на звуковом фоне из танго, бельканто и рок-музыки поглотили чуть слышные слова Симоны: — Тогда, сообразно с этим, Кони — подлинный наследник заводов Коха.

Даже и не в такой уж ранний для аперитива час бар в отеле «Des Alpes» оставался полупустым — несколько человек, живших в отеле, кое-кто из бизнесменов, одна парочка, отношения которой еще не настолько продвинулись, чтобы показываться в более многолюдных местах, и сестры Хурни, которые воспользовались паузой в игре пианиста и обстоятельно изучали поданный им счет. Работавшую только днем Шарлотту уже сменила Эви, ей тоже явно было за пятьдесят, но она, судя по ее виду, была одной из тех немногих, кто регулярно посещал солярий отеля. Ушедшего пианиста прекрасно заменял Дин Мартин. Он пел: «You're nobody till somebody loves you»[i].

Урс Кох сидел в нише с Альфредом Целлером. Перед каждым стояло по стакану виски — у Урса со льдом, у Альфреда со льдом и содовой. Они знали друг друга с юных лет. Оба в одно время учились в «Сен-Пьере», как и их отцы. Альфред поступил после интерната на юридический и стал потом работать в знаменитой фирме отца. Помимо того, что Альфред обслуживал концерн, он стал еще личным советником-юристом Урса и, насколько позволяла ситуация, также и его другом. Урс позвонил ему и спросил, не свободен ли он случайно сегодня вечером. «Случайно да», — ответил Альфред, тут же махнув рукой на театральную премьеру.

Урс не знал, как начать.

— Жалко старый комод, — произнес Альфред, чтобы хоть что-то сказать. Урс не

---

[38] Ты никто, пока тебя кто-нибудь не полюбит (*англ.*).

понял, что он имеет в виду, и тогда тот пояснил: — Да отель «Des Alpes». Вот уже сколько лет они не могут вылезти из долгов. Банк «Национальный кредит» отказал им в ипотечной ссуде. А это означает, что они хотят забрать отель, чтобы впоследствии превратить его в учебный центр. Мне будет как-то не хватать этого бара. Здесь так спокойно, можно все обсудить. И достаточно шумно, чтобы не быть услышанным. Здесь мы среди своих.

Урс уцепился за его слова.

— То, что я хочу спросить тебя, должно остаться между нами. Тебе это покажется странно и, возможно, даже подтолкнет к ложным выводам. Но ты рассматривай это как чисто теоретическое обсуждение проблемы. Большего о причинах этого разговора я тебе сказать не могу, кроме одного: все не так, как ты подумаешь.

— Ясно.

— Сценарий таков: одна молодая женщина выходит в тридцатые годы замуж за состоятельного фабриканта, вдовца с пятилетним сыном. Через год фабрикант умирает. Завещания с назначением наследника нет, единственными наследниками являются его жена и его сын. Она подменяет ребенка на сына своей подруги, и это проходит незамеченным. Что будет, если сегодня эта афера выплывет наружу?

— С какой такой стати?

— Да нет, ну просто как предположение. Так что же будет?

Альфред задумался на мгновение.

— Да ничего.

— Ничего?

— Через десять лет мошенничество подпадает под действие закона о сроке давности.

— Ты в этом уверен?

— Ну я же знаю, каков срок давности для мошенничества.

Урс помешивал в стакане пластмассовым жирафом. Кубики льда позвякивали.

— Дополнительный вопрос, еще более гипотетический: муж умер не собственной смертью, в этом ему помогла немножко жена, что тоже никем не было замечено.

— Срок давности для убийства — двадцать лет, для мошенничества — десять. Если в течение этого времени ничто не всплыло наружу, считай дело закрытым.

— А наследство?

— Жена как убийца пожизненно объявляется недостойной наследовать. Это означает, если сегодня что-то раскроется, она автоматически теряет все права на наследство.

— И должна возвратить все законному наследнику.

— С правовой точки зрения — да.

Урс кивнул.

— Так я и думал.

— Но если она этого не сделает, тот никаких прав не имеет. Срок давности для иска о наследстве истекает через тридцать лет.

— А фиктивный сын?

— Ну, тут вообще не о чем говорить. Для этого срок истек уже через десять лет. И поскольку он не несет никакой ответственности за то, что его в детском возрасте обменяли на другого ребенка, его даже нельзя признать недостойным наследовать.

— Ты уверен? — Урс сделал знак барменше.

Альфред Целлер усмехнулся.

— Наше право наследования защищает имущество и состояние куда лучше, чем права наследников.

— Повторить то же самое? — спросила Эви.

Примерно в то же время Эльвира Зенн стояла в ванной, одетая к выходу, и набирала содержимое инсулинового шприца, украденного ею у доктора Штойбли, в три обыкновенных.

Она завернула их в сухую кухонную салфетку и спрятала у себя в сумочке. Затем вышла, вынула из вазы в гардеробной букет весенних цветов и направилась в парк. Фонари, окаймлявшие дорожку, петлявшую между рододендронами, стояли на моросящем дожде в ореоле желтого сияния.

Конитоми лежал в кровати. В кровати над ним лежал Томикони. Обе мамы спали рядом. Кровати тряслись и качались. Они ехали ночью на поезде. Они отправились в длин-

ное путешествие. Было темно, штора на окне опущена. Когда поезд останавливался, за окном слышались шум и голоса, а за дверью шаги людей, возбужденно говоривших друг с другом.

Через какое-то время кровати дергались, что-то вздыхало и визжало, и поезд опять стучал колесами и катился дальше. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук. У него и у Томикони было теперь по две мамы: мама Анна и мама Вира. Это чтобы они не грустили, что у них нет больше ни одного папы и никаких тетей.

Но ему все равно было грустно. А Томикони — нет.

Сестра Ранья очень удивилась, когда, открыв дверь, увидела пожилую даму с огромным букетом в руках.

— Я Эльвира Зенн. Мне захотелось принести для господина Ланга немного цветов. Он еще не спит?

— Он уже в постели, но, думаю, еще не заснул. И наверняка обрадуется, что вы пришли.

Она впустила Эльвиру Зенн, взяла у нее цветы и помогла ей снять мокрый плащ. Потом постучала в дверь к Конраду и открыла ее.

— Сюрприз, господин Ланг.

Конрад еще раньше закрыл глаза. Но, услышав голос сестры Раньи, открыл их. Увидев, однако, Эльвиру, он тут же снова закрыл их.

— Он очень устал, потому что он ничего не ест, — прошептала сестра Ранья.

— Я просто немножко посижу здесь, если вы не возражаете.

Поставив цветы в вазу и внеся их в комнату, Ранья увидела, как Эльвира сидит на стуле у края постели и смотрит на спящего Кони. Картина растрогала Ранью. Она радовалась, что старая женщина все же опомнилась и пришла к Кони. Выйдя за дверь, она переборола в себе естественное желание понаблюдать за ними сверху по монитору и решила скромненько посидеть в гостиной, пока посетительница уйдет.

Симона Кох и Петер Кундерт пили уже по третьей чашке кофе. Бумажная скатерть на столе была исписана вкривь и вкось разными математическими значками и словами. «Конитоми → Томикони» стояло в одном месте и «Томи → Кони» и «мама Вира ↔ мама Анна» в другом. Кундерт лучше соображал, если видел все это перед глазами. Чем дольше они об этом говорили, тем больше прояснялся смысл всего.

— Вот почему такое долгое путешествие. Чтобы без помех перепрограммировать детей, — сказала Симона.

— И чтобы Эльвира могла уволить всю прислугу и взять по возвращении новую, — высказал предположение Кундерт.

— А потом ей еще надо было держать мальчиков подальше от обеих старых теток. Те определенно все бы заметили.

— А почему они ничего не заметили после их возвращения?

— Возможно, они уже умерли. Обе выглядят на фотографиях очень старыми.

Кундерт написал: «Тети — когда?», оторвал клочок скатерти с записью и сунул его к другим в нагрудный кармашек рубашки. Кафе опустело. Но потом пришло время, когда заканчиваются киносеансы, и маленький зальчик вновь заполнился.

— Одно только никак не вписывается в схему, — ломал голову Кундерт. — Анна Ланг. Или скорее даже так: что побудило Эльвиру предпринять эту подмену детей?

— Он назвал ее «мама». «Мама, почему ты уколола папу-директора?»

Кундерт немного колебался.

— Может, она что-то вколола Вильгельму Коху?

— Она убила его, — твердо заявила Симона.

— Может, это все-таки удастся исключить?

Он написал: «Причина смерти Коха???», вырвал клочок и убрал его к остальным.

— Думаю, сейчас нам лучше вернуться, — сказала Симона.

Через два часа после того как ушла Эльвира Зенн, сестра Ранья заметила, что с Конрадом Лангом творится что-то неладное. Взглянув, как полагалось, на пациента, она увидела, что тот лежит, обливаясь потом, бледный как мертвец, сердце его бешено колотится,

и сам он дрожит всем телом. Его губы двигались, он пытался что-то сказать. Она приблизила ухо вплотную к его губам, но услышала только бессмысленное бормотание и мычание.

— What's the matter, baby, tell me, tell me![1] — Она пыталась прочесть слова по его губам.

— Angry? Why are you angry, baby?[2]

Конрад затряс головой. И снова попытался что-то сказать.

— Hungry? You are hungry?[3]

Конрад Ланг кивнул.

Сестра Ранья выбежала и вернулась с банкой засахаренного миндаля в медовом сиропе. Открутив завинчивающуюся крышку, она выудила капающий миндаль и положила его ему в рот. За ним другой. А потом и следующий. Конрад проглатывал миндаль с такой жадностью, какой она еще не наблюдала ни у одного больного. Может, разве что иногда у диабетиков, у которых вдруг внезапно резко падает содержание сахара в крови. Но Конрад Ланг диабетиком не был.

Странным было только одно: чем больше засахаренного в меде миндаля он съедал, тем лучше себя чувствовал. Его пульс нормализовался, обильное потение прекратилось, и он снова слегка порозовел. Сестра Ранья только сунула последний миндаль Конраду в рот, как открылась дверь и вошли доктор Кундерт и Симона. Оба облегченно вздохнули.

— Чары сестры Раньи опять подействовали, — сказала Симона, — Конрад снова ест.

Сестра Ранья рассказала, что случилось. Все симптомы говорили о гипогликемии. Доктор Кундерт измерил содержание сахара в крови Конрада и установил, что оно по-прежнему все еще оставалось предельно низким. Сестра Ранья спасла ему, по-видимому, жизнь своим засахаренным миндалем. Впрыскивая глюкозу в капельницу, Кундерт заметил следы проколов в резиновой перемычке. Лично он за последние сутки никаких лекарств таким путем в капельницу не добавлял.

— Когда господин Ланг выдернул прошлой ночью иглу, я целиком и полностью заменила на капельнице и трубку, и все соединения.

Доктор Кундерт мучительно искал объяснений. У пациента с нормальным содержанием сахара в организме не может ни с того ни с сего наступить гипогликемический шок.

— И вам за весь вечер не бросилось в глаза ничего необычного в пациенте?

— Только то, что он был очень усталым. Даже когда пришла госпожа Зенн, он так и не проснулся.

— Здесь была госпожа Зенн? — спросила Симона.

— Да. Она находилась здесь с ним больше часа.

— Вы не заметили ничего особенного?

— Меня здесь в комнате не было.

— А на мониторе?

— Тоже нет. Ведь у него была гостья.

Кундерт и Симона кинулись к лестнице.

Томас, взлохмаченный и опухший, в два часа ночи пришел в гостевой домик. Симона вытащила его из постели.

— Если речь не идет о жизни и смерти, тогда ты узнаешь, почем фунт лиха, — пригрозил он ей, когда она потребовала, чтобы он прихватил свои очки и немедленно шел к ним.

— Именно об этом речь и идет, — ответила Симона. — О жизни и смерти.

Она позвонила и Урсу тоже. Он еще не вернулся, заверила ее заспанная Канделярия.

Симона провела Томаса в комнату для дежурств и представила ему доктора Кундерта и сестру Ранью. От предложенного стула он отказался. Он не намеревается застревать тут надолго. Кундерт пустил пленку видеозаписи с того момента, когда сестра входит с букетом цветов и оставляет потом Эльвиру с Конрадом одних.

— Она навестила Кони? — удивился Томас. — Когда это было?

Симона взглянула на часы.

---

[1] В чем дело, детка, скажи мне, скажи мне (*англ.*).

[2] Сердишься? Почему ты сердишься, бэби? (*англ.*)

[3] Голодный? Ты голодный, бэби? (*англ.*)

— Семь часов назад.

Картинка долго оставалась без изменений — Конрад Ланг лежит на спине с закрытыми глазами, Эльвира Зенн сидит на стуле рядом с ним. Доктор Кундерт прогнал пленку вперед до того места, где Эльвира молниеносно вскочила со стула и так же молниеносно села на него снова. Он остановил кадр, перемотал пленку назад и пустил ее теперь на нормальной скорости.

Сейчас всем было видно, как Эльвира осторожно встает со стула, склоняется над Конрадом и снова садится. Та же сцена повторяется еще два раза.

Вот Эльвира встала. Склонилась над Конрадом. Выпрямилась. Открыла свою сумку. Вынула оттуда светлую салфетку. Положила ее на ночную тумбочку. Развернула салфетку. Что-то взяла в правую руку. Пошла с этим к капельнице. Взяла мягкую трубку левой рукой. Что она сделала дальше, мешало увидеть ее правое плечо. Она вернулась назад к ночной тумбочке. Положила какой-то предмет на светлую салфетку. Взяла в руки другой. Вернулась назад к капельнице. Подняла предмет вверх и подержала его против света. На какое-то мгновение он четко обозначился на пододеяльнике. Шприц?

Что она сделала дальше, опять закрыло плечо.

Только на третий раз все стало видно абсолютно точно: шприц! И еще: она втыкает иглу в резиновую перемычку на капельнице.

Эльвира убирает салфетку опять в свою сумку и выходит из комнаты, даже не оглянувшись на Конрада.

— Что это было? — спросил пораженный Томас.

— Попытка убийства. Это был инсулин. Господин Ланг должен был умереть от гипогликемического шока. Недоказуемо. Он выжил только благодаря сестре Ранье.

Томас Кох опустился на стул. Долгое время он сидел, словно у него разум помутился. Потом он посмотрел на Симону:

— Зачем она это сделала?

— Спроси ее сам.

— Может, она сошла с ума?

— Надеюсь, ей удастся это доказать, — сказал доктор Кундерт.

На следующее утро Эльвира Зенн чувствовала себя превосходно. Она отлично выспалась, проснулась очень рано, с чувством величайшего облегчения, тут же встала и налила себе ванну. Войдя через три четверти часа в свою «утреннюю» комнату, она сразу поняла, что что-то не сработало: на ее маленькой оттоманке спал Томас — одетый и с открытым ртом. Она принялась трясти его. Он сел, пытаясь сообразить, где он и что с ним.

— Что ты тут делаешь?

Томас соображал.

— Я ждал тебя.

— Зачем?

— Мне надо с тобой поговорить.

— О чем?

Он забыл.

Эльвира помогла ему:

— Это как-то связано с Кони?

Томас думал. И тут к нему вернулись все воспоминания о прошлой ночи.

— Ты хотела его убить!

— Кто тебе сказал?

— Я сам все видел. Это все записано на пленку.

У Эльвиры подкосились ноги.

— В комнате Конрада есть скрытая телекамера?

— Ну вам же подавай все только самое лучшее!

— Что там видно?

— Тебя, как ты три раза что-то вкалываешь ему в трубку на капельнице.

— И он жив?

— Его спасла ночная сестра. Медом, насколько я понял.

Эльвира окаменела.

— Зачем ты это сделала?

Она не отвечала.

— Зачем ты сделала это?!

— Он опасен.

— Кони? Опасен? Для кого?

— Для нас. Для тебя, и Урса, и для меня. Для заводов Коха.

— Ничего не понимаю.

— Он помнит такие вещи, о которых никто не должен ничего знать.

— Какие вещи?

За окном занимался новый день, такой же пасмурный, как и вчера. Терпение Эльвиры кончилось, и она взорвалась:

— Знаешь ли ты, сколько мне было, когда я пришла к Вильгельму Коху нянчить его сына? Девятнадцать! А ему уже пятьдесят шесть. В глазах девятнадцатилетней девушки это был дряхлый старик. Нахальный, спившийся, и к тому же пятьдесят шесть лет!

— Но ты же вышла за него замуж!

— В девятнадцать свойственно делать ошибки. Особенно когда нет ни денег, ни жизненного опыта.

В дверь постучали. С подносом в руках вошла Монсеррат. Увидев Томаса, она достала из серванта второй столовый прибор. Эльвира и Томас хранили молчание. Наконец они опять остались одни.

— Я вызвала Анну, чтобы не быть в доме одной, к тому же полностью во власти этого старика. А потом у нее родилась идея... — Эльвира сделала паузу, — родилась идея убить его.

Томас протянул руку за чашкой кофе. Но рука задрожала так, что он отказался от этого. Эльвира ждала, что он что-нибудь скажет. Но Томас все еще пытался осознать сделанное ею признание со всеми вытекающими отсюда последствиями.

— Анна еще не доучилась на медсестру, но она уже знала, как это сделать, чтобы никто ничего не заметил: дать высокую дозу инсулина. Человек умирает тогда в состоянии шока. Доказать искусственное введение инсулина невозможно. Самое большее — обнаружить след от укола. Если тщательно искать его.

Томас наконец взорвался.

— И вы убили моего отца!

Эльвира взяла стакан апельсинового сока. Ее рука оставалась твердой. Она выждала какой-то момент, но потом поставила стакан назад, так и не сделав ни глотка.

— Вильгельм Кох стал твоим отцом только после смерти.

Томас смотрел и ничего не понимал.

— После его смерти мы вас подменили. Вильгельм Кох был отцом Конрада.

Давая Томасу время сформулировать свой следующий вопрос, она опять взяла стакан. Но теперь и ее рука дрожала. Она снова поставила его на место.

— Зачем вы это сделали? — удалось наконец Томасу выдавить из себя.

— Мы хотели, чтобы все получил ты, а не Конрад.

Томасу снова понадобилось время, чтобы переварить и это.

— Но почему? — спросил он затем. — Почему я?

— С Конрадом меня ничто не связывало. Он только напоминал мне о Вильгельме Кохе.

— А со мной? Что тебя связывало со мной?

— Мы же с Анной были сестрами.

Томас встал и подошел к окну. Монотонный затяжной дождь зарядил с самого утра.

— Анна Ланг — моя мать, — пробормотал Томас. — А ты — моя тетка.

Эльвира не ответила.

Несколько минут Томас молча стоял и неотрывно смотрел на мокрые от дождя рододендроны. Потом он покачал головой.

— Как могла мать отдать своего ребенка ни за что ни про что своей сестре?

— То, что она останется в Лондоне, мы не планировали. Она влюбилась. А потом началась война.

— А кто мой отец? — спросил он наконец.

— Это абсолютно не важно.

Томас повернулся от окна.

— И что будет, когда все это вылезет наружу?

— Не вылезет.

— Они подключат соответствующие инстанции.

— Ты поговоришь с Урсом и с Симоной. Вы постараетесь отговорить ее от этого. Любой ценой.

Томас кивнул.

— А ты?

— Мне лучше уехать на пару дней.

Он только качал головой и уже собирался уйти, как вдруг опомнился, обнял ее и поцеловал в обе щеки.

— Теперь ступай, — сказала она и крепко прижала его к себе.

Когда он ушел, в глазах у нее стояли слезы.

— Дурачок, — прошептала она. И направилась в ванную.

У Урса трещала с похмелья голова, когда отец разбудил его в начале восьмого. Последнюю ночь он кутил допоздна. Благоприятная информация, полученная от Фреди Целлера, стоила того, чтобы отпраздновать на широкую ногу, — около двух часов ночи он забрел в одно сомнительное заведение, посещение которых запретил себе сам с тех пор, как его ввели в совет правления концерна. В четыре часа утра он обнаружил, что находится в номере захудалого отеля в старой части города в обществе очаровательной бразильянки, у которой, как выяснилось позднее, в самом интересном месте ничего не было, кроме пениса. Что в тот момент ему было абсолютно безразлично. Даже напротив, в чем он, к своему великому ужасу, признался себе позже.

Он вернулся домой всего два часа назад, поставил будильник на десять, потому что хотел пойти отобедать с Эльвирой и успокоить ее относительно того, что кануло в прошлое. Но похоже, насколько ему удалось понять из сбивчивых объяснений собственного отца, прошлое все-таки сыграло с ними злую шутку.

Единственное, что ему еще оставалось, это как можно скорее привести себя в порядок и начать действовать с ясной головой, стараясь ограничить размеры надвигающейся катастрофы.

Еще не встав с постели, он позвонил Фреди Целлеру. Дай бог, чтобы у того не гудела голова так, как у него самого.

А в гостевом домике тем временем хлопотали вокруг пациента. Доктора Кундерта больше всего беспокоило одно: источником энергии для нервных клеток головного мозга служит исключительно глюкоза. Запасов ее хватит у Конрада от силы на десять — пятнадцать минут. От продолжительности и степени тяжести гипогликемии зависело многое, она могла привести к самым серьезным поражениям мозга. Вплоть до изменения личности, что возможно даже у здоровых людей. А в случае с Конрадом Лангом недалеко было и до самых катастрофических последствий.

Психологические тесты, проведенные доктором Кундертом еще до возвращения Симоны (она уезжала к своему адвокату, чтобы отдать на хранение видеокассету), немного успокоили его. Основные показатели не ухудшились. Принимая во внимание события последней ночи, Конрад Ланг проявлял на удивление осмысленное восприятие окружающего. И только когда Симона принялась рассматривать с ним фотографии, Кундерт пал духом.

Конрад ничего и никого не узнавал ни на одной фотографии. Он не реагировал ни на одну подсказку. «Папа-директор» уже больше ничего не значило для него, «Конитоми» и «Томикони» вызывало лишь вежливую улыбку, а на «маму Виру» он только пожимал плечами. Симона не сдавалась. Она трижды все начинала сначала и трижды все с тем же нулевым результатом.

Показав в четвертый раз на молодую женщину в зимнем саду и спросив: «А вот это, не фройляйн ли Берг тут на снимке?», она вдруг услышала от него в слегка раздраженном тоне:

— Я уже сказал, что не знаю, кто это.

Я уже сказал?

На заднем сиденье черного «даймлера» почти не было слышно того шума, с каким шины тяжелого лимузина рассекали дождевые лужи. Эльвира Зенн неподвижно глядела в окно, на безрадостные населенные пункты в восточной Швейцарии и на немногих закутанных людей, которых судьба выгнала из дому в такой дождь.

Шёллер не был личным шофером Эльвиры, но часто случалось так, что она вдруг без всякого предупреждения звонила ему и вызывала к себе, когда ей хотелось прогуляться. В правила игры входило и то, что она не говорила ему, куда хочет поехать. Иногда — чтобы сделать ему сюрприз, а иногда потому, что сама не знала, куда едет. Но на сей раз она, похоже, точно знала цель своей поездки. Места, которые они проезжали, были ей знакомы — Эш под Нефтенбахом, Хенггарт, Андельфинген, Трюлликон. Эльвира Зенн коротко указывала Шёллеру направление. После Базадингена, этой дыры, название которой Шёллер увидел на дорожных щитах, предупреждавших пешеходов и любителей побегать на природе об опасности энцефалитного клеща, она приказала ему свернуть на проселочную дорогу.

Еще несколько домиков и крестьянских хуторов — и асфальт закончился. Фирменный глушитель на выхлопной трубе уже дважды процарапал по колдобинам разъезженной дороги. Будка трансформатора, огороженный участок земли вокруг колодца, отведенный под водосбор, дальше лес. Шёллер взглянул в зеркало заднего вида. Эльвира только махнула рукой — поезжай вперед.

Тщательно маркированная древесина, распиленная на нужную длину, аккуратно сложена штабелями вдоль лесной дороги. Рядом с горой только что сваленных хлыстов Эльвира велела остановиться. Шёллер выключил мотор. С еловых веток на крышу лимузина падали тяжелые капли.

— Где это мы? — спросил Шёллер.

— Там, где все начиналось, — ответила Эльвира.

Однажды солнечным утром в мартовское воскресенье 1932 года по просеке прогуливалась странная парочка. Мужчине было лет сорок — крепкий, с редкими светлыми волосами и лихо закрученными усами. Лицо раскраснелось от пропущенной с односельчанами в деревенском кабаке рюмочки шнапса после воскресной церковной службы. На нем был выходной груботканый костюм, кулаки засунуты в карманы брюк.

Рядом шла молоденькая четырнадцатилетняя девушка — светлоголовая, с круглым, смазливеньким, еще детским лицом. На ней — длинная юбка, шерстяные чулки, высокие ботинки на шнуровке и вязаная кофта. Руки она держала в муфточке из потертого кроличьего меха. Девушка жила с родителями и сестрой на краю деревни Базадинген в домике под желтой дранкой. Мать была надомницей и шила накладные плечи-подушечки для пошивочной фабрики в Санкт-Галлене. Отец работал на лесопильне.

Мужчина работал вместе с отцом. Часто бывал у них дома, этому все были рады — балагур, а смех не частый гость в их доме. На правой руке у него остались только большой палец и мизинец. Три остальных отхватило ленточной пилой. Когда это случилось, бледный подмастерье растерянно протянул ему три пальца. «Отдай собаке», — ответил он, так потом рассказывали.

В этой правой руке было что-то неприличное, что притягивало девушку, завораживало ее. Однажды, заметив, как неотрывно она смотрит на его пальцы, он сказал: «Я могу сделать ими все, для чего требуется правая рука». Она покраснела. С этого момента он всегда устраивал так, чтобы остаться с ней наедине. И каждый раз доводил ее до смущения разными непристойностями. Она была любопытная девушка. Не потребовалось долго уговаривать ее встретиться с ним в воскресенье после церковной службы в леске. Он хотел ей кое-что показать, чего она никогда не видела. Настолько наивной, чтобы подумать, будто речь идет о редкостном грибе, она не была.

Но сейчас, когда он свернул на лесовозную дорогу, уводившую с просеки в чащу, у нее с испугу забилось сердце. И когда они дошли до лесосеки, где земля была усыпана свежими опилками и он предложил ей сесть рядом с ним на поваленную ель, она сказала: «Лучше я пойду назад». Однако не оказала ему сопротивления, когда он начал лапать ее своей мозолистой клешней. Она не издала ни звука и тогда, когда он набросился на нее. Закрыла глаза и ждала, пока все кончится.

Когда она привела в порядок одежду и перестала плакать, он проводил ее до опушки леса. И отправил оттуда домой. «Ты об этом никому ничего не расскажешь», — повторил он в сотый раз. Он мог бы и не говорить этого. Эльвира Берг никогда не рассказала бы о случившемся ни одному человеку.

У нее только недавно начались месячные. И когда они вдруг не пришли, она не придала этому никакого значения. В мае ее вдруг стали мучить головокружения. Потом по-

явилась тошнота. В июне мать привезла ее в Констанц к врачу, которого знала еще по своему первому браку. Эльвира была на четвертом месяце беременности. Ее отвезли в один приют, в кантоне Фрибур, и оставили на попечение монашкам. Те уже имели опыт в подобных случаях. В ноябре Эльвира произвела на свет здорового мальчика. Сестры-монашки дали ему имя Конрад. В честь святого Конрада, бывшего в девятом веке епископом Констанца.

С января 1933 года для Эльвиры началась самостоятельная жизнь во французской Швейцарии. Ее взяли в одну семью в Лозанне, где она за карманные деньги работала служанкой. Конрад остался под присмотром матери Эльвиры. Его выдали за внебрачного ребенка Анны, старшей сестры Эльвиры. Деревенские сплетницы пощады не знали.

Анна была дочерью от первого брака матери с одним парикмахером из Констанца, он погиб в июле 1918 года на берегах Марны. Она носила фамилию своего отца — Ланг, ей было девятнадцать, и она училась на медицинских курсах в Цюрихе. Только в сочельник 1933 года, во время ее первого приезда в Базадинген в том году, она узнала, что годовалый Конрад слывет в деревне за ее внебрачного ребенка. Той же ночью она уехала назад. Но свою угрозу рассказать всему миру об истинном положении вещей она так и не выполнила. Через два года Эльвира опять забеременела. На сей раз от «месье», главы семьи, где она прислуживала. Симптомы были ей уже хорошо известны, и она была полна решимости не допустить на сей раз появления ребенка. Она поехала к своей сестре, которая уже училась на последнем курсе и должна была вот-вот получить диплом медицинской сестры. Когда Анна поняла, о чем ее просит Эльвира, она с возмущением отказалась. Но Эльвира развила в себе талант добиваться того, что ей втемяшилось в голову. На следующий день сестра согласилась помочь ей.

За время учебы Анна дважды присутствовала на прерывании беременности. И подумала, что сумеет сделать это сама. Она тайком принесла из клиники инструменты, которые остались у нее в памяти от виденной операции. Положив Эльвиру на пружинный матрац в своей мансарде и анастезировав ее полбутылкой сливовицы, она приступила к делу. Все закончилось полной катастрофой. Эльвира потеряла уйму крови и не выжила бы, если бы в самый последний момент Анна не вызвала «скорую помощь».

Эльвира Берг пробыла в больнице целый месяц. Когда ей сказали, что у нее никогда больше не будет детей, она вздохнула с облегчением: «Слава богу!»

Анна Ланг вылетела с курсов и была условно приговорена к тюремному заключению. Сестры встретились снова на Рождество 1935 года в маленьком бедном домике в Базадингене. Они не знали, что было безнадежнее — их настоящее или их будущее.

Но вскоре после Нового года колесо фортуны изменило их судьбу. Эльвира откликнулась на объявление в газете, где вдовцу требовалась на «очень хороших условиях» нянька к ребенку. Она прошла строгий отбор и получила место у Вильгельма Коха, богатого фабриканта. Она получила его не в последнюю очередь благодаря восторженной рекомендации, выданной ее «месье».

Томас Кох оказался нетрудным и спокойным ребенком, не причинявшим больших хлопот. Не то что его папочка. Но на сей раз условия диктовала Эльвира. Не прошло и года, как она стала женой Вильгельма Коха. А вскоре после этого она взяла Анну Ланг служанкой в дом. Та привезла маленького Конрада, который все еще считался ее сыном.

Эльвира долго сидела, погруженная в воспоминания, в глубине лимузина. Стекла запотели, а дождь по-прежнему все так же размеренно барабанил по крыше «даймлера». Когда она сделала движение, чтобы открыть дверцу, Шёллер вышел из машины, раскрыл зонт и помог ей выйти.

— Оставьте меня на несколько минут одну, — попросила она. Шёллер протянул ей зонт и глядел в хрупкую спину женщины с большой дамской сумкой в руках — фигура ее удалялась неуверенным шагом по размякшей лесной дороге и наконец исчезла на развилке в чащобе из молодых елочек. Он опять сел за руль и стал ждать.

Прошло двадцать минут, и он уже совсем было собрался поехать ей навстречу и даже завел мотор, как она снова появилась. Он медленно проехал несколько метров в ее сторону, остановился и помог ей сесть. Она выглядела так, словно только что навела марафет. Только ее лодочки были в плачевном состоянии.

Когда он позволил себе сделать замечание, она улыбнулась и сказала:

— Вези меня на солнышко!

Шёллер ехал на дозволенной скорости — сто тридцать в час. В том, что Эльвира молчала, не было ничего необычного. Странно только, что она дремала. В Сен-Готардском туннеле, примерно через два часа, как они выехали из Базадингена и поехали в южном направлении, он заметил в зеркало заднего вида, что у нее все еще слипаются глаза.

— Не забудте разбудить меня, — сказала она, почувствовав, что он наблюдает за ней. И уснула.

И не проснулась даже тогда, когда он на выезде из туннеля затормозил слишком резко из-за неожиданно обрушившейся на них лавины дождя, хотя спала обычно очень чутко. «Дворники» безуспешно сражались с потоками дождя и брызгами грязи, когда он почти шагом ехал в плотной колонне машин через долину Левентина. Эльвира Зенн по-прежнему спала. Вскоре после Бьяски ему бросилось в глаза, что она сильно побледнела. Рот ее был приоткрыт.

— Госпожа Зенн, — окликнул он ее негромко. Потом чуть громче: — Госпожа Зенн! — И наконец громко закричал: — Эльвира!

Она не реагировала. Он затормозил, увидев ближайшую площадку для отдыха, и свернул на нее, несколько неожиданно для следовавшей за ним машины, чьи длинные возмущенные гудки еще долго отзывались эхом, но Шёллер уже стоял под проливным дождем, рывком открыв заднюю дверцу.

Капли пота размыли ее макияж. Она была без сознания, но Шёллер нащупал пульс. Он потряс ее, сначала осторожно, потом посильнее. Но она не подавала признаков жизни. Тогда он снова сел за руль и быстро поехал. Не обращая внимания ни на какие ограничения скорости. Сразу после Кларо он наконец-то увидел съезд с автострады, тут же узнал номер больницы в Беллинцоне и уже разговаривал из машины с дежурным врачом по экстренным случаям. Как раз в тот момент, когда он на превышенной скорости шел на обгон и подробно передавал по телефону видимые симптомы, одновременно информируя врача о влиятельности пациентки, мимо него пролетел последний дорожный указатель съезда на Беллинцону. Он нажал на тормоза, резко крутанул руль вправо, заметил, что опасно подрезает идущий справа грузовик, и тут же сбросил скорость. Машину занесло, она вылетела на разделительную полосу, пробила обе планки, несколько раз перевернулась, только чудом не столкнулась с идущим по встречной полосе фургоном, на волосок проскочив мимо него юзом, и остановилась на аварийной полосе — радиатором по ходу встречного движения, но вверх колесами.

Получив сообщение об автомобильной катастрофе со смертельным исходом, Урс Кох через два часа разъяснял своей жене Симоне юридическую сторону дела, как это изложил ему Фреди Целлер. Урс отказался вести переговоры в гостевом домике, и Симоне пришлось в конце концов согласиться прийти на виллу, но она настояла на своей комнате «Лауры Эшли». Он вошел твердым шагом, однако она слишком хорошо его знала, чтобы поверить, будто глаза у него красные от пролитых по Эльвире слез. Она спокойно выслушала его объяснения и позволила ему деловито подвести итог. И только когда он сказал: «Видишь — с юридической точки зрения дело полностью закрыто», она спросила:

— А с человеческой?

— С человеческой, конечно, все это очень трагично. Для обеих сторон.

— И ты даже не представляешь насколько, пока я не разделаюсь с вами.

— Чем ты угрожаешь теперь?

— Публикацией. — Симона встала. — Скоро ты сможешь прочесть в мельчайших подробностях об этой мерзкой истории в любой бульварной газетенке и будешь слушать об этом с утра до вечера на всех радиоволнах в этой стране, пока тебе не станет тошно от самого себя.

— Что ты хочешь?

Симона села.

Траурная панихида состоялась только через неделю после смерти Эльвиры Зенн. Столько времени потребовалось, чтобы провести эту церемонию как должно, в соответствии с их положением в обществе и учитывая деловое расписание экономической, политической и культурной элиты.

На площади перед кафедральным собором столпились серьезные люди в торжествен-

ном траурном облачении. Большинство из них знали друг друга. Они молча кивали в знак приветствия. Если подавали руку, то делали это как бы без особой радости, чтобы кто не подумал, что печальная судьба Эльвиры Зенн оставила их равнодушными. Стояли маленькими группками и разговаривали приглушенными голосами. Муниципальная полиция следила за тем, чтоб посторонних не было.

На потупленные головы собравшихся обрушились тяжелые удары колокола. Траурное общество медленно пришло в движение и направилось к собору. У входа шествие несколько застопорилось, а потом равномерно растеклось по голым жестким скамьям. Все смиренно готовились провести здесь ближайшие полтора часа.

Ряды заполнялись с двух сторон: спереди — членами семьи, друзьями, близкими знакомыми, сзади — партнерами по деловым связям, представителями общественности, политиками, бизнесменами и прессой. Обе группы сливались и смешивались в среднем нефе, а проходы забивались теми, кто спешил и потому стремился держаться поближе к выходам, чтобы не терять потом зря времени.

Пока по всей форме и с подобающими почестями поминали усопшую, не забывая помянуть и Шёллера, пытавшегося спасти Эльвиру и пожертвовавшего своей жизнью, сидевшие впереди напряженно вглядывались в море цветов, стараясь прочесть надписи на шелковых лентах. Остальные же были заняты своими мыслями. Никто, кроме доктора Штойбли, ничего не знал о шести ампулах инсулина «U 100», пропавших из холодильничка Эльвиры Зенн.

Когда Симона смогла наконец уйти с соборной площади, сквозь облака проглянуло солнце. Весна напомнила о себе, и мир явно вознамерился забыть Эльвиру Зенн.

Симона вернулась с поминок (ее непременное присутствие было частью достигнутого с Кохами соглашения) в гостевой домик, и там ее ожидал сюрприз.

— Идите скорее, господин Ланг приготовил для вас подарок, — встретила ее Жозелин Жобер.

Симона сняла пальто и прошла в гостиную, где Конрад с недавнего времени опять проводил часть своего времени и даже снова начал есть после того, как сестра Ранья спасла ему жизнь своим миндалем в медовом сиропе. Сейчас он сидел за столом и рисовал. Врач взяла со стола листок и протянула его Симоне. Это была серо-голубая акварель под названием «Дом для снежснежков в мае». Но теперь внизу еще стояло: «Симоне».

— Спасибо большое, Кони, это чудесно. Но только кто такая Симона?

Кони посмотрел на нее сочувственным взглядом.

— Да это же ты!

На следующий же день прибыл О'Нейл. Три часа подряд он изучал вместе с Кундертом видеозапись последних занятий трудотерапией, после чего убедился, что врач не обманывала. А тогда это означало только одно: Конрад Ланг усвоил не так давно новое для себя имя и теперь сумел вспомнить его.

После обеда, в привычное время, Симона опять принялась рассматривать с Конрадом фотографии. На сей раз все четыре альбома подряд. Включая те три, на которые он давно уже больше не реагировал. Все воспоминания о заснятых на них событиях его жизни были стерты из его памяти.

Но когда она дошла до самого первого альбома, взяв его в руки последним, и показала на первое же фото — молодую Эльвиру в зимнем саду, — он с упреком сказал ей:

— Фройляйн Берг. И вчера еще ты знала об этом.

В этот вечер весь персонал гостевого домика устроил вечеринку. Лючана Дотти приготовила шесть различных pasta[1], а Симона сходила на виллу в винный погреб и принесла оттуда восемь бутылок «Château d'Yquem» 1959 года — величайший раритет, поскольку бутылки эти закладывались еще Эдгаром Зенном.

— За РОМ-55, — поднимал каждый раз тост Ян О'Нейл, стоило Лючане наполнить бокалы.

— А может, лучше за инсулин, — подтрунивал над ним Петер Кундерт.

— Или за миндаль в медовом сиропе, — добавляла сестра Ранья.

---

[1] Общее название в Италии для блюд из макарон.

Петер Кундерт уходил последним. Симона провожала его до дверей, они стояли и долго целовались.

Хотя в памяти Конрада Ланга отсутствовали целые периоды его жизни, но с помощью интенсивной тренировки удалось все же частично заново организовать приобретенные им в прошлом знания и восстановить его адекватное отношение к окружающей действительности. Ему пришлось снова учиться управлять процессами движения, сначала простейшими, потом более сложными.

Через несколько месяцев он уже мог вставать без посторонней помощи, умываться, бриться и одеваться. Хотя последнее получалось не всегда удачно. Чем больше он учился, тем скорее многое возвращалось само по себе. Все шло так, как это и представляли себе в самых своих радужных мечтах О'Нейл и Кундерт.

Многое было погребено в провалах памяти, но все время всплывали какие-то обрывки воспоминаний, словно кусочки пробки, застрявшие где-то глубоко-глубоко в морских водорослях, опутавших его мозг. Гостевой домик виллы «Рододендрон» превратился в международный центр по проблемам изучения болезни Альцгеймера. И Конрад Ланг стал его неоспоримой звездой.

В июне брак между Симоной и Урсом Кохом был расторгнут.

В июле Симона родила девочку и назвала ее Лизой.

В сентябре, в один из последних теплых летних вечеров — пахло свежескошенным газоном, и далеко внизу блестели на воде веселые огоньки вилл на другом берегу озера, — Конрад Ланг, окрыленный хорошим настроением, сел в гостиной к инструменту. Он поднял крышку и опустил правую руку на клавиши. Извлек первый звук, сыграл несколько аккордов и с опаской повел правой рукой мелодию ноктюрна Фридерика Шопена № 2 сочинение 15, фа-диез мажор. Сначала неуверенно, потом все свободнее и смелее.

Когда сестра Ранья тихо вошла в комнату, он улыбнулся ей счастливой улыбкой. И попробовал привлечь левую руку. Левая рука сначала принялась аккомпанировать правой. Потом немножко отстала, передохнула несколько тактов, снова догнала правую, отобрала у нее мелодию, повела ее дальше сама, перебросила затем назад правой, короче, опять повела себя как самостоятельное и притом своенравное существо...

■

«...твои глаза показывают время»

СТИХИ

Перевод с итальянского и вступление ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА

В Милане, в популярном среди читающей публики книжном магазине, где автор этих строк надеялся найти книги швейцарских поэтов, пишущих по-итальянски, ему посоветовали сесть в машину и доехать до Кьяссо, ближайшего швейцарского города: дескать, там он найдет широкий выбор интересующих его изданий. По ряду причин, самых что ни на есть банальных, в тот раз поездка в Швейцарию не состоялась, но разговор в Милане запомнился тем, насколько обыденно воспринимается жителями северной Италии возможность заглянуть в ту часть соседнего государства, в которой подавляющее большинство людей говорит на одном с ними языке.

Представители этого большинства поют детям итальянские колыбельные, рассказывают сказки по-итальянски, а когда дети достигают школьного возраста, отдают их в школы, где обучение ведется на языке Данте, Боккаччо, Мандзони. Показательно, что в таких школах в разное время преподавали классик италоязычной швейцарской литературы Франческо Кьеза (1871—1973) и Джорджо Орелли, «лучший италоязычный швейцарский поэт», по оценке известного итальянского критика Джанфранко Контини, а сегодня преподают Альберто Несси и Фабио Пустерла, составившие ему компанию в предлагаемой подборке.

По данным последней переписи населения, проводившейся в 1990 году, итальянский язык является родным для 7,6 процента швейцарцев и живут эти 7,6 процента главным образом в кантоне Тичино (Тессин), живописном краю, отмеченном даже в городах печатью патриархальности, на фоне которой внушительные здания знаменитых банков и многозвездочных отелей выглядят макетами с выставки современной архитектуры. Под усиливающимся натиском технологической цивилизации, включающей и индустрию туризма, живущим здесь все труднее становится содержать свои горы, долины, берега озер и рек, сами озера и реки в чистоте. Вот как в рассказе «Прогулка по Беллинцоне» описывает художества палачей природы Джорджо Орелли: «Я поднимаю глаза и вижу загаженные кусты и деревья; глядя на прилипшие к стволам, свисающие с веток обрывки нейлона, полиэтилена, неведомо чего, можно подумать, что тут прошли циклопы». Тех же метафорических циклопов и их следы читатели этого номера обнаружат в стихотворении Орелли «На берегу Тичино».

Вплоть до начала сороковых годов развитие италоязычной швейцарской поэзии тормозила провинциальная замкнутость, и Джорджо Орелли был в числе первых, кто это осознал. Традиционное для его предшественников священное отношение к поэтической риторике прошлого века, упакованной в классические формы, не могло устраивать Орелли после того, как он открыл для себя высокой пробы образцы новой итальянской лирики — стихи Сабы, Унгаретти, Монтале. «Добиться поэзии, отказавшись от специального поэтического языка, — вот пари, которое Орелли заключил сам с собой и которое блестяще выиграл», — сказал о Джорджо Орелли упоминавшийся выше Джанфранко Контини. Скорее всего, авторитетный критик имел в виду повествовательность ряда стихотворений Орелли — то же, что подразумевал автор престижной антологии итальянской поэзии XX века Пьер Винченцо Менгальдо, рассматривая стихотворение «Коленки» как законченный стихотворный рассказ и сравнивая его с рассказом Чехова «Шуточка».

Для начального этапа творчества Альберто Несси, чей дебют в литературе пришелся на 1969 год, характерен выстраданный интерес к маленькому человеку, в которого поэт как бы перевоплощается («Я не принадлежу к категории поэтов, говорящих от своего имени», — так когда-то определил Несси свою литературную позицию). Время расширило границы поэтического мира Несси, значительно акцентировав роль пейзажа в его стихах. На эту новую особенность поэзии Несси обратил внимание Пьер Винченцо Менгальдо, отметив в его поэтических построениях «знак равенства между природой и человеком».

Семнадцать лет, на которые Фабио Пустерла моложе Несси, — для XX века немалый исторический срок, и естественно, что на мир Пустерла смотрит другими глазами. Природа и человек зачастую приобретают в его восприятии характер взаимоисключающих величин, вещь, предмет заслоняют того, кому призваны служить, повседневность, сиюминутность вступают в неравный спор с вечностью, и тогда актуальной становится проблема бегства — бегства от действительности.

© Е. Солонович. Перевод, вступление, 1998

Завершая эти вступительные строки, хотелось бы подчеркнуть, что три поэта, чьи голоса звучат в предлагаемой подборке, оставаясь поэтами швейцарскими, неотделимы от культурного пространства, имя которому итальянская поэзия, и нет ничего удивительного в том, что их знают в Италии не меньше, чем на родине, и что итальянские издатели все чаще проявляют готовность издавать их книги.

Знакомя читателей журнала со стихами Джорджо Орелли, Альберто Несси и Фабио Пустерлы, впервые представляющих на страницах «Иностранной литературы» итальянскую ветвь швейцарской поэзии, переводчик считает своим долгом поблагодарить за дружескую помощь в подготовке этой публикации итальянских поэтов Джованни Рабони и Маурицио Кукки, директора Кантональной библиотеки города Лугано Джузеппе Куроничи, а также синьору Росселлу Беццекки.

ДЖОРДЖО ОРЕЛЛИ

Строки о кунице

Где, если не на дереве, куница,
оранжевая шейка, в этот час
под вспышки молний может схорониться?
Юрк на сосну — и смотрит с вышины
туда, откуда выстрелы слышны.

Строки об идеале

Кто идеалом был моим, так это рыжая служанка.
«Спасибо вам, — в каморке темной говорила
она, пока лиловолицые хозяева
покой вкушали, — приходите завтра
опять в такое время». Всё на вы.
«Спасибо вам». То, как произносила
она свои полночные «спасибо»
со смачным первым «эс», достойно было

© 1977 Arnoldo Mondadori Editore S. p. A.

свистящих звуков в Пятой песни «Ада».
Со мной за мельницу в лесочке отойдя,
где клокотала талая вода, образовав поток,
«Ого, уже одиннадцать! — она спохватывалась, — Надо
бежать, не то уволют», — намекая
на бабушку малышек, занятых игрушками
недалеко от нас. Я говорил: «Противная особа».
«Ага, и любит всех учить, зануда».
Я уговаривал: «Побудь еще чуть-чуть».
Толстыми пальцами она касалась ремешка
часов и безотказно урывала
полчасика еще, не больше. Начиналась
блаженная борьба руки
со стрелками, рука скользила книзу,
искала выхода из пустоты,
встречала запрещающую руку.
Я молод был, как та вода, но называть меня на ты
служанка не хотела. На себя я злился, на нее
(«вы здесь, вы там, вы чересчур»), пока однажды —
она была одна и гладила белье...

Коленки

Но ты, кто пишешь только, чтоб стереть...
Данте. «Рай», XVIII, 130

Я школьник, терраса, где я сижу, делая уроки, выходит на луг,
по которому бродят куры — легкая добыча для коршунов.
Чтобы взяться за ружье, мне не нужно вставать, оно у меня
под рукой.
Темноволосая девочка из соседнего дома качается на качелях,
и снова и снова
мне навстречу летят ее глянцевые коленки.
Я делаю вид, будто что-то пишу, и, улучив момент, когда она
взлетает на мою высоту, прошу у нее ластик.
Спрыгнув с качелей, она бежит к своему дому и, довольная,
возвращается с ластиком.
Я стираю чистое место, потом беру карандаш и печатными буквами
вывожу на ластике: «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
Надпись такая четкая, что я краснею и, пытаясь уничтожить ее,
усиленно тру пальцем.
Кажется, все в порядке, ластик можно вернуть.
Девочка убегает домой, и я ее больше не вижу.

На берегу Тичино

Циклопы удалились восвояси. На деревьях
красуются развешанные ими
плащи-презервативы.
Изрыты лошадьми богатых снобов
тропинки. Осень — хрустнувшая ветка,
форель, рыбак, сидящий с удочкой в руке,
две утки — два прозрачных шлейфа на реке.

Синопии[1]

<...>
а рядом — обездоленных смиренье
<...>
К. Ребора. Фрагм. XXXIV

Человек по имени Марцио, если не ошибаюсь,
раз в два года, а то и в три, останавливает меня,
когда я не спеша проезжаю мимо на велосипеде,
и спрашивает, был ли Данте женат и как звали его жену.
«Джемма, — я отвечаю, — Джемма Донати». — «А, правильно,
Джемма, — соглашается он с виноватой улыбкой. — Спасибо».
Другого,
старше этого, я встречаю гораздо чаще и первым
здороваюсь с ним, гадая, помнит ли он,
как однажды дождливой ветреной ночью —
я ехал тогда за лекарством — он выправил мне (в такую-то пору!)
колесо, изуродованное зонтом, который попал между спицами.
Третий, лет под сто, глухой, чуть завидит меня,
неизменно кричит: «Здорово, парень!» — и можно не сомневаться,
что он,
если мог бы, отечески хлопнул меня по плечу,
но бывает, он лишь улыбается или вдруг восклицает: «Видал?
Вот и нынче камелия первой цветет!» —
восклицанье зависит от времени года.
Особый
разговор о тех, кто уже из разряда синопий,
с вековыми шрамами трещин
(цветущие яблони и другие фресковые красоты не в счет).

[1] Синопия — в живописи подготовительнный рисунок на грунте, поверх которого кладется окончательный красочный слой. (*Прим. перев.*)

АЛЬБЕРТО НЕССИ

Ответ на письмо матери

«Твое единственное утешенье»,
пишу тебе под гомон старых синьорин,
которым их фруктовый чай всего важнее.
Снаружи небо башен и вечерних птичьих стай.
Не беспокойся обо мне, про этот город
нельзя сказать, что он ведет прямой дорогой в ад.
Попахивает снегом, и крестьянские подводы
по улицам тянуться начинают к рынку.
Спасибо за пирог и за бутылку.
Я представляю, как сидишь ты в кухне,
твои глаза показывают время.

Гуляя

Гуляя, шагая быстрым шагом
человека, спасающегося от погони
теней, мог ли я вниманье
не задержать на тумане, кочующем
над мартовским склоном горы —
магнита грез? Между серым на грани
и зеленым, между злом и добром
я увидел каплю на просвет... Ничего
смертным не говорит твоя тайна, тополь,
серебро твоей ветки оскорблено
ором рвущихся к смехотворным товарам,
хором размахивающих нержавеющими клинками.

В трактире светлеет от древнего говора,
словно тают последние островки
тумана в горах,
но неужели
в самом деле, как говорят старики,
на вершине птица уже не поет?

© 1988 Giampiero Casagrande Editore
© 1992 Edizioni Casagrande SA, Bellinzona

Что я искал

Что я искал в кружении снежинок,
в крахмальных кружевах февральской липы?
Поет Сирена, вера
обозначает крестиками снег.

В крахмальных кружевах февральской липы
я вижу только твой неслышный шаг,
когда между окном ты и диваном
танцуешь на закате.

Поет Сирена, вера —
одно, коробки и шпагат — другое:
со мной твои незримые черты,
и теплится надежда.

Обозначает крестиками снег
дрозд на откосе, женщина в спецовке
сквозь стекла смотрит на меня, а может,
мне кажется, что смотрит.

За здравие травы

Трава что растет где хочет
на асфальте и на камнях
трава которая лечит

трава на склоне холма
щекочущая колени
хранилище летней тени

трава высокий покос
который укрыл подранка
майская травка

трава между рельсов и шпал
над которой со свистом поезд
пролетает как шквал

трава по-ноябрьски седая
это над ней туман
стелется оседая

трава в которой беззвучно
тонут шаги вдовы
горечь такой травы

трава простая травинка
которую звонко петь
заставляют губы ребенка

трава которую в поле
ветер клонит к земле
серебряных волн раздолье

трава у которой столько
разных имен
я впрочем в них не силен

трава и под снегом жива
не умирает трава.

ФАБИО ПУСТЕРЛА

В замке

Внутри вещей, в глубинной сути дней,
неистовствует ветер. Стены кухни
разъела сырость, исчертив потеками. В покоях
поскрипывает мебель, поздний час.
В ночи какой-то невидимка
мешок своей усталости влачит —
сухие листья. Нас из поля зренья
не выпускают вещи, их недвижное
сопротивленье ветру. Под, консоли.
Шальная искра,
беснуясь, ищет алчный зев камина,
чтобы исчезнуть.

Синьора в баре

Все же зря она так. Ее взгляд, похоже,
блуждал среди низких жиденьких туч,
которые позже, ближе к вечеру только,

© 1994 Marcos y Marcos

могли на грозу решиться, отчаянно парило,
стояла жара, в знойном воздухе было разлито
июньское марево, на стене отпечаталась тень костыля.
Правда, она говорила
в пустоту, не имея конкретного адресата,
почти улыбаясь, почти
ласково, старая учтивейшая синьора:
«Теперь не умеют смеяться,
смеяться смеются, но какие при этом у всех у них лица!
Хмурые, как погода,
как это небо».

Искусство бегства

Не уступай, беги. Решись на это
во имя ничего. Что до имен, оставь их
очередным конструкторам знамен.
Смелей, малыш, пора.
Смотри: вот лес, вот банки
из-под тушенки. Вот река.
С моста ты видишь город белоснежный,
свернувшуюся кровь ручья. И годы
на вороных, стремительные годы. Город
весь из известняка, из тишины.
Здесь перевал. Для бегства путь особый.

Бухгалтерия расточителя

Чтобы швырнуть на ветер
мне все свои богатства,
одной хватило ночи,
от силы — двух.

Таланты? Псу под хвост пошли таланты.
У моря моего нет больше волн,
иссохли реки. Звезды
я умудрился погасить все до единой
подряд. И подарил при этом
торговцу светом тьму.

Не помню, чтобы слово
свое хоть раз сдержал я,
все, все, чем мог похвастать,
я растранжирил сам.

© Edizioni «Il Salice», Locarno, 1997

Поэт в родном краю

Вновь улицы твои с их постоянным дымом
и драмами, опять с тобой мы, наше
не место, не название, не память:
обратный счет, взгляд издали — стекло
сменило камень, вывески иные,
иные тяготы, но тень
навстречу та же. «Чао, Алессандро!» —
здороваюсь с прохожим, мы знакомы,
и все-таки я перепутал имя.
Другой, остановив меня, кричит,
что я живой, а это царство мертвых.

Но здесь был целый мир — не в недрах лавки,
так в переулках, запах
мочи и денег, древесины. Здесь на рельсы
мечты и медные монетки клали,
чтоб их расплющил поезд.

КОРИННА БИЙ

Рассказы в духе барокко

Перевод с французского ИРИНЫ ВОЛЕВИЧ

Ночная Роза, или Отсрочка

Накормив кошку, она заперла дом и сунула ключ на условное место, под камень — для уборщицы или кого-нибудь из друзей.

Все кажется ей странно легким, все вроде бы в порядке. Только вот саквояж, который она несет сама, очень тяжел да ночь почти на исходе. Она бежит, боясь опоздать, и ей чудится, будто ее сапоги увязают в асфальте, вместо того чтобы твердо ступать по тротуару.

На вокзале она еле успевает вскочить в вагон. Следом заходит молодой человек. Поезд уже трогается, когда, подсаженная контролером, на площадку прыгает девушка с лыжами. На них короткие пальто — из бежевой замши, из черной кожи. На ней самой манто из рысьего меха. Причудливые, очень броские украшения сверкают на шее, на пальцах, в мочках чуточку остроконечных, прозрачных ушей. Толстый белый свитер не слишком-то чист, она это знает. В саквояже есть другой, но ей нравится именно этот, с рисунком на плечах и по всему рукаву.

В купе сидят еще две дамы, одна пожилая, второй около тридцати: рыжая, закрывающая лоб челка, один глаз больше другого, назойливый запах сирени. «Ох уж эти женщины с их духами!» — негодующе думает она. Впрочем, она и сама надушена не меньше. «Просто кошмар! Что это со мной стряслось нынче утром... я ведь никогда не душусь».

Хорошенькая лыжница, вошедшая последней, улыбается другим пассажиркам. Ее черные волосы, причесанные на манер госпожи де Севинье, разделяет не очень четкий пробор.

Ночная Роза не улыбается в ответ. В поезде царит нездоровая жара.

За окном бледно-серый пейзаж стынет в снежной морозной тиши.

Она глядит на Рону: низкая вода течет еле-еле; что-то не видать на ней льдин нынешней зимой. Течение почти незаметно — можно подумать, это и не река вовсе, а сонная лагуна под зеленоватым покровом ряски; кое-где в нее впадают ручейки, курящиеся облачками пара, — здесь, в горах, есть горячие источники.

Ее поражает вид креста среди занесенного песком сада. Мелкорослые фруктовые деревца ненамного выше этого древнего деревянного распятия под двускатным навесом. «Смотри-ка, они оставили его прямо в саду. Может, здесь было болото, и кто-нибудь...»

© 1987 by Maurice Chappaz, Veyras (Suisse)
© И. Волевич. Перевод, 1998

Она закрывает глаза, пытаясь уснуть. Ей мало пришлось спать последние ночи. В январе месяце Ночная Роза всегда ходит по балам. Ее всюду приглашают, ее любят. Она отличается неосознанной красотой, от которой у мужчин перехватывает дыхание, если уж они соберутся на нее посмотреть. Впрочем, и у женщин тоже, они все завидуют ей. Однако сама она считает себя уродиной. Этой зимой она много танцевала, много болтала с друзьями, пила, ела засахаренные каштаны и миндаль, улиток. Она всегда ест все вперемешку, не считаясь с порядком блюд, да и фруктовый сок вместе с самым сухим шампанским выпьет не задумавшись. Так же обстоят дела и с одеждой: джинсы под меховым манто, бабушкины драгоценности на грубошерстном лыжном свитере. Все это ужасно шокирует старых дам, однако господа мужчины только смеются.

И всегда у нее свежее личико, и всегда она весела и беззаботна. Она прямо-таки создана для любви, эта ночная роза.

Но вот уже с неделю ее, неизвестно почему, гнетет печаль; она плохо спит, просыпается на рассвете. Однажды к ней во сне явился мертвый брат. «Очень неприятно!» Сегодня утром ей кусок в горло не шел, она выпила только чашку чая.

По дороге, параллельно рельсам, катит закрытый грузовик с красным фонарем и квадратными окошечками спереди. «Похоже на цирковой фургон; не удивлюсь, если его ведет клоун».

Молодой человек читает, темноволосая лыжница (она назвалась Стеллой) обменивается банальностями с рыжей дамой.

— Я лично предпочитаю Локарно, а не Лугано.

— А я отдыхала в Кране, но мне не понравилось. На этом курорте все очень богаты или корчат из себя богачей...

Старая дама слушает их беседу, Ночная Роза грезит наяву.

— *Passaporto!*[1]

На выходе из Симплонского туннеля — ни малейшего признака тумана. Иногда бывает и наоборот — горы задерживают облака.

Спала она, что ли? Странное уханье последних бетонных опор, о которые разбивается ветер, вырвало ее из дремотного оцепенения. Она изворачивается, чтобы поглядеть на узенькую полоску неба между двумя высокими скалистыми стенами. Небо безупречно синее.

— Я боялась, что таможенники полезут ко мне в чемодан, — говорит Стелла. — Вчера вечером я решила напоследок покататься при лунном свете, а вещи собрала в последнюю минуту, кое-как.

На итальянском вокзале Ночная Роза чуть не заблудилась. Ей был незнаком этот подземный переход (как быстро все меняется!), но впереди бежала юная лыжница в своих желтых брюках, с красными лыжами в руках, и она пошла за ней. Две другие дамы плелись где-то сзади.

Молодой человек остановился, чтобы купить сигареты. Ему-то уж известно, что времени у них предостаточно. Но вот наконец все пятеро спускаются по каменным ступеням и долго шагают по мрачному переходу. «Куда мы идем?» Они выходят к подземному вокзалу, где в темноте их ждет маленький поезд.

И снова они сидят вместе, в одном купе. Здесь холодно, горят только две лампочки. Скуки ради Ночная Роза глядит в окно, на светящиеся часы; они показывают 9 часов 24 минуты.

Она переплетает пальцы, точно для молитвы. И сама удивляется этому жесту — она не молилась уже много лет. Разнимает руки, но тотчас сплетает пальцы опять, так им приятнее.

Поезд мягко трогается и летит навстречу дню, согреваясь на ходу.

Здесь, на равнине, круглой, как цирк, уже зажигаются огни; извилистые речушки, заросшие по берегам сурепкой, окутаны легкой дымкой. В окне проносятся луга, ивы, а вот сад с огородом, на шесте болтается целлулоидный голыш. «Весь розовый от холода...» Она мигает, стараясь удержать слезы. «Мой ребенок родился мертвым в подполь-

---

[1] *Здесь*: предъявите паспорта! (*итал.*) (*Здесь и далее — прим.перев.*)

ной клинике; об этом никто не должен знать. А там... там просто огородное пугало». Она отворачивается.

Поезд с пыхтением одолевает гору и везет их мимо виноградников с ровными рядами дуг, мимо кладбища, мимо одетых плющом развалин. Дальше пустынное с виду селение, вилла, тоже как будто необитаемая: амфоры и урны совсем утонули на заросших лужайках.

— Вы только взгляните на эти строения, кипарисы, аркады — прямо каменные цветы! — восхищается старая дама.

— Мне что-то не по себе, — вздыхает рыжая челка.

— Это от перемены климата.

— И высоты, — добавляет молодой человек, чьи томные глаза еще больше расширились и потемнели.

Ночная Роза не хотела видеть своего ребенка. Сразу после рождения его должна была усыновить неизвестная супружеская пара, но, поскольку он умер, ей его показали. У нее был жар, сильный жар...

Теперь она чувствует себя хорошо. Рядом с путями кое-где лежат белые коврики снега, это первый настоящий снег, который она видит нынешней зимой. Она разглядывает его.

Поезд дрожит, испускает странные звуки, похожие на пронзительное стрекотание какого-то насекомого. Он поднимается все выше и выше, в тень гор (часы Ночной Розы показывают без десяти минут десять), а вот и солнце — разлилось по околице встречной деревушки. Но поезд здесь не останавливается.

— Нам повезло! — говорят они. — Слава богу, это экспресс.

В Санта-Мария-Маджоре солнце уже светит вовсю.

Она надевает темные очки, массивные, дорогие. Ей нравятся их янтарно-коричневые стекла, сквозь которые все краски кажутся еще ярче.

Но и здесь поезд тоже не делает остановки. Они слегка озадачены.

— Надо же, самый большой курорт во всей местности!

— La Madonna de Rè! — возглашает вдруг старая дама, словно внезапно проснувшись. — Двести лет назад один игрок в шары, придя в ярость от проигрыша, запустил шаром во фреску с изображением Пресвятой Девы, и у нее показалась кровь на лбу. С тех пор эта фреска считается чудотворной, а Мадонну так и показывают с пораненным челом и тремя розами в руках.

— Три розы из Кьянти! Porco Dio[1], я лично в такое не верю! — объявляет молодой человек.

— Мадам, не обращайте внимания, у итальянцев это самое любимое ругательство, — с улыбкой говорит лыжница.

Стекла густо запотели, пейзаж за окном пропал из виду.

— Как грустно! — вздохнула старая дама.

— А потом они построили для нее большую церковь, — добавляет Ночная Роза. — Но все знают, что чудеса не есть догмат веры.

Старая дама молчит, она промокает подведенные темным карандашом глаза. Молодой человек скрылся в туалете. Он возвращается оттуда мертвенно-бледный — может, ему плохо?

— Послушайте, там что-то странное творится.

— Вам, кажется, стало не до шуток? — насмешливо спрашивает рыжая дама.

Солнце бежит за поездом по верхушкам деревьев. Лес светится так, что невыносимо смотреть.

— Ах! — восклицает Ночная Роза. — Вот именно такими я в детстве представляла себе райские кущи.

Поезд опять пронзительно вскрикивает, солнце прячется за горой. «Мы погружаемся в тень». Она снимает темные очки, смотрит на молодого человека.

— Во-первых, я не шутил. А во-вторых, происходит что-то непонятное, — с трудом говорит тот.

---

[1] Черт побери (*итал.*).

Попутчицы замечают, что у него трясутся руки.

— Мы едем по траве! Прямо по траве! И по снегу!

Женщины недоуменно хмурятся: он, наверное, разыгрывает их?

— Нет, он не шутит, — говорит Ночная Роза. — Мы и вправду едем по папоротнику, по скалам...

И тогда молодой человек кричит:

— В туалете есть дырка в полу, и внизу — пустота!

Женщины все еще изумленно смотрят на него, они ничего не понимают. Дырка — в туалете? Они оборачиваются к окну.

— Вы с ума сошли! Там все нормально.

— Откройте!

Он бросается к окну, рвет на себя медные ручки. Но они застыли от мороза.

— Дверь!

Дверь тоже не открывается.

— Давайте спросим у контролера. По-моему, вы просто маньяк или...

— Скоро по вагонам провезут буфет на колесах «Чай-шоколад», — говорит рыжая челка.

— Нет, это время уже миновало, — отвечает Ночная Роза.

Им пока еще не страшно. Просто как-то неуютно и почему-то хочется спать. Но они одолевают беспокойство и с презрением смотрят на молодого человека. Тот уныло грызет ногти в наступившей тишине.

Поезд мчится сквозь полосы мрака и света. Заиндевевшие деревья слепят глаза Ночной Розы. Она снова надевает очки. Овцы слизывают бриллианты с травы. На дне ущелья потайные, никогда не видевшие солнца во́ды безмолвно текут под коркой льда; другие, вольные, обтачивают гранит скал. Однако и эти каскады застывают на глазах, обрекая долину на безнадежную немоту.

Стелла тоже встает и выходит из купе.

— Я там ничего не разглядела, — шепчет она, вернувшись.

Лицо ее слегка посерело, но держится она спокойно.

— Мне кажется, мы словно по воздуху летим, — робко замечает старая дама. — Конечно, у современных поездов такие прекрасные рессоры...

Ночная Роза вдруг замечает, что трава на лугах по-весеннему зелена. Или, может, она здесь никогда не блекнет?

— Это восьмого-то января?!

— Да, но тут это вполне естественно.

Молодой человек иронически оглядывает своих попутчиц:

— Вот видите! У нас даже паспортов не спросили, а ведь поезд опять пересек границу. Мы уже снова в Швейцарии...

— В итальянской Швейцарии, — сухо уточняет старая дама.

— Да вглядитесь же внимательно, если вы на это способны, — взывает он. — Ну куда подевались путевые столбы, шлагбаумы, мосты? Вы их видите?

Дамы смотрят в окно. Действительно — ни столбов, ни ограждений, ничего.

— И это вы тоже считаете нормальным?

— Сами вы ненормальный! — вопит старая дама.

— Ночная Роза, идите-ка сюда! — зовет молодой человек, потянув ее за руку.

— Вы знаете?.. (Она думает: откуда ему известно мое имя?)

Он подводит ее к окну. Теперь он пугающе спокоен. И она видит: поезд плавно сворачивает к противоположному склону там, *где он никогда не сворачивал*. Она может измерить взглядом глубину пропасти, она знает, что моста под ними нет.

— Да, — говорит она, — я поняла.

— Вот так! — откликается молодой человек.

И они храбро улыбаются друг другу.

А там, сзади, три остальные женщины сидят парализованные страхом, тесно прижавшись друг к дружке, превратившись в одно испуганное существо. Они больше не разговаривают, никого не видят вокруг. Они отказываются понимать. Они думают, что спят и что все это им снится.

Но вот ущелье раздвинулось, открыв глазу долины и черно-белые деревушки.

— Уже подъезжаем! — удивляется Ночная Роза.

К ней снова вернулось ощущение реальности, и она не хочет вспоминать увиденное. Встав, она хватается за свой саквояж.

— Но вы же знаете, что поезд не остановится.

Молодой человек говорит это уверенно и серьезно. Она сердится:

— А я так обрадовалась! Я была счастлива здесь в детстве.

И она разражается слезами.

— Вы приезжали сюда на каникулы? — гремит вдруг чей-то незнакомый голос.

Пораженные, они оборачиваются и видят контролера.

— Да, я бывала тут весной, с папой и мамой. Пальмы... а под елями большие желтые примулы... Мне бы так хотелось опять все это увидеть!..

Поезд испускает свой жалобный дрожащий крик и неожиданно встает.

— Он остановился! — кричат все и бросаются к выходу.

— Нет, не вы! — командует контролер. — Только она!

И он тащит за собой Ночную Розу.

— Отсрочка предусмотрена для вас одной.

Хлопает дверца, контролер помогает ей сойти и подает сверху саквояж.

— Спасибо вам!

И она бежит со всех ног, счастливая донельзя.

Ее деревня. Она узнает луга, дома, цветочные беседки, приземистые дубы, сады. Узнает все, ничего не изменилось.

Но вот раздается призывный свист, и она оборачивается. Однако видит только старика, обрезающего виноградные лозы, да женщину, которая вешает белье. Свистки не утихают, преследуют ее по пятам. «Может, это попугай? Ну да, конечно попугай!» Радость переполняет ее, она с удовольствием смакует чистый, свежий воздух. «Там, вон в том доме, я жила когда-то. На каком этаже? На четвертом. Мы еще всегда ели на этой лоджии с белыми столбиками». Она ищет отель, где они изредка останавливались. Не это ли здание за изгородью, с площадкой для игры в шары? Но на нем больше нет вывески. Она пытается отворить решетчатую калитку, та не поддается; все двери заперты.

Она тянется к красной розе, собираясь сорвать ее, но, спохватившись, отдергивает руку. «Нет-нет, я не хочу скандала». У дороги она замечает чайную, где ее мать однажды заказала ко дню ее рождения сладкий пирог с восемью свечками в бумажных кружевных розетках.

Она входит туда — ни души. Наконец из задней комнаты показывается женщина, глядит на нее издали, с порога.

— Я хотела бы чаю и пирожных, — просит Ночная Роза.

Но женщина исчезает, как будто и не слышала. За один из столиков присаживается мужчина — бедно одетый, с красным носом. «Верно, пьянчужка...» Он указывает ей на соседний стол. «Нет, я не хочу есть, — думает Ночная Роза. — Ни есть, ни пить...» И покидает чайную.

Теперь она в самом сердце деревни, взбирается по темным ступеням; внезапно их озаряет желтая стена квадратного дома с четырехскатной крышей, и — ах!— вот и фривольная улыбка каменного амура. Она подходит к мельнице. Река по-прежнему шумно бежит под горбатым мостиком.

У входа в ущелье, среди голых деревьев, высится недостроенный «феодальный» замок ее друга Тицио. Но откуда вдруг это ощущение мертвенной печали? Что сталось с ее жизнерадостным, отважным Тицио? Она не осмеливается постучать в дверь и спускается на площадь, сохранившую свои каменные скамьи и знакомо-уродливые акации. На северной стороне появилось несколько новых фасадов — широкие витрины магазинов, парикмахерская, мастерская по установке электроприборов. Южная улица начинается с вывески:

PICCOLO TEATRO![1]

[1] *Здесь*: кукольный театр (*итал.*).

Она запуталась, безнадежно заплутала в этом лабиринте улочек, мощенных круглым черным булыжником. И так же черны по обе стороны от нее каменные ограды тесных садиков, где чахнет унылое деревцо, вянут заброшенные растения. Только и есть живого что кошки, перебегающие ей дорогу, — черные, потом одна серая, за ней тигрово-полосатая. Она слышит собачий лай, но все же храбро идет вперед. Ей чудится, будто за ней следят. Шестой кот, забравшись на карниз, уставился на нее оттуда своими желтыми глазищами с расширенными зрачками.

Ей нравится блуждать в этом каменном лабиринте, не страшном из-за своих карликовых размеров и, в общем-то, хорошо знакомом. Небо над ее головой так густо-сине, что кажется грозовым. Она ощущает прилив счастья настолько острого, что у нее даже слегка кружится голова.

Вот он наконец — театр. Тяжелая, окованная железом дверь поддается нажиму, но зал превратился в свалку инструментов, старой утвари и досок. Она вдыхает смрадный запах не то погреба, не то склепа.

— О, значит, кончено дело! — шепчет она.

В глубине помещения все еще висит занавес, но выцветший и такой изодранный, что сквозь прорехи видна груда сломанных стульев и скамеек.

— Да, кончено, — повторяет она.

— Кто здесь?

У входа ждет старик; он не видит ее, она сама подходит к нему.

— Господин Альбертини? Вы кукольник! Я вас узнала.

Он устремляет на нее острый, совсем не старческий взгляд.

— С кем имею честь, мадам?..

— Я Роза, помните меня? Я часто ходила к вам в театрик.

— Ах да!.. Роза... розовая Роза, — однажды ночью вам приснилось, будто вы стали одной из моих марионеток. Вы выросли, но остались такой же красивой. И белой... Вы теперь... — тут он как-то странно запнулся, — близко. Уж и не знаю, как вам объяснить, но сейчас вы совсем близко от меня.

Она решила, что старик заговаривается, она не поняла его. Испуганно пожала ему руку и сказала: «До свидания!»

— В ином мире, — ответил он.

Выбравшись из путаницы переулков, она оказалась на свету, на залитой солнцем дороге. Странная дребезжащая музыка и два загоревшихся красных огня привлекают ее внимание. Она останавливается. По рельсам, невесть откуда, мчится поезд, тот самый, на котором она прибыла сюда. Она переходит пути у шлагбаума и направляется к церкви. Это здание всегда пугало ее своим силуэтом затаившегося зверя, какой-то гигантской мыши с парой слепых овальных глаз; правда, колокольня была сложена из розового камня и колокола послушно качались на своих железных перекладинах.

Она взбирается на цоколь небольшого обелиска, чтобы получше рассмотреть окрестности.

На рыжих горах кое-где лежит снег, от озера — невидимого, но она знает, что оно в той стороне, — поднимается легкое голубоватое марево. Какие-то крупные птицы разгуливают по коньку церковной крыши. Скворцы, что ли? Вот уже туда слетелась целая стая, и все поглядывают на нее, Ночную Розу. Одна из них даже уселась на обелиск. У входа в церковь высится мраморная статуя. Какой же это святой? Нет, не вспомнить. Настоящая роза, яркая, пышная, пламенеет у ее ног, на клумбе. И ее снова тянет сорвать цветок. «Все-таки мое имя дает мне на это право!» Но она боится птиц.

И вот она на кладбище. Уж не совершила ли она все это путешествие ради того, чтобы очутиться тут, среди могил? Она ходит по дорожкам, читает имена, которые все кончаются одною из трех букв — «а», «и» или «о».

— Аио... — напевает она. Но ей себя жалко.

К ее чувству счастья по-прежнему примешивается смутная тоска. На каждом надгробии лежит венок из еловых ветвей, переплетенных с искусственными рождественскими розами. «Белые и чуточку розоватые, как живые». Еще там стоят свечи, некоторые

даже зажжены. «Оказывается, у мертвецов был праздник». Ей хочется остаться среди них. Она вырывает сорняки и с помощью сухой веточки переносит огонь от горящих свечей к незажженным. Язычок пламени стоит прямо, неколебимо — высокая кладбищенская ограда не пропускает ветра. Как ей хотелось бы остаться здесь навсегда! Присев на ступени часовенки из охряно-желтого кирпича, она отдыхает. И думает: «Мне бы нужно подыскать себе комнату».

Снова она перешла железнодорожные пути, и опять вспыхнули красные огни, и опять послышалась дребезжащая музыка колес. Но утреннее путешествие уже напрочь изгладилось у нее из памяти. Она вернулась на деревенскую площадь. Мальчишка-продавец кидается к ней и сует марки *Pro Juventute*[1].

— Только не все! — протестует она.

На марках изображена роза, а внизу цена — сорок сантимов. Кому же ей писать? «Я больше никого не люблю». Когда она нагибается, чтобы отдать мальчику деньги, он испуганно отшатывается. «Из-за моего дыхания... Слишком много я пила и танцевала последние ночи».

Спрятав марки в сумку, она идет дальше, снова блуждает по улочкам. «Вот теперь я могу навестить Тицио» (она избегает визитов в обеденные часы). Петушиный крик заставляет ее вздрогнуть. «Мои утренние пробуждения в детстве...» Она давно отвыкла от всего этого.

Ржавая, утонувшая в кустах решетка скрипит, когда она отворяет ее. Она идет по узенькой дорожке между жасминовыми кустами, сплошь усеянными желтыми звездочками. Молоденькие пальмы лезут отовсюду, как сорняки. Еще три ступеньки. Длинное каменное строение, массивное, но странным образом облегчённое соседством могучих, нависших над ним ветвей, кажется пустым.

Давно, очень давно не видела она этого друга, родившегося в один день с нею, всего лишь часом позже; Роза называет его своим братом-близнецом.

Между ними никогда не было любви, только дружба.

Вот уже двадцать лет, как он начал строить себе это жилище на развалинах старой мельницы! И все делал сам, с помощью одного лишь подручного-каменщика. Но едва он возвел стены, как вход в ущелье завалил оползень, и разлившийся поток ворвался в дом. Дом был крепкий, он выдержал напор воды. Но Тицио построил новые стены, такие высокие, что теперь им не страшна разбушевавшаяся стихия.

«Настоящая крепость!» — думает она, но на душе у нее становится тоскливо. Все безмолвно вокруг, только шумит, ревет вода. Сквозь широкие окна первого этажа она видит беспорядочно сваленные балки, лопаты. На втором задернутые шторы скрывают внутренность дома. Она зовет:

— Тицио!

Зовет много раз подряд.

И смотрит наверх, где слегка приоткрыто окно. «По-прежнему ли он холост? Не хотелось бы мне беспокоить его, если он там с женщиной...»

Но он спустился, вот уже отворяет широкую входную дверь, также застекленную.

— Роза!

И они бурно обнимаются. Она чмокает его в обе щеки, жесткие и красные (их обычный цвет), он тоже целует ее бледное личико и сжимает в объятиях так крепко, что у нее все косточки хрустят. Потом, отступив назад, оглядывает ее с головы до ног.

— А вы изменились.

Она вдруг чувствует себя страшно усталой.

— Но стали еще красивее! — добавляет он.

— А как вы, Тицио?

— О, я тут приболел — сердце, знаете ли, — но это пустяки.

Она садится на один из двух гранитных мельничных жерновов, без видимого дела лежащих в саду.

---

[1] В пользу молодежи (*лат.*).

— Этот я после оползня вытащил из-под двухметрового слоя щебенки! А второй весит целую тонну. Вот — служат столами для гостей.

— Вижу, — отвечает она, — хорошо придумали. Но как же вы их ворочаете?

— Это легко. Нужен только рычаг. Вот смотрите!

— Осторожно!

Держа одной рукой железный прут, он подсовывает под него булыжник, и жернов начинает приподниматься.

— Попробуйте сами!

Она пробует, жернов поворачивается, движется.

— Да, просто удивительно! — Она смеется. — Это мне напомнило остров Пасхи — никто не понимал, как им удалось воздвигнуть свои статуи...

Ее удивляет теплый, мягкий воздух.

— Никогда бы не подумала, что здесь, в ущелье, столько солнца.

— Да, у меня его тут больше, чем в деревне! Зато летом под этими деревьями прохладно, как в лесу. И полно птиц! А теперь пошли, осмотрите дом.

— Замок! — поправляет она.

Он вводит ее внутрь, и она проходит по деревянным плашкам, уложенным в слое песка. Они звонко хлопают у нее под ногами.

— Паркет у меня дубовый, только я его еще не уложил.

Она останавливается перед камином, тоже наполовину недостроенным, восхищенно разглядывает кладку из тщательно обтесанных камней.

— Тут еще работать и работать! Но у меня полно времени, вся жизнь впереди.

— Вся жизнь! — повторяет она.

В ее голосе проскальзывает грусть. И тем не менее она счастлива, даже очень счастлива.

— И вы живете здесь?

— Да, наверху две комнаты совсем готовы.

Вместе они поднимаются по лестнице, проходят мимо пианино, укрытого прозрачной пленкой.

— Вот, купил пианино. Хочу научиться играть.

— О! — удивляется Ночная Роза.

Тицио толчком отворяет дверь — без ручки, шаткую, как театральная декорация. За ней комната — просторная, белая, прекрасная, почти пустая; чуть скошенный потолок разделен рейками на квадраты и выкрашен в голубое, как и деревянный фриз. Похоже, будто у них над головами клетчатое голубое небо.

— Ох! — восхищенно вздыхает Роза. — Как мне нравится эта комната!

— Она для друзей.

И он помогает ей снять манто.

— Как хорошо от вас пахнет, — говорит он.

Но в то же время отворачивается от нее. «Ему противен мой слишком резкий запах. Тем хуже!» И она отвечает:

— Скоро я буду пахнуть травой.

Он раскладывает шезлонг, усаживает ее. Прикрывает ей пледом колени, ставит рядом жаровню с углями.

— Скоро станет прохладно. Отопления у меня пока нет.

— Мне очень хорошо, — говорит она.

И закрывает глаза. Наверное, ей никогда не было так хорошо, как сейчас.

Белые занавеси волнами бегут вдоль двух стен. Диван покрыт цветной тканью, на большом деревянном кубе стоит пепельница, полная окурков.

— Чувствуйте себя как дома. А я пойду приготовлю вам что-нибудь поесть.

И он выходит. Дверь остается полуоткрытой; она встает, видит что-то вроде щеколды, задвигает ее. Между дверной рамой и потолком зияет открытое пространство. «Ничего страшного, — думает она, возвращаясь к креслу, — мне все равно нравится эта недостроенная крепость. А как там терраса?»

Но ей не хочется выходить; кроме того, все эти бетонные плиты, битум и цинковые обводы действуют ей на нервы. Здесь куда лучше. Она снова переплетает пальцы. Как

странно скользят между ними темные бусинки четок, сделанные из сухих ягод Иерусалима! А почему бы ей и не помолиться сегодня, как, бывало, в детстве? Она вполголоса пробормотывает «Ave» и засыпает. Черные бусинки исчезли, оставив на ее нежной коже крошечные круглые отпечатки.

Проснувшись, она думает: «Ей-богу, мне лучше быть с Тицио, чем с моими любовниками. Он ничего от меня не требует, позволяет спать, не просит мыть посуду».

— С вами мне так спокойно живется! — говорит она, когда он входит.

Он глядит на нее с плохо объяснимым волнением. Или, может, это жалость? Наверное, она уже не так красива, как прежде, ведь ей больше тридцати пяти. Но нет, она знает, что нравится ему, по-прежнему нравится.

— Все-таки дружба лучше любви, — убежденно говорит она.

— Ну конечно. Это единственное прочное чувство, как видите! Судите сами: у меня были женщины. Много. Даже слишком много. И что же осталось — ровно ничего! Встретишь случайно какую-нибудь из них — здрасте, до свиданья, и весь разговор.

Она замечает, что потеряла кольцо; пальцы у нее стали совсем тоненькие. Но это ее не огорчает, или, вернее, она слишком ленива, чтобы искать его. «Найдется потом!» Но, подняв руки к ушам, чтобы проверить, на месте ли серьги, она вдруг ощущает тошнотворный запах.

— Что за тухлятину я ими трогала? — шепчет она.

Ей вспоминается, как в школе они с подружками изо всех сил терли ладони, а потом принюхивались к ним и говорили: «Смертью пахнет!»

И смеется.

— Чему вы смеетесь? — удивляется Тицио.

— Да так, вспомнились детские игры. Какими же мы были дурочками! А ведь хорошо быть глупым, правда?

— Не думаю, — говорит он.

Он ставит перед нею поднос с приготовленной едой. Потом берет молоток и начинает приколачивать доску над дверью, там, где осталась дыра.

— Это чтобы вы не мерзли.

— Ах, Тицио, как вы добры! С вами я отдыхаю от суровости моих родных братьев.

— А они суровы?

— Еще как! А мои невестки меня ненавидят.

— В семьях это уж всегда так.

Оставшись в одиночестве, она опять заснула на низком диване, укутанная в три одеяла и накрытая поверх них рысьим манто.

Мыться она не стала. «Не хочу больше мыться!» До чего же приятно попасть в ванную, где еще ничего не стоит, только на цементной стене крупными синими буквами выписано:

BAGNO

LAVABO[1]

А он вернулся в свою просторную темноватую комнату, где поблескивают реторты. Затворил дверцы шкафа-кухоньки и читает при свете настольной лампы. Долго. Потом тоже засыпает, прямо в одежде.

Утром она встает очень рано. Поскольку чувствует себя удивительно счастливой. И не хочет терять ни минуты этого нового дня. Она спускается вниз, на первый этаж, идет вдоль внутреннего канала, куда Тицио сможет отвести воду из речки с живой форелью. «А еще я, наверное, буду разводить здесь креветок», — сказал он вчера.

Пройдя по дубовым плашкам, звонко хлопающим под ногами, она отворяет застекленную дверь и выходит.

Пальмы в саду обмахивают ее бахромчатыми ветвями, самшит дышит горьким своим ароматом. Она замечает на камелии готовый распуститься бутон. Поток, что всю ночь издали убаюкивал ее, теперь бежит рядом. Но она оставляет его в стороне, решив взобраться по каменистой уступчатой тропе на холм. Там ей встречается пестрый петух;

---

[1] Ванна, раковина (*итал.*).

напыжившись и преградив ей путь, он воинственно взирает на нее круглым черным глазом. Она грозит ему, и он легонько клюет ее в палец.

Она карабкается по склону, усыпанному палой листвой, но очень скоро устает. «Мне теперь все время хочется спать». Из пальца сочится кровь — бледно-розового цвета, — и она заматывает его носовым платком. Перед нею на раскрошенной гранитной ступеньке блестит осколочек кварца. Она подбирает его, и ей представляются те драгоценные камни, какими женщины на Востоке инкрустируют себе лица. Забавы ради она вдавливает камень в ладонь. Твердый остроконечный кристалл легко входит в нее. И совершенно не причиняет боли. Она сжимает руку.

Обернувшись, она видит, что из кустов за нею следит кот. Она хочет подойти к нему и погладить, но он, мяукнув, исчезает.

«Только бы Тицио не заметил этот кристалл у меня в ладони, начнет расспрашивать...» Расспрашивать — о чем? Она боится, сама не зная почему, любых вопросов. Но когда она возвращается, он не задает ни одного, только беспокойно нюхает воздух, а потом начинает смеяться.

— Никак не пойму, что это со мной, — говорит он. — Иногда в голову приходят такие странные мысли.

Он показывает ей свои книги, свои картины, приносит пластинки и старинную музыкальную шкатулку, где танцует восковая балерина. Потом он готовит ужин.

— Вы меня балуете! — говорит она. — До чего же приятно, когда за тобой так ухаживают! Только вот сама я бездельничаю.

— Вы здесь не для того, чтобы работать.

— Но для вас это утомительно, Тицио!

— О, я люблю принимать гостей. Это не работа. Вот тяжелую работу мне делать нельзя... из-за моей болезни.

— Сердце?

— Сердце. Но это не страшно.

Следующей ночью ей снится, будто она несет *своего ребенка* на спине, в шали, связанной концами на груди. Узлы стягивают тело, душат ее. Но она потеряла накидку и шапочку ребенка и теперь разыскивает их на вокзале, в толчее среди эмигрантов.

Она просыпается в крайнем волнении. А ведь она никогда не думала об этом ребенке, который родился у нее мертвым. Она вертится на диване, пытаясь сбросить придавившие ее одеяла, но с каждым движением еще больше запутывается в них. В темноте белеют оконные занавески. Она зажигает лампу в изголовье и с удивлением обнаруживает на подоконнике открытого окна большую черную птицу. Птица нерешительно выжидает, потом, влетев в комнату, садится на деревянный куб, смотрит на нее оттуда и тянет вперед мощный клюв. Может, это крупный дрозд? И вдруг она понимает: это ворон.

Еще три ворона садятся на подоконник. Она встает, бросается к окну, запирает его. Но птицы барабанят клювами в стекло, угрожая разбить его, а первый ворон взлетает Розе на голову. Она пронзительно кричит.

— Что такое?

Ее друг, ее брат стоит на пороге в халате, совсем заспанный.

— Да нет, ничего, — все еще дрожа, отвечает она.

И правда, пернатые разбойники в окне исчезли. Зато пол в комнате загажен, и по свежему птичьему помету нагло разгуливает ворон.

— Я его знаю, это Фриц. А ну-ка, Фриц, убирайся отсюда, нельзя беспокоить дам!

Тицио берет рисовую метелку и выгоняет ворона из комнаты.

— У него есть дурная привычка являться сюда за кормом.

— Похоже, на этот раз он собирался съесть меня, — говорит Роза.

Внезапно она очутилась совсем одна на маленьком деревенском вокзале. Подошел и остановился поезд. Дверь открылась, и контролер едва успел подхватить ее.

Она сразу узнала вагон, в котором ехала накануне. Только теперь ей казалось, что это было давным-давно, много дней или даже недель тому назад. Сколько же? Она не знает.

Старая дама читала туристический проспект. Молодой человек беззастенчиво раз-

глядывал лыжницу в желтых брюках, рыжая челка ела мандарин. Они встретили Ночную Розу без всякого удивления. Ни о чем ее не спросили. Это она задала им вопрос:

— Куда мы едем?

Все четверо устало улыбнулись.

— Теперь мы начинаем понимать.

— Да, наконец-то нам все ясно.

— Давно пора, — сухо заметил молодой человек.

— Я, кажется, тоже поняла, — сказала она, опустив глаза.

И тут увидела, что держит в сложенных руках три розы и четки из сухих ягод Иерусалима.

Опустевшая комната

В этой огромной квадратной комнате — а лучше сказать, зале, хотя она служила спальней, — ничего не было.

Ровно ничего. Ламбрекены, маркетри, барельефы, лепные фризы, когда-то, не так уж и давно, украшавшие четыре ее стены и разделенный балками потолок, исчезли, сорванные, украденные, разрушенные. Так уж ничего? О нет, кое-что осталось — узкая кровать. Ее сразу и не разглядишь, комната слишком велика и всегда темновата, несмотря на широкое окно. Скромная, но изящная, белая с золотом, узкая деревянная кроватка — ни колонок, ни балдахина, — и места в ней — только-только для обнявшейся пары.

В общем, даже меньше чем ничего. Окно, за которым зияла пустота, и само по себе было пусто, давно лишившись и стекол, и рамы, и задвижек. Но и свет в его голом проеме не мог победить серый полумрак комнаты.

Может, это был тусклый свет севера? А может, виновато небо? Какое, собственно, имя следовало дать этому слабо мерцавшему пространству, этому пустому куполу, где колыхались лишь облака да снежные хлопья?

Однако вернемся к кровати. Она стоит справа от входа, у стены, но не в углу. Единственная, почти незаметная, дверь ничем не отличается от ободранных стен со слабыми следами былой бренной роскоши; окно, ставшее квадратной дырой, расположено как раз напротив.

На кровати этой лежат двое влюбленных. Странное сходство объединяет их. Лица сердечком; пепельные, на прямой пробор, волосы начинаются почти от самых бровей. Носы у обоих тонкие, с горбинкой; губы, пухлые и розовые лишь в середине рта, дальше идут узкой щелью, рассекающей очень бледные щеки. Их плечи и руки покрыты рыжеватыми пятнышками и смуглы, точно их опалило солнце, но тела отличаются сияющей белизной, которая разгоняет даже сумрак комнаты.

Он очень хорош собою. Она очень хороша собою.

Они неотрывно глядят друг другу в глаза, круглые, золотисто-желтые глаза, которые сейчас кажутся совсем черными. И когда они меняют позу, их головы поворачиваются туда-сюда с невероятной быстротой.

«О, какой он злой!» — думает она.

И верно, он не знает жалости, он молод.

— Ты злой!

Ее маленькие груди поставлены высоко, у самых подмышек, где еще не выросли волосы. «Сухая трава...» — презрительно бросает он, говоря о других женщинах. Он овладевает ею так неистово, словно шпагу вонзает в чрево.

— Мой юный герцог, ты овладеваешь мною так, словно шпагу свою вонзаешь мне в чрево!

— Это лучший способ любить женщину, — отвечает он. — Но ты ошиблась, герцог — всего лишь кузен мне[1]. А мой титул куда благороднее, он наводит страх.

---

[1] *Игра слов:* le duc (*франц.*) означает и герцог и филин.

Она раскидывает руки, расправляет и сжимает пальцы с красивыми загнутыми ногтями. Эти руки похожи на хризантемы по сторонам белого гроба.

Однажды он попытался вонзить свою шпагу ей в пупок (на удивление глубокий), но она издала негодующий крик, и он отступился.

— Я вовсе не злой, и я не могу жить без тебя, и ты не можешь жить без меня.

Они так любят друг друга, что не расстаются ни на миг.

Да, груди у нее — словно у непорочных дев в шестнадцатом веке, с бледно-коралловыми сосками, которые звались тогда «розовыми бутонами». А волосы — какого же они цвета? Кто знает? Он-то уж не узнает никогда. Она запудривает их белым.

— Рисовой пудрой?

— Нет, просто штукатуркой — знаешь, вот этой, которая падает с потолка...

Кровать, как уже сказано, таких размеров, что на ней едва умещаются обнявшиеся мужчина и женщина, иными словами, совсем узкая, но вот приходит час, когда их одолевает сон. Да и спят они помногу. И для того чтобы подруга его могла свободно раскинуться во сне, он ложится на пол, укутавшись в старый, неразличимо выцветший флаг. Однако им, даже уснув, нужно касаться друг друга, поэтому она свешивает руку с кровати. Он берет ее в свои; а иногда она дает ему не руку, а голую ногу, но все равно он сжимает ее и ставит себе на сердце.

И все их ночи проходят именно так, и никогда они не пресыщаются и не скучают. Он неизменно стремителен и бесстрашен, она неизменно прелестна, свежа и благоуханна.

Но временами ей снится ужасный сон. И она рассказывает его своему возлюбленному:

— За дверью нашей комнаты я вижу широкую лестничную клетку. В центре — шестиугольная пустота, где нет ни верха ни низа. А по ступенькам, не имеющим начала, но, чудится мне... имеющим конец, спускаются, рядами по десять-двенадцать человек, мужчины и женщины. У них совершенно обнаженные тела — багрового цвета, как будто их озарило какое-то гигантское пожарище. И все эти мужчины и женщины сходят по лестнице в гробовом молчании.

— Но как по-твоему, они думают о чем-нибудь, страдают? — спрашивает возлюбленный.

— Нет, они ни о чем не говорят, не плачут, не улыбаются. Просто идут вниз по ступеням, ряд за рядом, держась очень прямо и с достоинством. И я не вижу ни конца, ни начала этому скопищу... Что же означает оно?

— А ты хоть раз выглядывала за дверь?

— Нет, никогда.

— Идем же, любовь моя!

В полумраке они встают с постели и идут к двери, которая легко растворяется. Они видят маленький холл, освещенный неоновой трубкой, и клетку лифта, все новенькое и блестящее. Еще там есть табличка со стрелкой:

ЧЕРДАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ➤

— Видишь, мы с тобой на последнем этаже небоскреба. Сюда никто никогда не поднимается. Прямо над нами крыша. С фальшивой террасой, балюстрадой, колоннами и фронтоном, в прежние времена была такая мода — украшать верхушки небоскребов в стиле одного из дворцов Короля-Солнце[1].

— Какого же? — спрашивает девушка.

— Я не знаю, ибо архитекторы неточно воспроизвели здесь все детали. Может быть, это просто дворец теней Короля-Солнце.

— Но почему они забросили нашу комнату?

— Она слишком велика и лишена отопления. Последний живший здесь человек был художником и умер от воспаления легких.

---

[1] Королем-Солнце называли Людовика XIV (1638—1715).

— В нашей кровати?

— В нашей кровати.

— Я была слишком маленькой, чтобы запомнить это, — говорит она.

В оконном проеме всегда светится большой прямоугольник неба то сиреневого, то красноватого, в зависимости от времени дня или года. Но этот свет, бессильный разогнать полумрак комнаты, и не нужен любовникам, ибо глаза их отлично видят в темноте.

— Что же все-таки означало то шествие? — опять спрашивает она.

— Это шло поколение за поколением человечество, к которому мы с тобой принадлежим с виду.

Она засыпает.

Он проводит губами и лицом по сумрачно мерцающему телу, по двум розовым бутонам, по белому шелку волос и вдыхает ее аромат.

— Сестра моя, любовь моя, мой светлый бубен, я бью в тебя, я вышиваю по тебе, я...

Вдруг он замер. Дверь комнаты дрогнула, впуская крысу. Он стремглав кинулся на нее, одним движением острых губ втянул в рот и проглотил вместе с косточками, зловеще прищелкнув черным языком.

Забрезжил рассвет.

Он приходит все позже и позже, этот рассвет, и однажды утром им чудится, будто он проник в их комнату, воплотившись в нечто живое, живое без начала и без конца. Снег.

Но любовников уже нет в постели, комната уже́ не выдает никакого человеческого присутствия и даже — странное дело! — на снегу, занесшем пол, не осталось ни единого следа ног. Только на подоконнике чуть виден легкий мазок крыла.

В этом смог убедиться тем же днем человек — я имею в виду настоящего человека. Он вошел смело, без стука, пересек пустую комнату и взглянул на город, лежавший у него под ногами. Затем прошел, но не по прямой, к кровати, нагнулся и пощупал полотняные простыни, шерстяное одеяло, атласное покрывало и пуховую подушку, глядя на них с опасливым почтением.

— Они еще теплые, — сказал он вслух.

Резко отвернувшись, он вышел в раскрытую дверь. Его решительные шаги оставили на тонком снежном ковре правильный треугольник следов в одной половине комнаты.

Но скоро порывы снежного ветра укрыли отпечатки и нанесли по углам чистые белые холмики, оледеневшие к утру.

Когда сумрак, неизменно расцвеченный городскими огнями, этими сиренево-голубыми мерцаниями, отраженными сводом небес, затопил наконец пространство комнаты, влюбленные, как и во все другие вечера, уже опьянели от любви. Им не понадобилось много времени, чтобы простыни переняли жар их тел.

— Возлюбленная моя! Безумица моя!

— О мой король, ты пронзаешь меня до глубины естества, ты вырываешь мою душу, мое дыхание, мои перья...

Больше всего их очаровывали в собственных телах зубы — маленькие жемчужно-белые камеи у девушки и крепкие мужские клыки у юноши, — без единого пятнышка, без единой трещинки. И еще их гладкая кожа с мягкими ямочками в сгибах локтей и над ягодицами.

— Нашей любви не страшен холод, наша любовь бесконечна.

— Бес-ко-неч-на... — эхом вторила его подруга.

И погружалась в сон. Он же иногда вставал, закутывался в старый флаг и проводил ночь на полу у кровати. Временами он чувствовал на щеках или на руке чью-то ледяную ласку, но это было всего лишь касание тусклой золотой бахромы или снежинки.

Однажды ночью, когда они еще нежились на своем ложе, дверь опять растворилась. Они даже не заметили этого, упоенные любовным экстазом и сновидениями, в которых забылись, еще не разняв пылающих тел.

Но кто-то следил за ними, не двигаясь, затаив дыхание. Спустя час соглядатай покинул комнату на цыпочках, сотрясаясь от беззвучного смеха.

Утром он вернулся в сопровождении жандарма, несущего кожаную папку с гербовой бумагой.

— Вот, убедитесь сами, — сказал он, отворяя дверь.

Но в комнате никакой пары не было. И некого было допрашивать, составляя протокол, и некого выгонять из комнаты.

— Ну и ну! — воскликнул владелец небоскреба. — Второй раз прихожу сюда днем и застаю кровать пустой.

— Значит, улетучились ваши пташки?

— Да, но по ночам-то они здесь!

— Гм, охотно верю, — буркнул полицейский. — Запах любви — его ни с чем не спутаешь. Мой совет: поставьте на дверь замок *с гарантией*.

Что и было сделано незамедлительно, и хозяин добавил еще один ключик к связке, которую носил на золотой цепочке под рубашкой.

Однако, несмотря на запертую дверь, влюбленные по-прежнему сливались в объятиях на своей узкой бело-золотой постели. А владельцу дома и в голову не приходило беспокоить их визитами.

Но вот как-то ночью, разбуженный смутным беспокойством, он встал, накинул одежду, поднялся в лифте на верхний этаж и, очутившись перед запертой дверью, с величайшими предосторожностями открыл ее. Подобравшись к кровати, он споткнулся обо что-то длинное, лежащее рядом с ней, и тут его схватили.

Он начал было отбиваться, но юноша с орлиным носом держал, словно в тисках, этого грузного пятидесятилетнего толстяка, безжалостно нанося ему удары крепкой головой, и тот взмолился о пощаде.

— Не думайте звать на помощь, иначе я вышвырну вас в окно! — крикнул ему юный любовник, ибо это был он.

— Да по какому праву вы здесь находитесь? — завопил хозяин дома.

Молодой человек не ответил.

— Вы будете говорить или нет? Если бы вы хоть попросили сдать вам комнату! Но расположиться здесь вот так, без всякого стеснения, точно кукушки в чужом гнезде!..

— Не смейте поминать эту мерзкую птицу! — строго прервал его юноша.

— Ладно, теперь уже все равно! Этот этаж будет перестроен, тут разместится аптека. Завтра утром сюда придут рабочие. Так и быть, я не стану поднимать шум, но чтобы вы очистили помещение завтра же, на рассвете!

— На рассвете.

Проснувшись, она только коротко вздохнула, улыбнулась и — фьюйть!.. Две белые молнии прорезали опустевшую комнату.

Как и обещал владелец дома, утром прибыли каменщики и маляры со своими стремянками, красками и позолотой.

Они вынесли на площадку узенькую кровать с аккуратно сложенной постелью; в десять часов за ней явился антиквар. Разобрав кровать, он спустил ее вниз на лифте.

В полдень сын одного из рабочих принес обед — горячий суп и телячьи эскалопы с рисом в сложенных стопкой судках. Он обошел комнату, встал у окна, нагнулся.

— Эй, гляньте-ка, здесь в стене дыра! Что-то там виднеется... какие-то чудные птицы... вроде бы совы. Прижались друг к дружке и сидят...

Но люди, занятые работой, не обратили на это внимания. Ремонт нужно было закончить к утру.

Перед уходом мальчишка сказал:

— Да, точно совы. Завтра приду за ними с клеткой.

К вечеру половина комнаты была уже выкрашена и обтянута малиновым репсом; все трещины скрыла штукатурка, а глубокую нишу под окном рабочие тщательно замуровали.

С особым тщанием.

Красное кресло

Это было старое вольтеровское кресло луи-филипповой — или около того — эпохи, найденное на чердаке богатой альпийской фермы.

Внук хозяев, Арчибальд, чьи деды некогда владели бессчетными стадами коров — истинных королев, если судить по их рогам и вымени (иными словами, первых в округе по красоте и свирепости, первых по надоям), — ныне мог бы сказать о былом благоденствии только то, что его корова языком слизнула.

Он был художником-живописцем, а следовательно, обладал тонкой, чувствительной натурой и мужественным, но нарциссическим характером. К тому же он был влюблен.

Предметом его страсти стала блистательно-прекрасная девушка, молчаливая, с темными, как ночь, волосами, глазами и бровями и с таким безупречным телом, что при каждом свидании главным занятием художника было насладиться им с головы до ног.

И поскольку оба они происходили из крепких, живучих крестьянских родов и вдобавок имели склонность и охоту к познанию — не только в любви, но и во многих других науках, — то выказывали одаренность во всем, чем бы ни занимались, благодаря первозданной силе, глубоко заложенной в них предыдущими поколениями.

Девушка очень скоро приобрела опыт в упражнениях любви, научилась кокетливо одеваться, а умелый макияж превращал в смуглую жемчужину ее лицо, на котором перламутровыми бабочками трепетали веки. Иногда это лицо, потрясенное волнением, целиком скрывалось под челкой и длинными прядями с отблеском водорослей. Однако братья девушки корили ее за все эти метаморфозы, утверждая, что она выглядит настоящей *девкой*; известно, что братья — самые ревнивые сторожа своих сестер, разумеется, если не состоят при них сводниками.

Но она, в своих высоких черных шнурованных ботинках со звонкими каблучками, в своей прилипчивой юбочке, упрямо взбегала по винтовой лестнице на верхний этаж мрачного городского дома, под крышу, где художник устроил себе мастерскую с застекленным потолком. И неизменно, до и после любви, она усаживалась в красное вольтеровское кресло.

Она была художнику и женой, и рабой, и натурщицей, и Арчибальд всегда писал ее полуодетой, то есть в сиреневых чулках, с обнаженной грудью, но в старозаветном корсете с китовым усом, который он тоже раскопал на бабушкином чердаке.

А потом она устраивалась поуютнее в красном кресле и иногда даже засыпала в нем.

Однажды ему почудилось, будто поблекшая обивка кресла стала ярче; спустя несколько дней гобелен принял совсем уж кричащий кроваво-красный цвет. И в то же время он заметил, что юная его подруга как будто побледнела.

— Тебе нездоровится? — спросил он ее.

— Да нет, просто я немного устала, но я так люблю это кресло!

— Не выдумывай, ты же не можешь любить его больше меня!

— Какие глупости! — улыбнулась она.

Теперь он всегда писал ее сидящей или свернувшейся клубочком в кресле. Он считал, что этот карминово-красный цвет выгодно подчеркивает светлеющую с каждым днем кожу девушки и ее черные как смоль волосы.

Она начала подкрашивать оранжевым щеки и губы, подводить зеленым глаза, но и они, прежде такие темные, теперь понемногу обесцвечивались. Его, однако, это не слишком обеспокоило, ведь он, как и все художники, был ребячлив и жесток. Ему даже нравилось пробуждать в ней ревность, рассказывая о красотках, которых он встречал на улицах:

— Какая посадка головы, какой гордый круп!..

— Породистая кобыла, да и только! — договаривала девушка, внешне всегда сговорчивая и добродушная, но что она думала и — ах! — что чувствовала при этом?!

А он играл мускулами, чуть ли не гарцевал перед нею, страшно довольный собой.

Еще он рассказывал ей свои сны, и она замечала, что для нее там не находилось места. «Но, милая, нам никогда не снятся те, кого мы любим!» — возражал он. Да, он вполне заслуживал, чтобы она тоже пересказала ему все те пылкие речи, какие нашептывали ей мужчины на улице, ибо она была более чем красива — волнующе прекрасна. Но она не могла их повторить — слова не шли у нее с языка.

И тогда взгляд ее расширялся, в нем загоралось глухое темное пламя, и она думала: «Я не могу быть машиной для страданий, нет, я больше не могу!..» И все-таки она оставалась с Арчибальдом, и он продолжал писать ее портреты; на выставках все восхищались этими темными композициями, озаренными сиянием белоснежной груди, «которой не хватает лишь всаженного по рукоятку, обагренного кровью кинжала», как выразился один критик.

Однажды, когда он думал, что она уснула в кресле, и готовился начать ее новый портрет, он с изумлением увидел, что передние ножки кресла обуты в высокие женские ботинки со шнуровкой зигзагом. Сперва он почел это шуткой и протянул руку, чтобы разбудить и побранить свою подругу. Но пальцы его встретили лишь кроваво-красную ткань обивки. Девушка исчезла. Он принялся искать ее по всей мастерской и в уголке под скатом крыши, служившем им кухней. Заглянул даже под кровать и в шкаф — никого.

«Но не ушла же она без ботинок!» Однако, вернувшись к креслу, он увидел, на сей раз с ужасом, что слегка изогнутые ручки кресла одеты в черное, и признал длинные замшевые перчатки, которые девушка надевала для выхода в театр.

— Не нравятся мне эти шутки! — гневно вскричал он и стал ждать ее возвращения.

Но она не вернулась — ни в тот день, ни в последующие, и хотя он искал ее по всему городу, но нигде не нашел. Даже братья ее не знали, куда она подевалась.

Пришлось ему вернуться к себе; с грустью созерцал он красное кресло, которое все сильнее и сильнее зачаровывало его.

— Любовь моя, любовь моя! Где ты скрываешься?

Вдруг он услышал легкий вздох и заметил, что подлокотники из лимонного дерева приняли необыкновенно мягкий, соблазнительный изгиб. Они так и манили его усесться меж них, и он повиновался. Вольтеровское кресло оказалось столь нежным, столь уютным, что он позабыл в нем всю свою печаль и сладко задремал.

На рассвете он проснулся и вновь отправился на поиски своей подруги по городу, в предместья, в окрестные деревни. Вернулся он домой поздно вечером, падая с ног от усталости и мечтая лишь об одном — поскорее опуститься в кресло, где он горько заплакал.

И вновь ему послышался тихий вздох, а когда он откинул голову назад, то заметил, что спинка кресла, доселе плоская, вздымается теперь двумя холмиками грудей. И как же нежна и податлива была эта любовно подставленная ему грудь, и как ласково зазвучал идущий прямо из сиденья голос, подобный голосу чревовещателя:

— Я здесь, возлюбленный мой!

Тогда он сунул в рот большой палец, как делал это во младенчестве, и безмятежно заснул.

■

ФРИДРИХ ГЛАУЗЕР

Избранные страницы

Перевод с немецкого и вступление
ВЛАДИМИРА СЕДЕЛЬНИКА

Страсти и пристрастия Фридриха Глаузера

Фридрих Глаузер (1896—1938) принадлежит к плеяде швейцарских писателей первой половины XX века, полузабытых или не принимавшихся всерьез при жизни и заново открытых только в 60—70-е годы, с опозданием на добрую треть столетия. Среди них — Роберт Вальзер, Ханс Моргенталер, Людвиг Холь и другие, менее известные. Они писали о болезнях и страданиях, тяготели к изображению изломов человеческих судеб, шли против течения и на общем фоне тогдашней швейцарской литературы, пораженной вирусом областнического самолюбования, казались инородными телами, отторгаемыми здоровым организмом. Глаузера же, пожалуй самого неблагополучного из всех, и вовсе считали писателем «в высшей степени нешвейцарским».

«Нешвейцарским» было не только творчество писателя, но и его жизнь, его человеческая судьба. Глаузер был неудачником, аутсайдером, изгоем. Летом 1937 года он в письме к журналисту и редактору Йозефу Хальперину, взявшемуся напечатать отвергнутый повсюду роман «Гуррама», как бы мимоходом набросал сверхлапидарную автобиографию, предназначенную для журнальной врезки: «Вам нужны сведения обо мне? Вот они: родился в 1896 году в Вене от матери-австриячки и отца-швейцарца. Дед по отцовской линии был золотоискателем в Калифорнии (sans blague[1]), а по материнской — надворным советником (хорошенькая смесь, а?). Начальная школа, три класса гимназии в Вене. Потом три года закрытая школа в сельской местности, в Гларисегге. Следующие три года — коллеж в Женеве. Оттуда исключен незадолго до выпуска за критическую статью о сборнике стихов тамошнего учителя и поэта. Аттестат зрелости получил в Цюрихе. Один семестр изучал химию. Затем дадаизм. Отец решает поместить меня в пансион и отдать под опеку. Бегство в Женеву. Остальное вы можете прочитать в очерке «Исповедь морфиниста». В течение года (1919) интернирован в Мюнзингене. Побег. Год в Асконе. Арест из-за мо (морфия. — *В.С.*). Принудительное возвращение в интернат. Три месяца в Бургхёльцли (контрэкспертиза, так как Женева объявила меня шизофреником). 1921—1923 — в Иностранном легионе. Затем мойщик посуды в Париже. Шахтер в Бельгии. Позже санитар в Шарлеруа. Снова мо. Интернирован в Бельгии. Пересылка в Швейцарию. Год заключения в Вицвиле. Затем в течение года подсобный рабочий в плодово-ягодном питомнике. Курс психоанализа (год), одновременно работа в древесном питомнике в Мюнзингене. Садовник в Базеле, потом в Винтертуре. В это время написан роман об Иностранном легионе (1928—1929). 1930—1931 — годичные курсы садоводства в Эшберге. Июль 1931-го — повторный курс психоанализа. С января по июль 1932-го — «свободный художник» (красиво сказано!) в Париже. Поездка к отцу в Мангейм. Там за поддельные рецепты арестован и доставлен в Швейцарию. С 1932 по 1936 год интернирован. Et puis voilà. Ce n'est pas tres beau, mais on fait ce qu'on peut»[2].

---

[1] Кроме шуток (*франц.*). (*Здесь и далее — прим. перев.*)
[2] Вот так. Не очень-то красиво, но делаешь то, что можешь (*франц.*).

© В. Седельник. Перевод, вступление, 1998

Казалось бы, в такой жуткой, с точки зрения нормального человека, жизни, пестрящей интернированиями, судебными преследованиями, принудительными лечениями, да к тому же нередко заполненной тяжелым физическим трудом с утра до вечера, вряд ли найдется место для творчества. Но Глаузер находил, потому что зуд сочинительства приучил его работать везде — на уроке алгебры, когда учился в Женевском кальвиновском коллеже, на лекциях в Цюрихском университете, но чаще всего в тюремных камерах и палатах для душевнобольных, куда его раз за разом упрятывали за пристрастие к наркотикам. Когда писалось письмо Хальперину, Глаузеру оставалось жить всего полтора года. Он уже был автором полдюжины детективных романов и довольно большого числа рассказов, эссе, автобиографических зарисовок, печатавшихся в периодической прессе. Его знали в литературных кругах, знатоки ценили его малую прозу, но воспринимали ее как нечто курьезное, маргинальное, далекое от накатанных дорог повествовательного искусства первых десятилетий XX века.

Публикация «Гуррамы» в журнале с мизерным тиражом не стала переломом в жизни писателя. Скорее наоборот — навредила ему, подпортила репутацию более или менее умеренного в политическом плане литератора. Глаузер помимо своей воли прослыл леваком[1], неблагонадежным еще и в этом отношении, не только в нравственном, каким он был всегда. И все же оставшийся короткий отрезок жизни заполнен не только новыми скитаниями и настойчивыми (всегда добровольными) попытками избавиться от пагубной тяги к наркоте, но и интенсивной литературной работой. Глаузера принимают в Союз швейцарских писателей, он много пишет, задумывает несколько новых детективных романов, развернутую автобиографию, вынашивает идею большого социального романа. Но всему этому не суждено было сбыться. Глаузер — лицо юридически недееспособное, еще в 1918 году над ним по требованию отца учреждено опекунство. Это значит, что Глаузер, взрослый человек и уже известный писатель, шагу не может ступить самостоятельно: переписка, финансовые дела — все только с ведома опекуна. Чтобы избавиться наконец от тяготившей его опеки, он решает оформить брак со своей давней подругой и спутницей Бертой Бенгель. В Швейцарии сделать это практически невозможно (слишком объемисты досье в правоохранительных органах), и Глаузер с невестой, немкой по происхождению и паспорту, отправляется в муссолиниевскую Италию, полагая, что там ему удастся быстрее уладить формальности (как-никак Италия в дружбе с Германией, а невеста — немка). А заодно отдохнуть и поработать. Но процедура и в Италии затянулась на месяцы, начались финансовые затруднения, обострились болезни, и Фридрих Глаузер скончался в Нерви, близ Генуи, 8 декабря 1938 года. Свадьба, намеченная на 9 декабря, так и не состоялась. Судьба и тут жестоко обошлась с бездомным скитальцем, который, несмотря на все старания, так и не сумел обзавестись ни гражданским статусом, ни хотя бы минимальными атрибутами семейного благополучия.

Глаузер не был экстравагантной личностью типа Оскара Уайльда, «человеком беспорядка», бродягой по призванию (в эссе «Нарушители спокойствия» он писал, что общество не может нормально функционировать без возмутителей размеренного порядка, но себя к таковым не относил). В том, что он снова и снова оказывался на задворках общества, виновато было не только безжалостное к аутсайдеру социальное окружение, которое отворачивалось от всего, что говорило о боли, болезни, страдании, смерти, — виноват был и он сам, никогда, кстати, не делавший из себя борца за «правое дело», мученика. Наркотики были его бедой и проклятием, но они же были способом бегства «от времени, которое наступает тебе на горло».

В приведенной выше «автобиографии» любопытно упоминание о соприкосновении Глаузера с дадаизмом и психоанализом. Глаузер был единственным швейцарцем в кругу дадаистов, собравшихся чуть ли не со всей Европы в Цюрихе времен первой мировой войны. Его специальностью были макаронические стихи. Он выступал в «Галерее Дада» вместе с поэтами Тристаном Тцара, Филиппо Маринетти, Гийомом Аполлинером, Блезом Сандраром и другими. Из воспоминаний о «Дада», написанных в 1931 году, видно, что к дадаистам Глаузер относился более чем сдержанно, имел конфликты с капризным Тцара и глубокую симпатию испытывал только к своим друзьям — Хуго Балю и Эмми Хеннингс, которые хотя и были среди инициаторов движения, но вскоре от него отошли. Однако участие в скандальных дадаистских представлениях раскрепостило его, избавило от присущей большинству швейцарских литераторов начала века эстетической скованности. В свою очередь, сеансы психоанализа стимулировали интерес Глаузера-художника к подсознательному, к глубинам души, к ее таинственной диалектике, воспитывали в нем способность творить целостный, не расчлененный на «положительные» и «отрицательные» компоненты образ человека (в этом можно убедиться, прочитав рассказ и автобиографический очерк, публикуемые в журнале).

Предельная искренность, истинное сопереживание, погружение в глубины внутреннего мира, неподдельный интерес к душевным травмам, высвечивающим болезненные экзис-

---

[1] «А потом, — писал Глаузер незадолго до смерти, — я совершил еще одну глупость и высмеял книгу Жида об СССР, причем Хальперин осуществил гениальную идею и слегка подправил мою статью, после чего она стала напоминать восхваление советизма, который никогда не был мне симпатичен» (А. Граберу от 30.XI.1938).

тенциальные проблемы, саморазоблачительная исповедальность — вот доминанты художественной манеры Глаузера, резко выделяющие его на фоне швейцарской литературы первой половины XX века. Глаузер, однако, не был, как можно было бы ожидать, интравертом, он умел трезво и пристально вглядываться не только в себя, но и в окружающий мир. Это его качество с блеском проявилось в первом большом произведении — романе об Иностранном легионе «Гуррама». Жизненный опыт, обретенный писателем во время службы в маленьком французском форту Гуррама, затерянном в песках марокканской пустыни, доведен здесь до такой степени художественного обобщения, когда принято говорить о выражении не только индивидуальной судьбы, но и образа времени. Для Глаузера-легионера этот опыт был крайне тяжелым (приступы отчаяния, попытка самоубийства, болезни, нравственные страдания), для Глаузера-художника — чрезвычайно плодотворным.

Глаузер не раз признавался, что в пору работы над «Гуррамой» находился под обаянием прозы Пруста. («Это странный парень, теперь он вышел из моды, но мне он очень нравится. У него есть фразы, похожие на блестящие паутинки, летящие неведомо куда в пору бабьего лета», — писал он о Прусте в 1936 году.) Но Глаузер усваивал из Пруста только то, что срабатывало в его собственной художественной системе. Его стиль даже внешне не похож на стиль Пруста, в нем нет тягучей неопределенности, текучести, чрезмерной детализации переживаний. В Прусте Глаузера привлекал секрет оживления прошлого, техника раскрытия запасников памяти. «Гуррама» писался не по свежим следам, впечатления от службы в Иностранном легионе, какими бы яркими они ни были, за пять лет успели потускнеть, и требовалось определенное искусство, чтобы оживить их. Вырабатывать это умение ему, без сомнения, помогал Марсель Пруст.

«Гуррама» — несомненно, лучший роман Глаузера и один из лучших романов швейцарской литературы 20-х годов, в чем-то сопоставимый с создававшимися примерно в то же время «Волшебной горой» Т. Манна и «Степным Волком» Г. Гессе. «Одиночество потерпевшего крушение человека... никогда не изображалось в швейцарской литературе с такой пронзительно-оригинальной безусловностью, как в романе Глаузера «Гуррама»[1].

Однако ни в конце 20-х, ни тем более в конце 30-х годов роман так и не был востребован немецкоязычной литературной общественностью. Швейцарский вариант художественного воплощения судьбы потерянного поколения при жизни автора так по-настоящему и не дошел до читателя (публикация Й. Хальперином сокращенного варианта в журнале «ABC» не в счет). Да и выход книги крохотным тиражом вскоре после смерти Глаузера, в 1940 году, тоже не стал литературным событием. Время Глаузера еще не пришло. Оно придет только через четверть века, в 60-е годы...

Когда читаешь воспоминания, зарисовки, рассказы и особенно пространные письма Глаузера (лишенный прямого общения с деятелями культуры, он находил отдушину в переписке), просто диву даешься, как уверенно ориентируется этот человек, столько времени проведший среди правонарушителей и слабоумных, в современной ему духовной жизни, как проницательно судит о литературе и литераторах. Поражает его начитанность; свободно владея двумя языками, он и в изоляции умудрялся следить за новинками европейской литературы, в том числе и русской (в одном из писем он спрашивает Й. Хальперина о Бабеле, Гладкове, Эренбурге), высказывал о них в статьях и письмах «на волю» свое суждение, часто более зрелое и выверенное, чем суждения его коллег с куда более благополучной судьбой. Кстати, в его произведениях нередко встречаются образы русских людей, чаще всего эмигрантов, и обрисованы они, как правило, с симпатией и уважением.

Неопытный в «практической» политике, не знавший, как вести себя в до крайности политизированном обществе, Глаузер мог допустить публичную промашку, о чем потом жалел (история с книгой А. Жида об СССР), но в главном был верен себе: в эпоху истового вождизма и разгула идеологических штампов он оставался до конца приверженцем истинного скептицизма. Защитник униженных и обездоленных, обличитель социального зла, которого, увы, немало и в благополучных странах, обойденных грандиозными общественными экспериментами, он тем не менее был убежденным противником какой бы то ни было идеологизации искусства. «Не верю я и в то, что коммунизм или диалектический материализм (так, кажется, это называется?) означает прогресс и способен продвинуть мир или человечество вперед хотя бы на микрон, — писал он цюрихскому прозаику Р. Я. Хумму, выпустившему в 1935 году откровенно идеологизированный роман «Острова». — Я слишком большой приверженец теории волн, чтобы поверить в это». Он не хотел увеличивать даже на одного человека и без того великое множество «проблемщиков» — так он называл людей, которые стремились все перевести в плоскость мировоззрения, — и явно страдал от необходимости «делать выбор», вставать под то или иное знамя. «Это же проклятие какое-то, — жаловался он, — что приличному человеку нельзя критически отозваться об СССР, иначе тут же попадешь в разряд противников этой страны». Он не хотел быть борцом в том или ином лагере. Он хотел быть художником. «Мы здесь не для того, чтобы судить, — писал он. — Мы здесь

[1] Цит. по: *H. Leber*. Annäherung an Friedrich Glauser. Op. cit., S.18-19.

для того, чтобы повествовать. Мы здесь не для того, чтобы разгадывать загадки, мы здесь для того, чтобы загадки выдумывать. Разгадка всегда несущественна. Она нужна, потому что нельзя же продолжать книгу до бесконечности».

Книга жизни великого страстотерпца Фридриха Глаузера оборвалась слишком рано. Книга его творчества, которое можно считать настоящим подвигом в литературе, далека от завершения...

Зуд сочинительства

РАССКАЗ

Школьные парты древние, как и классная комната, в которой они стоят, как и сама школа. А школу основал в шестнадцатом веке Жан Кальвин. У женевского коллежа есть своя традиция, и эта традиция дремлет целый год. Но однажды, в декабре, она просыпается: тогда школьники собираются во дворе и поют хором старинную песню: «Cé ké léno...»[1]

Парты в старшем, выпускном классе все изрезаны. Многие поколения проверяли на податливом дереве, хорошо ли наточены их перочинные ножики. За неудобными партами сидят двадцать шесть существ, жаждущих знаний, — двадцать три мальчика и три девочки. Перед партами возвышается кафедра, над которой опять же возвышается голова учителя греческого языка: волосы мягкие, как ворсинки щеток, с помощью которых придавали блеск цилиндрам в ту пору, когда их еще носили. Лоб очень бледный, и кажется, что сразу с него начинается борода; лицо такое маленькое, что его почти не замечаешь, так как борода притягивает к себе взгляд; она струится и переливается серовато-черными волнами, как Рона ночью...

«Мудрость моя невелика и двусмысленна; она словно сон...» — переводит Бюскарле, его затылок усыпан прыщами. Бюскарле бледен, он слишком много работает, так как считается первым учеником и хочет сохранить за собой это звание... (Спустя двенадцать лет я встретил его в Шарлеруа; в этом шахтерском городке он дослужился до пастора и проповедовал по воскресеньям в церкви перед пустыми скамейками... От Платона, которого он так безупречно переводил, Бюскарле, пожав плечами, отмахнулся как от глупости юных лет...)

— «Она словно сон...» — повторяет учитель Дюбуа, поглаживает бороду ладонью и продолжает почти без паузы: — Месье Глозер, я жду вас после урока. Мне нужно вам кое-что сообщить.

В выпускном классе с учениками обращаются учтиво. Учителя не называют их просто по фамилии — каждый из нас «месье», «господин».

«Месье Глозер» сидит за последней партой; услышав свою фамилию, он вздрагивает от неожиданности. Совесть его нечиста: вместо того чтобы следить за переводом «Пира» Платона, он читает спрятанного под партой «Идиота» Достоевского.

— Oui, monsieur! — лепечу я, встаю — и, как водится, толстая в красном переплете книга падает на пол. Господин Дюбуа ухмыляется в бороду и высказывает сожаление, что в данный момент не может припомнить подходящей цитаты из Платона, которая бы выражала состояние моей совести.

Без четверти три. Еще четверть часа. Я мысленно перебираю свои прегрешения: пропустил предыдущий урок греческого, так как очень хотелось побывать на семинаре по психологии, который проводил в университете профессор Клапаред. А принести оправдательную записку я забыл. Учитель Дюбуа обычно не был педантом.

«Месье Глозер» вздыхает так глубоко и шумно, что слышит весь притихший класс. Раздаются смешки.

---

[1] Старинная женевская песня, сочиненная в 1602 году. Написание искажено. Правильно: «Ce qu'e laino...» (*франц.*).

Урок продолжается. Бюскарле бегло переводит. Я жду, когда куранты на соборе Святого Петра сыграют «Allons danser sous les armeaux»[1]. А вот и звон курантов.

Сидя за партой, я дожидаюсь, когда все выйдут из класса. Потом медленно двигаюсь вперед и останавливаюсь перед кафедрой.

Учитель сморкается, вынимает из кожаного портфеля газету, надевает на крохотный носик пенсне в роговой оправе, разглаживает газетный лист, читает, волосы вокруг рта во время чтения шевелятся, и кажется, будто он улыбается...

Теперь я знаю, какой грех совершил. Два месяца назад моему другу Георгу предложили пост редактора литературного отдела одной газеты, выходившей трижды в неделю. Газета называется «Journal helvetique», но гельветская она только по названию. До нас дошли слухи, что выпускается она на немецкие деньги, но мы не были в этом уверены. Идет война, дело происходит в 1915 году. Георг, стало быть, редактирует литературный отдел, редактирует бесплатно, только чтобы иметь трибуну для пропаганды своих идей. Ему двадцать лет, он уже получил аттестат зрелости и изучает право в Женевском университете. Он может писать все что хочет, к тому же под своим собственным именем. Мне надо быть осторожнее и спрятаться за псевдонимом. После долгих споров мы такой псевдоним придумали — Pointe-sèche, по-немецки «граб-штихель», резец для гравирования, позволяющий наносить рисунок прямо на медную пластинку...

На прошлой неделе в «Journal helvétique» опять появилась статья, подписанная Pointe-sèche. Как приятно читать корректуру, какое это чудо — вдруг увидеть напечатанными фразы, которые ты мучительно сочинял на уроке алгебры. Виданное ли дело, что напечатанные фразы выглядят совсем не так, как написанные от руки? Что типографская краска придает им духовность?

В статье говорится о сборнике стихов одного учителя нашего коллежа. Правда, господин Франк преподает не в нашем классе, я даже ни разу с ним не разговаривал. Видеть иногда видел: маленького роста, круглый человечек с такими короткими ножками, что кажется, будто он не идет, а катится по двору.

Господин Франк написал книгу о Бергсоне — он философ. Если бы он сочинил только эту ученую книгу, мне бы и в голову не пришло выражать свое неудовольствие. Но он накропал стихотворный эпос, озаглавленный «Песнь одиночки». Там есть стихи вроде следующих:

О женщина, ты ванна с теплою водой —
В ней вены вскрыл себе безумец молодой;
Ты скомканный букет давно увядших лилий,
Что источает резкий запах гнили.

Мы с другом прочитали книжку и решили, что такое преступление против духа поэзии нельзя оставить безнаказанным. А поскольку по натуре я человек более язвительный, то сочинить статью было поручено мне.

Это было нетрудно. «Одиночка» на двухстах страницах своего эпоса много говорит о себе и при этом себя идеализирует. Он то стройный, с ясным и огненным взором Аполлон, то греческий мудрец, извергающий двенадцатистопными александрийскими стихами (размер французской поэзии) моральные сентенции. Не было ничего проще установить, что Аполлон на самом деле не стройный красавец, а шаровидный толстяк, что взор его не ясный, а заспанный, что глаза не огненные, а косящие в стороны.

Все это, нашпигованное цитатами из эпической поэмы «Песнь одиночки», содержалось в статье, подписанной псевдонимом Pointe-sèche.

— Глозер, друг мой, — говорит старый учитель греческого, скрещивает руки и опирается подбородком на костистые фаланги пальцев, отчего борода выгибается дугой и напоминает странный галстук, — прежде всего хочу подчеркнуть, что вы делаете мне честь. Два года я пытался продемонстрировать вам красоты французского языка — и мои усилия не пропали даром. Само собой, ваш стиль еще местами сыроват, но со временем это пройдет, не сомневаюсь. Но, друг мой, речь сейчас идет не о более или менее добротном французском, речь идет о большем — о вашей судьбе, друг мой. Приближаются выпускные экзамены, у ваших учителей вы на плохом счету, они с трудом проща-

[1] «Пойдем плясать под вязами...» (*франц.*).

ют свойственный вам недостаток серьезности, дилетантизм... Сколько раз говорил я вам, друг мой: парадокс вас погубит, на парадоксе вы сломаете себе шею. Почему? Потому что вы воспринимаете парадокс не как полезное упражнение для ума, а как нечто, на чем вы хотите строить свою жизнь. Так дело не пойдет, не пойдет — и все тут. Ваша статья обсуждалась сегодня на педсовете. Удивляетесь, как господин Франк вообще узнал об этой статье? Он выписывает «Аргус прессы», так как он из той породы людей, что собирают каждую написанную о них строчку. Но вас еще больше удивляет, каким образом стало известно, что Pointe-sèche — это вы? Знаю, знаю... — Дюбуа, видя, что я собираюсь его прервать, покачал головой. — Вы же сказали об этом только очень немногим в классе, поклявшимся хранить молчание. Вы еще молоды, друг мой, очень молоды... На педсовете было решено провалить вас на выпускных экзаменах. Сделать это будет нетрудно — понадобится только чуть-чуть злой воли. А она есть у всех моих коллег. Но не у меня — мне вряд ли стоит говорить вам об этом. Но что значит «отлично» по греческому, когда по другим предметам у вас сплошь тройки и двойки? Я вижу только один выход. Поговорите с господином Франком, извинитесь перед ним. Быть может, вам удастся его смягчить. А потом приходите ко мне, мой адрес вы знаете.

Адрес я знал. Дюбуа был единственным учителем, кто приглашал учеников к себе домой. Два года он учил меня, в предпоследнем классе и еще раньше он был нашим классным руководителем. Ему доставляло удовольствие делить наш класс по образцу парламента. У нас была крайняя правая, куда входили потомки женевских аристократов, был центр, состоявший из среднего сословия и большинства горожан, и крайняя левая — Баранов из России и я.

Я думал об этом, спускаясь по лестнице, которая вела во двор. Февральский день был холоден, северо-восточный ветер постукивал голыми ветвями деревьев, солнце клонилось к закату. Оно было похоже на белую карнавальную маску, его окружали облака — летящие по небу красные полотнища...

— У господина Франка занятия до четырех, — ответил на мой вопрос портье. — Подождите рядом с учительской.

Ровно в четыре он оставил свое место, чтобы привести в действие звонок; пронзительная безутешная трель показалась мне похоронным звоном...

Учитель Франк катился по двору. Черное зимнее пальто приталено, на бархатном воротнике крохотными снежинками белеет перхоть. На голове высокая шляпа, так называемый котелок... На руках подбитые мехом лайковые перчатки, к правому боку он прижимает маленькой ручкой красный кожаный портфель...

— Что вам угодно? — Голос у него тонкий, почти писклявый. Он морщит лоб. Блестящие лаковые башмаки в коротких, мышиного цвета гамашах — англичане называют их «spats», гетры.

— Я хочу извиниться перед вами, господин учитель... — говорю я. — Моя фамилия Глаузер, это я написал ту статью, что вышла под псевдонимом Pointe-sèche...

Я замолкаю. Ручка в перчатке с меховой подкладкой взлетает вверх — не терпящим возражений, осуждающим жестом. На лице, круглом, порозовевшем от холодного ветра, открывается маленький рот, и из него вылетают слова. Вылетают одно за другим, непрерывно.

Что он мне такого сделал, спрашивает господин учитель. Насколько он знает, я не должен питать к нему ненависти, я ведь с ним незнаком, да и он со мной тоже... Или? Тогда почему этот выпад? Этот бессовестный выпад? Он более чем бестактен. Непозволительно, чтобы молодой человек, не успев закончить школу, имел наглость критиковать взрослого человека. Да что я говорю — критиковать? Это хуже, чем критика! Это откровенная подлость! Да, подлость! Это переходит, преступает все границы дозволенной критики! Критика должна быть объективной.

— Объективной! Вот именно! И не переходить на личности! Вы упрекаете меня в том, что я толстый. Разве я в этом виноват? Мой отец был толстый, моя мать толстая... Я сам, сударь, трижды лечился от ожирения... Я, сударь, пощусь, истязаю себя — разве я виноват, что жировой слой все растет и растет? Нарушение функции желез, сударь... Разве человек должен отвечать за то, как работают его железы — хорошо или плохо? Отвечайте! Нет, помолчите! Я ничего не хочу слышать. Ничего, абсолютно ничего! Я бы еще

понял вас, сударь, если бы вы действовали из чувства мести. Так нет же! Мы друг друга не знаем. Я никогда не вставал у вас на пути. А вам захотелось нанести мне удар в спину? Как убийце — из-за угла? Сударь, вы совершили преступление, отвратительное преступление. Мой отец был толстый, моя мать толстая. Я сам, сударь, трижды лечился от ожирения; разве я виноват в том, что у меня такие гормоны...

Последний слог он произнес таким пронзительным голосом, что это напоминало визг. Котелок съехал на затылок, на лбу выступили капельки пота. Я опустил голову. Он прав, подумал я. Это была подлость — написать такую статью. В конце концов, он и впрямь не виноват, что толст, и даже если его способ защищаться кажется мне смешным, он все равно не виноват. Он прав, он совершенно прав! Предположим, у меня кривая нога и кто-то насмехается над моим увечьем — что я скажу в ответ на это? Тоже сочту подлостью. Поэтому я опустил голову и сказал:

— Согласен, я поступил подло. Но не могли бы вы принять во внимание, господин учитель, что я сожалею о содеянном и готов опубликовать опровержение...

— Опровержение? — прервал он меня. — Опровержение? Чтобы и дальше потешаться надо мной? Не так ли? Хотите написать, что я не такой уж и толстый, а? Написать о том, что я сейчас вам сказал? Рассказать, как я лечился от ожирения? Впутать в эту историю моих родителей? Так?

— Этого у меня и в мыслях не было...

— Что? И в мыслях не было? Вы сами не верите тому, что говорите. Я не хочу ничего, никаких опровержений. Ничего. Я позабочусь о том, чтобы вы провалились на выпускных экзаменах; если хотите, можете написать об этом в вашем бульварном листке... Пожалуйста... Но я вас уничтожу! Уничтожу!

И господин учитель покатился дальше.

Солнце зашло, улицы, по которым я шел, были холодные и серые. Я пошел к Георгу, своему другу. Он пытался меня утешить. Но что пользы в утешении? Толстячок был прав, я поступил подло. Надо было расхлебывать кашу, которую я же и заварил.

И я ее расхлебал. В общем и целом, пришлось круто изменить свою жизнь. Я уехал из Женевы, поселился в Цюрихе и подал заявление с просьбой допустить меня к сдаче кантонального экзамена на аттестат зрелости. Через два месяца я даже выдержал этот экзамен, на три месяца раньше своих женевских одноклассников. Но в Цюрихе мне не хотели выдавать аттестат, требуя доказательств, что из женевского коллежа я ушел по собственному желанию.

Я написал своему бывшему учителю греческого, и он заступился за меня. Мой вопрос рассматривался в городском совете. Большинством голосов было решено: критика «Песни одиночки» — не выпад ученика против своего учителя, а сугубо литературное дело.

Директора женевского коллежа обязали выписать мне выпускное свидетельство, и я поступил в Цюрихский университет. Мне хотелось стать химиком...

Но вместо этого я стал дадаистом. От судьбы не уйдешь. И если впоследствии мне приходилось голодать, я воспринимал это как наказание: «Мой отец был толстый, моя мать толстая, я сам, сударь, трижды лечился от ожирения... Разве я виноват, что у меня такие гормоны?»

Нет, господин Франк не был в ответе за свои гормоны. А потому в порядке вещей, что Pointe-sèche'у приходилось голодать...

Исповедь морфиниста

ОЧЕРК

К морфию я пришел окольными путями. Во время войны желание отвлечься от повседневных забот было сильно везде, в нейтральных странах тоже. Так как алкоголь, даже в больших дозах, на меня не действует, я решил попробовать другое средство и начал с

эфира. Но этот яд неприятен. От его запаха трудно избавиться, во рту на несколько дней остается въедливый привкус. Да и для легких эфир вреден. Когда я однажды простудился, у меня среди ночи открылось легочное кровотечение, пришлось тут же идти к врачу; врач сделал мне укол морфия и велел пить концентрированную соленую воду. Я и сегодня хорошо помню, как подействовал на меня этот укол. Голова вдруг совершенно прояснилась. Мной овладело (другое слово тут вряд ли подберешь) странное, не поддающееся описанию ощущение счастья. Хотя в ту пору в смысле материальном жилось мне довольно трудно, все вдруг переменилось, нужда куда-то отступила, ее больше не было, я держал счастье в руках; простите за неудачное сравнение, но мне казалось, будто все мое тело превратилось в одну сплошную улыбку. Я так и не заснул до утра.

Через неделю пришлось-таки лечь в больницу. Я все еще харкал кровью. В больнице шкаф с медикаментами не запирался. Время от времени я доставал оттуда морфий и глотал, так как шприца у меня не было. И всякий раз после этого ночи были невыразимо прекрасны: я не спал, меня обуревали мысли, я писал стихи. Когда меня выписали, я уже привык к наркотику, но не настолько, чтобы при желании не отказаться от него. Довольно долго я ничего не принимал. Потом я перебрался в Женеву, и там все началось по новой. Денег у меня не было или почти не было, питался я нерегулярно. Когда у тебя нет определенного занятия, ищешь, чем бы развлечься. Я опять начал принимать эфир, но вскоре его запах опротивел и мне; и тем, у кого я снимал жилье. Аптекарь, у которого я покупал эфир, маленький горбун, откликнулся на мою просьбу и давал мне морфий без рецепта. В ту пору законы о наркотических средствах были не такими строгими, как сейчас. Поначалу я глотал микстуру, потом купил себе шприц. Так в мою жизнь вошла беда. Сперва все шло как нельзя лучше. Мне хорошо работалось, я писал иногда по пятнадцать страниц в день, а сверх того, давал еще уроки немецкого и французского. Еда стала для меня чем-то второстепенным, все, что я зарабатывал, оседало у аптекаря. По-видимому, это был садист. Ни с того ни с сего он вдруг отказался продавать мне морфий. Должно быть, чего-то испугался. Мне не оставалось ничего другого, как самому выписывать себе рецепты. Бывший школьный товарищ, отец которого был аптекарем, показал мне, как это делается. Mo. mur. (Morphium muriaticum, что равнозначно hydrochloricum), дистиллированная вода, указание, что предназначается для инъекций... этого было достаточно. Достаточно было до тех пор, пока один аптекарь не заподозрил неладное и не позвонил врачу, подписью которого я злоупотребил. Появление детектива (у него были рыжие усы, и от него неприятно пахло), очная ставка с истцом-аптекарем, полицейский комиссар составил протокол, который мне пришлось подписать, меня вежливо предупредили и отпустили.

Но в одиночку отвыкнуть от наркотика невозможно. Через два дня я снова стоял перед комиссаром (ко всему прочему я, чтобы раздобыть денег, украл велосипед), и на этот раз меня задержали. Первую ночь я провел в камере предварительного заключения. Маленькое помещение, примерно шесть метров на четыре, в углу клозет, который с поразительной точностью каждые пять минут шумно спускал воду. Когда меня около двух часов дня доставили туда, в камере никого не было, ее заполнял резкий запах какого-то дезинфицирующего средства. К вечеру камера была полна, в нее набилось человек двадцать — пьяные, мелкие преступники, шоферы, кучера, нарушившие какие-то правила.

Ночь была невыносимой. Стоял июль, было очень душно. Но меня все же знобило, так всегда бывает при ломке. Ближе к полуночи я не выдержал и стал стучать кулаками в дверь. Наконец появился бригадир и спросил, что случилось. «Ага, морфинист», — только и сказал он. Он принес мне большой стакан рома, перевел в другую камеру, дал пару одеял. Кроме меня, там был еще один заключенный, и чувствовал он себя так же мерзко, как и я. Он слишком много выпил, и его беспрерывно рвало. Страдая от похмелья, он к тому же боялся, что никогда больше не выйдет на свободу. Я принялся утешать его, и это пошло мне на пользу, так как отвлекло немного от собственной беды.

Утром нас отвели к комиссару, господину с пушистой светлой бородкой. Я был определен в государственную тюрьму Сент-Антуан, где меня поместили в одиночную камеру. Чувствовал я себя прескверно. Появились все симптомы, неизбежные при отвыкании: холерина, страх, боли во всем теле. Так всегда бывает с морфинистами. Ты месяцами подавлял с помощью наркотиков головную боль и прочие недуги. Но они не ис-

чезли, они затаились во всех уголках тела и ждут там своего часа — часа, когда у тебя не окажется наркотиков. Тогда они все разом вылезают наружу, атакуют твое тело... будто хотят доказать тебе, что от судьбы нечего ждать пощады...

Я раз за разом впадал в обморочное состояние. В промежутках я слышал, как звонят с урока и на урок в коллеже, как шумят школьники на перемене. Мне было грустно. Четыре года назад я тоже учился в этой школе и часто поглядывал на зарешеченные окна тюрьмы. И вот я сам сидел за одним из этих окон. В то время я увлекался литературой, и мне пришло в голову стихотворение Верлена, тоже написанное в тюрьме:

Небосвод над этой крышей
Так высок, так чист!
Стройный вяз над этой крышей
Наклоняет лист[1].

Перевод В. Брюсова

Так как я то и дело дергал за ручку двери, тюремщику это надоело. Он перевел меня в другую камеру, где уже сидели двое — немецкий шпион и взломщик-рецидивист. Оба отнеслись ко мне по-приятельски, предложили мне сигареты, шпион оказался богачом и угостил меня вином. Затем пришел врач, и спустя четверть часа я был в больнице.

Как я уже сказал, симптомы ломки крайне неприятны. Из носа течет, чихаешь раз десять подряд, иногда кажется, что сердце остановилось. Вообще сердце ведет себя хуже некуда. Потом нападает такая зевота, что челюсти сводит судорогой. Простыня жжет так, будто лежишь в крапиве, желудок ничего не принимает, вдруг замечаешь, что у тебя есть желчный пузырь; замечаешь многое и в конце концов многое узнаешь о своем организме. Особенно мучительны ночи: корчишься, лежа на полу; короче, если о наркотическом опьянении говорят, что это искусственно созданный рай, то ломка — это искусственно созданный ад.

Через два дня меня перевели в психиатрическую лечебницу Бель-Эр. Так как тюремное заключение воспринималось как «бесчестие», то меня, благодаря связям с чиновниками женевской магистратуры, удалось объявить душевнобольным. Мне поставили диагноз «Dementia praecox» (теперь это называют шизофренией).

Меня отправили в Мюнзинген, где я пробыл целый год, после чего «эмигрировал» в Аскону. Два месяца я продержался, а потом история повторилась. Собственно говоря, вряд ли есть что-либо менее интересное, чем жизнь морфиниста. Она делится на время, когда он принимает наркотик, и время, когда общество заставляет его лечиться от наркомании. Причины, которые люди выдумывают, чтобы оправдать наркоманию, могут показаться убедительными с точки зрения литературной и поэтической; на деле же это сплошное свинство, так как наркотики превращают человеческую жизнь в руины. Наше европейское общество устроено так, что морфиниста с самого начала рассматривают как отступление от «нормы», может быть, потому, что наркотик делает человека отъявленным индивидуалистом. Алкоголь вызывает желание пообщаться, пробуждает известную жестокость. Опиум способствует появлению чувства неполноценности; вероятно, можно пойти дальше и сказать: тот, кто принимает опий, страдает от слишком сильного чувства неполноценности. На востоке, должно быть, на это смотрят по-другому.

Морфий (и опий, так как морфий — самая активная составная часть опия) снимает запреты. Но не только. Организм пытается нейтрализовать яд и вырабатывает противоядия. Эти противоядия очень неприятно действуют на нервы; чтобы нейтрализовать противоядия, увеличивают дозу и таким образом снова вызывают эффект эйфории. Так возникает замкнутый процесс, порочный круг, вырваться из которого собственными силами невозможно. Отсюда снова и снова возникающая необходимость отвыкания. «Но, — скажут очень умные люди, — если вы знаете, что вам предстоит (оставим пока в стороне уголовно-процессуальные последствия и примем во внимание только муки ломки, которые вы так наглядно описали), тогда почему вы начинаете все сначала?» На этот вопрос я не знаю ответа. Должно быть, это примерно то же самое, что и сильное сексуальное влечение: против этого не помогают никакие доводы разума.

---

[1] Дальше в стихотворении всплывает мотив раскаяния, плача о загубленной молодости: «Что ж ты сделал, ты, что плачешь, с юностью своей?»

В сравнении с кокаином морфий относительно безвреден. Вспоминая о временах, когда мне наряду с морфием доводилось принимать и кокаин, я испытываю чувство ужаса. Я больше не удивляюсь рассказам о сумасшедших, которые слышат голоса, так как сам слышал невидимок. Это было в Бельгии. Я жил в меблированной комнате, расположенной над кафе; там механическое пианино без конца, не ведая жалости, повторяло старинные шлягеры, как правило, до полуночи. Врач, выписывавший мне наркотики, жил в пригороде и сам был морфинистом. Жизнь сводит со странными людьми. В тот вечер я принял обычную дозу, но яд, должно быть, накопился в моем организме. Короче, я лежал в своей постели. И вдруг совершенно ясно услышал, как какие-то люди говорят за моей дверью: «Его мы сейчас заберем, так больше продолжаться не может. Он все свои деньги тратит на наркотики. Этому надо положить конец». А под окном, во дворе, было слышно, как кто-то другой говорил: «Сейчас мы поставим под его окном бочку, и, если он вздумает выпрыгнуть из окна, мы его схватим». Хотите верьте, хотите нет, но у меня не хватило мужества проверить, существуют ли эти люди на самом деле. Я надел свой выходной костюм, проглотил шесть граммов веронала и лезвием фирмы «Жиллетт» взрезал себе артерии. Точнее, вскрыл только вены, до артерий я не добрался. Когда на следующее утро я пришел в себя, кровать была полна крови, но я еще жил. Это случилось на масленицу во вторник. Естественно, меня отправили в больницу. Лечение было еще неприятнее, чем раньше, так как ко всему прочему добавилось отравление вероналом. Я остался в этой больнице санитаром и вскоре опять принялся за прежнее. На этот раз дело обернулось еще хуже. Я устроил в своей комнате пожар (меня снова начали мучить голоса, я, как и в первый раз, знал, что никаких голосов не могло быть, но вынужден был поступать так, будто они на самом деле были), меня заперли в камере для буйнопомешанных и затем отправили в бельгийскую психушку, которой заправляли монахи. С тех пор я больше не употреблял ни морфий, ни кокаин.

Комично выглядело возвращение. Меня сопровождали три маленьких монаха. У заведения уже был неудачный опыт отправки больных за границу. В последнее время больные просто исчезали на какой-нибудь станции, и монахи оказывались в неловком положении. На сей раз решили сделать все как следует. Мне придали внушительную Garde du Corps[1]. Для полной уверенности на меня надели пояс с замком и петлей, которая прикрепляла мое правое запястье к телу. Петля тоже была с замком. Я вернулся в Мюнзинген, но пробыл там только два месяца: за мой беспутный образ жизни бернский кантональный совет решил отправить меня на год в тюрьму. Так я попал в Вицвиль. Не могу утверждать, что этот год я провел без пользы для себя. Я познакомился там с замечательнейшим человеком, отдававшим все душевные силы своей неблагодарной работе, — с директором вицвильской тюрьмы Келлерхальсом. Должно быть, этот человек представлял собой похвальное исключение из правила. Но благодаря общению с ним я пересмотрел свое резко отрицательное отношение к обществу. По совету директора я решил попробовать себя в садоводстве.

Так я оказался в древесном питомнике в Листале. Морфий я больше не принимал. Было очень сложно доставать наркотик, да и законы стали строже. Но жить совсем без наркотиков я не мог. И перешел на опий.

Опий — это вещество коричневого цвета со странным горьковато-ароматным привкусом. Обычно его прописывают в виде спиртовой настойки, тинктуры. Эту настойку относительно легко получать по фальшивым рецептам, так как ее прописывают чаще, чем морфий, — при болях в животе, при поносах. По крайней мере, так было несколько лет тому назад. В конце концов дело опять дошло до срыва. У аптекаря в Листале бутыль с настойкой стояла в пределах досягаемости. Не было ничего проще, как прийти в аптеку, спросить аспирина и стакан воды, чтобы тут же запить таблетку, и, пока аптекарь на минуту отлучался, сделать большой глоток из бутыли. Через какое-то время аптекарь обо всем догадался. Он знал, что я захожу обычно после работы, вечером, и спрятал в аптеке детектива. Меня поймали на месте преступления. Я было уже подумал, что снова загремлю в Вицвиль, но наместник этого городка оказался очень порядочным человеком. Он уговорил аптекаря отозвать жалобу, сократить сумму ущерба за украденный опий

---

[1] *Здесь:* телохранителей (*франц.*).

до двадцати франков — в этом случае жалобе по закону можно было не давать хода, — и на следующий день меня отпустили.

Но за это время я кое-чему научился. Я добровольно отправился в Мюнзинген, чтобы пройти курс лечения. Он был очень щадящим: пользовавший меня врач постепенно уменьшал дозу и свел мои страдания к минимуму. А затем предложил брать у него сеансы психоанализа. Я согласился.

Вскоре я покинул это заведение, где провел около двух месяцев. Я устроился на работу в древесный питомник и каждый день ходил к своему врачу. Психоанализ теперь котируется невысоко, он вызывает много нареканий; чаще всего эти нарекания необоснованны, так как выдвигаются людьми, не подвергавшими себя анализу, почерпнувшими свои знания из книг. Сложность этой процедуры, прежде всего необходимость ограничиваться только тем кругом больных, которые уже имеют определенный опыт духовного и психологического тренинга, никогда не позволит ей стать популярной. Расхожим полемическим аргументом в глазах ограниченных людей будет и то, что создатель этой теории был евреем.

Психоанализ отучает от лжи — это одно из главных его достоинств. Я имею в виду не повседневную ложь, без которой жизнь среди людей была бы просто невозможна, а нечто куда более опасное — когда лгут самим себе. Первое и единственное условие, которое поставят вам в начале лечения, — говорить все, что приходит в голову. Естественно, вы подумаете, что это совсем не трудно. Но это труднее, чем прошагать семьдесят километров без воды под палящим солнцем. Потому что самое важное вы непроизвольно попытаетесь скрыть. Вы *не можете* говорить все. В каждой душе есть сферы, закрытые для других, они столь чувствительны, что просто не выносят яркого света произнесенного вслух слова.

Рассказать о психоаналитическом сеансе невозможно. Нельзя выразить словами человеческой речи то, что накапливается и проясняется в течение многих часов, хотя психоаналитик все время ищет точные формулировки. Пример: в самом начале курса мне однажды пришла в голову фраза, которую я тут же со смехом, подчеркивая ее нелепость, и произнес: «Я — мать». Вокруг этой фразы и крутился весь анализ. Моя мать умерла, когда мне было четыре года. Я жил с отцом и играл роль матери, которой больше не было. Когда отец женился снова, в глубинах психики, куда не достигают логика и разум, где царят только образы, стали возникать неразрешимые конфликты: детская ревность, которая сильнее и мучительнее ревности взрослых. Сверхэнергичными действиями отца мне была навязана пассивная, женская роль (уже на этом примере хорошо видно, как трудно дать точное изложение сути дела, так как другой человек с отличным от моего складом характера реагировал бы, разумеется, совсем по-другому). Я попытался утвердить себя окольными путями, вызывая к себе утраченный отцовский интерес с помощью срывов, катастроф. Эта тяга к катастрофам осталась во мне и позже. Поскольку по натуре я не был явным преступником, употребление наркотиков стало вполне приемлемым способом снова и снова порождать конфликты, в которых я был страдательной, женской стороной. Позже роль отца приняло на себя общество, по крайней мере в том, что касается моей внутренней жизни. Я был «искателем несчастий» в самом точном смысле этого слова. Собственно, доволен я был только тогда, когда попадал в тюрьму или в сумасшедший дом.

Еще одно воздействие оказывают опий и сходные с ним яды: они подавляют сексуальную жизнь. К морфию я пришел после одной любовной истории, которая закончилась неудачей. В подсознании я сделал выводы и стал искать утешения на детском уровне — на том уровне, когда удовольствие доставляет возня с ощущениями собственного тела. После этого даже испытываешь гордость: можно обойтись без «ты» и целиком сосредоточиться на своем «я». Это мстит за себя: в одиночку жить нельзя, страдает женщина, которая позже появится рядом с тобой, ты кажешься себе негодяем, осложнения становятся настолько невыносимыми, что начинаешь искать выход в катастрофе. А когда в результате попадаешь за решетку, приходишь к последнему выводу и пытаешься добровольно лишить себя жизни. Но, как правило, какой-то очень глубокий слой в тебе хочет жить, хочет слишком сильно, и самоубийство не удается, хотя ты сознательно делаешь все, чтобы оно получилось.

Прошу извинить меня за этот затянувшийся экскурс. Мне хотелось показать на конкретном примере, в какой мере психоанализ помогает понять собственную жизнь. Само собой, подобные примеры берутся не с потолка, они основаны на собственных переживаниях. Кое-кто сочтет это бесстыдством или переоценкой собственной личности, но я хочу отвергнуть эти подозрения и подчеркнуть, что мне важно было на собственном примере обрисовать методику, пользующуюся дурной славой.

Психоанализ — не универсальное лекарство. Мой первый курс лечения продолжался год. Он был труднее других, потому что опиомания обусловлена не только психическим состоянием, со временем она вызывает органические изменения. Клетки организма настолько привыкают к яду, что существовать без него могут только с большим трудом. Опиумный голод мучительнее обычного голода. При малейшем расстройстве или боли человек тянется к средству, успокаивающие свойства которого ему слишком хорошо известны. Забываешь о страданиях, которые потом придется вынести, об отупении, которое со временем наступит, о потере времени (доставать опий нелегко), о денежных расходах, о навязчивой идее, вокруг которой будет вертеться вся жизнь, об унижении, чувстве неполноценности, нечистой совести. А может, нечистая совесть и есть самый сильный соблазн?

Короче, пройдя курс психоанализа, я продержался только несколько месяцев. Потом, после тяжелого переживания, опять взялся за старое. Новый курс лечения — на этот раз бесцеремонный. Никакого результата. Выйдя из лечебницы, я тут же бросился в аптеку. Вы можете представить себе человека, который, приехав в незнакомый город, первым делом осматривает аптеки? Ландшафты? Музеи? Архитектура? Неинтересно. Аптеки важнее.

Понадобился новый, полугодовой курс психоанализа, чтобы привести меня в чувство. Закончить же я могу только вопросом, который задаю себе сам, и надеждой, в которую хочется верить: может быть, удастся на этот раз?

Из романа «Гуррама»

Четырнадцатое июля

Есть нечто загадочное в том, что французы свой самый главный национальный праздник отмечают именно четырнадцатого июля. То, что произошло в этот день в 1789 году... Но воздержимся от критики и коротко напомним о фактах. Месье де Лонэй, комендант Бастилии, чувствительный господин, которого любое пролитие крови приводило в ужас и который, в соответствии с духом времени, души не чаял в народе (при этом, к сожалению, не пытаясь выяснить разницу между народом и плебсом), пригласил двух делегатов от осаждающих на обед, а потом показал им крепость, где содержались только семеро узников: четыре фальшивомонетчика, два сумасшедших и один юный приверженец маркиза де Сада, за несколько глупых выходок упрятанный в тюрьму родителями. Но ни чрезмерная вежливость, ни человеколюбие не спасли беднягу де Лонэя: во второй половине дня он был убит, и какой-то поваренок, немного разбиравшийся в искусстве приготовления жаркого (по-французски это звучит еще лучше: comme il savait travailler les viandes), маленьким ножом отрезал ему голову. Позже процедура отделения головы от тела была изрядно усовершенствована. Узников освободили, фальшивомонетчики тут же испарились, и с тех пор никто их больше не видел, последователя маркиза де Сада встретили рукоплесканиями, и он произнес речь, вызвавшую восхищение. Оба сумасшедших тоже хотели заставить считаться с собой, но то, что они говорили, наводило скуку, поэтому было решено отправить их в Шарантон. Что, без сомнения, было самым разумным выходом из положения. Это славное деяние, я имею в виду штурм Бастилии, еще и сегодня празднуется с большой помпой. Почему бы и нет?

У нас, легионеров второго батальона, дислоцированного в Себду (маленьком селении недалеко от Тлемсена), развлечений было совсем немного, и мы обрадовались, уз-

нав о празднике. Утром к кофе подали шнапс, на обед жаркое из свинины, картошку, белое и красное вино, на ужин то же, что и на обед. Ругались только повара, мы были довольны. А вечером мы решили устроить концерт. За эту задумку нас похвалил батальонный командир Боротра (le commandant Borotra).

Батальонный был всего лишь однофамильцем чемпиона по теннису. Это был толстый, очень толстый человек, даже белый мундир, который он охотно на себя напяливал, не делал его стройнее. По просьбе командира местный патер одолжил мне свою фисгармонию. Это была вдрызг разбитая шарманка, но если тянуть за все регистры, то мелодию «Марсельезы» можно было кое-как сыграть.

Праздничное представление решили устроить в сарае. На восемь бочек из-под вина положили доски — получилась сцена. Сварганили даже занавес из простыней. Поставили ряд стульев, на почетном месте водрузили широченное кресло для командира. За стульями разместили несколько скамеек для сержантов, остальные места — стоячие...

Когда Боротра в сопровождении офицеров вошел в «зал», я заиграл «Марсельезу». Командир снял кепи, все последовали его примеру. Стали подпевать. Затем Боротра плюхнулся в кресло, широко расставил ноги (закинуть ногу за ногу он вряд ли сумел бы) и положил свою трость на колени. Он тяжело дышал.

Поднялся занавес. На сцене четыре легионера заиграли на губных гармошках русскую песню. Зал затих. Две ацетиленовые лампы бросали яркий свет на играющих. Капитан Пеку из пулеметной роты поглаживал свои светлые шелковистые усы. Он гордился выступавшими, они были из его роты. Четверка закончила выступление и, тяжело ступая, покинула сцену.

Сержант Багелен, ординарец батальонного, свои костлявые бедра прикрыл куском цветной материи, а голую грудь украсил лентами. Резко раскачиваясь, он прошелся по сцене; деревянные каблуки, приклеенные по этому случаю к парусиновым башмакам, постукивали в такт ритмическому танцу — степу. Высоким голосом сержант запел:

Et puis si par hasard, tu voyais ma tante...[1]

При этом он подмигивал. С Боротрой случился приступ кашля, от которого он едва не задохнулся. Капитан Пеку уважительно похлопал его по спине. Сержанты на скамейках захихикали, но легионеры, стоявшие у них за спиной, хранили молчание. В помещении висел сигаретный дым.

Шум затих. Почти благоговейная тишина повисла над головами, которые плавали в дыму, как оторвавшиеся от земли бесцветные воздушные шары.

На сцене — женская фигура. Коричневое платье ниспадает прямыми линиями. Бледная кожа лица. Спокойные, чуть усталые глаза смотрят вдаль. Некоторое время фигура стоит неподвижно, руки безвольно опущены. Темные волосы разрезает ярко-белая полоска пробора.

Но вот она начала петь, по-немецки, почти не двигаясь, только голова на тонкой шее мягко покачивалась в такт мелодии:

Мы долларовые принцессы,
Девочки хоть куда...

Результат пения был налицо: помещение заполнило тяжелое молчание слушателей... Громкие вздохи, раздававшиеся то тут, то там, были как обрывки воспоминаний о прежней жизни.

Кончив петь, женская фигура отвесила едва заметный, скромный поклон. Рукоплескания и топот нарастали, шум становился все громче, прерываемый свистом и восторженными выкриками. Не обращая внимания на аплодисменты, женщина поклонилась и легкой, вихляющей походкой ушла со сцены.

Это был всего лишь Линдер, ординарец капитана Пеку, паренек из Франкфурта, утверждавший, что когда-то он играл женские роли. Вероятно, так оно и было. Впечатление, произведенное этим Линдером, было очень сильным... Оно и понятно: живой образ белой женщины...

На сцену вышло странное существо. Казалось, оно толкает перед собой сидящую

[1] Если ты случайно увидишь мою тетю... (*франц.*)

на тачке старуху. Но если внимательно присмотреться, то было видно, что какой-то легионер прикрепил к спине верхнюю половину куклы, и создавалось впечатление, будто это она идет по сцене, в то время как набитые брючины куклы на тачке соединялись с торсом живого человека. Вид у этого сдвоенного существа был аляповатым и жутким, голова куклы была чудовищно размалевана, лицо человека скрывалось за маской с длинным красным носом. Кукла щерила острые деревянные зубы и угрожающе размахивала тряпичными вывороченными руками.

Ярко-красный рот из-под маски затянул песню:

Enfin, j'ai une auto, et j'y promene ma femme...[1]

Я аккомпанировал на фисгармонии.

Странное существо удалилось. Боротра поднялся со своего места. С помощью Пеку он вскарабкался на сцену. Стоя наверху, он кивком головы подозвал к себе сержанта Ситникова и капрала Лёса. Встав между двумя подчиненными, он произнес речь:

— Сегодня вся Франция отмечает памятный день восстания народа против тирании. Более ста лет тому назад мужественный народ восстал, чтобы провозгласить принципы свободы, равенства, братства. — Жесты Боротра становились все резче. Но все было напрасно. Офицеры зевали, сержанты снова закурили, стоявшая за ними солдатская масса тупо глазела перед собой. — Франция и дальше следовала своим благородным традициям — давала прибежище беглецам всех наций, каких бы политических взглядов они ни придерживались: немцам, выступавшим против реакции, русским, боровшимся с большевистской диктатурой. Франция не спрашивает, социалист ты, коммунист или роялист, преступник или просто неудачник. Франция требует только мужества и верности. И эти качества в легионе всегда были на высоте. — Закончив, Боротра велел Ситникову перевести свою речь на русский, а Лёсу — на немецкий. Что и было сделано. После чего еще раз сыграли и спели «Марсельезу» и разошлись.

Но четверо русских, те, что в начале праздника играли на губных гармошках свою песню, должно быть, поняли речь командира не так, как надо. Они дезертировали в ту же ночь; жители селения утром утверждали, что слышали после полуночи мелодию «Марсельезы». Это могло быть правдой. Русские прихватили с собой губные гармошки. Почему бы им не сыграть на них? В часть они так и не вернулись. Должно быть, швыряют на каком-нибудь судне уголь в топку. Или помирились с Россией. Это были крестьянские дети, воевавшие в армии Врангеля; быть может, только после речи Боротра они поняли, что такое революция... Кто знает?

Я уверен, что месье де Лонэй, которому поваренок, qui savait travailler les viandes, отрезал голову, давно уже забыл о своих мучениях и, вероятно, посмеивался над четырьмя беглецами, которые в день его смерти по-своему истолковали слово «свобода»...

Проводы старого года

Даже Бауман из Санкт-Галлена, тот самый, которому мул залепил подковой точно в лоб и который после этого слегка повредился в рассудке, даже слывший в форту за дурачка Бауман догадался, почему Шилаский напросился в возницы ротной арбы, когда в этом возникла нужда. Арба — двухколесная повозка, весьма примитивно сделанная, которую тащит упряжка из трех мулов. Причем мулов впрягают не друг за другом, а в ряд...

Шилаский напросился в возницы, потому что был русским. Он вызвался занять это место в начале ноября... Ноябрь! Должно быть, в России в эту пору с неба уже валит хлопьями снег и покрывает землю толстым слоем. Кто знает, какой толщины бывает этот слой... Русские из третьего отделения утверждали, что снежный покров иногда достигает двух метров. Но русские любят приврать, и все сошлись на том, что такого просто не может быть. Даже уверения сержанта Ситникова, известного своим правдолюбием, не смогли убедить сомневающихся. Это, однако, не мешало Шиласкому утверждать протяжным, певучим голосом (по-немецки он говорил с заметным акцентом): «Снег —

[1] Наконец у меня есть автомобиль, и я катаю на нем свою жену... (*франц.*)

высотой в два метра. И равнина — широкая, бе-эсконечная. Сани мчатся, тройка летит по степи, лошади копытами взметают снег...»

Тройка в России — арба в Северной Африке. Общее у этих повозок то, что в них впрягают трех коней или мулов, идущих рядом. Но у нас повозка не летит по степи, а медленно тащится по равнине, широкой и плоской, как тарелка. Тут и там растут пучки травы эспарто, между пучками торчит напитавшаяся водой грецкая губка. Такая тут почва. Но Шилаский гнал мулов по водянистым губкам, покрикивая: «Но-о, твою мать, пше-о-ол!» И огромные, два метра в высоту, колеса со скрипом крутились, мулы шевелили ушами, их маленькие копытца вязли в ноздреватой почве, и когда животные выдергивали ноги из клейкой хляби, каждый раз слышался хлопок...

Итак, даже Бауман понял, почему Шилаский напросился в возницы арбы. Должно быть, она напоминала ему о родине и — окольным путем — о тройке лошадей: тройка — арба. Похоже, именно Бауман из Санкт-Галлена, чей и без того скромный рассудок еще больше скукожился от удара копытом, понял Шилаского лучше других. Потому что Бауман тоже тосковал по родине. Тоска по родине — чувство, с рассудком она не имеет ничего общего. Легионеры нашей роты, считавшие себя умниками и презиравшие Баумана за глупость, по части чувства вряд ли его превосходили. Но Шилаский, кажется, заметил симпатию, которую питал к нему швейцарец, и стал брать его под свою защиту, когда другим не терпелось над ним поиздеваться. Между ними возникло даже нечто похожее на дружбу. В ноябре и декабре юг Марокко представляет собой удручающую картину. По ночам иногда подмораживает — и легионеры в бараках, молодые и старые, стучат от холода зубами, даже укрывшись тремя одеялами. Термометр показывает пятнадцать, а то и все восемнадцать градусов ниже нуля. Но к восьми утра холод улетучивается, на землю опускается влажный туман, который к полудню разряжается дождем... И дождь льет до самого вечера.

Шилаский и Бауман служили в четвертом отделении кавалерийской роты третьего Иностранного полка. Их матрацы — грубые серые парусиновые мешки, набитые травой эспарто, — лежали рядом на неровно вымощенном полу пятого барака. Шилаский помогал швейцарцу укладывать на шаткий настил над головой гимнастерки, кители, шинель так, как требовалось по уставу. За это Бауман поднимался по утрам за час до побудки, чтобы почистить своему товарищу полтора мула. Потому что почистить трех мулов в одиночку — дело очень трудное...

Ноябрь кончился, наступил декабрь. Рождество пролетело незаметно, никто и не думал его праздновать. Правда, 25 декабря объявили днем, свободным от службы, и капитан Шабер на перекличке, смущаясь, выдавил из себя несколько слов о празднике мира и рождении Спасителя. Но это же, согласитесь, нелепица, когда старший офицер лепечет что-то о мире...

И вот наступило 31 декабря. Дождя в тот день не было; над землей висел туман, все травяные матрацы — единственная мебель в бараках, — расплющенные телами легионеров, были заняты. Ротный буфет неплохо поработал, касса зафиксировала небольшой доход. Но ротные кассы дивидендов не выдают. Капитан Шабер купил сто пачек сигарет и велел раздать солдатам. Досталось по десять сигарет на брата.

Подошел вечер. Под гофрированной железной кровлей барака клубился густой синий дым. В одном углу дюжина легионеров резалась в очко, в другом вспоминали старые скабрезные анекдоты. Так получилось, что в центре, где лежали матрацы Шилаского и Баумана, не было никого. Оба сидели рядом и молчали. В углу картежников горели три толстые свечи, любители непристойностей раздобыли где-то ацетиленовую лампу. В центре барака царил мрак.

— У моего хозяина было двадцать коров, и я один доил их всех, — тихо заговорил Бауман. — Вот это, скажу тебе, была работенка! — Чтобы Шилаский понял его, Бауман старался говорить не на швейцарском диалекте, а по-немецки.

— А я ухаживал за шестью лошадьми, — рассказывал Шилаский. — Водил их на водопой. Чистил. Мой хозяин был знатный барин. Я любил спать в конюшне, с лошадьми. В ночь под Новый год, чтобы прогнать злых духов, мы жгли в стойлах можжевельник.

— Можжевельник! — радостно воскликнул Бауман. И добавил уже на диалекте: — Отличное средство против ведьм.

Оба не курили и обменяли свои сигареты на вино. Между матрацами стояла двухлитровая полевая фляга. Время от времени они прикладывались к ней.

Шилаский встал. Он достал из своего вещмешка ветку дрока и две тоненькие раскрашенные свечки, зажег их и прикрепил к ветке. Из угла, где рассказывали анекдоты, доносился похабный хохот. Двое картежников затеяли перебранку.

— Не уйти ли нам отсюда? — предложил Бауман и потер рукой лоб. В том месте, куда ударил мул, было углубление, кожа вокруг налилась кровью и потемнела.

— Да, пойдем к нашим мулам! — предложил Шилаский. Он еще раз порылся в вещмешке, достал что-то из-под матраца. И оба вышли из барака.

В небе висела маленькая белая луна, похожая на потайной фонарь взломщика. Звезды поблескивали, как снежинки, мягко летящие на землю.

Стоянка мулов располагалась прямо за бараком четвертого отделения. Буквально в двух шагах. Животных привязывали в пять рядов к тяжелым железным цепям, и когда мулы поднимали и опускали головы, цепи шевелились и позвякивали. Упряжка арбы была привязана в конце второго ряда.

Шилаский бережно нес ветку дрока с зажженными свечками, Бауман брел, спотыкаясь, следом — после удара копытом у него нарушилось чувство равновесия, он еще мог держаться прямо, когда шел быстро, но когда шагал медленно, то путался в собственных ногах.

Мулы из упряжки громко всхрапнули, подняли и опустили головы, тихонько заржали. Похоже, ночной визит их обрадовал.

Было очень холодно, приближалась полночь. В этот день не было сигнала тушить свет. Через закрытые окна офицерского клуба долетали тихие звуки музыки. Лейтенант Лартиг завел свой граммофон. Но друзей музыка не интересовала. Они опустились на промерзший пол и первым делом разделили хлеб, который принесли мулам.

— Так, значит, вы в Швейцарии жгли можжевельник? — спросил Шилаский.

— Да, — ответил Бауман. И добавил, с трудом подбирая слова: — Только мы называем его по-другому. Маленькие ягодки. Жгли, чтобы прогнать ведьм.

— А мы — чтобы изгнать злых духов...

Один прибыл из России, а Россия велика. Там есть области, где говорят по-немецки. Другой был родом из Швейцарии...

— Твоя страна маленькая, разве не так, Бауман?

— Да, — ответил швейцарец. — Но пусть только кто-нибудь попробует нас завоевать. Он у нас получит.

— Не сомневаюсь, — сказал Шилаский. — Швейцарцы — храбрый народ.

Он знал, что когда-то один русский генерал прошел через всю Швейцарию, его звали Суворов, Шилаский читал о нем. Но это было давно. И сейчас было бы бестактно напоминать об этом швейцарцу.

— Стра-анно, — заговорил он, растягивая слова. — У вас и у нас — о-одинаковый обычай! Взгляни-ка, что у меня есть.

Бауман наклонился вперед. В мигающем свете он увидел банку из-под сардин, на дне которой лежали маленькие коричневато-черные шарики. На некоторых были крохотные светлые пятнышки.

— Можжевельник! — сказал Бауман, и его голос слегка задрожал.

Шилаский снял обе раскрашенные свечки с ветки дрока и отдал одну своему товарищу. Из кармана он достал нож, расщепил ветку на толстом конце и в щель вставил банку из-под сардин.

Бауман понял. Он был вовсе не так глуп, как полагали его товарищи. В левой руке Шилаский держал ветку с банкой, а правой поднес пламя свечки к жестяному дну. Бауман сделал то же самое. Пламя его свечки тоже коснулось дна банки... Молча, медленным шагом они обошли трех своих мулов, Шилаский держался прямо, Бауман чуть пошатывался. Едкий дым поднимался из банки в холодный зимний воздух, попадал в ноздри мулам, и они стали чихать. Трижды обойдя животных, швейцарец и русский снова опустились на пол и долго сидели молча, не двигаясь.

Спустя некоторое время Шилаский вытащил из кармашка часы.

— Уже двенадцать. Желаю тебе счастья в Новом году, камрад.

— С Новым годом! — ответил Бауман на диалекте. Они пожали друг другу руки и почувствовали, что пальцы у них совсем окоченели.

— Пошли спать, — сказал Шилаский. — Может, нам и повезет в новом году. Во всяком случае, наши мулы не заболеют.

— Это уж точно, — подтвердил Бауман.

Они вернулись в барак, провонявший дымом и шнапсом. Вокруг галдели легионеры, но Шилаский и Бауман заснули сразу.

Зено

Форт Гуррама на юге Марокко занимала третья Compagnie montée[1]. Справа у входа в форт каждый день сидела Зено. На ней было синее изношенное платье (платье — слишком сильно сказано, скорее длинный кусок материи, намотанный на тело; во многих местах проглядывала коричневая кожа), она сидела на корточках и ждала. Солнце нещадно жгло ее черные волосы, жирные и спутанные.

У Зено были тонкие губы и маленькие уши. Над переносицей татуировка — крестообразный орнамент. Видимо, знак ее племени. Вечером она возвращалась в Ксар, арабскую деревушку, которая, собственно, и деревней-то не была, а скорее походила на рухнувшую Вавилонскую башню. Всего одно здание, возведенное из высохшей глины, в несколько «этажей», с многочисленными проходами и подвалами. Заходить туда было запрещено. Однажды неосторожному легионеру там отрезали голову.

Те из нас, кто ленился стирать свое белье, отдавали его Зено. Она спускалась к маленькой речке Квед, скудная влага которой кое-как питала несколько смокв и олив, и очень бережно обходилась с доверенным ей куском мыла. После кормежки мулов она собирала просыпавшиеся зерна овса. Из них, по ее словам, она пекла хлеб.

Никто не обращал на нее внимания, хотя она была молода и хорошо сложена. Один старый сержант попытался было чего-то добиться, но девушка кусалась и царапалась. И ее оставили в покое. Среди офицеров сложилось мнение, что она лишена какой бы то ни было привлекательности...

Для того чтобы женщина начала играть свою роль, в обществе или где-нибудь еще, ее нужно открыть. После этого она может стать кинозвездой или, если она англичанка, выставить свою кандидатуру в нижнюю палату. Но такого рода открытия всегда зависят от случая.

Зено пришлось ждать такого случая два года...

В описываемое время она каждый день сидела с шести утра до девяти вечера справа у входа в форт и громко спрашивала проходящих мимо:

— Макаш лаве, капрал?

Что означало, нет ли у капрала чего-нибудь постирать.

По непонятной причине каждый человек в мундире был для Зено капралом. Она называла так даже маленького, толстого капитана Шабера, командира форта. Что неудивительно, так как капитан Шабер испытывал отвращение к знакам отличия. На своем мундире он никогда не носил три золотых галуна — знаки его воинского звания.

Но когда в одно жаркое июньское утро часовой заступил на свой пост у входа, Зено на месте не было. В восемь его сменили, но и сменщик не дождался Зено. Не появилась она и после обеда.

Естественно, это вызвало оживленные толки.

Во время сиесты, между одиннадцатью утра и тремя часами пополудни, легионеры обычно устраивались в узкой полоске тени, которую отбрасывали выступающие края гофрированной железной кровли: в бараках было невыносимо жарко, как в хлебопекарной печи, к тому же там одолевали клопы, которые жары не боятся, а, напротив, любят ее...

В тени, отбрасываемой выступом кровли, оживленно обсуждалось исчезновение Зено. Развлечений в форту было немного, и каждая новость встречалась с большим интересом.

---

[1] Кавалерийская рота (*франц.*).

Не похитили ли Зено? Может, она вышла замуж? Или заболела?

Схожие предположения выдвинул за ужином в унтер-офицерской столовой и адъютант Каттанео. Этот адъютант был высокого роста, весь серый, носил огромные черные усы в седую крапинку (такой цвет называют «перец с солью») и был, кстати, неграмотен; свои донесения он поручал писать другим и платил за это литр или два вина, в зависимости от того, сколько у него было денег... Он живо заинтересовался судьбой Зено и весьма сожалел, что так и не разглядел девушку как следует. Но воображение у него было не ахти какое, и его версии вертелись в том же кругу, что и предположения легионеров: вышла замуж? похитили? заболела?

Сержант Ситников, утверждавший, что он когда-то служил в Одессе адвокатом, — вероятно, так оно и было, у него красивый почерк, в форту он ведал снабжением, должно быть, знал толк и в накладных расходах, так как в кармане у него всегда водились деньги, — так вот, сержант Ситников ухмылялся, слушая рассуждения и сетования Каттанео.

В конце концов эта ухмылка стала действовать адъютанту на нервы, и он прямо спросил Ситникова, знает ли тот что-нибудь о Зено.

— Да, — ответил Ситников. — Вчера я выкупил Зено у ее отца за триста франков...

Адъютант покраснел и набычился, он решил, что сержант Ситников хочет над ним подшутить. Но Ситников в свойственной ему вежливой, светской манере, всегда так раздражавшей Каттанео, все объяснил.

— Я часто проходил мимо девушки, не замечая ее, — заговорил он. — Но вчера меня, как нарочно, одолевала скука, и я подумал, что неплохо было бы купить славной Зено новое платье. Ей оно нужно позарез... Итак, я подозвал ее, и она не задумываясь пошла со мной; из этого я заключил, что девушка питает ко мне доверие. Это меня обрадовало. Мы отправились к еврею, купили у него материи, она обошлась мне дешево, так как я пригрозил: если он запросит слишком много, я найду другого поставщика овец. Когда мы все уладили, Зено на своем ломаном французском предложила мне проводить ее в Ксар...

— Ты был в Ксаре, Ситников? Разве ты не знаешь, что это опасно? Одному из наших там отрезали голову...

Ситников отмахнулся, казалось, отрезанная голова не произвела на него никакого впечатления.

— Ко мне они относятся с симпатией, — сказал он. — Они мне ничего не сделают. Я часто доставал для них кофе, они меня знают...

— Конечно, господа служат в канцелярии... — раздраженно заметил Каттанео. — Тебе хорошо, ты можешь себе это позволить...

— Видите ли, мой адъютант, — сказал Ситников, который ко всем своим товарищам принципиально обращался только на вы, — во всяком деле есть свои выгоды. Итак, меня там хорошо приняли. У входа в квартиру, или, если хотите, нору, в которой обитает семья Зено, я снял обувь, и это, по́хоже, очень понравилось ее старому отцу, он встретил меня приветливо. Зено приготовила кускус, очень вкусный; потом мы с ее отцом пили чай и курили гашиш. Он и впрямь очень симпатичный старик; голова у него гладко выбрита, только на макушке торчит пучок волос — видимо, для того, чтобы ангел Аллаха мог вцепиться в него и отвести старика прямо в рай, когда придет время умирать... Старику хотелось купить сад. Он беден, у него одна-единственная дочь. Он предложил ее мне. Племянник старика был за переводчика. И я выложил триста франков...

— Триста франков, — простонал адъютант. — Где ты их украл, Ситников, ответь-ка мне?..

— Я не настолько глуп, чтобы воровать. Все делается интеллигентнее, тоньше...

— Ну да, — сказал адъютант. — Это на тебя похоже. Выходит, ты сразу забрал ее с собой и снял для нее комнату, должно быть, у маркитанта?

Ситников кивнул.

— Капитан не имеет ничего против, если я время от времени буду ночевать вне [illegible]та... — Ситников состроил невинную физиономию и поднялся, собираясь уходить. Но адъютант категорическим тоном потребовал, чтобы Ситников поставил всей компании литр картофельной водки, он-де неплохо зарабатывает, сидя на снабжении. Ситников не возражал. Заказав водку, он пожелал всем спокойной ночи и покинул форт.

У входа его ждала Зено. Ее было не узнать. Волосы аккуратно причесаны и украшены красным бантом, на ногах ярко-красные кожаные туфли без задника. Вытатуированный орнамент над переносицей сиял голубизной, словно небо сразу после дождя. Гарнизон толпился у ворот — всем хотелось насладиться спектаклем...

Сержант Ситников вышагивал с достоинством, ноги у него были колесом, походка старого кавалериста. Как и подобает светскому льву, он легонько придерживал правой рукой Зено под локоток.

С тех пор к Зено относились с уважением. Не приведи господь заиметь врагом человека, ведающего снабжением. В его распоряжении вино, в его распоряжении мыло...

Зено научилась говорить по-французски. Капитан Шабер, супруга которого оставалась во Франции и наверняка была уже не очень молода, стал проявлять интерес к подруге сержанта. Однажды он пригласил Зено на чай, и она пришла. Потом капитан ходил с расцарапанной щекой. Что ж, такие вещи случаются. Капитан, само собой, говорил, что его покусали клопы и он расчесал себе щеку...

С тех пор Зено стали называть «прелестным клопиком», но только втихую.

Капитан не таил обиды на своего сержанта. Но реванша дождался. Когда через полгода полковник затребовал Ситникова в Фес, где в военно-полевом суде накопилось множество жалоб и не было человека, способного разобраться в юридических тонкостях, капитан спросил Ситникова, что теперь будет с Зено.

— Возьмите ее себе, мой капитан, — небрежно ответил Ситников. — С удовольствием рекомендую ее вам. Она приветлива и добродушна, не болтлива и без особых претензий...

— Очень мило с вашей стороны, сержант, но вы понесли расходы, не так ли, и я с удовольствием...

— Это ни к чему, мой капитан. — Ситников родился джентльменом и таковым остался. — Когда будете возвращаться во Францию, дайте ей что-нибудь. Зено могут понадобиться деньги. Но вы будете добры с ней, не правда ли? Я с ней поговорю...

— Но, Ситников, мне хотелось бы выразить вам свою признательность. Что я мог бы...

— Вы очень добры, мой капитан. — Стоявший по стойке смирно Ситников слегка расслабился; капитан не придавал особого значения уставным отношениям, но Ситников был подчеркнуто корректен. — Если позволите, я попросил бы у вас бутылку анисовой настойки.

Анисовая настойка сильно смахивала на абсент. Чаще всего это и был чистый абсент...

Так за бутылку анисовки Зено стала верной служанкой капитана Шабера. Его жена во Франции ничего об этой торговле не узнала, а то бы...

Для Зено тоже все кончилось хорошо. Выйди она замуж за марокканца, ей пришлось бы вкалывать, как вьючному животному. На крохотном поле, в саду.

А так она могла ухаживать за собой и превратилась в красавицу. Позже она уехала в Касабланку, где какой-то фермер официально на ней женился.

Мы иногда недооцениваем плоды культуры и цивилизации.

■

РОБЕРТ ВАЛЬЗЕР

Чтение на несколько минут

Перевод с немецкого и вступление С. АПТА

Имя Роберта Вальзера (1878—1956) известно у нас мало кому, главным образом специалистам-литературоведам. Впрочем, и в странах немецкого языка, в том числе в его родной Швейцарии, известность этого писателя не настолько велика, как то можно предположить на основании хвалебных, даже восторженных отзывов о нем таких компетентных ценителей, как Томас Манн, Герман Гессе, Франц Кафка. Во время первой мировой войны Гессе заметил даже, что «если бы такие писатели, как Вальзер, принадлежали к ведущим умам, то не было бы войны. Если бы у него было сто тысяч читателей, мир стал бы лучше».

Какое-то объяснение малой посмертной славы Вальзера дает его биография. Двадцать семь последних лет жизни этот человек, добывавший скудные средства к существованию не столько пером, сколько монотонной службой — он бывал и конторщиком, и садовником, и лакеем, — провел в психиатрических лечебницах, где коротал время на прогулках, работал в саду, убирал комнаты, клеил бумажные мешки, играл с другими пациентами в шахматы и бильярд, время от времени писал письма родным и друзьям. Конец литературной деятельности Вальзера почти совпал с концом эпохи, которую когда-то называли «мирное время». Воздух перемен, наполнивший уже в двадцатые годы книги того же Томаса Манна, того же Гессе, в художническую работу Вальзера не проник. Это, конечно, отодвинуло Вальзера от современников в историю литературы.

Но думаю, что причина диспропорции между литературной ценностью сделанного Вальзером и вниманием к нему потомства кроется все-таки не в его отшельничестве, не в его болезни, вообще не в биографии, а в самом характере его письма.

Проза Вальзера: его романы, повести, рассказы — автобиографична не просто по материалу; важнейшая ее особенность состоит в том, что контуры, отделяющие центральный персонаж от «я» повествователя, не всегда различимы. Они порой настолько размыты, что объективное повествование в третьем лице читается как исповедь, как дневник, как лирическое письмо автора близкому другу. Нерв этой прозы — не сюжет, не целенаправленное, заранее рассчитанное движение от завязки к развязке, а движения души (героя? автора ли? человека вообще?), уловленные с необыкновенной зоркостью и запечатленные точными и строгими словами. Биограф Вальзера Петер Гамм справедливо заметил, что «сомнамбулическая уверенность» его прозы напоминает Шуберта, которого один критик назвал сомнамбулой в противоположность архитектору Бетховену.

В этом «сомнамбулизме» и кроется, видимо, некая беззащитность вальзеровской прозы, особенно поздней, где отдельные фразы связаны не столько смыслом, сколько порывом запечатлеть, записать, — беззащитность перед судом читателя, который ждет от книги идей, ярких картин жизни, пластических фигур. Вальзер и в своей прозе, и в своих стихах, и в своих, как он их называл, «драмолеттах» — художник камерный.

Нижеследующий текст — это сокращенный перевод сборника, составленного в 1978 году, к столетию со дня рождения Вальзера, Фолькером Михельсом, заслуженным редактором франкфуртского издательства «Зуркамп», выдающимся текстологом, куратором литературного наследия Гессе. Заглавие «Чтение на несколько минут» и заголовки разделов придумал тоже Михельс, с которым по этому поводу можно было бы и поспорить. В сборник вошли выписки из статей, писем, романов и всякого рода набросков Роберта Вальзера. Некоторые отрывки взяты из прямой речи его персонажей, и поэтому порой чувствуется, что они выхвачены из текста, но порой ощущение логического пробела возникает и при чтении пассажей, где первое лицо — действительно сам автор, и объясняется оно в этом случае не отсутствием контекста,

© С. Апт. Перевод, вступление, 1998

а той отмеченной уже особенностью стиля Вальзера, что последовательность фраз определяется у него не всегда точным смыслом каждой отдельной, а часто единством импульса, их родившего. Даже такая маленькая антология дает представление и о «сомнамбулизме» Вальзера, и о расплывчатости границы между его житейским и лирическим «я». И позволяет почувствовать правоту Томаса Манна, сказавшего в 1925 году о Вальзере: «Умен, как очень тонкий, благородный, благонравный и неблагонравный ребенок».

Психология противоречий

В высокой степени человек обладает лишь тем, чего у него нет, потому что он должен это искать. Он живет поисками. Все ищут чего-то.

Несвобода может таить в себе большую долю свободы; независимость может быть рабством.

Когда наши дела нехороши, в действительности наши дела потихоньку начинают идти отлично.

Кто хочет вкушать лишь сладкое, для того оно становится горьким.

Кому неведомы слабости, тому неведом и Бог.

Может быть, швейцарцы обязаны своей свободой не только борцу за свободу Вильгельму Теллю, но и душителю свободы наместнику Геслеру, который дал Теллю повод к действию...

Притеснитель и притесняемый, угнетатель и тот, кто сбрасывает гнет, как-то дополняют друг друга, а что касается свободы, то для ее роста наместники и т. п. крайне необходимы.

То, что отсутствует, именно в силу этого присутствует иногда в большой мере.

Кто не умеет отказываться, тому не испытать глубокого наслаждения.

Где еще тешат себя надеждой встретить добродетель, там в мошенниках недостатка не будет.

Когда мы виноваты в каком-то проступке, в нашу пользу говорит не его ничтожность, а его значительность. За что нет прощения, за то как раз и уважают.

В добродетели всегда есть что-то жалкое, а в пороке всегда было что-то восхитительное и завлекательное; государственно-охранительной позиции я тут, разумеется, не касаюсь.

Чертовски прекрасно, будучи мягким душою, бороться с жестокостями жизни. И мы, «мягкие», боремся прекраснее всех.

Общество

Склоняться перед великим, к счастью, легче, чем быть великим самому.

Прошлое преграждает путь грядущему.

Кто не добивается признания, предчувствуя разжалование, тот не умен.

Разве нельзя клеветать и молчанием?

Человек — славный малый, пока его оставляют в покое. Но он очень даже способен показать, что шутить с ним можно не по каждому поводу.

Лишь с трудом уживаешься с тем, кого хорошенько узнал.

Избалованные люди страшно страдают, когда их себялюбие уязвлено.

Есть люди, которые не осмеливаются поздороваться, ибо думают, что им могут не ответить на их вежливость.

Глупость — нечто очень аристократическое.

Глупость живет вблизи от подлости.

Никогда нельзя рассчитывать на сострадание, но всегда — на жажду развлечения.

Вы заметили, что скряги доживают до глубокой старости? Кажется, что они наводят ужас даже на смерть.

Не люблю обладать половиной чего-то, лучше быть среди совсем неимущих, тогда мне будет принадлежать хотя бы моя душа.

Поскольку диктаторы почти всегда выходят из низших слоев народа, они точно знают, чего ждет народ. Исполняя свои желания, они исполняют и желания народа... Народ любит, чтобы ему угождали, чтобы с ним были то отечески ласковы, то строги. Так его можно расположить даже к войнам.

Воистину сильные не выставляют свою силу напоказ.

Люди вежливые чаще всего большие пройдохи.

Во всякой шумихе есть что-то приятное для того, кто ее поднимает. Знаю это по собственному опыту. Кажешься себе храбрым, когда шумишь.

Мы легко переносим собственные недостатки на сограждан, которые созданы, собственно, вовсе не для того.

Почему именно значительные, разумные люди часто так не ладят друг с другом?

Не надо говорить друг другу истины, это кладет конец общительности.

Когда мы сами себе нравимся, у нас больше шансов понравиться миру.

Несвоевременные предложения

Наше время жестоко своим культом полезности. Использовать, быть полезным, быть нужным — вот три веления времени, в которое мы живем. Благородное и прекрасное должно приспосабливаться к этому неумолимому механизму, иначе оно умрет. Может быть, так было всегда. Возможно, что прошлое кажется нам иногда слишком прекрасным.

Так сладко остаться. Разве природа уезжает за границу? Разве деревья странствуют, чтобы добыть где-то более зеленые листья и потом, вернувшись, покрасоваться? Реки и облака бегут, но это другой, более глубокий уход, это никогда уже не вернется. Да и не уход это, а только летучий и текучий покой. Такой уход — это же прекрасно, по-моему! Я всегда гляжу на деревья и говорю себе: они ведь тоже не уезжают, почему же и мне не остаться? Пусть другие ездят и возвращаются домой, поумнев. Я достаточно умен, чтобы в один прекрасный день пристойно умереть здесь, дома.

Быть может, терпеливые люди мужественнее неистовых. Последние ведь только хотят, кажется, заглушить какой-то страх.

Кто никогда не хочет тратить время на какие-то отвлечения, засыхает и ржавеет. Похоже, что быть всегда энергичным неумно и губительно. Недостаток уверенности любит демонстрировать постоянную энергичность.

За скромностью предполагают силу.

В ловких людях всегда замечаешь что-то пошлое.

Всегда бываешь невежлив, когда говоришь правду.

Гордость делает несчастным. Будь смиренен и все же горд. При живом чувстве одно с другим можно соединить. Долго не проверяй своих ощущений, а следуй им, скверны они или хороши: тем самым ты приобретаешь опыт, а польза только от него. Не задумывай добрых дел, а делай добро.

Есть такое любезное поведение, которое кажется надменным.

Кому я стремлюсь и стараюсь понравиться, того я воспринимаю как повелителя.

Чтобы уметь просить, надо обладать неограниченным доверием к себе и другим. Чтобы обрести прекрасное мужество для мольбы, нужно заранее твердо, очень твердо поверить, что она будет исполнена.

Хочу, чтобы плохие казались себе не слишком плохими, а хорошие — не слишком хорошими.

Смотреть в будущее лучше, чем мечтать о прошлом. Думая о будущем, тоже мечтаешь. Разве это не замечательно? Не умнее ли со стороны людей тонкой мысли подарить свое тепло и свои догадки грядущим дням, а не минувшим? Грядущие времена для нас как дети, которые больше нуждаются во внимании, чем могилы умерших.

Все полагают, что обладать надеждой лучше, чем воспоминаниями, ибо на первый взгляд надежда кажется более ценной, чем они. На что-то надеяться считается chic, и это действительно chic, потому что, когда надеешься, выглядишь милее, приветливее, счастливее, чем когда оглядываешься назад или вспоминаешь, а нынешним людям хочется видеть своих собратьев как можно более веселыми.

Только работа, собственно, это настоящая жизнь, удовольствие, внутреннее веселье, радость бытия. Надо лишь смело прыгнуть в холодную с виду воду, которая сначала тебя ужасает, но потом по-царски забавляет и услаждает.

Разве не помогает каждая работа другой? Разве какое-то знание быстро не переходит к следующему? Разве всяческая любовь, всяческая преданность и заботливость втайне не помогают друг другу везде? Если я к чему-то проявляю интерес, принимаю участие, развиваю энергию, выказываю тепло и добродушие, то, наверное, случится так, что кто-то, связанный со мной странным законом, выкажет и мне какую-то доброту и любовь. Тот, кому я позволяю жить, любезно позволит и мне жить и преуспевать.

О прелести риска

Кто много думает, тот наживает себе врагов.

Кому хочется что-то сделать, тот не заботится о том, что скажут люди; он идет на этот риск.

Я произнесу, может быть, нечто неожиданное, если рискну заявить, что в понятиях о чести есть что-то старящее.

Чувствовать и переносить потери — это, по-моему, умение, опыт, без которого человек, как бы он ни был значителен, всегда будет оставаться большим ребенком, этаким плаксивым крикуном.

Вопросы обычно прекраснее, значительнее, чем их кажущиеся решения, которые ведь ничего не решают, потому что никогда нас не удовлетворяют, не успокаивают, тогда как от вопроса веет блаженством.

Искусство и жизнь

Профессия художника — это железный ящик, в котором едва можно дышать, ты стоишь в нем выпрямившись только наполовину, ты не свободен, но и не совсем в плену, голова на воздухе, но ты каким-то образом связан, ты это знаешь, а в следующее мгновение снова уже не знаешь этого.

Когда отношения между художниками и обществом не напряженны, художники быстро ослабевают. Они не должны позволять обществу баловать себя, потому что тогда они будут чувствовать себя обязанными приспосабливаться к данным условиям. Никогда, даже в периоды величайшей бедности, я не продался бы ему. Личная свобода всегда была мне милее.

Писатели́, кстати сказать, вовсе не вправе производить столько шума, сколько пианисты. Это вытекает из того, что языка звуков публика, к счастью, не понимает.

Самое банальное было и всегда будет самым трудным для изображения.

Мне чего-то не хватает, когда я не слушаю музыки, а когда я слушаю музыку, и подавно не хватает чего-то. Это самое лучшее, что я могу сказать о музыке.

У писателей часто бывают до жути длинные рыла, которыми они чуют будущее. Они унюхивают грядущие события, как свиньи — трюфели.

Мои ощущения — это острия ранящих меня стрел. Сердце хочет ран, а мысли хотят усталости. Я хочу втиснуть в стихотворение муку, хочу втиснуть в стихотворение звезды и смешаться там с ними. Что мне делать с чувствами, если не выбрасывать их, как рыб, на песок языка, чтобы они барахтались и умирали на нем? Мне конец, как только я кончу сочинять, и это меня радует.

Я полагаю, обладать прекрасной душой для автора книги важнее, чем быть правым как можно чаще; настоящий поэт всегда знает женщин и любовь лучше всего, и нет более тактичного способа написать любовную историю, чем по возможности полностью придумать ее.

Живое мне милее бессмертного.

Шедевром представляется мне книга, обладающая прежде всего тем свойством, что она выдерживает перемены моды и времени, что она как бы побеждает их достоинствами своего содержания, своей души. Шедевр, во-первых, вызывает умиление, во-вторых, никогда не доставляет хлопот хорошему вкусу.

Бóльшая читательская масса отвергает гениев. Поэтому второ- и третьеразрядные таланты обычно быстрее добиваются успеха, чем перворазрядные. Гений по всей природе своей неуютен. А народ любит уютность.

Не советую читать много мудрого, потому что от этого может пропасть охота стать мудрым. Жизнь делает нас хорошими, а не книги. Они пусть будут как можно занимательнее. Хорошо развлечься — разве это не мудрость?

Коварная змея неудачи

Легче всего обмануть того, кто влюблен в себя.

Никто не говорит правды в тех кругах, которые задают тон в мире... Может быть, правдивое слово невозможно там уже потому, что люди там слишком умны и знают тысячи правд и неправд. Знание о человеке там слишком богато, а сокровищница опыта уже, в сущности, слишком велика. Правдивая речь предполагает в известном смысле ограниченность.

Вообще говоря, я ничего не считаю таким здоровым, как изрядная порция непризнания, которое имеет, конечно, и свои неприятные стороны, но из радостной переработки неприятного вырастает замечательное.

Сущая беда, если автор, как то было со мной, не получает признания сразу после первой же своей книги. Тогда каждый издатель считает себя вправе давать ему советы, как поскорее добиться успеха. Эти обольстительные нашептывания погубили уже не одну слабую душу.

Неуспех шествует со свитой, как большой барин. Он меняет характер и накладывает на природную доброту тяжелый слой общего недовольства. Он ожесточает сердце, которое изначально было полно любви, юмора и доброжелательности. Сестра неуспеха — нужда, которая превращает самую светлую душу в злую и жестокую. Неудачливый человек теряет свой внешний вес, а с ним и прежнюю свою внутреннюю уверенность. Наружу выходят ошибки и недостатки. Вражда, недоразумения, раздор прокрадываются в семью, главе которой не везет. Отца семейства, у которого нет удачи в делах, неправильно понимают, неверно оценивают супруга и дети.

Любовь, женщины и брак

Почему любовь и дружба не могут быть бессмертны, как солнце? Почему полнота чувства, добросовестное рвение, богатые мыслями усилия, высокие стремления, искренние желания уязвимы и находят гибель в темной могиле? Как это можно, чтобы все всегда было так и не смело бывать иначе? Как получилось, что всем, кому хотелось быть радостным, а не грустным, мужественным и цветущим, а не пугливым и боязливым, выпало столько угнетающего и удручающего, отчего они страдают, вместо того чтобы радоваться несокрушимому здоровью и наслаждаться неизменной веселостью?

Каждая женщина велика, когда она нежна, а мужчина, которого любят, всегда мал. Любовь делает меня великим; а от того, что любят и хотят меня, я делаюсь мал. Вот я и казался тебе, дорогой благосклонный читатель, таким крошечным, что легко мог юркнуть в мягкую муфту моей высокой, дорогой, милой жены.

Некоторым мужчинам суждено обладать большой ценностью, особенно для женщин; как современники же и сограждане они порой мало что или совсем ничего не значат, словно само провидение позаботилось о равномерном распределении даров, вне любовной сферы они незначительны и как движущая сила в государственных или человеческих делах никакого значения не имеют.

Когда мы хотим сказать что-то тонкое, это часто звучит довольно нетонко.

Не знаю ничего более живительного, чем благоговеть перед лицом девушки, которое от этого хорошеет.

Все женщины заслуживают комплиментов. В каждой женщине есть что-то благородное. Я видел, как прачки двигаются как королевы.

Я люблю оставлять у женщин неисполнившиеся желания. Так не снижаешь, а взвинчиваешь свою цену. Женщины, впрочем, сами хотят, чтобы так поступали.

Детство, молодость и старость

Мальчик менее труслив, чем мужчина, потому что менее зрел, а зрелость часто делает человека низким и корыстным. Надо только взглянуть на твердые, злые губы мальчика: это само упрямство, это воплощение твердокаменной верности слову, однажды данному себе втайне. Мальчик находит красоту в твердой верности слову, а мужчина находит красоту в том, чтобы данное обещание растворить в новом, которое он по-мужски обещает сдержать. Мужчина обещает, мальчик сдерживает слово.

Только настоящее детское сердце нападает на свежие мысли, битое и поруганное — никогда.

Родители, которые не считают нужным скрывать от детей свои личные драмы, вмиг низводят детей в положение рабов.

Когда ты строг с ребенком, ты скрываешь от него, как его любишь, а порой чуть ли не обоготворяешь. Дети не должны знать, как дороги они тем, кто их воспитывает.

Беззаботность молодит, занятость красит. Одно из условий сохранения молодости состоит в способности всегда чем-то развлекать себя, пусть самым прозаическим делом. Портье может быть счастлив, когда чистит башмаки, виртуозная пианистка может быть несчастна, когда играет. Опускаться, может быть, прибыльнее, чем подниматься.

Жизнь и умирание, начало и окончание дружески связаны. Рядом со стариком стоит ребенок. Цветение и увядание обнимают друг друга. Исток целует удаляющийся поток. Начало и конец, улыбаясь, протягивают руки друг другу. Появление и исчезновение — единое целое.

Чем был умерший? Ах, напоминанием о жизни. Больше ничем. Восхитительным, зовущим назад воспоминанием и одновременно посылом в неведомое, прекрасное будущее.

Счастье и радость

Оказывается, становишься и в самом деле несчастлив, как только это вообразишь.

Как известно, кто счастлив, молчит.

Счастье — плохая тема для писателей. Оно слишком довольно собой. Оно не требует комментария. Оно может спать свернувшись клубком, как еж. А страдание, трагедия и комедия начинены взрывной силой. Нужно только вовремя их поджечь. Тогда они, как ракеты, вздымаются к небу и озаряют все вокруг.

Если за проявлением радости не видна пробивающаяся боль, то в нем много пошлого и мало действительно привлекательного.

Самоанализ и самосознание

Не нужно убивать благородные порывы и мягкие голоса и давать жить ненависти. Так убиваешь себя самого, уничтожаешь собственную жизнь. Нужно иметь терпение, ибо все основано на нем. Кто помирится с самим собой, тот вступит в союз со всем другим, и тогда не будет никаких противников. Когда все в ладу с собой, ни у кого нет противника.

Я меньше дрожу перед чужими капризами и причудами, чем перед своими собственными.

Внутренняя стойкость убывала в той мере, в какой мне была важна внешняя поза.

Чем искреннее я стремился и старался стоять на твердой почве, тем явственнее видел, что шатаюсь.

Поскольку это прекрасно — говорить себе, что можно еще расти, я нахожу приятным чувство, что я мал.

Гёльдерлин счел правильным, то есть тактичным, потерять на сороковом году жизни свой здравый ум, чем многим дал повод сожалеть о нем, Гёльдерлине, самым занимательным и самым приятным образом. Растроганность — это ведь нечто очень полезное, а следовательно, приятное.

Никто не вправе вести себя со мной так, как будто он знает меня.

Вы находите меня, может быть, неинтересным, потому что я искренен. Поэтому я спешу приветствовать Вас как можно интереснее и замысловатее и остаюсь с самым неискренним, но зато и с самым подчеркнутым уважением, которое, надеюсь, лишено сердечности, поскольку таковая утомляет, а Вы должны при всех обстоятельствах сохранять работоспособность. Преданный Вам Роберт Вальзер.

ШВЕЙЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА СТРАНИЦАХ «ИЛ»

Романы, повести, рассказы, пьесы, стихи

1958
Фридрих Дюрренматт. Визит старой дамы (трагическая комедия), № 3.

1961
Фридрих Дюрренматт. Авария. Одна из еще возможных историй (повесть), № 7.

1965
Макс Фриш. Бидерман и поджигатели (поучительная пьеса без поучения с эпилогом), № 5.

1966
Макс Фриш. Homo Faber (роман), № 4.

1966
Фридрих Дюрренматт. Обещание. Отходная детективному жанру (повесть), № 5.

1967
Фридрих Дюрренматт. Метеор (комедия в двух актах), № 2.

1973
Фридрих Дюрренматт. Играем Стриндберга (Play Strindberg) (пьеса), № 4.

1975
Макс Фриш. Назову себя Гантенбайн (роман), № 4—6.

1981
Макс Фриш. Человек появляется в эпоху голоцена (повесть), № 11.

1982
Макс Фриш. Синяя Борода (повесть), № 11.

1987
Макс Фриш. Стенограмма одного несчастья (рассказ), № 2.

1987
Ваэ Годель. Стихи, № 3.

1988
Фридрих Дюрренматт. Правосудие (роман), № 6.

1990
Фридрих Дюрренматт. Поручение, или О наблюдении наблюдателя за наблюдателями (новелла в 24 предложениях), №1.

1990
Макс Фриш. Швейцария без армии? Пустопорожний разговор, № 4.

1995
Фнлипп Жакоте. Стихи, № 12.

1996
Фридрих Дюрренматт. Пенсионер (фрагмент детективного романа), № 4.

1997
Фридрих Дюрренматт. Подельники (пьеса), № 2.

1997
Агота Кристоф. Толстая тетрадь (роман), № 10.

ИЗО КАМАРТИН

СОВРАЩЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО[1]

Тот, кто уверяет, что человек рожден, дабы быть совращенным, наверняка покажется слишком легкомысленным. Благословения церкви он, во всяком случае, не получит. В лоне ее принято считать, что за свою склонность к греху человек наказан земной юдолью. Глубокомысленность нашего апостола совращения вряд ли вдохновит и моралистов. Правда, французский литератор Роже Келуа, большой жизнелюб, сказал однажды, что мораль начинается после того, как ты одержишь победу над соблазном. Но кто из тех, что серьезно раздумывали над загадками бытия, примет это подозрительно удобное объяснение?

И все-таки на поверку выходит, что люди, отнюдь не лишенные доброго начала, в один прекрасный день осознают, что самые захватывающие события происходили с ними именно тогда, когда, не противясь жизни, они позволяли ей соблазнить себя. Тот, кто знал минуты настоящего счастья, именуемые праведниками минутами слабости, начинает считать подобную праведность ущербной. Свою способность радоваться он старается объяснить исходя из собственного опыта. И в конце концов, может статься, придет к убеждению, что соблазн и способность соблазняться — не дело рук дьявола и не крах морали, а бесценное свойство человеческой природы, от которого, несмотря на всеобщее осуждение, никто никогда не откажется.

Я должен признать, и не без удовольствия, что отношусь именно к этому разряду людей. Все, что было хорошего в моей жизни, оказывалось, если подумать, результатом того, что в критические моменты я отбрасывал размышления и поддавался соблазну. Все складывалось гораздо лучше, если я следовал порыву, а не устраивал свое счастье, трезво все обдумав. Если бы я от природы не был склонен к соблазну, то до сих пор не имел бы понятия о важнейших вещах в мире. Все было бы довольно уныло, по крайней мере для меня. Но, наверно, эта скука затронула бы и тех, кому пришлось иметь со мной дело.

Столь сомнительная склонность характера раскрывается постепенно. То, что скрыто в душе, не приводит к радикальным изменениям. Павел не становится Савлом. Со временем начинаешь снисходительней судить о многих вещах. Например, о роли Евы в раю. Ведь ее прекрасный двойственный дар, способность соблазняться и соблазнять, далеко не всегда представляется в выгодном свете. Ее имя связывают с подвизавшейся в раю рептилией, поминать которую добром не принято. Мне же ее амбивалентный дар кажется лучшим наследием рая. <...>

Разумеется, я не тот основательный человек, чтобы засесть за запоздалую «Критику седуктивного разума». Свой тезис, что соблазн правит миром и что людям от этого совсем не плохо, я могу подтвердить лишь фактами личной жизни. Конечно, это несколько легковесное доказательство столь универсального утверждения. К тому же доказывать придется бессистемно, на отдельных примерах. Но как часто мы миримся с тем, что отдельный случай обретает для нас убедительность универсального. <...>

Увлекают нас и великие примеры... Ведь не разум, не рассудок заставляют нас чувствовать к одним людям большее влечение, чем к другим. И не моральная их чистота сильнее всего нас с ними связывает. Манит загадка — такое, чего ты еще не видел и что разжигает поэтому любопытство. Есть таинственная связь между тем, что мы знаем о человеке, и чем-то, что мешает постичь его. Это сочетание и питает нашу увлеченность. Как только начинаешь остерегаться, занимаешь оборонительную позицию, исчезает волшебство. Если в игре не замешана тайна, слабеет любопытство. Поэтому наши кумиры, наши возлюбленные, наши любовные истории — это результат нашей способности соблазняться и нашей легкомысленности.

Как часто мы не замечаем, что не мы управляем собой, а нами управляют. И держат нас в своей власти не только существа из плоти и крови. Бывает, что мы стремимся решить какую-нибудь проблему, подходим к этому с завидной добросовестностью, а потом понимаем, что главную роль тут сыграли не убеждения, а перспектива нового опыта. Я, например, не

---

[1] Из предисловия к книге Изо Камартина «Похвала соблазну»

© 1987 Artemis Verlag Zürich und München
© Н. Павлова. Перевод, 1998

сразу понял, что притягательность неизвестных уголков земли пробуждает особое любопытство. Как только внутри нас рушатся оборонительные укрепления, нас уже не удержишь на месте. Нужно только забыть все «но» и «если», и вот ты уже готов к рискованному путешествию в неизведанное. Просмотрев некоторые свои работы, я обнаружил, что все они грешат искушением — привлечь больше внимания к журавлю в небе, чем к синице в руках. Да ведь синицы и не могут служить соблазном для тех, кто считает, что о них не стоит беспокоиться — сами прилетят в руки! <...>

Почему кто-то остается, а кто-то уезжает? Позволительно ли рисовать себе прошлое иначе, чем обязывает к этому сама история? Какие игры можно себе позволить, ссылаясь на собственную наивность? Отчего мы чувствуем потребность попытать счастья в общественной жизни, пренебрегая частной? Вот некоторые вопросы, на которые я ищу ответов в свете собственной подверженности соблазнам. Люди ошибаются, полагая, что идеи следует вырабатывать самим. Ведь и идеи кажутся иногда такими привлекательными оттого, что всякое сопротивление им бесполезно. Способность поддаваться соблазну зачастую не ослабляет, а окрыляет нас. <...>

Совершенно ясно, что наших любимых животных и любимые растения мы выбираем не по зрелом размышлении, а потому, что поддаемся их очарованию. <...> Наконец, соблазнители par exellence — женские и ангельские голоса, дьявол и смерть. Может показаться странным, что нас соблазняет даже неизбежное. Не только из истории культуры известно, что человек, идя навстречу смерти, пытается и ее совратить, используя свой последний шанс. И не встречает ли нас сама смерть, как совратительница? Не доказывает ли она неопровержимо, что в совращении мы одновременно и преступники, и жертвы?..

Конечно, никакие доказательства не способны убедить тех, для кого все соблазнительное подозрительно. Тут уж ничего не поделаешь. Если мне повезет, моралисты, может, простят мне, потому что «иные ошибки — вехи на пути к истине», как считал Музиль. Непреклонные заметят уже по обхождению с цитатами, что я прямо-таки лечу навстречу соблазнам. Ведь цитаты — это не только разбойники, которые насилуют нашу мысль в закоулках и на глухих дорогах, как следует из одной метафоры Вальтера Беньямина. Они — и подмигивающие нам дамы с Via Veneto, которые превращают маленькое отклонение от курса для склонного к тому мужчины — в отдых. Мышление эссеиста вообще таково, что соблазны оно встречает без смущения, тотчас же извлекая свою выгоду...

Порукой, что мой труд заслуживает доверия, может служить не слишком серьезный тон этого эссе. Ведь став жертвой соблазна, редко остаешься мрачным вопреки всем предостережениям. Переживания, связанные с соблазном, смешны не только со стороны. А если все кончится хорошо, всем весело и всем смешно. Вышеупомянутый Беньямин определил однажды профессорскую болезнь как «звериную серьезность». Надеюсь, что в мои размышления не проникло ничего профессорского.

Все же должен признаться, что речь здесь идет лишь об определенного рода соблазнах. На этих страницах вы не найдете ни слова о соблазнах власти, алчности, ненависти. Ничего о том, как пропаганда дурачит крестьян и горожан. Ничего о «бедном совращенном народе». Молчу я и о наихудшей форме соблазна, ввергающего в зависимость, когда собственная воля молчит и человек превращается в беспомощную жертву. Когда в Цюрихе, идя в университет, я встречаю на Земперской лестнице молодых людей, впрыскивающих себе в темноте, пугаясь прохожих, яд в вены, — моей философии соблазна приходится туго. Когда-то я про себя повторял молитвы, а теперь в голове у меня звучат стихи: «Как легко стопа скользит/ По пути кривому...» или: «У кого достанет сил/ Победить желанья...» Но мне-то известно, что цитатами из «Фауста» Гёте нельзя ни помочь этим людям, ни успокоить самого себя. <...>

Но эта книга возникла из другого опыта. Я твердо убежден: всем счастьем и всеми очаровательными сюрпризами жизни я обязан тому, что *не* был предусмотрителен и *не* смотрел на действительность подозрительно. Тому, кто знает наперед, что правильно, а что нет, трудно не только плюхнуться в счастье — трудно и сладить с ним. Для многих наш сегодняшний мир загублен техникой, изгажен и отравлен. Для меня он все еще лучший из имеющихся в нашем распоряжении, несмотря на свои многочисленные раны. Если приходится защищаться, чтобы выжить в нем, причина, возможно, не только в испорченности мира. В своем квартале я встречаю порой велосипедиста в противогазе. Но на пути в кафе вижу и старых людей, открывающих по утрам окна в уверенности, что к ним врываются потоки свежайшего воздуха. Иной горемыка вставляет в уши затычки там, где я слышу птиц. Конечно, я не наивный оптимист и не лакировщик действительности. Но иногда я чувствую потребность показать заманчивые и доступные соблазны мира рядом с его отдаленными угрозами. Это я и хотел сделать. <...>

Перевод с немецкого Н. ПАВЛОВОЙ

МИХАИЛ ШИШКИН

УРОК ШВЕЙЦАРСКОГО

«Итак, я уже в Швейцарии, в стране живописной натуры, в земле свободы и благополучия! Кажется, что здешний воздух имеет в себе нечто оживляющее: дыхание мое стало легче и свободнее, стан мой распрямился, голова моя сама собою подымается вверх, и я с гордостью помышляю о своем человечестве».

Н. М. Карамзин. «Письма русского путешественника»

«Скука здесь страшная. Место, в котором я обитаю, называется одним из прекраснейших в стране; и в самом деле, здесь совмещены все возможные, так называемые, красоты природы. Для поэта, для художника здесь, я думаю, раздолье. Для меня мука: сколько я ни заставлял себя восхищаться закатами и восходами солнца, ничего не выходит. Все кажется глупо, бессмысленно».

С. Г. Нечаев. Из письма Наталье Герцен 27 мая 1870 г..

Рай и скука. Между двумя этими полюсами раскинулся мир, в котором что-то не так.

Странно все здесь русскому путешественнику.

Нет шири, но есть горы. Земли мало, а молока много. Начальства не ждут, а улицы чисты. Национальный герой — убийца, а граждане законолюбивы. Исправно платят налоги, правительства не боятся и живут не от войны до войны.

Что это вообще такое, Швейцария?

Ожившая витрина игрушечного магазина? Набор почтовых открыток вместо пейзажа? Послушание законам, собой же и придуманным? Святая уверенность деда, что его лужайка достанется внуку? Государство, скроенное по фасону гоголевской шинельки? Накопленный труд поколений, перед которым бессильны все революции и идеи? Россия наоборот?

На берегах альпийских озер тесно от русских теней.

Швейцарская география сцепляет русскую историю в самых непривычных комбинациях.

Скрябин спешит по женевской улице навстречу бегущему за акушеркой Достоевскому, а потом оба отпевают в церкви на рю Родольф-Тепфер своих дочерей. Пансионерка Муся Цветаева скачет к маме вприпрыжку по набережной Уши мимо задумавшегося Азефа. Герцен и Солженицын печатаются в одной газете. На вершине горы Риги встречают восход плечом к плечу Тютчев и Бунин.

Замусоленные достопримечательности превращаются в зеркало, отражающее всякого, кто заглядывает. Не русские путешественники рассказывают о Рейнском водопаде, но водопад о них. В падении Рейна отражается русский мир.

Чтобы полюбоваться рейнским чудом, Карамзин проделывает весь путь от Цюриха до Шафхаузена — без малого 50 километров — пешком. «Феномен действительно величественный! — заключает Карамзин свое знаменитое описание. — Воображение мое одушевляло хладную стихию, давало ей чувство и голос: она вещала мне о чем-то неизглаголанном!»

Мощь падающей реки производит на Александра I такое впечатление, что победитель Наполеона заказывает картину, изображающую его на фоне чуда природы. Полотно пишет художник Сильвестр Щедрин, подгоняя размеры водопада под рост царя. После большевистского переворота этот вид на падение Рейна будет запрещен для публичного показа и проведет долгие десятилетия в запасниках Русского музея.

Грех чувствует себя оскорбленным за унижение уникального явления природы, которое человек заставил банально крутить колесо табачной фабрики.

То, что побуждает Жуковского оставить восторженное романтическое описание, дает повод Толстому остаться равнодушным к месту обязательного восхищения и записать в дневнике: «Ненормальное, ничего не говорящее зрелище».

В 1902 году, совершив нашумевший в свое время побег из киевской тюрьмы, десять искровцев, в том числе Бауман и Литвинов, будущий сталинский министр иностранных дел, договариваются о встрече не где-нибудь, а в Швейцарии, в ресторане над водопадом, откуда отправляют телеграмму в Россию шефу жандармов: «Все вместе мы празднуем удачный исход нашего побега в ресторанчике у Рейнского водопада, о чем посылаем телеграфное извещение за всеми нашими подписями генералу Новицкому».

Через год в перерыве между заседаниями учредительного совещания «Союза освобождения» сюда придут отдохнуть от споров о судьбах империи основатели «партии профес-

© М. Шишкин, 1998

соров»: Сергей Булгаков, Владимир Вернадский, Семен Франк, другие будущие пассажиры «философского парохода». Здесь, на берегах Рейна, скажет Петрункевич, будущий эмигрант из большевистской России, нашедший убежище в Швейцарии, свои роковые для русской истории слова: «У нас нет врагов слева».

В апреле 17-го здесь переедет мост через Рейн «пломбированный» вагон, но его пассажирам будет не до красот природы.

Русскому путешественнику чужд музейный пиетет. Он ощущает себя, вдыхая альпийский ветерок, законным наследником, хозяином, вступающим в права владения своей долей мирового наследства. Он подгоняет эту страну по своей фигуре.

Местные святыни пробуются русским зубом на фальшивость. Люцернский лев, знаменитый памятник швейцарским солдатам, погибшим при защите Тюильри от революционного народа, если и поражает, то своими размерами. «В Люцерне есть памятник, — пишет Жуковский, — которому нет подобного по огромности». Уже Александр Тургенев ставит под сомнение смысл монумента: «Мне все что-то больно, когда думаю, что этот памятник воздвигнут швейцарам и, конечно, за прекрасный подвиг, но этот подвиг внушен не патриотизмом, а только солдатским point d'honneur и швейцарскою верностью. Они умерли за чужого короля, защищая не свою землю, не свое правительство, — не за свое дело, — а в чужом пиру похмелье». А Салтыков-Щедрин, не стесняясь, так интерпретирует латинскую надпись на памятнике «Helvetiorum virtuti ac fidei» («Доблести и верности швейцарцев»): «Любезно-верным швейцарцам, спасавшим в 1792 году, за поденную плату, французское престол-отечество».

Русский путешественник чувствует себя в Альпах как дома. Гоголь выцарапывает свое имя на камнях шильонской тюрьмы. Белый сжигает Гетеанум, как бунтующий мужик помещичью усадьбу. Розанов усаживается в кресло Кальвина. Вольтер опускается на колени перед образованной русской гостьей — мучимый геморроем философ, принимая княгиню Дашкову, не может даже присесть по-человечески. Под строгим взглядом автора «Города Глупова» гордый символ Швейцарии — гора Юнгфрау —поднимается с насиженного места и отправляется на поселение в Уфимскую губернию. Монтрё приобретает рождественские очертания, набоковский карандаш рисует силуэт вершины Маттерхорна, а получается профиль Пушкина. Шагал пригоняет в Цюрих витебских коров, и они молчат о чем-то в витражах Фраумюнстера.

Одна шестая часть суши и поднебесный пятачок связаны невидимой натянутой жилой. В стране-курорте происходят события, внешне незаметные, но влияющие самым роковым образом на судьбу страны-империи. Здесь в головы приходят идеи, которые потом претворяются за сотни и тысячи верст от Базеля и Лугано: и в книги, и в картины, и в расстрелы заложников. В тиши женевских и цюрихских библиотек составляются рецепты, по которым будет заварена кровавая каша на поколения едоков.

После Карамзина этот край становится неотъемлемой частью русского литературного ландшафта. Крик базельского осла разбудит князя Мышкина, Тургенев заставит говорить даже альпийские вершины, Бунин будет посылать своих героинь умирать на Женевское озеро, Ходасевич в 1917 году напишет стихотворение «В этом глупом Швейцерхофе...». Знаменитый отель на набережной Люцерна станет именем нарицательным. Швейцерхоф — мир, в котором все постояльцы.

День, проведенный отставным русским офицером, тридцатилетним севастопольским ветераном, в курортном городке на берегу Фирвальдштетского озера, становится днем суетной истины и мучительного бессмертия. «Проснулся в 9, пошел в пансион и на памятник Льва. Дома открыл тетрадь, но ничего не писалось. «Отъезжее поле» — бросил. Обед тупоумно-скучный. Ходил в privathaus. Возвращаясь оттуда, ночью пасмурно — луна прорывается, слышно несколько славных голосов, две колокольни на широкой улице, крошечный человек поет тирольские песни с гитарой и отлично. Я дал ему и пригласил спеть против Швейцерхофа – ничего, он стыдливо пошел прочь, бормоча что-то, толпа, смеясь, за ним... Я догнал его, позвал в Швейцерхоф пить. Нас провели в другую залу. Артист пошляк, но трогательный. Мы пили, лакей засмеялся, и швейцар сел. Это меня взорвало — я их обругал и взволновался ужасно. Ночь чудо. Чего хочется, страстно желается? Не знаю, только не благ мира сего. И не верить в бессмертие души! – когда чувствуешь в душе такое неизмеримое величие. Взглянул в окно. Черно, разорванно и светло. Хоть умереть.

Боже мой! Боже мой! Что я? и куда? и где я?»

Почему московский дворянин и душевладелец падает на колени на берегу Рейна под Базелем и восклицает: «Счастливые швейцары! Всякий ли день, всякий ли час благодарите вы небо за свое счастие, живучи в объятиях прелестной натуры, под благодетельными законами братского союза, в простоте нравов и служа одному Богу?» Некое недоступное швейцарскому скотоводу русское знание заставляет «генерала русских путешественников», как окрестит Карамзина Греч, обозначить это пятнышко на карте земным парадизом. «Письма» Карамзина — не только удивительный односторонний договор об аннексии ничего не подо-

зревающей страны, своеобразный акт о включении Швейцарии в русскую культуру, это и генеральная диспозиция с установкой ориентиров и цели, план движения, закодированный завет блуждающей русской душе. Будущий автор многотомной русской истории, пропитанной кровью, пущенной для высших необходимостей, ставит своим читателям вешки обыкновенного земного счастья.

Карамзин задает новый для тоталитарной системы вектор движения – к приоритету ценностей частной жизни.

Как Карамзин ехал сюда с томиком Руссо, так после него поедут с томиком Карамзина. Как Карамзин, будут смотреть на альпийские прелести, а видеть отечественную свистопляску. Гельветический пейзаж протыкают то и дело «проклятые русские вопросы». Поскачет от Веве в сторону Кларана и дальше по всему миру бричка с Чичиковым. В горном обвале привидится Жуковскому «бессмысленный и беспощадный». Швейцарские впечатления будут толкать под локоть автора «Философических писем».

Чаадаев после знаменитой отставки мечтает поселиться в Швейцарии. Увы, поездка в любую страну оказывается поездкой в Россию. В Берне, на чаę у Свербеева, желчный отставник набрасывается с пылкостью на родную империю: «...обзывал Аракчеева злодеем, высших властей, военных и гражданских – взяточниками, дворян — подлыми холопами, духовных — невеждами, все остальное – коснеющим и пресмыкающимся в рабстве. Однажды, возмущенный такими преувеличениями, — вспоминает Свербеев, — я напомнил ему славу нашей Отечественной войны и победы над Наполеоном и просил пощады русскому дворянству и нашему войску во имя его собственного в этих подвигах участия. «Что вы мне рассказываете! Все это зависело от случая, а наши герои тогда, как и гораздо прежде, прославлялись и награждались по прихоти, по протекции». Говоря это, Чаадаев вышел из себя и раздражился донельзя».

Лозанна дает повод Жуковскому вспомнить отечество, где «в провинциях грубое скотство, в больших городах грубая пышность». При виде обвалившейся горы, похоронившей под собой деревушку Гольдау, у учителя будущего императора-освободителя рождается «горная философия»: «Проезжая сюда через кантон Швиц, я видел на прекрасной долине, между Цюрихским и Ловерцким озером, развалины горы, задавившей за двадцать лет несколько деревень и обратившей своим падением райскую область в пустыню. Это место называлось тогда Goldau (Золотой луг). За двенадцать лет перед сим я уже видел его: с тех пор ничего не переменилось; те же голые, набросанные грудами камни, немногие покрылись мхом; кое-где пробиваются тощие кусты, но еще почти нет признаков жизни: время невидимо работает, но разрушение в полной еще силе. Рядом с этим хаосом камней простирается холмистая равнина, покрытая сочною травой, пышными деревьями, селениями, хижинами, садами; но бугристая поверхность ее, согласно с преданием, свидетельствует о древнем разрушении: за несколько веков и на этом месте упала гора, задавила несколько селений, и надлежало пройти сотням лет, дабы развалины могли покрыться слоем плодоносной земли, на которой поселилось новое поколение, совершенно чуждое погибшему. Вот история всех революций, всех насильственных переворотов, кем бы они производимы ни были, бурным ли большинством толпы, дерзкою ли властью одного! Разрушать существующее, *жертвуя справедливостью*, жертвуя настоящим для возможного будущего блага, есть опрокидывать гору на человеческие жилища с безумною мыслью, что можно вдруг бесплодную землю, на которой стоят они, заменить другою, более плодоносною. И правда, будет земля плодоносная, но для кого и когда? Время возьмет свое, и новая жизнь начнется на развалинах: но это дело его, а не наше; мы только произвели гибель; а произведенное временем из созданных нами развалин нимало не соответствует тому, чего мы хотели вначале. Время — истинный создатель, мы же в свою пору были только преступные губители, и отдаленные благие следствия, загладив следы погибели, не оправдывают губителей. На этих развалинах Гольдау ярко написана истина: «Средство не оправдывается целью; что вредно в настоящем, то есть истинное зло, хотя бы и было благодетельно в своих последствиях; никто не имеет права жертвовать будущему настоящим и нарушать верную справедливость для неверного возможного блага».

От восторгов по поводу красот природы, чистоты улиц и порядочности гельветов пухнут описания путешествий, дневники и письма.

Но чу! Альпийский эдем в больших дозах вызывает у русских путешественников рвотный рефлекс. «Что тебе сказать о Швейцарии? Все виды да виды, так что мне уже от них наконец становится тошно, и если бы мне попалось теперь наше подлое и плоское русское местоположение с бревенчатою избою и серењким небом, то я бы в состоянии им восхищаться, как новым видом». Это Гоголь.

«Рейн — естественная граница, ничего не отделяющая, но разделяющая на две части Базель, что не мешает нисколько невыразимой скуке обеих сторон. Тройная скука налегла здесь на все: немецкая, купеческая и швейцарская. Ничего нет удивительного, что единственное художественное произведение, выдуманное в Базеле, представляет пляску умирающих со смертью, кроме мертвых, здесь никто не веселится...» Герцен.

Толстой о гельветах: «Швейцарцы — непоэтичный народ».

Достоевский: «О, если б вы знали, как глупо, тупо, ничтожно и дико это племя! Мало проехать путешествуя. Нет, поживите-ка! Но не могу вам теперь описать даже и вкратце моих впечатлений; слишком много накопилось. Буржуазная жизнь в этой подлой республике развита до nec plus ultra. В управлении и во всей Швейцарии — партии и грызня беспрерывная, пауперизм, страшная посредственность во всем; работник здешний не стоит мизинца нашего: смешно смотреть и слушать. Нравы дикие: о, если бы вы знали, что они считают хорошим и что дурным...»

Парадиз наизнанку. Или другое представление о спасении души?

В Цюрих и Женеву русский путешественник привозит с собой в багаже опыт предков, поровших и поротых, но дружно тянувших веками лямку отечества. Вековая царская служба из поколения в поколение отбирала и тело, и волю, и мысли, но давала взамен наполненность души и праведный смысл существования. То, что послам с берегов Рейна казалось в России деспотией и рабством, воспринималось на Москве-реке самоотверженным участием в общей борьбе, где царь — генерал, а все остальные — его дети и солдаты. Отсутствие частной жизни компенсировалось сладостью погибели за родину. Протяженность отечества в географии и времени была залогом спасения, всеобщее неосознанное рабство горько для тела, но живительно для духа.

Но вот счастливому детству воюющей со всем светом нации приходит конец — немцы на русском троне объявляют «вольность», сперва дворянскую, а через сто лет поголовную. Начинается испытание дармовой свободой. Привычной к Службе душе задается новый вопрос: для чего жить? Очевидный на фоне Альп ответ: для себя, для детей — вовсе не представляется очевидным на берегах Волги и Невы. По страницам русских романов разбредаются, гонимые кириллицей, «лишние люди».

Ценности частной жизни, символом которых Карамзин в русском сознании сделал Швейцарию, поставлены в России под сомнение. Внезапная пустота под ложечкой вышедшего в отставку народа требовала замены Службы чем-то не менее возвышенным. Просто жизнь сама по себе, в ее «швейцарском» виде, преломилась в русском зрачке в тошнотворное бюргерство, в лишенное одухотворяющего смысла презренное мещанское существование.

Русско-швейцарскую границу сторожат, подобно васнецовским богатырям, привитое великой литературой презрение к «аисту на крыше», очевидная бессмысленность «трудодней» при любом режиме и генетическая предрасположенность к высоким идеалам. Устами швейцарского гражданина Герцена, «тяглового крестьянина сельца Шателя, что под Муртеном»: «Но спрошу, в чем их дело, в чем их высшие интересы? *Их нет...*»

С первой русской «перестройкой» — реформами Александра II — заканчивается многовековая изоляция. Заграничный паспорт, стоивший при Николае 500 рублей, за пять целковых не выправляет себе разве что ленивый. Население демократизируемой царем империи получает возможность самолично пощупать ценности «швейцарской» цивилизации. Впервые в истории за рубеж огромная масса русских отправляется не в виде армии, но в штатском. Русские за границей: когорта посвященных, узнающих друг друга с полувзгляда, перекати-Альпы с опричниной в прошлом и Башлагом в будущем, туристическая группа, одержимая спасением души.

Многоязычная Швейцария считается провинцией великих европейских культур и столицей педагогики. Женевские и лозаннские пансионы переполнены русскими отпрысками. Получение Надеждой Сусловой докторского диплома производит эффект взорвавшейся бомбы. Цюрих и другие университетские города переживают нашествие «казацких лошадок», как назовут здесь русских студенток. Высшие учебные заведения наполняются местечковой и разночинной молодежью из неслыханных дыр необъятной империи.

Однако неладно что-то в швейцарской системе образования: учатся на врачей, кромсают трупы гельветов в анатомическом кабинете, чтобы служить ближнему, облегчать болезни страждущему, а становятся бомбистками. Герцен в «Цветах Минервы»: «Эта фаланга — сама революция, суровая в семнадцать лет... Огонь глаз смягчен очками, чтоб дать волю одному свету ума... Sans crinolines, идущие на замену sans-culotte'ам. Девушка-студент, барышня-бурш ничего не имеют общего с барынями-Травиатами... Студенты-барышни — якобинцы, Сен-Жюст в амазонке — все резко, чисто, беспощадно». Почти все, недоучившись, бросают учебу-безделицу и отправляются домой делать «дело», заканчивая свои университеты, по отечественной традиции, в тюрьмах и ссылках.

Всепоглощающую Службу может заменить только беззаветное Служение. Карамзинскому раю противостоит отныне русская Утопия. Эффектная формулировка Прудона «собственность есть кража», рассчитанная на эпатаж читающей публики, при переводе на русский вдруг обрастает новым смыслом и читается совсем по-другому в стране, где народная мудрость подводит вековой итог: «Трудом праведным не наживешь палат каменных».

На берегах швейцарских озер начинается Великая промывка мозгов. Здесь, в комнатке с

видом на белеющие мирные Альпы, ложатся на бумагу заветные нечаевские слова: «Нравственно все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему».

Старый поэт, давший на Воробьевых горах клятву посвятить жизнь счастью народа, пишет в женевских прокламациях: «Братцы! Приходит нам невтерпеж!.. Житье на Руси все хуже да хуже! Свободой нас обманули, только по губам помазали!..» «Надо нам их всех вконец истребить, чтоб и духу их не осталось, чтоб и завестись они не могли опять никак. А для этого надо нам, братцы, будет города их жечь. Да выжигать дотла». «Надо будет все бумаги огнем спалить, чтобы не было никаких ни указов, ни приказов, чтобы воля была вольная. Да, ждать-то нам нечего, чего зевать? Кому подошлось, если какой из наших ворогов подвернулся под руку, и кончай с ним».

Кумир русской молодежи, гражданин кантона Тессин «Микеле Бакенини» провозглашает на Конгрессе мира в Женеве — или, по выражению Герцена, на «писовке»: «Не заботясь о том, что подумают и скажут люди, судящие с точки зрения узкого и тщеславного патриотизма, я, русский, открыто и решительно протестовал и протестую против самого существования русской империи. Этой империи я желаю всех унижений, всех поражений в убеждении, что ее успехи, ее слава были и всегда будут прямо противоположны счастью и свободе народов русских и не русских, ее нынешних жертв и рабов». И дальше: «Признавая русскую армию основанием императорской власти, я открыто выражаю желание, чтобы она во всякой войне, которую предпримет империя, терпела одни поражения».

«За этот год, – пишет народоволка Вера Фигнер в воспоминаниях об учебе в Цюрихе, — в моих мыслях произошел такой же переворот, как у других; то, что было прежде целью, мало-помалу превратилось в средство; деятельность медика, агронома, техника, как таковых, потеряла в наших глазах смысл; прежде мы думали облегчать страдания народа, но не исцелять их. Такая деятельность была филантропией, паллиативом, маленькой заплатой на платье, которое надо не чинить, а выбросить и завести новое; мы предполагали лечить симптомы болезни, а не устранять ее причины. Сколько ни лечи народ, думали мы, сколько ни давай ему микстур и порошков, получится лишь временное облегчение... Цель, казавшаяся благородной и высокой, была в наших глазах теперь унижена до степени ремесла почти бесполезного». Придя к такому выводу, Фигнер вместе с другими студентками решает «отдать себя всецело делу пропаганды социалистических идей среди народа и организации его для активной борьбы за эти идеи. Таков был итог цюрихской жизни... В декабре 1875 года я выехала из Швейцарии, унося навсегда светлое воспоминание о годах, которые дали мне научные знания, друзей и цель, столь возвышенную, что все жертвы казались перед ней ничтожными».

Невоплотившиеся врачи, инженеры, ученые уезжают в Россию – на эшафот — с упоением. Может ли бюргерское, «швейцарское», презренное и осмеянное существование сравниться со сладостным самопожертвованием, гарантирующим бессмертие в революционных святцах?

Урок швейцарского. Не языка, разумеется, но мироздания. «Schaffe, schaffe, Hüsli baue!» Одиннадцатая заповедь, не переведенная некогда на славянский: «Трудись, трудись, строй свой домик!» Нет-нет, под «делом» в России понимают что-то совсем другое.

Примеров обратного духовного переворота, обращения в «швейцарскую» систему ценностей совсем немного, тем они интересней. Лев Тихомиров – один из лидеров «Народной воли». В своих мемуарах он вспоминает долгие прогулки с беременной женой по окрестностям Женевы. Революционерам-народникам, посвятившим свою жизнь счастью русских крестьян, жизнь крестьянина швейцарского кажется диковинкой. «Это огромное количество труда меня поразило. Смотришь деревенские дома. Каменные, многосотлетние. Смотришь поля. Каждый клочок огорожен толстейшей, высокой стеной, склоны гор обделаны террасами, и вся страна разбита на клочки, огорожена камнем... Я сначала не понимал загадки, которую мне все это ставило, пока, наконец, для меня не стало уясняться, что это *собственность*, это «капитал», миллиарды миллиардов, в сравнении с которыми ничтожество наличный труд поколения. Что такое *у нас*, в России, прошлый труд? Дичь, гладь, ничего нет, деревянная дрянь, никто не живет в доме деда, потому что он еще при самом деде два-три раза сгорел. Что осталось от деда? Платье? Корова? Да ведь и платье истрепалось давно и корова издохла. А здесь это *прошлое* охватывает всего человека. Куда ни повернись, везде прошлое, наследственное... И невольно назревала мысль: какая же революция сокрушит это каменное прошлое, всюду вросшее, в котором все живут, как моллюски в коралловом рифе?»

Тихомиров, не побоявшись проклятий бывших коллег по террору, напишет покаяние на имя царя и вернется в Россию. Остаток жизни он посвятит борьбе с русской революцией, будет неустанно писать, пытаться объяснить опасность ее, пока вдруг не замолчит накануне войны: «Господь закрыл очи царя, и никто не может изменить этого. Революция все равно неизбежно придет, но я дал клятву Богу не принимать больше никакого участия в ней».

Швейцарский урок остался в России невыученным.

Швейцария действительно становится раем, но для подготовки русского террора. Кто ищет бури — пристает к леманским берегам. В питательном швейцарском бульоне идеи распространяются молниеносно. Русская «освободительная» мысль за отсутствием предохранительных средств приобретает характер эпидемии. Альпийская республика — центр Тамиздата той поры. Половина всех русскоязычных эмигрантских изданий с 1855 по 1917 год выпускается в Швейцарии. Нелегальная Россия существует благодаря легальной Швейцарии. Эта страна с ноготок — колыбель русской смуты, потрясшей XX век. На смену страстным теоретикам разрушения вроде Бакунина, нашедшего успокоение на Бремгартенском кладбище Берна, приходят не менее страстные практики. Под защитой гельветических законов располагаются со всеми удобствами штаб-квартиры всех радикальных партий. Подготовка покушений, «эксов», взрывов проходит на фоне живописных нейтральных ландшафтов.

«Швейцарская таможня и пограничная охрана никаких неприятностей мне не преподнесли, — вспоминает большевик Васильев-Южин. — У меня не спросили ни паспорта, ни имени, ни какой я национальности и только полюбопытствовали, не везу ли я при себе много папирос и табаку. Очевидно, просто в фискальных интересах».

Другой большевик, Семашко, так объясняет привлекательность этой страны для революционеров: «Центром наших эмигрантских устремлений была тогда Швейцария. В Германии и даже во Франции бывали случаи выдачи эмигрантов по требованию русского правительства. Швейцария считалась «неприкосновенным убежищем политических»... Да к тому же жизнь в Швейцарии была значительно дешевле, чем в Германии или во Франции. Поэтому Швейцария в те годы была переполнена эмигрантами».

Примечательно, что не только в отечественном сознании Швейцария ассоциируется с плацдармом русской революции. Отправляясь заниматься альпинизмом в Швейцарию, знаменитый Тартарен встречается там не со швейцарцами, а с русскими террористами. Вот образ революционера из России, возникающий под пером Доде: «Похожий на русского мужика, с волосатыми руками, длинными черными жирными волосами и нечесаной бородой». Не менее примечательна и гоголевская фамилия борца с царизмом – Манилов. Тарасконец влюбляется в неотразимую красавицу террористку Соню, которая «убила на улице генерала Фелялина, председателя военного суда, осудившего ее брата на вечную ссылку». Действие развивается достаточно брутально: уже через несколько страниц в дело идет знаменитая веревка из Авиньона. Одолженной у Тартарена бечевкой в лесу придушен русскими певец, заподозренный в шпионстве.

Реальные бомбисты чувствуют себя в Швейцарии не менее привольно, чем персонажи «Тартарена в Альпах». Эхо бомбы, взорванной русскими «студентами» на Цюрихберге, прокатывается по всей Швейцарии. При испытаниях погибает Исаак Дембо, народоволец, готовивший в свое время заряд для группы Александра Ульянова. Взрывы гремят в женевских квартирах, где готовят адские машины для царских сатрапов боевики Азефа и Савинкова. В Монтрё русские анархисты устраивают «экс» с ограблением банка. Охота за русскими министрами не прекращается и на швейцарских курортах. Татьяна Леонтьева, губернаторская дочь, воспитанная в лозаннском пансионе, заказывает в ресторане фешенебельного отеля в Интерлакене столик рядом с почтенным стариком, неким Шарлем Мюллером. После обмена улыбками она встает, подходит к соседу, достает из сумочки браунинг и стреляет в старца в упор. В оцепенении окружающие смотрят, как юная девушка выпускает еще несколько пуль уже в лежащего. Арестовавшим ее заявляет, что она русская, эмиссар революционного комитета с заданием отомстить министру Дурново. Открывается чудовищное недоразумение. Дурново действительно жил под именем Мюллера в этом отеле в течение 10 дней и уехал лишь незадолго до покушения. В сумочке Леонтьевой при аресте находят газету с портретом министра — всех присутствующих поражает роковое сходство.

«Счастливые швейцары» морщатся, но терпят. «Высшие интересы» политической эмиграции вписываются в «фискальные интересы» почтенных бюргеров. Симбиоз полярных мироощущений. На русской революции делаются швейцарские деньги. На запрос общественности, обеспокоенной резким увеличением числа русских студентов, занятых не столько учебой, сколько партийной полемикой, ректорат Цюрихского университета отвечает: «Они ежегодно приносят с собой большие суммы денег в Цюрих и способствуют таким образом росту нашего народного благосостояния».

Эсер Клячко: «Нельзя сказать, чтобы франколюбивые швейцары относились очень благосклонно к русским эмигрантам. У этих граждан буржуазно-демократической республики, торгующих своим климатом и природой, франк — на первом плане. Ведь, в сущности говоря, Лозанна с ее окрестностями (Кларан, Монтрё, Веве и пр.), это большая гостиница-пансион. Свыше 600 эмигрантов, т.е. 600 занятых комнат, около 600 студентов, вносящих плату за право учения в университете, наконец, содержание их, дающее приличный заработок, — это для франколюбивых швейцарцев была не шутка... Поэтому и терпели, скрепя сердце, русских эмигрантов».

Троцкий: «Через несколько дней безвестное дотоле имя Циммервальда разнеслось по всему свету. Это произвело потрясающее впечатление на хозяина отеля. Доблестный швейцарец заявил Гримму, что надеется сильно поднять цену своему владению и потому готов внести некоторую сумму в фонд 3-го Интернационала. Полагаю, однако, что он скоро одумался».

Швейцария становится Меккой нового учения о светлом будущем. Пророки распределяют сферы влияния — Цюрих принадлежит Аксельроду, открывшему здесь кефирный заводик, Женева — Плеханову. Сюда едут на поклонение. Заехать в город на Роне, чтобы пожать руку первому марксисту, считает своим долгом всякий уважающий себя интеллигент от Вербицкой, авторши тогдашних бестселлеров, до Бердяева.

Хародчинская, секретарша Плеханова, вспоминает, как в 1912 году во время прогулки по Променад де Бастион за Женевским университетом к ним, услышав русскую речь, подошла одна женщина и обратилась к импозантному господину с вопросом, не подскажет ли он, где можно купить хорошие часы, она, мол, первый раз в Швейцарии, слышала, что женевские часы славятся на весь мир, и хотела бы привезти домой сувенир. «Юмор, — пишет Хародчинская, — составлял основную черту Плеханова. Он любил пошутить, но шутки его бывали такие тонкие, что часто собеседник, мало знавший Плеханова, не мог уловить иронии в его словах... Г. В. с самым серьезным видом стал пространно объяснять ей, как надо пройти на такую-то улицу, в такой-то магазин... Какими-то путями разговор перешел на религиозную тему. Г. В. заявил, что верит в Бога так же слабо, как и в черта, и советует ей от души пересмотреть свои взгляды на сей предмет. Оскорбленная и испуганная дама поспешила прочь от нас, сказав на прощание, что она будет молиться за грешную душу безбожника. Эта встреча доставила нам большое удовольствие. Г. В. долго посмеивался, вспоминая, в какой ужас он вверг свою верующую собеседницу».

История, как известно, обожает рифмы. Пройдет несколько лет, и свою шутку Плеханов услышит при совсем других обстоятельствах. После октябрьского переворота к нему, больному, харкающему кровью, уже не встающему с постели, ворвутся революционные матросы и солдаты с обыском. «Краса и гордость русской революции» приставит ко лбу мыслителя дуло маузера. Жена Плеханова, Розалия Марковна, вскрикнет: «Ради Бога, не делайте этого!» Матрос засмеется и вдруг повторит слова, сказанные Плехановым некогда в женевском мирном парке. После обыска Георгий Валентинович признается супруге, что «его занимала мысль, увидит ли он раньше огонь или услышит звук выстрела». «Неоднократно, – напишет в воспоминаниях о последних днях своего друга Лев Дейч, — он обращался ко мне с вопросом, глубоко мучившим его: «Не слишком ли рано мы в отсталой, полуазиатской России начали пропаганду марксизма?» Как бы подводя итог своей жизни, этот человек, умирая от туберкулезной лихорадки, будет просить читать ему вслух греческих поэтов, а в предсмертном бреду, задыхаясь, погрозит кому-то бессильным кулаком.

С началом войны нейтральная конфедерация — удобная ступенька к «великому октябрю». «Конечно, и в Швейцарии армия мобилизована, а в Базеле слышен даже шум канонады, — вспоминает Троцкий, активист швейцарской социал-демократической партии. — Но все же обширный гельветический пансион, озабоченный, главным образом, избытком сыра и недостатком картофеля, напоминал спокойный оазис, охваченный огненным кольцом войны».

Другой будущий основатель русской Утопии, любитель альпийских прогулок, учит неразумных швейцарских социалистов: «Есть только один лозунг, который вы должны немедленно распространять в Швейцарии, как и во всех других странах: вооруженное восстание!» Нобсу, председателю цюрихских социал-демократов, Ленин заявляет: «Швейцария — самая революционная страна в мире». Опешившему редактору социалистической газеты вождь большевиков объясняет, что ведь у каждого швейцарца, согласно вековой традиции, находится дома оружие с боеприпасами. Так или иначе, поставив себе жизненную цель прийти к власти, оба ее достигнут — каждый в соответствии со своими представлениями о целях и средствах политической борьбы. Ленину до поста премьера оставались считанные месяцы. Нобс станет президентом Швейцарской Конфедерации только в 1948 году.

Скорым поездом № 263 из Цюриха через Бюлах на Шафхаузен с 3-го пути в 15.20 отправляется группка эмигрантов осуществлять Великую русскую мечту. Стефан Цвейг назовет этот послеобеденный апрельский час «звездным часом человечества».

Исторический шанс перенять «низменные» ценности «счастливых швейцаров» Россия, нацепив на фрак красный бант и забросав шахту, откуда доносилась молитва, гранатами, упустила.

Принесение частной жизни в жертву «высшим интересам» становится государственной идеологией в новой России. Страна «закрывается». Большевистская дипломатическая миссия из Берна высылается. На протяжении десятилетий Советская Россия и Швейцарская Конфедерация не обмениваются дипломатическими представительствами. Процесс Конради проводит разделительную черту между двумя мирами.

10 мая 1923 года в лозаннском отеле «Сесиль» раздаются револьверные выстрелы, прогремевшие на весь мир. Убит Воровский, глава советской дипломатической делегации. Убийца – Мориц Конради. Дед его переселился в Россию из Швейцарии и кормил весь Петербург конфетами и шоколадом, организовав свое дело — фабрику и сеть кондитерских. Во время войны Мориц воюет на немецком фронте за Россию, получает награды. Приходит революция, все имущество семьи «национализируют». Отец и брат его погибают во время красного террора. Мориц вступает в Добровольческую армию и сражается с большевиками до конца.

Процесс Конради становится, по существу, первым процессом против большевизма. Среди авторов статей, освещающих ход суда, Арцыбашев, автор знаменитого «Санина». Писатель требует оправдать Конради и призывает в свидетели «всех замученных и расстрелянных в большевицких подвалах, всех погибших от голода и холода, всех погибших от грязи и эпидемии... жертв великого коммунистического эксперимента». «Воровский, — пишет Арцыбашев, — был убит не как идейный коммунист, а как палач... Убит как агент мировых поджигателей и отравителей, всему миру готовящих участь несчастной России».

Суд лозаннских присяжных выносит оправдательный приговор. Об отношении в Швейцарии к убийце говорит отрывок из отчета сотрудника ГПУ, посланного в Лозанну для проведения специального расследования: «Обращение с преступником трудно себе представить, не будучи здесь, на месте. Представитель иллюстрированного журнала, захотевший сфотографировать преступника, встретился с ним в одной кондитерской. Жандарм сидел подле и пил кофе».

Против излучаемой Утопией идеологии, замахнувшейся на собственность, гельветы проявляют отменный иммунитет. Лишь горстка швейцарских коммунистов, не имея никаких шансов на успех в своем отечестве, отправляется на восток во главе с Платтеном строить свой земной рай — они добираются лишь до чистилища. В августе 1937-го будет арестована жена Платтена, Берта, а в марте 1938-го он сам за связь с врагом народа — собственной супругой. В последнем письме из заполярного лагеря за несколько дней до смерти швейцарец нацарапает знакомой: «Я, дорогая Оля, сейчас лежу в больнице. Я был сильно слабый и пухлый, но сейчас все лучше и лучше».

Для нескольких закупоренных поколений Швейцария становится лишь отвлеченным понятием из учебника истории — там Вождь готовил Великий Переворот. Виктор Некрасов, лауреат Сталинской премии, оказавшись в женевской эмиграции, сохранит открытку с изображением Шильонского замка. «С некоторым удивлением обнаружил я ее за стеклом газетного киоска на Крещатике, у выхода из Пассажа, — вспоминает он в книге «По обе стороны стены». — Купив ее, прочитал на обороте: «По Ленинским местам. Шильонский замок. Его посетили летом такого-то года В. И. Ленин и Н. К. Крупская». Оставшись в Швейцарии, я сразу же последовал их примеру. И, стоя в мрачном подземелье перед колонной, к которой прикован был Бонивар, я думал о Байроне — родись он на полстолетия позже, знал бы он, чем на самом деле знаменит этот замок, а то какой-то там Шильонский узник...»

Когда режим кажется вечным и строй прочным, два русских путешественника договариваются о встрече на берегу Женевского озера. Два титана русской словесности с видом на швейцарское жительство. Один прямиком из пропахшей потом и страхом московской тюрьмы, другой — инопланетянин с Зембли. Один – всеобъятный зэк, победивший собственный рак и почуявший призвание сокрушить Утопию, другой — коллекционер насекомой и человечьей лепидоптеры, успевший вовремя оставить три тонущие страны. Этой нейтральной территории суждено было стать местом их встречи, и она становится местом их невстречи.

Когда у короля экрана, поселившегося на старости лет в Швейцарии, спросили, почему он выбрал именно берег Женевского озера, тот ответил: «Потому что я это заслужил всей моей жизнью». Что-то подобное мог сказать про себя самый «швейцарский» русский писатель, выбравший для жизни и смерти Монтрё.

Постоялец шестикомнатного люкса в «Монтрё-палас» называет это свое последнее убежище «unreal estate». Когда-то, в далекие полунищие 20-е годы на вопрос, где бы он хотел жить, обитатель берлинских эмигрантских номеров ответил: «В большом комфортабельном отеле». Теперь в роскошной ванной комнате, отделанной в стиле fin de siècle, рядом с унитазом постоянно стоит шахматная доска с расставленными фигурами, а на полу каждый раз появляется новый коврик с днем недели на случай, если, глядя в окно на Лак Леман и Савойские Альпы, гость забудет о времени.

Набоков в Швейцарии — оптимальное решение шахматной задачи на жизненной доске, приведение после нескольких цугцвангов своего короля, изгнанного из петербургского детства, в единственную безопасную счастливую клетку. «Высшие интересы» разорили его отеческий дом, расстреляли поэтов, изгнали профессоров, упразднили не только ять, но кастрировали само Слово. Вся его жизнь — спасение своей семьи, своего языка и рукописей-карточек от идеологий и режимов. Своим героям он дарит край, где можно жить и умереть просто

от частной жизни — без помощи тиранов. Себе он дарит страну «счастливых швейцаров».

Солженицын в Швейцарии — ментальное недоразумение, недосмотр верховного программиста, быстро исправленный адвокатами. Он переезжает из ненавистного сытого Цюриха в напоминавший рязанский лес Вермонт не только потому, что не хотел кормить «Архипелагом» швейцарских налоговых чиновников, но и потому, что швейцарские законы о беженцах делали невозможной борьбу. Его слово было предназначено для борьбы. Сперва его книги должны были сокрушить режим, потом должен был вернуться победителем он сам.

На оси Карамзин — Нечаев они занимают полярные позиции. Два взаимоисключающих кода поведения по отношению к родной мясорубке. Мужественный Борец и несгибаемый Дезертир.

По максимовской версии, Солженицыны сообщают в письме предполагаемое время их визита, и Набоков записывает в дневнике: «6 октября, 11.00 Солженицын с женой», не предполагая, что тот ждет ответного подтверждения. Ко времени отъезда Солженицыных из Цюриха ответа из Монтрё нет. Не зная, что означает молчание, Солженицыны приезжают в Монтрё, подходят к отелю и решают ехать дальше, думая, что Набоков болен или по какой-то причине не хочет их видеть. В это время Набоковы сидят целый час в ожидании гостей — был заказан в ресторане ленч, — не понимая, почему их нет. Владимир Максимов, встретившийся потом и с тем и с другим, пытается прояснить очевидное недоразумение, но после этого случая ни Набоков, ни Солженицын уже не проявляют интереса к взаимным контактам.

Существуют и другие версии.

Русские мойры следят, чтобы параллельные миры не пересекались даже в Швейцарии.

Режим пал. Но кто все-таки сокрушил Утопию? Борцы? Или дезертиры?

И вот снова русские за границей.

«Их везде много, особенно в хороших отелях. Узнавать русских все еще так же легко, как и прежде. Давно отмеченные зоологические признаки не совсем стерлись при сильном увеличении путешественников. Русские говорят громко там, где другие говорят тихо, и совсем не говорят там, где другие говорят громко. Они смеются вслух и рассказывают шепотом смешные вещи; они скоро знакомятся с гарсонами и туго — с соседями, они едят с ножа, военные похожи на немцев, но отличаются от них дерзким затылком с оригинальной щетинкой, дамы поражают костюмом на железных дорогах и пароходах так, как англичанки за table d'hote'ом и проч.». Цитата из Герцена, но звучит актуально и через полтора столетия.

Русские в образе мира давосского кельнера — это те, кто дает на чай сумму больше, чем стоимость заказа.

Бизнесмены с повадками паханов ринулись в Цюрих. Их девиз: открыть счет в банке на Банхофштрассе — приобщиться к общечеловеческим ценностям.

В книге «Введение в гисторию европейскую...», вышедшей в Санкт-Петербурге в 1718 году, уже упоминается пословица «Point d'argent, point de Suisse» с переводом: «Сие есть: нет денег, нет гельветов». Швейцарские банки есть символ победы человека над временем. Некогда перед отъездом в Россию Ленин, будучи клиентом цюрихского Кантонального банка,снял свой вклад, а сберегательную книжку с остатками в размере 5 франков и 5 сантимов вручил Раисе Харитоновой, жене секретаря цюрихской секции большевиков Моисея Харитонова, для оплаты партийных взносов. В своих мемуарах Харитонова описывает, как она пришла в банк и предъявила служащему в окошке ленинскую сберкнижку.

«— В. Ульянов. Как? Тот самый Ульянов, который жил как политический эмигрант у нас в Цюрихе, а сейчас в России стал таким знаменитым человеком? Ульянов, о котором пишут во всех газетах?! — воскликнул он.

— Да, — ответила я как можно сдержаннее. — Это тот самый Ульянов, политический эмигрант, который проживал в старом Цюрихе, на Шпигельгассе, 14, у сапожного мастера Каммерера. Теперь он после долгих лет изгнания вернулся в Россию, чтобы вместе с народом добиться свободы и счастливой жизни для своей страны».

Служащие банка сбегаются поглядеть на сберкнижку русской знаменитости.

«Все рассматривают, дивятся.

— Что же, — обратился ко мне наконец главный кассир, возвращая сберкнижку, — можете закрыть счет и получить этот вклад.

— Нет, благодарю вас, — ответила я. — Не для того я пришла к вам, чтобы получить вклад в 5 франков. Эту сберкнижку я увезу с собой на родину — в Россию, а вклад пусть остается в банке Швейцарии. Не велик вклад, но зато велик его вкладчик. Мне лишь хотелось, чтобы вы узнали об этом.

Я попрощалась и пошла к выходу. Оглянувшись, я увидела изумленных клерков; они все еще стояли у окна главного кассира».

На родине великого вкладчика по многу раз сменились не только деньги, системы, режимы, официальные идеологии, названия страны, но и сама страна успела рассыпаться, снова собраться и снова рассыпаться. А в Кантональном банке на Банхофштрассе методично из десятилетия в десятилетие начислялись проценты. Счет № 611361 пережил и вкладчика, и созданную им Утопию и будет и дальше дожидаться наследников Ильича.

«Высшие интересы» преходящи, в отличие от франка.

Со вторым в русской истории открытием границ снова появился шанс для диффузии ценностей. Будет ли усвоен «швейцарский урок» на этот раз? Или опять стошнит от «аиста на крыше» и «Гоппе и компании через пять поколений»? И опять тронется замордованное население за Неким Зовущим на праведное дело: пустить ближнему — мафиозному торгашу-ублюдку — красного петуха? Может, мы учимся вовсе по другой программе? В спецшколе мальчиков для битья?

Гражданином Швейцарии был Николай Ставрогин, герой «Бесов». В последнем письме он сообщает Дарье Павловне, что у него есть швейцарское гражданство и дом в кантоне Ури, и зовет ее поехать с ним туда жить. Когда Дарья бросается искать Ставрогина, чтобы согласиться, роман заканчивается — гражданин кантона Ури уже повесился.

Не всякий ли русский путешественник, в конце концов, гражданин кантона Ури?

Во время войны в Швейцарию бежали из Германии русские военнопленные и угнанные на работы. По официальным данным, в августе 1945 года в Швейцарии в 75 лагерях находились 7462 интернированных русских.

Около ста из них были размещены в открывшемся 8 декабря 1942 года лагере в Андельфингене, где они занимались раскорчевкой и строительством дороги. На карманные расходы они получали по 20 франков ежемесячно, к их услугам была библиотека, радио, музыкальные инструменты, показывались советские фильмы, устраивались экскурсии в Цюрих, в музеи, зоопарк, на озеро.

Регина Кэги-Фуксман работала в лагере уполномоченной швейцарской организации помощи беженцам. Она оставила воспоминания. «Русские попросили разрешения у центрального управления лагерем не работать в День Красной армии, который считается в Советской России главным праздником, и устроить концерт в гастхаузе в Андельфингене, ближайшей к лагерю деревне. Они хотели пригласить тех, кто занимался вопросами беженцев, жителей деревни и своих воскресных друзей из Цюриха». Просьба русских была удовлетворена, за исключением того, что до обеда они от работ не освобождались, что обуславливалось всеобщей трудовой повинностью для всех швейцарцев даже в их национальные праздники. «Русские заявили, что в этом случае они вообще отказываются выступать и не выйдут на работу, так как это их национальный праздник. Руководство лагеря вызвало полицию и издало строгий приказ приступить к работе... В назначенный день интернированные появились на завтраке в выходной одежде и отказались выйти на работу. После обеда русские построились в колонну по четыре и отправились строем из лагеря в деревню, дошли до гастхофа, где должен был состояться концерт, развернулись и двинулись маршем обратно в лагерь». Напряжение нарастало. Полученный на обед шпинат сыграл роль детонатора. «Все тарелки со шпинатом они повыбрасывали в окно столовой. Шпинатом, вероятно, в России кормят свиней, и русские чувствовали себя оскорбленными в своей чести советского солдата...» Интернированные отказались вообще выходить на работу и объявили голодную забастовку. «Лагерь был окружен солдатами, против русских выставили пулеметы». Несколько человек были арестованы, лагерь расформировали, большинство отправили в другой лагерь в горном отдаленном Рароне.

С окончанием войны стал вопрос о репатриации почти восьми тысяч русских. Каждому в лагерях была вручена брошюра под названием «Родина ждет вас, товарищи». Кто не хотел возвращаться, мог остаться в Швейцарии — так поступили лишь около 50 человек. Почти все отправились на родину добровольно. Кэги-Фуксман: «Одна милая медсестра во время подготовки к отъезду пару недель жила у меня. Она сказала мне: «Мы все погибнем. Россия не может себе позволить снова принять так много людей, которые увидели Запад. Если я буду жива, я вам напишу». Я получила из Зальцбурга открытку без подписи: «Прощайте!» Больше я от нее никогда ничего не получала».

Толстой, «Люцерн»: «Бесконечна благость и премудрость того, кто позволил и велел существовать всем этим противоречиям».

Цюрих, март 1998 г.

■

ШВЕЙЦАРИЯ: ВРЕМЯ РАЗОБРАТЬСЯ С СОБОЙ

Беседа с АДОЛЬФОМ МУШГОМ

В гостях у «Иностранной литературы» побывал крупнейший современный швейцарский писатель АДОЛЬФ МУШГ. В редакции журнала состоялась беседа, запись которой мы предлагаем вашему вниманию.

«ИЛ». Над чем вы сейчас работаете?

Адольф Мушг. Я полностью поглощен той книгой, которую должен закончить к сентябрю — к Франкфуртской ярмарке, посвященной в этом году швейцарской литературе. Книга эта называется «Цитаты из Готфрида Келлера» и представляет собой историко-политическое эссе. Поводом к ее написанию послужили те нападки, которым я постоянно подвергаюсь со стороны наших доморощенных радикал-патриотов. Речь идет об исторической памяти Швейцарии. К своему удивлению, я обнаружил, что Швейцария последних 100—150 лет практически неизвестна современным ее жителям. Швейцария должна снова открыть для себя богатство своей истории, которая всегда была частью истории Европы.

Государственное единство Швейцарии навязали французы в 1798 году. То, что сделали побежденные швейцарские кантоны, стало для Европы образцовым достижением: конфедерация самых разных народностей под одной крышей, где уют и прочность были им гарантированы духом либерализма. В 1848 году Швейцария стала самым современным государством в Европе, и не только потому, что государство здесь было создано европейской демократической революцией, но и потому, что ему не нужна была символика национального государства. Это был функциональный союз, что значило гораздо больше и уже само по себе было почти чудом.

Либерализм Швейцарии имел свою отличительную традицию — космополитическую, но также и европейскую: в XVIII веке Швейцария была для Европы землей обетованной, чем-то вроде передовой культурной державы. Однако впоследствии либеральные принципы конфедерации 1848 года редуцировались, как и везде в мире, до либерализма, прежде всего экономического, принеся Швейцарии, бедной стране, материальное благосостояние. Во второй половине XIX века Швейцария все больше подавала себя как единое национальное государство: она стала подражать в своих действиях Германии и Италии, превратившись тем самым действительно в маленькую страну, меньше той, которой пели колыбельную в 1848 году.

Я считаю, что сейчас Швейцария греховна, и главное ее грехопадение произошло в XX веке. Сегодня на первый план вышел вопрос о той роли, которую страна играла во второй мировой войне. Большинство швейцарцев были против Гитлера, и они создали для себя такую модель, которая изолировала их от всего мира. Наши границы были закрыты, и мы считали себя героями. Эта модель выжила и продолжает жить: многие считают себя героями и по сей день. Но именно в силу этой изоляции у швейцарцев сейчас большая проблема в том, чтобы стать полноценной европейской страной.

«ИЛ». Разве сегодня Швейцарию нельзя считать полноценной европейской страной?

А. М. Готфрид Келлер придерживался такой точки зрения: Швейцария — это модель цивилизованной федерации; ее миссия в том, чтобы своим примером мостить дорогу к объединению малых народов. Если на этом примере будут учиться и другие народы, тогда она выполнит свою миссию. Европа может, конечно, стать по сути швейцарской и без самих швейцарцев, оставив нас существовать как особый микромир, как образцово-показательную, но устаревшую модель.

Все нормальное в Швейцарии — это исключение, даже для Европы. Наша страна не лежала в руинах после войны и не прошла ни через какие серьезные потрясения. Швейцарии повезло, и счастье для нее — это нормально. Того, что за внешним благополучием кроется очень много неприглядного, можно было долго не замечать. Восторгавшихся Швейцарией всегда хватало.

Сегодня Швейцария, все еще обладая статусом наибольшего благоприятствования, находится в изоляции и к тому же разобщена. Влияния этих двух факторов она не испытывала очень давно. Раньше в понятие изоляции входило благоприятное и выигрышное положение нейтральной страны. Сейчас же Швейцария ощущает себя одинокой среди единомышленников, среди других демократических стран; и это впервые означает быть действительно изолированной.

И в то же время в обход всех своих юридических параграфов Швейцария практически становится открытой, поскольку реальные законы — экономические, социальные, культурные — устанавливаются сегодня не Швейцарией. Иногда я даже думаю, что затрудненная коммуникация со всем миром может пойти Швейцарии на пользу: ей придется распрощаться с комфортным самодовольством и вступить в диалог с реальной действительностью. Сладкая жизнь для Швейцарии кончилась. Пришло трудное время разобраться с собой.

У Швейцарии не будет жизненного шанса, если она полностью и основательно не перетряхнет свою систему. И для этого будет недостаточно только той государственной политики, которая опирается на тайну банковских вкладов или перспективу стать свободной экономической зоной для мирового хозяйства, своего рода Гонконгом для Западной Европы, где японцы или американцы смогли бы прокручивать свои делишки, а европейцы — прятать приблудные капиталы.

«ИЛ». Ситуация, при которой в едином государстве есть несколько государственных языков, принципиально иная, нежели в России. Что вы можете сказать по поводу этого аспекта швейцарской специфики?

А. М. Нельзя сказать, что носители разных языков проявляют в Швейцарии друг к другу взаимный интерес. Очень мало немецкоязычных швейцарцев, которые интересуются франкоязычными; с другой стороны, очень мало, например, франкоязычных, смотрящих немецкое телевидение. И все же некоторый консенсус в стране установился. Уже более 150 лет со стороны немецкоязычных швейцарцев нет политической гегемонии.

От других конфедераций Швейцарию отличают две ключевые особенности. Во-первых, политические партии не разделяются по языковому признаку. Во-вторых — в отличие от Югославии, — языковые границы не совпадают с религиозными. Да и вообще религия уже не играет такой большой роли: это уже не идеология, а скорее традиция, хотя для провинции и важная.

Бóльшая, немецкоязычная часть Швейцарии более развита экономически и меньше, чем франкоязычная, желает более тесной интеграции с Европой. Во франкоязычной же части Швейцарии можно наблюдать определенное стремление к языковой самоидентификации. И в этом я вижу большую опасность. Если Швейцария перестанет быть богатой страной, центробежные тенденции усилятся.

Граждане Швейцарии всегда ощущали, что к их принадлежности к разным народностям относятся с большим уважением, чем в других странах. Сейчас же это ощущение исчезает — и не только во французской Швейцарии. Немецкоязычное большинство противников интеграции в общей Европе порой начинает вести себя как маленький господин в большом доме. Это уже не демократия, а начало конца идеи конфедерации. Я принадлежу к тем, кто не хочет быть швейцарцем без французской Швейцарии.

Для меня французский всегда был языком любви — не только к женщине, но и к литературе. Я раз в несколько лет заново переводил «Пьяный корабль» Рембо, пока однажды перевод Целана не заставил меня умолкнуть. То, что у нас есть французская Швейцария, я ощущаю как счастье и как свой долг по ее сохранению. За этой франкофонией прячется кусочек европейской истории. В «Зеленом Генрихе» Готфрида Келлера проводится мысль о национальной культуре Швейцарии *только* как о месте встречи европейских культур в одной стране. Это свое назначение Швейцария не выполнила, а именно это и могло бы стать базисом для ее «идентичности».

«ИЛ». Ваше мнение о современной швейцарской литературе — после Фриша и Дюрренматта.

А. М. Сейчас это понятие особенно актуально в связи с приближающейся Франкфуртской ярмаркой. Если говорить о немецкоязычной литературе, то мои коллеги не хотят рассматривать себя как представителей какой-то особой швейцарской литературы: они больше думают о том, что они просто писатели. И многие из них публикуются в издательствах других стран — прежде всего той же Германии.

В годы войны делался сильный упор на то, что писатель должен ощущать себя швейцарцем. Фриш, к примеру — как, впрочем, и большинство других авторов, — всячески сопротивлялся подобной идентификации. Но он при этом был патриотом. Сейчас эта проблема ушла на второй план: Швейцария больше не требует такого самоопределения. Молодое же поколение эта проблема вообще не интересует: у писателя, живущего, скажем, в Базеле, все друзья и коллеги могут быть в Америке.

«ИЛ». Работаете ли вы над новыми художественными произведениями?

А.М. Последние три года я был слишком много занят университетской деятельностью. Мы создали особый междисциплинарный семинар, занимающийся и естественными, и гуманитарными науками. Я руковожу этим семинаром, который работает в маленькой старинной обсерватории. Впрочем, уже в следующем году я собираюсь отойти от научной деятельности, покинуть высшую школу и вернуться наконец к художественной литературе. На сегодняшний же день у меня нет для нее ни минуты свободного времени.

«ИЛ». Мы подождем.

Беседу записала ГАЛИНА КОСАРИК

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

УРС ВИДМЕР (URS WIDMER; род. в 1938 г.) — швейцарский немецкоязычный писатель. Автор романов «Алоис» («Alois», 1968), «Конгресс палеолепидоптерологов» («Der Kongress der Paläolepidopterologen», 1989), нескольких романов-пародий, пьесы «Штан и Олли в Германии» («Stan und Ollie in Deutschland», 1979).
Повесть «Рай забвения» вышла в Цюрихе в 1990 году («Das Paradies des Vergessens». Zürich, Diogenes Verlag).

НИКОЛА́ БУВЬЕ (NICOLAS BOUVIER; 1929—1998) — швейцарский франкоязычный поэт, эссеист, иконограф, фотограф, путешественник. Автор сборников стихов «Подход к нашему миру» («L'usage du monde», 1963), «Японские хроники» («Chronique japanaise», 1975), «Рыба-скорпион» («La poisson-scorpion», 1981), «Счастливое спасение» («L'échappée belle», 1993), книг путевых заметок «Япония» («Japan», 1967), «Дневник путешествий. Аран и другие края» («Journal d'Aran et d'autres lieux», 1990).
Публикуемые стихи взяты из книги «Внутри и вокруг» («Le dehors et le dedans». Genève, Zoé, 1997).

АГОТА КРИСТОФ (AGOTA KRISTOF) — швейцарская писательница венгерского происхождения. Уехала из Венгрии в 1956 году. Пишет на французском языке. Автор романов «Толстая тетрадь» («Le grand cahier», 1986; рус. перев. в «ИЛ», 1997, № 10), «Испытание» («La preuve», 1988), «Третья ложь» («Le troisième mensonge», 1991; премия «Ливр энтер», 1992), составивших трилогию.
Роман «Вчера» издан во Франции в 1995 году («Hier». Paris, Éditions du Seuil).

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ (FRIEDRICH DÜRRENMATT; 1921—1990) — швейцарский писатель, драматург; лауреат международных и национальных литературных премий: Мольера (1957), Шиллера (1959) и др. Автор пьес, романов, повестей, рассказов, эссе. «Иностранная литература» публиковала произведения Ф. Дюрренматта разных жанров: пьесы «Визит старой дамы» («Der Besuch der alten Dame», 1958, № 3), «Метеор» («Meteor», 1967, № 2); «Играем Стриндберга» («Play Strindberg», 1973, № 4), «Подельники» («Mitmacher», 1997, № 2), повести «Авария» («Die Panne», 1961, № 7), «Обещание» («Das Versprechen», 1966, № 5), «Зимняя война в Тибете» («Der Winterkrieg in Tibet», Библиотека «ИЛ», 1990); роман «Правосудие» («Justiz», 1988, № 6), фрагмент романа «Пенсионер» («Der Pensionierte», 1996, № 4). На русском языке изданы также сборник «Комедии», пьеса «Грек ищет гречанку», роман «Судья и его палач», приключенческие повести «Операция «Вега», «Подозрение» и др.
«Мост» («Die Brücke») взят из книги «Строительство башни» («Turmbau». Zürich, Diogenes Verlag, 1990).

ЭРИКА БУРКАРТ (ERIKA BURKART; род. в 1922 г.) — швейцарская немецкоязычная писательница, лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии имени Моцарта (1990). Автор многих книг: сборников стихов «Темная птица» («Der dunkle Vogel», 1953), «Я живу» («Ich lebe», 1964), «Минута молчания» («Schweigeminute», 1988), романов «Морена» («Moräne», 1970), «Дорога к овцам» («Der Weg zu den Schafen», 1979), «Игры сознания» («Die Spiele der Erkenntnis», 1985), рассказов.
Публикуемые стихи взяты из сборников: «Очевидец: избранные стихотворения» («Augenzeuge: Ausgewählte Gedichte», Zürich und München, Artemis Verlag, 1978), «Созвездие Ребенка» («Sternbild des Kindes», Zürich und München, Artemis Verlag, 1984).

МАРТИН СУТЕР (MARTIN SUTER; род. в 1948 г.) — швейцарский немецкоязычный писатель. Автор сценариев для кино и телевидения; печатает репортажи в швейцарской газете «Weltwoche».
«Small World» (Zürich, Diogenes Verlag,1997) — его первый роман, сразу ставший бестселлером.

ДЖОРДЖО ОРЕЛЛИ (GIORGIO ORELLI; род. в 1921 г.) — швейцарский поэт, прозаик, критик. Пишет по-итальянски. Автор поэтических сборников «Ни белый, ни лиловый» («Né bianco, né viola», 1944), «Стихотворения» («Poesie», 1953), «Просветы» («Spiragli», 1989). Из прозаических произведений Дж. Орелли наиболее известен сборник рассказов «Один день в жизни» («Un giorno nella vita», 1961). Перевел на итальянский язык избранные стихотворения Гёте. В числе литературных премий, которыми отмечено творчество Дж. Орелли, премия «Большой Шиллер» (1988).
Публикуемые стихи Дж. Орелли взяты из его сборников «Час времени» («L'ora del tempo». Milano, Mondadori, 1962), «Синопии» («Sinopie». Milano, Mondadori, 1977).

АЛЬБЕРТО НЕССИ (ALBERTO NESSI; род. в 1940 г.) — швейцарский поэт и прозаик. Пишет по-итальянски. Автор поэтических сборников «На обочине» («Ai margini», 1975), «Обыденное» («Rasoterra», 1983). Из произведений прозы наиболее известен сборник рассказов «Безумная земля» («Terra matta», 1984) и книга публицистики «Гнев ветра» («Rabbia di vento», 1986).
Публикуемые стихотворения взяты из сборников А. Несси «Будни» («I giorni feriali». Lugano, Pantarei, 1969) и «Цвет мальвы» («Il colore della malva». Bellinzona, Edizioni Casagrande, 1992).

ФАБИО ПУСТЕРЛА (FABIO PUSTERLA; род. в 1957 г.) — швейцарский поэт. Пишет по-итальянски. Автор поэтических сборников «Уступка зиме» («Concessione all' inverno», 1985), «Под садом» («Sotto il giardino», 1990), «Пляска смерти» («Danza Macabra», 1995) и др. Известны итальянские переводы Ф. Пустерлы с французского (стихи Ива Бонфуа и Филиппа Жакоте) и с португальского (Нуно Жудисе). Творчество Ф. Пустерлы отмечено литературными премиями имени Монтале и Шиллера.
Публикуемые стихи взяты из сборников «Вещи без истории» («Le cose senza storia». Milano, Marcos y Marcos, 1994) и «Исла-Перса» («Isla Persa». Locarno, Edizioni «Il Salice», 1997).

КОРИННА БИЙ (S. CORINNA BILLE; 1912—1979) — швейцарская франкоязычная писательница. Много путешествовала, проехала транссибирским экспрессом от Москвы до Хабаровска. Автор книги стихов «Весна» («Printemps», 1939), романов «Теода» («Théoda», 1944), «Венерин башмачок» («Le sabot de Vénus», 1952), «Гости из Москвы» («Les invités de Moscou», 1977), сборников новелл «Крестьянские горести» («Douleurs paysannes», 1953), «Слепой ребенок» («L'enfant aveugle», 1954), «Сто коротких жестоких историй» («Cent petites histoires cruelles», 1973) и др.
Публикуемые рассказы взяты из книги Коринны Бий «Овальный салон. Рассказы в стиле барокко» («Le Salon ovale. Nouvelles et contes baroques». Albeuve (Suisse), Éditions Castella, 1987).

ФРИДРИХ ГЛАУЗЕР (FRIEDRICH GLAUSER; 1896—1938) — швейцарский немецкоязычный писатель. Автор романа об Иностранном легионе «Гуррама» («Gourrama», 1935), детективных романов «Чаепитие трех старух» («Der Tee der drei alten Damen»,

1939, рус. перев. 1993), «Вахмистр Штудер» («Wachtmeister Studer», 1936, рус. перев. 1993), «Власть безумия» («Matto regiert», 1936; рус. перев. 1989), «Крок и компания» («Krock & Co», 1940, рус. перев. 1993) и др.
Рассказ и очерк печатаются по изданиям: «Werkausgabe in 4 Bänden», Zürich, Arche, 1969—1974, Band 4 и «Morphium». Zürich, Arche, 1980.

РОБЕРТ ВАЛЬЗЕР (ROBERT WALSER; 1878—1956) — швейцарский немецкоязычный писатель. Литературную деятельность начал в 1896 г. Участник первой мировой войны. Автор автобиографических романов «Семья Таннера» («Geschwister Tanner», 1906), «Помощник» («Der Gehilfe», 1907), «Якоб фон Гунтен» («Jakob von Gunten», 1908), сборника «Стихи» («Gedichte», 1909), романа «Роза» («Die Rose», 1924), сборников эссе и рассказов «Заметки Фрица Кохера» («Fritz Kochers Aufsätze», 1905), «Прогулка» («Der Spaziergang», 1917), «Жизнь поэта» («Poetenleben», 1918) и др.
Книга «Чтение на несколько минут», фрагменты которой публикуются в номере, издана в Цюрихе в 1978 году («Lektüre für Minuten». Zürich, Suhrkamp Verlag).

ИЗО КАМАРТИН (ISO CAMARTIN; род. в 1944 г.) — профессор Цюрихского университета по ретороманской литературе и культуре. Лауреат премии «Лучшее европейское эссе» за 1987 год. В номере публикуются фрагменты авторского предисловия к книге эссе Изо Камартина «Похвала соблазну» («Lob der Verführung». Zürich und München, Artemis Verlag, 1987).

ШИШКИН МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ (род. в 1961 г.) — русский писатель, автор романа «Всех ожидает одна ночь» (1993), удостоенного премии журнала «Знамя» за лучший дебют. С 1995 г. живет в Швейцарии. В настоящее время работает над книгой «Русская Швейцария. Литературно-исторический путеводитель».

■Переводчики:

КОЛЕСОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1951 г.) — поэт и переводчик с немецкого. В его переводе изданы романы М. Шпербера «Слеза в океане» (М., 1991), «Письма в Древний Китай» Герберта Розендорфера («ИЛ», 1993, № 1), стихи Альдоны Густас («ИЛ», 1996, № 2).

КУЗНЕЦОВА ИРИНА ИСАЕВНА — переводчик с французского. В ее переводе публиковались стихи Г. Аполлинера, А. Рембо, Ш. Кро, Б. Ноэля, А. Боске, романы «Стелло, или Синие демоны» А. де Виньи, «Пыль над городом» А. Ланжевена, «Терраса Бернардини» С. Пру, «Конец Ангела» С. Г. Колетт, «Нечаев вернулся» Х. Семпруна (совместно с Г. Зингером; «ИЛ», 1996, № 11), главы из романа «Первый человек» А. Камю («ИЛ», 1995, № 5), повесть «Ни завтра, ни потом» Вивана Денона («ИЛ», 1997, № 5), пьесы «Осадное положение» А. Камю («ИЛ», 1990, № 10), «Бескорыстный убийца» Э. Ионеско (Библиотека «ИЛ», 1990), «Ужин» Жан-Клода Брисвиля («ИЛ», 1993, № 5) и др. Лауреат премии «ИНОЛИТТЛ» (1997).

ВОЛЕВИЧ ИРИНА ЯКОВЛЕВНА — переводчик с французского. В ее переводе изданы романы «Тристан» Пьера Сала́, «Голубые цветочки» Раймона Кено, «Сильва» Веркора, «Обладатель кубка», «Упрямая улитка» и «Идеальное место для убийства» Рашида Буджедры («ИЛ», 1984, № 10), «Рыбья кровь» Франсуазы Саган («ИЛ», 1991, № 2), «Красные сабо» и «Дети Ноя» Ж. Жубера, «Пятница, или Тихоокеанский лимб» и «Элеазар, или Источник и Куст» М. Турнье («ИЛ», 1997, № 2), «Праздники любви» Яна Муакса («ИЛ»,1997, № 7), «Эглантина» и «Лгунья» Ж. Жироду, «Лотерейный билет» Ж. Верна, «Все утра мира» Паскаля Киньяра («ИЛ», 1997, № 11), новеллы писателей эпохи Возрождения, произведения Мишеля де Гельдероде, Жан-Жака Руссо, Дени Дидро, А. Камю и др. Лауреат премии «ИНОЛИТ» (1997).

КОСАРИК ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА — переводчик с немецкого. В ее переводе печатались рассказы А. Мушга и Г. Гессе, повести «Запоздалая любовь» П. Хэртлинга, «Лунное затмение» Ф. Дюрренматта, романы «Власть безумия» Ф. Глаузера, «Потерянная пристань» М. Шпербера, «Гелиополис» Э. Юнгера, «Суперодиночки» Г. Эрнста, «Исчезнувшая миниатюра» Э. Кестнера. В «ИЛ» публиковались в ее переводе фрагменты из книги «В дополнение к бедекеру» Г. Кунерта (1973, № 10), «Северная мозаика» Ф. Р. Фриза (1974, № 10), стихи и рассказы из австрийского журнала «Wespennest» (1993, № 11), фрагменты дневника Эриха Кестнера «Нотабене 45» (1995, № 5), эссе Петера Хандке «Опыт познания усталости» (1996, № 6) и др.

СОКОЛОВА ЕЛИЗАВЕТА ВСЕВОЛОДОВНА — переводчик с немецкого. В ее переводе в «ИЛ» напечатаны стихи немецкой поэтессы Уллы Хан (1994, № 2 и 1997, № 7), стихи австрийского поэта Карла Любомирского (1995, № 8), немецкой поэтессы Ильзы Тильш (1996, № 8).

СОЛОНОВИЧ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1933 г.) — переводчик с итальянского. В его переводе выходили книги избранных стихотворений Данте, Петрарки, Монтале. Переводил итальянских поэтов эпохи Возрождения, XVII, XVIII, XIX и XX веков. В «ИЛ» в его переводе печатались стихотворения Эудженио Монтале (1973, № 1; 1976, № 7; 1996, № 12), Умберто Сабы (1974, № 4), Джованни Джудичи (1976, № 1; 1983, № 5), Марио Луци (1981, № 11), Джузеппе Джоакино Белли (1984, № 7; 1993, № 2), Джузеппе Унгаретти (1988, № 3) и др. Лауреат Государственной премии Италии (1996).

СЕДЕЛЬНИК ВЛАДИМИР ДЕНИСОВИЧ (род. в 1935 г.) — литературовед, доктор филологических наук, переводчик с немецкого. Автор книг «Герман Гессе и швейцарская литература» (М., 1970), «Швейцарские варианты» (М., 1990, в соавторстве с Н. Павловой), многих статей по немецкоязычной, преимущественно швейцарской литературе. В его переводе изданы романы «Петер Каменцинд», «Росхальде» и «Нарцисс и Златоуст» Г. Гессе, «Змеиное дерево» У. Тимма, «Чаепитие трех старух» и «Вахмистр Штудер» Ф. Глаузера, комедии и радиопьесы Ф. Дюрренматта «Ангел приходит в Вавилон», «Брак господина Миссисипи», «Двойник», «Ночной разговор с палачом» и др. Автор ряда статей в «Иностранной литературе». Лауреат литературной премии имени А. Карельского (1997).

АПТ СОЛОМОН КОНСТАНТИНОВИЧ (род. в 1921 г.) — литературовед, переводчик. Автор книг «Томас Манн» (М., 1972, в серии «ЖЗЛ»), «Над страницами Томаса Манна» (1980). В его переводе издавались трагедии Эсхила, пьесы Б. Брехта, романы «Иосиф и его братья» Томаса Манна и «Игра в бисер» Г. Гессе. В «ИЛ» напечатаны переводы романов «Степной Волк» (1977, № 4, 5) и «Демиан» Г. Гессе (1993, № 5), отрывок из романа «Человек без свойств» (1983, № 9) и «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса» Р. Музиля (1992, № 4) и др.

Нефтяная компания

РОСНЕФТЬ

Открытое акционерное общество

РОСНЕФТЬ-НЕФТЕГАЗСНАБ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

- **обеспечение нефтегазодобывающих и других отраслей материально-техническими ресурсами**
- **участие в выпуске продукции производственно-технического назначения**
- **внешнеэкономическая деятельность**
- **оптовая и розничная торговля (в т.ч. автомобилями и спецтехникой)**
- **трубная продукция и нефтепромысловое оборудование**
- **химическая продукция и строительные материалы**
- **поставки нефтепродуктов**
- **предложения по долевому строительству и участию в нежилом и жилом фондах**

Юридический адрес:
113816, Москва, Софийская наб., 26/1

Тел/факс: **(095) 950 35-80, 239 88-92**
Телефон: **(095) 239-80-48, 95 [illegible]**

Офис: **Москва, Пятницкая ул., 41**

Иностранная литература 1999

•ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

В следующем году мы готовим обширный цикл тематических спецвыпусков, посвященных ключевым темам современной культуры

Кроме того, вы сможете прочесть

•ПО РАЗДЕЛУ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ

«Одиночка» — единственный роман драматурга-абсурдиста **ЭЖЕНА ИОНЕСКО**.
«Написанный задолго до смерти автора, этот роман тем не менее стал его духовным завещанием ».«Монд»

«Бог мелочей» — первый роман молодой индийской писательницы **АРУНДХАТИ РОЙ**, сразу ставший международным бестселлером и удостоенный премии Букера за 1997 год.
«Рой снимает со своих тайн покров за покровом с такой изысканной ловкостью, что говорить о сюжете значило бы искажать его». Джон Апдайк
«Редкая книга с такой силой прорывает ткань национальности, касты и религии, чтобы добраться до костяка человечности». «Дейли телеграф»

«Дон Хуан»— роман самого читаемого испанского прозаика **ГОНСАЛО ТОРРЕНТЕ БАЛЛЬЕСТЕРА**, впервые представляемого русскому читателю. Это современный вариант мифа о Дон Жуане из придуманной автором серии «Иронические истории для эрудитов».
«Неожиданная, потрясающая фантазия на, казалось бы, вышедшую из моды тему». «Эль Паис»

«Коллекционная вещь» — виртуозно и весело написанный роман английского писателя **ТИБОРА ФИШЕРА**, где рассказчиком является древняя ваза, способная проникнуть в самые потаенные уголки человеческой души.
«Книга настолько хороша, что могу поручиться: вы будете перечитывать ее, и не один раз». Виктория Глендиннинг. «Дейли телеграф»
«Эта волшебная вещица в состоянии рассмешить даже камень». «Санди телеграф»

«Невинный» — роман английского писателя **ИЭНА МАКЬЮЭНА,** которого называют главным открытием британской литературы конца века.
«В основу романа положена правдивая история о Берлинском туннеле, ублюдочном детище американской и английской разведок. В этот отчаянный фарс Макьюен вплетает трагическую историю любви». «Санди таймс»
«Макьюен отметил похороны шпионского триллера на тему «Восток — Запад», создав неподражаемый шедевр в этом жанре». «Мейл он санди»

«Осень в Петербурге» — роман южноафриканского писателя **ДЖ. М. КУТЗЕЕ**, попытавшегося воссоздать историческую и психологическую среду, в которую был погружен его герой, Ф. М. Достоевский, в канун написания «Бесов».
«Сильная и глубокая книга». «Гардиан»
«Очень впечатляюще. Кутзее не делает ни одного неверного шага». «Дейли мейл»

«Откройте!» — новая книга **НАТАЛИ САРРОТ** о словах, их зарождении и вполне самостоятельной жизни.
«Это самая живая и неожиданная книга за последнее время». «Экспресс»
«Нет ничего увлекательнее, чем путешествие в открытый Натали Саррот необычайный и сложный мир». «Монд»

«Пути к раю» — историко-философско-культурологическая книга шведского писателя **ПЕТЕРА КОРНЕЛЯ,** написанная как комментарий к некоему несуществующему сочинению.
«Научный комментарий к потерянной рукописи? Академическая шутка? Нет, просто гениальный в своей простоте замысел. Это эхо Эко». «Афтонбладет»
«Петер Корнель — мой ближайший сосед в гипотетическом литературном пространстве». Милорад Павич

«Шелк» — новая повесть итальянского писателя **АЛЕССАНДРО БАРИККО**, уже переведенная на 27 языков.
«Безупречный стилистический эксперимент, словно воссоздающий пленительное японское хайку... Литературная жемчужина, околдовавшая читателей».«Санди таймс»
«Безыскусность, нежность, эротичность... это одна из удивительнейших любовных историй, которые я когда-либо читала». Стефани Меррит, «Дейли телеграф»

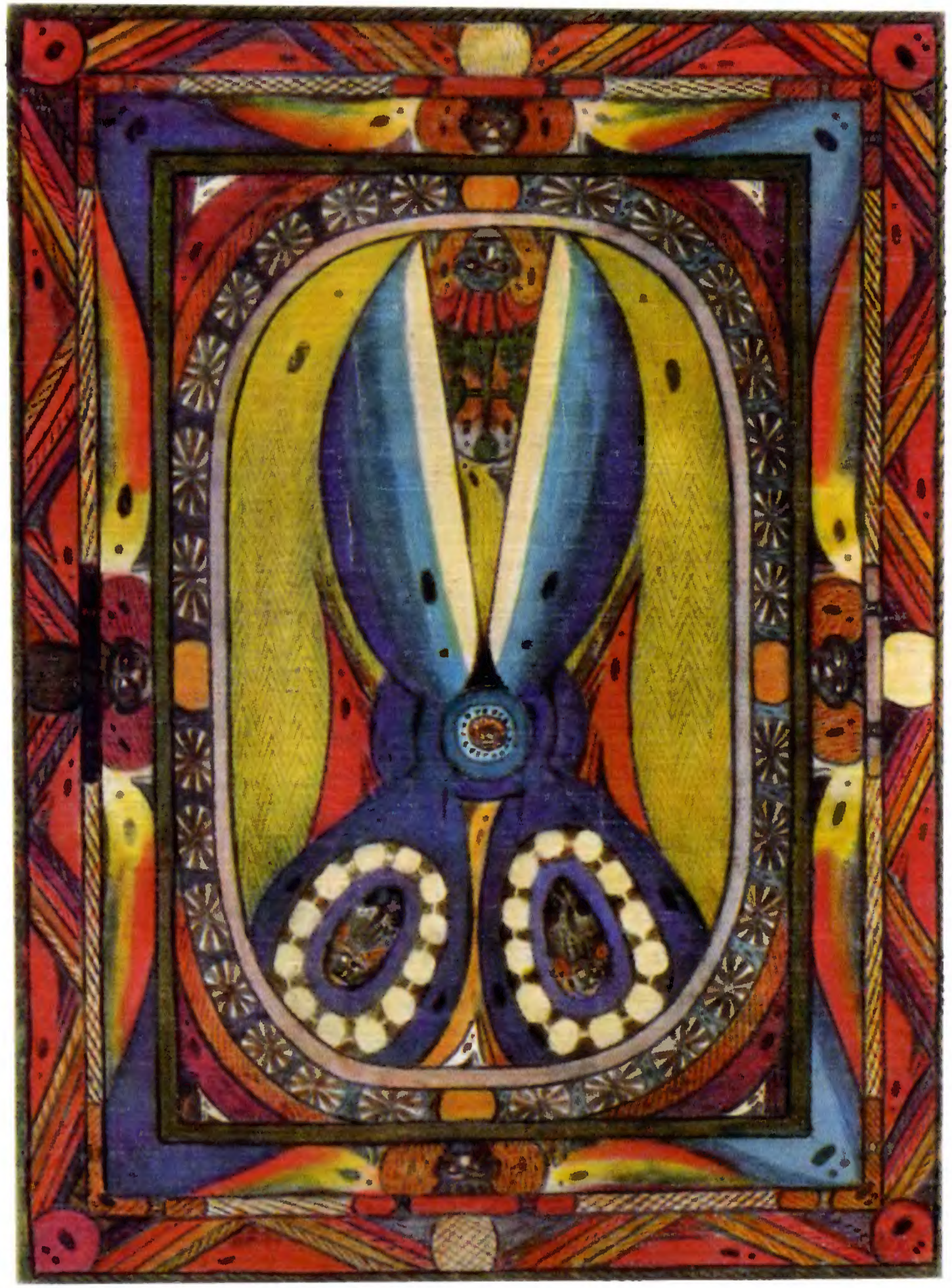
•А ТАКЖЕ

Романы, о переводе которых ведутся переговоры.
Рассказы **ДЖУЛИАНА БАРНСА, СЬЮЗЕН СОНТАГ, АНДРЕ ПЬЕРА де МАНДЬЯРГА, ИВАНА КЛИМЫ, ДОНАЛДА БАРТЕЛМИ, КЭНДЗИ МАРУЯМЫ** и еще многое другое.

•ПО РАЗДЕЛУ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОЗЫ И ЭССЕИСТИКИ

УМБЕРТО ЭКО. «Литературный перевод. Теоретические рассуждения и практические соображения»
МАРИО ВАРГАС ЛЬОСА. «Как рыба в воде» (главы из автобиографической книги)
ОЛИВЬЕ ТОДД. «Альбер Камю» (главы из биографии)
МАРЕК ХЛАСКО. «Письма из Америки»
Литературные портреты **ГАБРИЭЛЕ Д'АННУНЦИО, ИЗАБЕЛЛЫ ЭБЕРХАРДТ, Э.Т.ЛОУРЕНСА (ЛОУРЕНСА АРАВИЙСКОГО), ЭДГАРА ПО в серии *«Жизнь как роман»***
Репортажи о выдающихся событиях XX века, написанные лучшими писателями столетия
Эссеистика **И.КАЛЬВИНО, Д.БАРТЕЛМИ, М.ПАВИЧА, В.НАЙПОЛА**

Мы приносим свои извинения за перенос публикации анонсированного ранее романа Умберто Эко «Остров накануне», перевод которого не был представлен редакции вовремя. Роман будет опубликован в одном из первых номеров 1999 года.



ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1998, №9, 1 — 256.

ИНДЕКС 70394